

П.Н. КРАСНОВ

ОПАВШИЕ ЛИСТЫ

Увлекшись
родео! Сердце мое разорва-
лось: горло, галстук, тоска









серия
**ИСТОРИЧЕСКИЕ
РОМАНЫ**

Сканировал и создал книгу - vtakhanov

П.Н. КРАСНОВ

ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ

роман



УД ПОСЫЛТОРГ
Екатеринбург
1995

ББК 84Р7
К 78

Художник *А. МАРЕЕВ*

К 4702010200 — 70
97 В (03) — 95

ISBN 5-85464-023-6

© УТД Посылторг, 1995



*...«Блаженни кротцыи, яко тїи
наслѣдять землю»...*

(Отъ Матвѣя Гл. 5 ст. 5.)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Страстная седмица... Сладко, волнующе пахнет в квартире Кусковых ванилью, творогом, краской для яиц, свеженатертыми мастикой паркетными полами и молодыми вербочками. Этот запах говорит о приближении великого праздника... Праздников праздника и торжества из торжеств. И надо все поспеть убрать и приготовить к празднику и сделать «как у людей».

Семья Кусковых большая, сам седьмой. Старые традиции дворянского рода, пережитки помещичьего быта заставляют еще держать родственниц: бездомную тетю Катю и сироту-племянницу. При семье живут гувернантка, обрусевшая француженка, и старуха-нянька. Они никому больше не нужны. Дети повзростали, все отданы в гимназию, но выгнать, рассчитать их нельзя. Жестоко, бесчеловечно... Они сжились с семьей, вошли в нее. Как их выгонишь! У папеньки Варвары Сергеевны Кусковой учитель музыки до самой смерти жил. Давно оглох, никому уроков не давал, ничего не играл, а кормили, комнату давали, обували, одедали... Не на улицу же гнать! Собаку и ту не прогонишь.

Правда, теперь не те времена. Папенька казенную квартиру имел во дворце... Двенадцать комнат. Прислуга была

нипочем, из деревни мужики оброк посылали... Теперь не то. Кусков уже более двадцати лет служит в статистическом комитете и еще читает лекции по статистике. Кормит «двадцатое число». От имения ничего не осталось, и трудно сводить концы с концами, но куда же денешь хромую, ничего не умеющую тетю Катю, не отдавать же в сиротский дом племянницу Лизу и не гнать же *mademoiselle Suzanne*, с которой выходили и вынянчили всех пятерых детей. И старую няню Клушу не выгонишь. Все это «свой», кусковские, такие же члены семьи, как и дети, дорогие, милые, родные, любимые...

И нельзя обделять их куском хлеба, нельзя не дать крова и покоя. Таков обычай... Русский обычай... Христианский обычай... Так было... Так и быть должно... Все должны помогать друг другу. В квартире, полной детей, тихого утреннего шороха и негромких несмелых голосов, полуразбуженной, полубодравшейся, полуспящей, жизнь уже началась.

Варвара Сергеевна только что проводила на службу мужа. Она заперла дверь на крюк и тихой походкой уставшей от жизни сорокачетырехлетней женщины, мягко ступая по полу войлочными туфлями, пошла в столовую.

В гостиной оба окна были настежь раскрыты, на подоконнике стояли табуретка и ведро с водой. На табуретке, отважно высунувшись во двор, презирая высоту четвертого этажа, цепляясь обнаженной выше локтя смуглой рукой за верхнюю раму, горничная Феня мыла стекла. Ее ноги были босы, подоткнутая юбка открывала их до колен. Белые, с синеватыми жилами, с розовыми пальцами, напряженными на табуретке, они точно впились в мокрые доски. В окно доносился треск дрожек по каменной мостовой, и на дворе, глубоким ящиком черневшем внизу, разносчик кричал:

— Цветики, цветики! А не пожелаете!.. Хорошие цветочки!

Он приподнимал над головой лоток, уставленный гиацинтами, тюльпанами, белой и розовой азалией, и смотрел на окна флигелей. Со двора врывался свежий весенний воздух, запах кокса, угля, запах города, очнувшегося от долгой зимы.

Большие фикусы, рододендроны, азалии, латании, музы, лавры и лимоны стояли в горшках и кадках на полу, ковер под диваном и круглым столом с лампой был подогнут. Кресла и столики сдвинуты в беспорядке в угол.

Варвара Сергеевна, отвернувшись от Фени, поспешно прошла в столовую. Она смертельно боялась высоты. Ей все казалось, что Феня упадет во двор и разобьется. Но она ни-

когда не запрещала так мыть окна. «Надо же протереть стекла. Светлый праздник ведь», — думала она. Так же думала и Феня. В эти дни Страстной недели тысячи Фень стояли так же на подоконниках и табуретках петербургских квартир и мыли стекла, рискуя жизнью. Это был обычай.

Бронзовые часы — рыцарь, прощающий ее с дамой в широком платье, — стоявшие в простенке между окон под зеркалом, мелодично пробили десять.

«Господи! — подумала Варвара Сергеевна, — десять часов, а дети еще не встают... Ну... пусть выспятся. Устали от гимназии-то. Да... и им нелегка жизнь».

В столовой, за большим столом шумно кипел, пуская тонкие струи кудрявого пара к потолку, пузатый самовар. На длинном черном железном подносе, с красными ягодками и зелеными листьями, рисованными по темному лаку, тесно сдвинулись стаканы и чашки. Они были разной величины и формы и имели различные ложки. Каждый был «свой». Варвара Сергеевна быстро, по привычке оглядела их и мысленно пересчитала, не забыла ли кого прислуга. Andre, Ипполита, Липочкина голубая чашка, Лизина белая с розовыми цветочками, высокая коричневая тети Кати, плоская зеленая *mademoiselle Suzanne*, Федин граненый стакан, Мишин в подстаканнике. Кажется, все.

Старая няня Клуша, стоя в углу, тщательно и благоговейно чистила суконкой и мелом снятую со стены икону Николая Чудотворца в серебряной ризе.

На подоконнике стояла железная клетка с двумя снегирями и чижиком. Снегири важно сидели на верхней жердочке, выпятив бледно-розовые грудки, и мигали черными глазами, точно что-то обдумывали. Чижики со звонким чириканьем прыгали внизу, мелькая пестрым, зеленым в черных крапинах телом между проволок клетки.

Варвара Сергеевна мельком посмотрела на птиц, и забота легла на ее красивое, усталое лицо.

«Надо успеть клетку почистить, птиц накормить и детей напоить... А там завтрак, там яйца красить, творог готовить к пасхам... Миндаль толочь... Ах, еще цветы позабыла купить. И ведь кричал разносчик! Было бы позвать. Эка! Какая я ночью беспамятная стала...» — уже вслух сказала она.

— Что, матушка? — отрываясь от иконы, спросила Клуша.

— Беспамятная, няня, говорю, я стала. Цветы не купила, а разносчик кричал. Тут бы позвать и купить.

— И то, матушка, позвать да купить, куда ж проще! Были бы только купилы-то!

Варвара Сергеевна вздохнула. Это была постоянная ее забота: недостаток средств, год от года заставлявший ее сжиматься и сокращать расходы.

— Что, встают, няня, дети?

— Встают! Ишь, гомонят как!.. Что твои телятки! Федя почитай что готов совсем. Андрей Михайлович тоже куда-то собираются. Встают... Им теперь праздник, пусть поспят. Поди намучились в гимназиях-то. А вы, матушка, что же чайку-то?

— Я подожду, няня. С детьми буду.

II

Первым пришел Федя. Это был мальчик четырнадцати лет с круглым лицом, розовыми щеками, пухлыми губами и густыми русыми волосами, расчесанными на пробор с левой стороны. Он был одет в длиннополый синий мундир с девятью светлыми пуговицами и узким серебряным кантом по воротнику, в черные длинные штаны и короткие сапожки.

Про Федю говорили, что он «мамин любимчик».

Варвара Сергеевна посмотрела на еще сохранившееся следы крепкого сна здоровое лицо Феди и задумалась: правда ли, что его она любит больше других детей? И твердо ответила себе: «Нет, это неправда. Все одинаково ей милы и дороги ее сердцу... Вот разве Липочка?.. Но, кажется, всегда так: матери больше любят сыновей, а отцы — дочерей». Михаил Павлович показывал ей вчера смету расходов на пасхальные подарки. Сыновьям по рублю, а дочери и племяннице по двенадцать рублей. Он сказал: «Потому что она одна родная у меня, а Лиза — сиротка, некому ее побаловать». И неправда... Потому что они девочки, почти девушки, и ему приятно им подарить. Нет, Федя для нее такой же, как Андре, Ипполит и Миша... Такой же!.. Она его любит так же, как и тех!

Варвара Сергеевна посмотрела на сына, сидевшего по левую руку от нее и отщипывавшего по кусочкам постного булочного жаворонка, оставляя, как всегда, головку с подпеченным хрустящим клювом и черными из коринки глазами напоследок.

«Хороший Федя. Милый Федя»... Быть может, потому она его любит как будто больше других детей, что он ей понятнее, проще, доступнее. Его мечты — быть офицером — и ее мечты. Он верующий, понимающий церковные обряды и чтущий их. Он любит выносить свечу перед евангелием, чи-

тать на клиросе звонким ломающимся голосом, красоваться перед молящимися, а она любит смотреть на него, когда с серьезным насупленным лицом и чуть надутыми губами медленно и важно выходит он из боковых врат впереди священника и держит подсвечник обеими руками. Она гордится им перед прихожанами. «Это мой сын,— думает она.— Смотрите, вот он какой, мой сын!...». Быть может, она любит его за то, что он один из всех детей всегда готов часами слушать ее рассказы про императора Николая Павловича, про ее девичью жизнь во дворце, про парады и войны, про Севастополь, про Суворова, про Петра Великого. Он русский, а не космополит, какими казались ей старшие сыновья.

Ему уже было четырнадцать лет, а он все еще любил играть в солдатики, мечтал стрелять из настоящего ружья, летом ездил верхом и бесстрашно скакал на чухонских лошадях. Он был «мужчина» и был ей мил и понятен. Даже с пороками своими, с рано развившеюся чувственностью, он был ей дорог. Остерегая его, она понимала его, и его не стыдилась, как и он ей все говорил, что думал, ничего не скрывая.

Может быть, еще и потому она его как будто больше любила, что в нем более бурно проходили болезни детства, корь и скарлатина, что он хворал тяжелым тифом, и не раз она отнимала его от смерти.

Федя любил животных и птиц такой же сильной любовью, как и она. И сейчас ее собака Дамка была и его собакой. У него был серый кот Маркиз де Карабас, и птицы были куплены им на скопленные им деньги. Он был весь «мамин», как говорили про него его сестра и братья.

Быть может, еще потому она любила его больше, что отец любил его меньше. Отец не прощал ему, что он плохо учился, не был в первой пятерке, не получал наград, не метил на золотую медаль и все витал в романах Майн Рида, Купера и Вальтера Скотта и в фантазиях Жюль Верна.

Andre, ее первенец, перерос ее. Он был ей непонятен. Задумчивый, замкнутый в себе, отличный скрипач, мечтающий о каких-то великих открытиях, поэт, стыдливо прячущий плоды своего вдохновения, неверующий, презрительно говорящий о религии и государстве, дружащий с еврейской семьей Бродовичей, скрытный, он был временами ей страшен. Она любила его, но и боялась. На многие вопросы матери Andre отвечал: «Ты, мама, все равно этого не поймешь»,— и глядел мимо нее. Он бросил игрушки, когда ему было восемь лет. Десяти лет он собирал коллекцию перьев и наизусть знал все их клейма, и какие перья редкие, какие

нет, одиннадцати лет он собирал марки, а двенадцати легко расстался и с перьями, и с марками и ушел в чтение. И когда мать приходила к нему и смотрела на этажерку, где стояли его книги, он загораживал их собою и говорил: «Нечего тебе, мама, смотреть на них. Эти книги не для тебя. Мы разные поколения».

Только музыка их сближала.

Когда вечером Андре подходил к Варваре Сергеевне и говорил ей: «Мама, сыграй вальс Годфрея», и в гостиной было полутемно, на фортепиано горели две свечи в бронзовых подсвечниках, на которых иногда звенели стеклянные розетки, и Андре мечтательно полулежал в темном углу на диване, мать и сын понимали друг друга, и Варвару Сергеевну радовало и трогало восхищение сына ее игрою. Но кончалось все это драмою.

— Да,— вставая говорил Андре, когда мать гасила свечи, складывала ноты и гостиная погружалась в темноту,— и ты, мама, могла бы быть человеком... А так... Эх!..— он махал рукою и поспешно уходил в свою комнату.

Ипполит был еще сложнее. Ипполит был вечно занят уроками и мало давал себя матери. Она его видела постоянно за учебником, за тетрадями. Со дня поступления в гимназию у него всегда были пятерки, и директор и учителя смотрели на него как на будущее светило. Он готовился стать естествоиспытателем и путешественником и еще мальчиком собирал гербарии, бабочек и потрошил лягушек. Варвара Сергеевна боялась его превосходства над собою, когда, показывая ей гербарии, он сыпал латинскими названиями, говорил, какого семейства, рода и вида какой цветок. Он как бы развенчивал красоту природы, которую так просто, свято и нежно любила его мать. И охлаждение между ними произошло тогда, когда он показывал матери собранную им богатейшую коллекцию рисунков роз. Варвара Сергеевна с глубоким, радостным вздохом сказала:

— Вся премудростью божией сотворена суть. Все его промыслом! Какая красота, какое величие Бога в каждом его деянии... Не правда ли, Ипполит!?

Ипполит долго молчал и наконец сказал, глядя на мать недетскими, строгими глазами:

— Мама, у нас это не так... Ты училась в пансионе и дома... Ну а теперь наука дошла...

Ипполит увидел засверкавшие слезами глаза матери и остановился, не окончив фразы.

— Не будем говорить об этом, мама,— сухо сказал он и закрыл тетрадь.

В эту ночь нечеловеческой болью болело сердце матери, и, лежа в постели, в комнате, где мирно спали ее дочь Липочка и племянница мужа Лиза, она все думала и никак не могла понять, когда и почему ушли от нее Андре и Ипполит, и в мучительной тоске она спрашивала себя:

— Ужели для этого образование?.. Но ведь это ужас! Ужас!.. Господи, спаси и помилуй.

Ее большие прекрасные серые глаза были устремлены на образ, перед которым трепетно в малиновом стекле лампы мигало пламя, она смотрела на скорбный лик Богородицы в серебряной оправе и думала:

«Господи! Моя вина... моя... Но ведь школа взяла его у меня. Школа... Правительство... Гимназия...»

Она горячо молилась. Она думала: «Сильна молитва матери у Господа. Господи! Направь. Господи, спаси и помилуй!».

Младший, Миша, был некрепкого здоровья, не силен физически и, может быть, поэтому озлоблен. Уже ребенком в нем рос дух протеста. Он спрашивал как все дети: «Почему да почему?» И когда мать объясняла ему, он возражал: «А я не буду так делать. Я не хочу».

— Почему, мама, надо снимать шапку и креститься у церкви?

— Потому что там Господь.

— А я не хочу.

— Как же можно не хотеть помолиться Богу?

— А очень просто, не хочу.

В гимназии этот дух протеста вызывал серьезные конфликты. Миша то заявлял, что не хочет вставать перед преподавателями, и бунтовал весь класс, то отказывался становиться в пары, чтобы идти в классы, то дерзил классному наставнику. Родителям приходилось объясняться, и Мише прощали за заслуги его братьев и потому, что его отец был известный профессор. Его считали ненормальным. Но мать чувствовала, что это не ненормальность, а удаление ее сына на тридцать с лишним лет от нее, делавшее его человеком нового, чуждого ей времени.

В Мише росло далекое будущее России, и мать со страхом смотрела на него.

Она принадлежала своими привычками, верованиями, любовью, устремлениями к первой половине XIX века. Воспиталась она в суровый рыцарский век императора Николая I, во времена деспотизма, преклонения перед личностью и красоты жизни во всем. Она как бы росла с ростом молодой русской литературы, в ее памяти свежи были выступле-

ния и вся драма жизни Лермонтова. Пушкин коснулся ее поколения ароматом своего свежего таланта, и Тургенев, граф Толстой и Гончаров вырастали на ее глазах. Она приняла реформы императора Александра II, как прекрасное, но тревожное будущее. Ее старшие сыновья принадлежали еще текущему веку. Их зрелость не будет отмечена мистическим значением нового века. Миша весь был для двадцатого загадочного века, и он пугал ее. Точно в духе раннего, детского протеста своих часто злобных выходов он носил нарождающуюся бурю, о которой неустанно твердили все, кого ее муж, ее брат и многие знакомые называли лучшими либеральными умами общества.

Тетя Катя, маленькая, забитая приживалка, живущая отцовской пенсией, с сивыми коротко стриженными волосами, некрасивая неудачница, зачитывалась Писемским, Герценом, Чернышевским и тихонько давала читать «Что делать?» Андре и Ипполиту.

И думала Варвара Сергеевна: «Учит других что-то делать, а сама ничего не делает».

Варвара Сергеевна смотрела на Федю, медленными глотками пившего чай, и думала свои думы. Точно хотела оправдаться перед собою и детьми. Любила ли она его больше других? Был ли действительно он ее любимцем, как утверждали дети и особенно нервная, чуткая Лиза?

«Нет, нет...» — говорила она себе, лаская его нежными взглядами выпуклых прекрасных глаз и любясь, как может любоваться только мать своим сыном. Все ей казалось в нем прекрасным: его уже большой рост, большая голова, от природы вьющиеся, в золото отливающие, темные густые волосы, красивым локоном стоящие над лбом, мягкие, такие же, как у матери, серые глаза в длинных ресницах и пухлые, еще детские румяные щеки. Он нравился ей как мальчик. «Он добрый, — думала она, — он весь понятный мне, простой — и вот причина тому, что думают, что я его особенно люблю».

— Федя, — сказала она, и ласка дрожала в ее голосе, — ты куда же собрался в мундире? Отчего не в рубашке?

— Сегодня после «часов» Митька будет делать репетицию крестному ходу. Я, мама, в нынешнем году образ Воскресения Христова несу. Знаешь киот большой, весь в серебре, что висит в притворе у окна?

Мать не помнила образа. Но невольно гордость сына его высоким назначением нести образ праздника передалась и ей.

— Кто же назначил тебя?

— Теплоухов и Лисенко. Теплоухов очень хорошо ко мне относится. Он просил меня после репетиции остаться помогать ему свечи исповедникам продавать. Теперь, мама, в церкви очень много работы. Весь день мы заняты. И если Мохов не придет, я буду вечером шестопсалмие читать. Ты придешь, мама? Приходи, пожалуйста!.. Мне будет так приятно, что ты слушаешь.

— Приду,— сказала мать. Молодо толкнулось ее сердце. Слушать чтение сына показалось ей чем-то прекрасным и значительным. Давно ли лежал он у ее груди и был таким беспомощным и жалким!

— Ну прощай, мамочка. Иду. Сейчас, я думаю, «часы» кончатся.

III

Федя быстро сбежал по каменным ступеням чистой лестницы, хлопнул внизу дверью, и мать, подойдя к окну, видела, как он легкой походкой прошел по узкой дорожке в две плиты от крыльца к воротам, насквозь через двор. У ворот Федя оглянулся. Он знал, что мать будет провожать его, и улыбнулся ей. Он вошел в сумрак ворот, мощенных камнем с двумя деревянными полосами, и вышел на улицу.

Славно пахло весной. Снеговые кучи, еще третьего дня лежавшие вдоль панелей с черными тумбами, были убраны, и рослые дворники в белых передниках метлами наводили на улице порядок.

Вся Ивановская, широкая пустынная, сверкала в золоте солнечных лучей, и в дальнем конце ее лилово нависли на желтые заборы сады подле деревянных старых домов и трактиров. Мокрые камни мостовой блестели. Мутная грязь, смешанная с конским навозом, подгоняемая метлами, весело журча и загораясь на солнце огоньками мелкой ряби, текла к сточным трубам, и там по-весеннему пели крутящиеся мутные воронки. На углу Кабинетской дремал извозчик, сидя на козлах пролетки, где-то ехали подводы с листовым железом, и далекое дребезжание говорило Феде о чем-то деловом и нужном.

Дамка, дворняжка, мохнатая белая с черными пятнами, гулявшая с кухаркой, с радостным повизгиванием кинулась к Феде и ласкалась к нему, пачкая лапами его синий мундир и чуть не валя его с ног.

— Будет, Дамка! Ну разве можно так!.. Всего вымазала. Ах, какая! — ласково говорил Федя, стараясь погладить со-

баку по голове.— Да отзовите ее, Аннушка, я с ней не справлюсь.

Как все было весело и радостно в это апрельское утро! Как солнечно-желт был милый Петербург!.. Какие чудные запахи весны, бодрящей свежести водного простора Невы, мокрого камня, смолы и дегтя были разлиты в прозрачном легком воздухе!.. Как ясно было светлое, чистое, бледно-голубое небо!

Федя перешел на теневую сторону, где длинное, крашенное коричневой масляной краской тянулось двухэтажное здание гимназии. Сердце его билось, каждым нервом молодое тело чувствовало красоту весны и солнца!

Он вошел в ворота, а за ними в дверь налево. По темному коридору, мощенному каменными плитами, Федя прошел в раздевальную, где настежь были открыты двери на просыхающий гимназический двор с большим старинным садом позади.

Было очень соблазнительно пройти на двор и в сад, где широкими стволами чернели липы и дубы, помнившие Петра Великого, но Федя удержался. На вешалках висело несколько серых с синими петлицами пальто и синих с белыми кантами фуражек, и по номеркам, на которых они висели, Федя сообразил, что Теплоухов и Лисенко, главные распорядители крестного хода, были в гимназии.

Повесив фуражку на 77-м номере, уже четвертый год его, Федином, номере, Федя вышел к главному входу. Там у стеклянного внутреннего тамбура дремал старый швейцар Сидоров в синей ливрее, с очками на носу и с газетой в руках. Подле него на столике лежал большой медный колокол, в который Сидоров звонил при начале и конце каждого урока.

Две белых колонны дорического стиля открывали широкую лестницу, ведущую одним маршем к площадке с круглыми часами и окнами вверх. От площадки лестница раздваивалась и шла двумя маршами во второй этаж, где был балкон над лестницей с двумя колоннами, а справа и слева темнели высокие узкие коридоры.

Лестница, скучная, полная надоевших воспоминаний в будние дни, теперь была радостно залита золотыми лучами, в которых дрожали и переливались искорками пылинки.

Окна были открыты, и на лестницу вместе со свежим воздухом врывались веселые шумы улицы: дребезжание колес по мостовой, цоканье подков, звонки конок и стройный гул живого большого города.

Церковный колокол медленно и однообразно, по-величественному звонил на дворе.

И в каждом этом звуке, в сиянии солнечных лучей, таких особенных, светло-золотых, несмелых, но уже радостных, в запахе весны, в ликовании своего сердца, в своем синеньком мундирчике со светлыми пуговицами — Федя остро, до сладкой боли в сердце чувствовал, что наступили особенные дни. Не простые первые числа апреля, не среды, четверги и пятницы, каких много бывало в его жизни, а дни какого-то томного, страстного напряжения, ожидания радости, дни веры и сладостного общения с великой страшной, но и прекрасной тайной, и так же, как он, чувствуют, теми же мыслями думают, ту же великую радость ощущают миллионы и миллионы людей по всему свету, так думают, чувствуют, дышат, радуются, глядят на все, что происходит кругом, слушают и царь во дворце, и бедняк в хижине... Все... все...

Федя, шагая через три-четыре ступеньки, одним духом взбежал по лестнице.

В коридоре, сумрачном и важном, с высокими белыми дверями, где стекла замазаны белой краской, с синими вывесками и золотыми надписями «4-й класс», «2-е параллельное отделение 3-го класса», на Федю набежал маленький светловолосый второклассник Забайкин с бледным, покрытым веснушками лицом и взволнованно сказал:

— Наконец-то, Кусков!.. Я так боялся. Вдруг не придете... Что тогда!

— Виноградов здесь? — спросил Федя.

— Мы оба ассистента здесь, — важно сказал Забайкин, напирая горделиво на слово «ассистент».

Он и Виноградов должны были со свечами в мельхиоровых подсвечниках идти по сторонам Феди, освещая образ.

— «Часы» отошли уже, — повисая на руке у Феди, верещал Забайкин, поднимая к Феде свою умильную рожицу, — седьмой класс разбирает хоругви. Там и Лисенко. Теплоухов сейчас будет устанавливать крестный ход. Митька прошел через физический кабинет. А вас все нет и нет.

Двусветный длинный зал с паркетными полами и окнами на Ивановскую и на малый церковный двор гудел голосами. Двое первоклассников, взявшись за руки и подогнув ступни, скользили по паркету на боку подошвы, как на коньках. Гулко звучали голоса. У стеклянных белых дверей с занавесками синела толпа гимназистов. Над их темными и русыми круглыми головами, как луна над тучами, поднималось толстое, пухлое, румяное, веселое лицо высокого Теплоухова. Он по маленькой бумажке вызывал гимназистов.

— Бойков! — с фонарем. Из алтаря через зал по кори-

дору вниз, в нижний зал, лазарет, во двор и через спальни сюда. У двери кабинета стой!.. Лицом в зал. Петровский с запрестольным крестом за Бойковым и по бокам новые малиновые хоругви. Лисенко, ты готов? Давай хоругви!

Двери физического кабинета раскрылись, и, нагибая тяжелые хоругви, показались рослые пансионеры Гатчинцы, отличавшиеся от коренных гимназистов серыми штанами, здоровым телосложением и румяными лицами. С ними шел высокий худощавый гимназист с белыми волосами и плоским лошадиным лицом — Лисенко.

— Митька идет сзади,— шепнул он Теплоухову.

За темно-малиновыми, шитыми золотом хоругвями показалась толстая круглая фигура в черных брюках, синем жилете с золотыми пуговицами, с накладными орлами и цепочкой поперек живота, в синем вицмундире фраком с длинными фалдами. Бледное лицо с небольшими усами и маленькой бородкой строго смотрело па шаркавших и кланявшихся гимназистов.

Это и был «Митька» — Дмитрий Иванович Соловьев, инспектор классов и преподаватель латинского языка, мучивший гимназистов красотами Саллюстия, Цицерона и Овидия.

— Продолжайте! Продолжайте, господа,— сказал он и встал возле кафельной четырехугольной печи по правую сторону дверей, заложив руки за фалды вицмундира.

IV

После репетиции крестного хода участники его с шумом, криками и визгом разбежались по залу и коридорам, пронесли ураганом по лестнице и исчезли в прихожей, во дворе, в саду, на улице. Остались только Теплоухов, Лисенко и Федя.

— Ну, пойдемте,— сказал, глядя на часы, Теплоухов,— сейчас без четверти двенадцать, а с двенадцати исповедь.

Через физический кабинет, посередине которого на большом столе стояла электрическая машина со стеклянным колесом и блестящими медными столбиками с шариками, а в углу, где закрытый темной материей притаился скелет, в стеклянных шкафах заманчиво блестели винтами и поршнями паровые машины, паровозы, спирали и насосы, все трое вошли в притвор. В притворе, против входа, на стене висели две иконы: тот образ в серебре, который в крестном ходе должен был нести Федя, и образ Двенадцати Праздников. Перед

ними стояли высокие паникадила на витых столбиках. Лисенко попрощался с Теплоуховым и Федей.

— Ну, я пойду,— сказал он, накидывая на плечи шинель.— В два часа подменю вас.— Он спустился по церковной лестнице, шедшей из притвора. Гимназистам было запрещено ходить по ней.

И снизу он смело крикнул Теплоухову:

— Обедаем в Амстердаме.

— Ладно,— сказал Теплоухов.

Федя с уважением посмотрел на него. «Быть таким, как он! — думал он.— Ходить в Амстердам, трактир на Загородном, играть на бильярде и никого не бояться. Ни классных надзирателей, ни учителей, ни самого Митьки». Про Лисенко рассказывали, что, когда он играл на бильярде в Амстердаме, туда вошел Березин, учитель географии. Лисенко не растерялся, подошел к нему и сказал: «Иван Павлович, не сыграем ли в пирамидку?..» — Березин так растерялся, что покорно взял кий, и Лисенко его обыграл.— Вот это люди! Это действительно люди!"

В церкви батюшка, отец Михаил Ильич Соколов, с высоким лбом и большой лысиной, с красивым бледным лицом, обрамленным широкой русой бородой-лопатой в мелких завитках, в лиловом подряснике с золотым наперсным крестом, разговаривал с двумя дамами. Одна, постарше, в темных седеющих волосах, накрытых маленькой шляпкой, в платье с небольшим турнюрком, другая, ее дочь, очень хорошенькая, со свежим лицом с синими глазами, деловито обсуждали что-то с батюшкой.

Федя знал их. Это были артистки Императорского Александрейского театра Читау I и Читау II, прихожанки гимназической церкви, ежегодно из скудных своих достатков убиравшие плащаницу живыми цветами.

Федя гордился, что он их знал и что они приветливо кивали ему, отвечая на его поклон. Он чувствовал себя выше, значительнее, как будто бы он был причастным и к самому театру, где он бывал редко и который казался ему особым волшебным миром...

У Феи никакого дела не было в алтаре, но ему так хотелось пройти мимо Читау, что он пошел по церкви, поклонился батюшке и дамам, по синей ковровой дорожке прошел за железную решетку, поднялся на амвон, с деловым видом поправил свечку у образа Богоматери, плотнее прикрыл дверь со светлым ангелом в голубых одеждах и с веткой белых лилий в руке и заглянул за ширмы, на клирос. За ширмами был поставлен аналой и подле него табуретка с сереб-

ряным блюдом для свечей и денег. Феде почудилось, что за ширмами еще веют тайны отпущенных грехов. Он стыдливо отвернулся и сконфуженной шаркающей походкой вернулся к Теплоухову, открывшему свечной прилавок и кассу.

— Ну, чего ты,— сказал Теплоухов.— Тоже влюблен?

Вся первая гимназия поголовно была влюблена в Читау II.

Федя грустно покраснел, но ничего не сказал.

— Она хорошая. Очень хорошая,— задумчиво сказал Теплоухов.— И на актрису не похожа... Совсем не похожа... Порядочная женщина... Она и Марья Гавриловна. Прелесть что за барыньки. Марья Гавриловна сегодня исповедоваться будет.

— Савина...— задыхаясь и еще больше краснея, сказал Федя.— Теплоухов, будьте таким хорошим, устройте, чтобы ей свечи продавал.

Теплоухов улыбнулся.

— Хорошо,— сказал он.— Если Митька не придет. А вы мне за то... как домой пойдете... булку с вареньем принесите... малиновым... или с сыром...

Если Читау казались Феде особенными женщинами, то Марья Гавриловна Савина, бывшая в зените своей славы, рисовалась Феде уже и не женщиной, а божеством, с одной из тех богинь, что сидели на Олимпе и о ком в перерывах между изучением таблицы неправильных глаголов любил рассказывать «грек» Эдуард Эдуардович Кербер.

Восторженное поклонение Савиной у Феде увеличивалось тем, что Марья Гавриловна жила в том же доме, где жили Кусовы, только с улицы, что у ней был красивый бородач кучер и нарядные серые рысаки и что окно комнаты, занимаемой Федей и Мишей, выходило как раз на второй двор, где были экипажные сараи и конюшни. Часто, отбросив латинскую грамматику, Федя сидел у окна, прильнув к стеклу, и смотрел, как запрягали серых рысаков. Сначала в красной рубашке, жилетке и черном картузе выходил Яков, конюх. Он распахивал обе половинки больших крашенных буровой охрой ворот, и Федя видел в сумраке сарая блестящий кузов черной кареты с фонарями в мельхиоровых рамках, широкие сани в глубине, а на воротах, с внутренней стороны, на деревянных крюках висевшие хомуты и сбрую из тонких ремешков с серебряным набором. Яков обтирал тряпками экипаж и сани, чистил сбрую и уносил ее в конюшню. Когда открывалась маленькая дверь конюшни, оттуда валил пахучий пар. Федя открывал форточку, чтобы не только видеть, но слышать и чувствовать всю церемонию за-

пряжки. Доносилось ржание, храп лошадей, топот по деревянному настилу и отпругивание Якова. В это же время появлялся и кучер. Он уже был в кучерской шапке, треухе с темно-синим бархатным верхом, в черных валенках и бархатных шароварах, но еще в рубашке и жилетке. Он выдвигал на середину сарая сани, откатывал вглубь карету и хозяйским взглядом окидывал их, потом клал белые широкие вожжи на передок. Сейчас же появлялся Яков с правым жеребцом. Расчесанные гривы и хвост лежали волнами и казались чеканными из серебра, шерсть в серых яблоках блестела на солнце, копыта были вычернены. Танцую на короткой уздечке, жеребец шел рядом с Яковым, непрерывно отпрукивавшим его. Обмениваясь короткими словами, Андрей и Яков, больше Яков, устанавливали жеребца и привязывали его длинными ремнями к кольцам, ввернутым в кирпичную стену сарая у ворот, и Яков бежал за вторым.

Когда лошади были готовы, кучер начинал с помощью Якова медленно облачаться в широкий синий кафтан со многими сборками сзади. Стройный, сухощавый и красивый, Андрей обращался в малоподвижного, громадного, толстого великана, около которого суеился Яков, застегивая сбоку круглые пуговицы, расправляя складки и укручивая его длинным белым кушаком. Андрей с помощью Якова садился в узкий передок, Яков вставлял его ноги в ременные стремена и оправлял полы кафтана.

— Ту-тпру! — неслось из сарая. — Но! Балуй, милый. Ту-тпру-у!.. — Лошади беспокойно топотали. И Федя слушал это, забыв все на свете, как лучшую музыку.

Андрей беспокойно оглядывался.

— Готово, что ль? — спрашивал он.

— Готово, Андрей Герасимович.

Андрей снимал шапку, истово, долго крестился, надевал большие белые перчатки и важно, на «вы» говорил Якову:

— Пушайте.

Яков отстегивал ремни от удил, и жеребцы дружно, стуча по дереву спуска, кидались вперед и сейчас же, сдержанные Андреем, становились на легкий танцующий шаг, храпели и фыркали, пуская из ноздрей клубы пара. Яков с гривомочкой и опахалом из конского волоса бежал сбоку и устраивался на полозе.

Федя, если отца не было дома, бежал в его кабинет и оттуда смотрел, как по двору легкой рысью проезжали в ворота сани.

Голубая сетка прикрывала крупы и хвосты. Большие тяжелые кисти волочились по снегу. Медвежья полость тяжело

лежала на сиденье, и сани оставляли за собою тонкий, блестящий, синеющий след. Лицо и вся фигура Андрея были важны, точно изваяны из камня, Яков, презирая мороз, стоял на полозе в одной рубашке и жилетке и на руке у него как атрибуты власти висели гривомочка и хвост, а у Феди стояло в ушах грозно-ласковое: ту-трпу! Ту-трпу!..

— Марья Гавриловна, что ль, кататься поехала? — спрашивала его в гостиной тетя Катя.

— Да,— неохотно отвечал ей Федя.

Ему не хотелось говорить и пустыми будничными словами разрушать все величие виденного. Хотелось надолго сохранить в памяти зрелище прекрасных серых лошадей и запомнить все подробности их запряжки.

— Ну, дай ей Бог здоровья,— говорила тетя Катя.

Саму Марью Гавриловну Федя на сцене видел всего два раза. Запомнился четкий, такой, что каждая буква была слышна на третьей скамейке балкона, где сидел Федя, голос, чуть в нос, какой-то удивительно ласковый, проникающий в душу. Каждое, самое простое слово в ее устах было полно значения. И Федя все позабыл и не сводя глаз с худощавого, бледного лица в рамке густых темных волос.

Актриса... Известность... Знаменитость... Тайна сцены и кулис, неясная, недоступная его детскому пониманию, какая-то удивительная жизнь на квартире «с улицы», с мраморной лестницей со швейцаром, и обладание этими великолепными рысаками были непостижимы для Феди.

Федя и вообще любил животных. Но эти серые вложили в него страстную любовь к лошадям. У Дациаро, на Невском, он увидел большую фотогравюру, изображавшую серого рысака, ну точь-в-точь, как у Савиной. Под изображением была подпись: «Мировой, завода Ванюкова». Гравюра в узком темном багете стоила пять рублей, сумма грандиозная по Фединому бюджету, но Федя скопил ее и купил «Мирового».

Ни на улице, ни в церкви Федя близко не видел Савиной. Раз видел, как обогнали его знакомые серые рысаки, запряженные в карету с Андреем на козлах. В сумерках зимнего дня увидел Федя в окно кареты маленькую фигуру, зябко кутающуюся в меха, и рядом какого-то плотного господина в черном цилиндре, и он механически возненавидел этого господина за то, что он сидел рядом с той, кто казалась ему такой особенной и необычайной.

Сейчас Марья Гавриловна придет сюда, спустится из волшебного своего мира и предстанет перед Федей, и он вручит ей свечку... Боже, какое счастье!

Как медленно подвигались к двум стрелки круглых деревянных часов!.. Как уныло, лениво тикали! Противные!..

По лестнице поднимались исповедники и исповедницы. Отец дьякон в углу за столом записывал исповедавшихся и принимал заказы на просвирки и поминания. Теплоухов продавал свечи и отсчитывал сдачу. Савина не приходила.

Все шли какие-то неинтересные, совсем ненужные люди. Старушка в салопе и большом чепце, нагнувшись к Теплоухову, расспрашивала его, когда и какие будут службы и будут ли петь «разбойника благочестивого» гимназисты или певчие из Казанского собора.

В храме, прорезанном косыми лучами солнца, клубился золотистый сумрак и гулко отдавались шаги. Две дамы у правой стены под образом «Всех Праздников», где в золотых квадратах были вставлены все двенадцать праздников Господних, оживленно шептались. Худенькая женщина сидела у железной решетки, и, держась за спинку ее стула, стоял высокий господин в длинном черном сюртуке. Молодой офицер в серой шинели стоял сбоку, и тихо позванивали шпоры, когда он переминался с ноги на ногу.

С клироса от поры до времени доносился негромкий возглас священника:

— И аз, недостойный иерей, властью, данною мне от Бога, прощаю, разрешаю... имя как?

Савиной все не было.

Исповедь кончалась. Новые исповедники не подходили, храм пустел.

Ушел офицер, расцеловавшийся с Теплоуховым. Он был гимназистом их же гимназии и товарищем Теплоухова. Ушли обе дамы и господин, в церкви оставались только два подростка, девочки гимназистки в коричневых платьях, то злобно шептавшиеся друг с другом, то бухавшиеся на колени и колотившие лбом о пол.

— Ну, Кусков,— сказал Теплоухов,— вы побудете до конца, а мне идти надо. Конторку закроете вот этим ключом, а ключ отдадите отцу дьякону. Запись делайте на этом листке.

И, пожав мягкой рукою руку Кускову, Теплоухов спустился по церковной лестнице.

«Вот так всегда мне,— думал Федя.— Не везет и не везет. Ну почему она не приехала? Ну что могло ей помешать!»

И только подумал, как загревели по камням мостовой колеса, забили копытами лошади и затихли у крыльца. Федя

почувствовал, как пот выступил у него на лбу под выющими кудрями.

По лестнице поднималась одетая во все черное, среднего роста стройная женщина. Маленькая кружевная шляпка с темными вишнями, наколотая на волосы, оставляла открытым лоб, на который была спущена ровная прядка волос. Черная вуаль чуть тушевала ее лицо, и из-за мушек вуали таинственно мерцали большие глубокие глаза.

Она неторопливо подошла к прилавку, долго искала в сумке, вынула кошелек из колочек и, подавая серебряный рубль, сказала: — Свечку в рубль...

Федя дрожащими руками подал большую толстую свечу.

— Благодарю вас,— сказала она, прошла в церковь и стала прикладываться к иконам.

Федя оглянулся, как вор. Никого не было. Отец дьякон, мурлыкая под нос «Благослови душе моя», переписывал в книгу какой-то листок.

Федя быстро опустил рубль, данный Марьей Гавриловой, в карман. «Выпрошу у мамы,— подумал он,— и в четыре часа приду и пополню. Этот рубль буду хранить всю жизнь... всю жизнь!..»

Полным обожания взглядом он следил за Савиной. Она вернулась в притвор, сняла накидку, повесила на вешалку рядом с пальто дьякона и опять пошла в церковь.

Вторая девочка кончила исповедоваться и вышла, громко всхлипывая. Марья Гавриловна исчезла за ширмами. Федя обратился в слух. «Какие грехи могли быть у нее? Что мог говорить ей, склонившись к кресту и раскрытому Евангелию, отец Михаил?» В церкви было тихо, но из-за ширмы не доносилось ни шепота, ни звука. Гремела за окном конка, и бойко стучали по мостовой лошади. Откуда-то издалека раздавался мерный, редкий барабанный бой: «там, там, там-та-там» — на Семеновском плацу учились солдаты. Чирикали у окна воробьи, точно ссорились из-за чего-то. И вдруг четко пронеслись через церковь слова священника:

— Прощаю, разрешаю рабу Божию Марию...

И поспешно, маленькими шагами, прошла Марья Гавриловна к отцу дьякону и, склонившись к его уху, диктовала ему так, что ничего не было слышно.

По лестнице, сопя, поднимался Митька.

Он поцеловал руку у Савиной и, улыбаясь, сказал:

— Опять у нас, Марья Гавриловна?

— Да, я очень люблю, как у вас служат, и хор такой прекрасный. Вы, Дмитрий Иванович, его удивительно поставили.

— Голоса в нынешнем году,— слегка на «о» проговорил Митька,— не ахти какие, однако ансамбль достигнуть удалось. Дубинин ушел, нету баса хорошего, но, между прочим, завтра обещал приехать. «Разбойника» будет петь трио... Вы пожалуете на Двенадцать Евангелий?

— Да... вероятно.

И она исчезла на лестнице.

Федя уже был у окна. Он видел, как Андрей подал серых, как открылась дверца и Марья Гавриловна села в маленькое купе.

И то, что Марья Гавриловна из дома, до которого было каких-нибудь триста шагов, приехала в карете, казалось Феде знаменательным и важным. Так и должно было быть. Артистки не ходят пешком.

Серебряный рубль болтался у него в кармане и наполнял все его существо счастьем.

VI

Дома, в столовой, красили яйца. На большом обеденном столе, накрытом темной клеенкой, потрескавшейся и облупившейся на углах, на доске, стояла медная кастрюля. Из кастрюли шел пар. Подле, в стаканах, была разведена синяя, коричневая, красная и зеленая краски и Варвара Сергеевна, тетя Катя и Миша ложками ловили яйца из кастрюли и погружали их в краску, а потом клали на опрокинутое над круглым блюдом решето. Липочка, голубоглазая девочка, в коричневом гимназическом платье, с mademoiselle Suzanne, сухощавой, очень тонкой, недурной француженкой, с бледным лицом и громадными, глубокими, в темных веках глазами, развязывали закутанные в тряпки яйца. То и дело раздавались ликующие восклицания Липочки:

— Ах! Посмотри, мама! Какая прелесть! Твое кружево на темно-розовом фоне! Каждая нитка узора отпечаталась!

— Покажи! Покажи, Липа,— говорила тетя Катя.

— Epatant! — воскликнула Suzanne.

— N'est ce pas? Mademoiselle? * — говорила Липочка.— Или вот это? Зеленое с розовыми цветочками. Какая прелесть! Этим, мама, я с тобою похристосуюсь.

У окна, разложив акварельные краски, сидела красивая, тонкая, с осиной талией Лиза Иловайская, дочь папиной сестры, двоюродная сестра Феде, и рисовала на яйцах цветы,

* Восхитительно!.. Не правда ли?

маленькие ландшафты с избушками и тополями и птичек.

Ипполит, в синем гимназическом мундире, с заложенной пальцем книгой в правой руке, ходил взад и вперед по столовой мимо большой, изорванной по краям карты Европы и спорил с Лизой о превосходстве живописи над литературой.

— Ну что ты, Ипполит,— отрываясь от рисунка, щуя прекрасные глаза, сказала Лиза и, откинув назад точеную головку, посмотрела на яйцо.— Точно нарочно... Литература дает нам не только краски и неподвижные маски лиц, но рисует движение людей и вскрывает самые их души. Мы живем с ними. Мы чувствуем воздух, которым дышат эти люди, мы знаем, что они думают. Мы страдаем и наслаждаемся с ними. Когда я читала в «Войне и мире», как визжала Наташа Ростова от восторга, мне казалось, что я сама сейчас стану визжать... Или когда Коля сломал ключик папиной шкатулки в «Детстве»? Нет, Ипполит, это ты только чтобы подразнить меня.

— Что осталось от писателей! — говорил Ипполит ровным голосом.— Истлевшие пергаменты на неведомых языках. Мука гимназистов и выдумки ученых... А статуи Древнего Рима и Греции, фрески Помпеи, картины Леонардо да Винчи, Рафаэля — стоят перед нами как живые. И если быть бессмертным, то надо быть не писателем, а художником, скульптором или архитектором...

— Ах, Ипполит! Ты это, чтобы злить меня. Ты знаешь мою страсть читать. Мою любовь к писателям.

— Да что ты читаешь, Лиза, страшно сказать. Набиваешь голову вздором... Ну, а Шопенгауэра прочла?

— Не могла, Ипполит. Ску-ка... Не понимаю.

— Обидно, Лиза. Если не вдумываться в творения философов, никогда не понять жизни.

Федя, румяный, счастливый похищенным рублем Марьи Гавриловны, сидел в стороне за маленьким круглым столом, где мать приготовила ему булку с вареньем. Две заботы томили его: как унести незаметно булку, которую он обещал отдать Теплоухову, и как выпросить у матери рубль так, чтобы братья и сестры не слышали.

Он следил за братом, ходившим по комнате, и думал: «Какой Ипполит умный, недаром первый ученик. Куда мне до него!» И ему страшно хотелось тоже войти в спор и сказать, что если есть в мире занятие, достойное бессмертия, то это, конечно, только драматическое искусство. Он прицеливался, когда вступить ему в разговор, наконец с размаху ляпнул и мучительно покраснел:

— Ну, уж сказал тоже! Рафаэль, Леонардо да Винчи! Смотрел я их... Ничего интересного. Новые художники лучше.

— Молчи, Федя,— сказала Лиза.

— Засохни! — сказал Ипполит.

— Ну, конечно, так... Есть один художник и художник этот — Верещагин.

— Да, если хочешь,— вскидывая головою, чтобы откинуть длинную прядь черных волос, упрямо лезшую на глаза, сказал Ипполит,— потому что он выступил одним из первых среди художников с проповедью против войны.

— Против войны,— протянул Федя и свистнул,— сказал тоже.

— Не свисти, Федя,— сказала Лиза,— ты не на конышне.

— Не помнишь разве?.. Это поле битвы, уложенное бесконечными рядами мертвых тел, и одинокий священник в черной ризе с кадилом и солдат, поющий панихиду... Какое отчаяние в этой картине. Не правда ли, Лиза? — сказал Ипполит и остановился подле двояродной сестры.

— Ах, какое сильное впечатление оставила во мне эта картина,— отрываясь от завернутых в тряпки яиц, сказала Липочка.— Мы смотрели, когда его картины выставлены были первый раз на Фонтанке у Симеоновского моста.

— Еще первый раз горели электрические фонари Яблочкова. Матовые такие, в проволочных сетках, тихо шипели,— вставил Федя.— И все кругом ходили и повторяли два имени: Верещагин и Яблочков. Два русских имени! Как я гордился тогда, что я русский!

— Федя, ты глуп! — сказал Ипполит.— Этим нельзя гордиться.

— Сказал тоже,— воскликнула Лиза... Да тебе-то что тогда было? Одиннадцать лет! Пузырь! Много ты понимал в живописи.

— А помнишь, Лиза, тут же: поле, стулики на нем, великий князь и свита в бинокли смотрят на Плевненский бой. Холеные, чищенные... погоны, аксельбанты блестя... Как глупо воевать при таких условиях! Одним смерть и одинокая могила, другим праздник и пиры.

— А что же, великому князю лезть в самую сечу боя? — сказал Федя.

— И конечно лезть,— горячо сказала Лиза.— Если все, то и он.

— Тогда всех великих князей перебьют,— сказал Федя.

— И отлично будет,— сказал Ипполит и снова начал хо-

дять.— Никогда, Федя, не лезь в разговор, которого не понимаешь. Ты отвлек нас от спора с Лизой.

— Знаем мы эти споры. Просто — *cousinage dangereux voisinage!* *

— Что ты сказал? — краснея крикнул Ипполит и пошел к Феде.

— Что! Ничего!.. Это не я сказал. Это папа сказал... Я только перевел: кузинство большое свинство! — прыгая между стульев и высовывая язык, прокричал Федя и бросился из столовой.

— *Laisser le,*— сказала *mademoiselle Suzanne,*— *il est tres stupide* *. Очень дерзкий мальчик.

— Мама, уйми своего любимчика. С ним совсем сладу нет,— сердито сказал Ипполит.

Варвара Сергеевна краснела пятнами, но ничего не говорила. Она чувствовала, как с приездом Лизы в доме установилась любовная атмосфера. Ипполит и Лиза постоянно умно спорили, Липочка стала доверенной между ними, André замкнулся с Suzanne, играет по ночам на скрипке, вызывают духов, верят в спиритизм, показывали ей какие-то следы на шкафу на пыли и уверяли, что это следы духов. Федя дразнил их, Миша хмурил брови и говорил, по-детски топыря губы: «Ничего не понимаю. Все вздор».

Дети росли и были слишком развиты для их лет. Она в эти годы в куклы играла и мечтала о танцах, все равно с кем...

VII

В этот день вечером уже в половине одиннадцатого Варвара Сергеевна в белом ночном чепчике, в кофте и рубашке, в суконных туфлях на босу ногу, с заплетенными в маленькие косички волосами, совсем готовая ко сну, стояла на коленях на коврик перед большим киотом с лампадкой и горячо молилась. Ее постель, отделенная обтянутыми зеленым деревянными ширмами от половины девочек, ожидала ее. У окон, с опущенными прямыми белыми шторами, в мутном свете белой ночи, мягкими силуэтами рисовались две черные фигуры.

Лиза полулежала на своей постели, облокотившись на большую подушку. Темные волосы ее, спереди и с боков в

* Двоюродное родство — опасное соседство.

** Оставьте его. Он очень глуп.

бумажных папилютках, волнистыми змеями спадали на подушку, большие глаза были широко раскрыты, она тихим голосом рассказывала про Кусовку, про старый кусковский дом в Раздольном Логе и про предков Кусковых.

Липочка, в длинной простой ночной рубашке, с небольшой прошивкой у ворота, с белой ленточкой, опустив стройные ноги на ковер, сидела на постели Лизы.

Из всей семьи только она интересовалась историей рода Кусковых. Братья были холодны к прошлому. Для них жизнь начиналась с их рождением и оканчивалась со смертью. Они не верили «во все это». Все эти дворянские побрякушки рода, гербы и родовые книги, вензеля и короны казались им вздором, и они предпочитали помалкивать о том, что они дворяне Кусковы. Они смеялись над Липочкой, старавшейся вызнать у матери — отца она боялась, — и у Лизы все подробности их прошлого.

Ни она, ни братья не были в Раздольном Логе. Они родились в Петербурге, на Кабинетской улице и каждое лето ездили только на дачу то в Мурино, то в Коломяги, то на Лахту. Их кругозор не шел дальше ближайших окрестностей Петербурга.

Лиза не была Кусковой. Но она родилась в Раздольном Логе, где одинокой «степной барышней» жила до замужества ее мать и где она познакомилась с Иловайским. В Раздольном Логе, полном таинственных шепотов прошлого, протекли детство и юность Лизы, там умерла ее мать и без вести пропал отец, оттуда деревенским дичком, красавицей, с хорошим голосом, точно благоухающей степными травами, два года тому назад привезли четырнадцатилетнюю Лизу и она поступила в гимназию.

В петербургской квартире Кусковых все было прозой. Дом был новый, от него не веяло стариной. André искал в нем духов, но и духи-то являлись какие-то чужие, не кусковские... По описаниям Лизы, в Раздольном Логе все было другое, все было полно таинственными жуткими шепотами старого сада, задумчивой левады и степными дикими ветрами. Жутью веяло, когда рассказывала Лиза о том, как совершенно одна, сумасшедшая, умирала в старой бане в глухом углу сада их бабушка Софья Адольфовна, знатная курляндская баронесса, когда-то красавица, перед которой увивался в Петербурге двор и которая кружила голову императору.

— Я застала Софью Адольфовну уже восьмидесятипятилетней старухой. Она не жила в доме, — говорила Лиза, глядя на стену, на которой в ореховых рамочках висели ста-

рые выцветшие портреты-дагерротипы отцов и дедов. — И такую нарядною старухою с седыми локонами, спускающимися к ушам, я ее не помню. В глубине сада, где густо разрослись малинник и крапива, где вдоль дорожек ползла цепкая ежевика, стояла окруженная старыми тополями, черная прокопченная баня. Окна маленькие. Чуть не во всю комнату большая печь с толстой кирпичной беленой трубою и широкой лежанкой. На лежанке, в куче тряпья и подушек с красными и синими углами, закутанную в истлевший лисий салопчик, крытый когда-то голубым шелком, тканым серебром, я и увидала первый раз бабушку. В бане было темно и душно. Пахло мятой и калуфером. К этому запаху примешивался терпкий запах березового бальзама, которым бабушка натиралась от ревматизма. Бабушка сидела на печи. Перед нею приклеенная прямо к кирпичам горела восковая свеча. На коленях у нее лежала большая, больше пол-аршина в длину, толстая, тяжелая книга в кожаном переплете с большими немецкими готическими буквами. Бабушка была немка, лютеранка. Она все читала библию и ждала пастора. «Придет пастор, — говорила она, — тогда и умру, а пока пастора не будет и умирать не желаю».

— Дождалась она пастора? — спросила Липочка.

— Нет. Однажды, зимою, ее нашли сидящей согнувшись над книгой. Свеча догорела в ее руке, и пальцы, державшие остаток фитиля, были обуглены. Она была мертва... С той поры она ходит и ходит и все ищет пастора. Страшными воробыиными ночами ее видели в саду... А то она проходила по комнатам старого дома и половицы скрипели под ее медленными шагами. В белом ужасе зимней вьюги, когда снеговые вихри мечутся по двору, видели, как она вышла из людской и прошла в главный флигель. В правой руке она держала библию, в левой зажженную свечу и пламя свечи не трепыхалось от ветра.

— Ты видала ее когда-нибудь? — с дрожью в голосе спросила Липочка.

— Нет, я никогда не видала ее призрака, — просто ответила Лиза.

— Но ты веришь, что он есть?

— Ты, Липочка, вряд ли поймешь... У вас в Петербурге все просто и отчетливо, — даже духи Andre и Suzanne, а пожила бы ты у нас — поверила бы во все. С середины ноября навалит снегу аршина на четыре. Все утонет в снегу, дом замрет. Топлива мало. Мы соберемся в две угловые комнаты подле кухни, и весь дом стоит пустой. Такой пустынный — наш громадный зал с длинным дубовым столом и стульями

с высокими спинками. На стене лепной герб рода Кусковых, раскрашенный красками, и амуры и нимфы поддерживают его. Ледяной воздух неподвижен. В многостекольные окна, сквозь морозный узор, темным кажется засыпанный снегом сад. И даже днем и не одной страшно идти по залу. Скрипит старый пол. Вдруг треснет что-то сзади и эхом отдастся под потолком. Слетит с люстры ком серой паутины и медленно припорхнет к самому лицу... — Липочка поежилась плечами и, приподнявшись, села на подушку. — Все кажется: задвигаются стулья и невидимые гости встанут из-за стола. Раз нашли на столе горку табачного пепла, выбитую из трубки... Это уже было тогда, когда кроме мамы да папы никого не было. А папа не курил...

— Кто же оставил? Верно, сторож, — с тревогой в голосе спросила Липочка.

— Да, не так просто это, Липочка. Откуда взяться сторожу, когда весь дом заколочен? А ночью поднимется в степи вьюга. Все исчезнет в молочном тумане. Мы в нем одни, отрезанные от слободы, от всего живого. И вдруг, в шуме вихрей, когда снег точно пальцами колотит в стекла дома, что-то треснет в зале, бахнет и бах, бах, бах, пойдет трещать, стрелять и шуметь по всему дому... Или напротив. Кругом так тихо, тихо. Синее небо осыпано звездами. Полный месяц висит неподвижно. Сад в снеговом уборе застыл, ни одна снежинка не упадет с сучьев. Откроешь окно и слушаешь... И ждешь... Нигде даже собака не залает. Пахнет снегом, морозом... И вдруг начнет надоедно в ушах звенеть. Точно время идет и слышно, как оно идет... Ах, как тоскливо станет на сердце! Мы трое — мама, она умирала тогда от чахотки, папа и я, мне было тринадцать лет, — сидим, закутавшись, у открытого окна. Мама не спала по ночам. Все просила воздуха. И Боже, как гнетет эта тишина, безлюдье, как страшен снег, что словно тюремщик стережет нас. Ну как не поверить в бабушку, в домового, в русалок?.. — Лиза опять поежилась плечами. Липочка теснее прижалась к ней и положила ей голову на грудь.

— А отчего бабушка сошла с ума? — спросила она.

— Очень тяжелый был характер у дедушки.

— А кто был дедушка?

— Дедушка был знатный вельможа, приближенный императора Николая Павловича. Он хотел, чтобы его дети служили при дворе, в гвардии, чтобы они были блестящими продолжателями рода. Ты знаешь сама... Дядя Сергей был сослан молодым за участие в заговоре декабристов, женился в Сибири на дочери купца и не вернулся домой. Моя мама

долго выезжала в Петербурге, но не могла найти жениха. Все боялись бабушки, и мама, а она была красавица, уехала в Раздольный Лог с бабушкой и вышла замуж уже старой девой. Твой папа — профессор, и дедушка скрепя сердце примирился с этим лишь потому, что он лицеист. Дядя Вася женился двадцати лет на хохлушке-крестьянке, дедушка его проклял, и дядя Вася пошел солдатом на Кавказ и там погиб. Дедушка с бабушкой и с моей матерью приехали в Раздольный Лог. Дедушка вышел в отставку, брюзжал на всех, потом стал читать Евангелие, вдруг продал имение крестьянам, наполнил карманы золотыми имперьялами и стал ходить по слободе и хуторам, раздавая золотые монеты бедным. Один раз, раздав все золото, он зимою встретил нищего, у которого ничего не было. Дедушка снял кафтан, сапоги, подумал немного, снял рубашку, отдал нищему, надел на себя его рубище и так вернулся домой... Я помню: у дедушки в кабинете в шкафу столбиками стояли золотые монеты. Помню, как продавали лошадей, скот... Однажды дедушку нашли в степи с перерезанным горлом. Кто-нибудь польстился на его золотые. Вот тогда и помешалась бабушка...

Липочке жутко слушать страшную сказку ее рода. Двадцать, тридцать лет тому назад в Раздольном Логe кипела жизнь. В наезды дедушки из Петербурга давались пиры, гремела музыка, в большом зале танцевали, в саду между высоких тополей взлетали фейерверки. На конюшне стояли десятки лошадей, скотный двор был полон. Крепостные слуги метались, исполняя малейшую прихоть барина. И — ничего не осталось. Где-то, стоит забытый, никому не нужный, с заколоченными окнами и дверями, дом в Раздольном Логe, и в нем не живут, потому что слишком дорого жить в собственном доме. Погибла большая красота большой и шумной жизни.

«А что если, — думает Липочка, — вот так же, таким же путем пойдет и дальше наша жизнь? Мы имеем квартиру, уют, тепло, на стенах висят старые фотографии родных и близких, мы лежим на мягких постелях, сыты, читаем книги, ходим в театр, учимся, мечтаем о каком-то прогрессе, а если все это обман и мы тем же ходом полетим назад и упадем в пропасть... Собьемся все в одной комнате, утратим красоту жизни, озвереем, одичаем, и, если бабушка кончила свои дни в холодной бане, мне, ее внучке, быть может, придется кончить в ночлежке Вяземской Лавры или под забором. Значит, не вперед, а назад? Не к солнцу и звездам, а в пропасти и пещеры? Но все у нас кругом говорят о прогрессе, о том, что все совершенствуется, о приближении золотого двадца-

того века, а где же этот прогресс? И кто же, кто выиграл от того, что погибло имущество и имение Павла Саввича Кускова?»

— Лиза,— сказала Липочка,— расскажи мне, как погиб наш дом в Раздольном Логе?

VIII

— Дедушка оставил дом моей маме,— начала Лиза, подтянула Липочку к себе и усадила на подушке.— Он очень был зол на сыновей. Дяди мои не спорили против его решения. Пока жив был дедушка, дом поддерживался, в нем оставались старые слуги и сад приносил доход. Когда дедушка умер, остались долги. Пришлось продать почти всю мебель, картины, посуду. Мы сжались в трех комнатах и с нами остались только старуха кухарка и один из старых лакеев, глухой, больной старик, который должен был сторожить дом. Потом умерла бабушка. На ее похороны ушли последние остатки наши, и самая настоящая нищета вошла в наш дом. Мы недоедали и зимой мерзли в холодных комнатах. В наших краях топят кизяком — коровьим навозом, смешанным с соломой. Но ни коров, ни соломы у нас не было и нам приходилось одолажаться у мужиков, выпрашивая топливо. Иногда давали, иногда нет. «У вас сад, чего садом не топите»,— говорили нам. Нашему саду завидовала вся слобода. Наши яблоки, груши, сливы, черешни были лучшие в окрестности, сад кормил нас, и мы знали, что крестьяне из зависти хотели загубить сад, чтобы не было больше кусковских яблок. Сад был наша святыня. Моя мама помнила, как дедушка сажал каждое дерево. Дедушка выписывал их из Крыма и из Франции. Дедушка все хотел иметь у себя лучшее: скот был племенной, лошади породистые, птица особенная, ну и деревья такие, каких до самого Крыма не найдешь. Они одичали, огрубели, переросли без ухода, но все-таки были большою ценностью. А как он был красив весною, когда оденется белыми, бело-розовыми и розовыми цветами, весь опушится нежным пухом и стоит разубраный, как невеста. И как сладко пахнет тогда в нем. Звенят и топчутся пчелы, и тихо роняет он белые нежные лепестки... Как слезы!.. В эти дни все было можно забыть... И смотришь, и дышишь, и не налюбуйешься его красотою, не надышишься сладкими запахами степной весны. Еще росли в саду большие лиловые ирисы, густая махровая белая, розовая и лиловая сирень, а летом сильно цвели громадные пи-

оны. Ну а роз было сколько, жасмина, махровой калины, ягод... Сад был наша отрада. Садом жила моя больная мама. Она лежала под яблонями, деревья роняли на нее лепестки, она думала свои грустные думы, и мама плакала... Как же было срубить такой сад!..

Лиза задумалась и примолкла. Глаза глядели куда-то далеко и блестили от слез. У Кусковых слезы были не в моде. Братья и гимназия закалили Липочку. Она не умела чувством ответить на чувство. Слов утешения у ней не было. Приласкаться она не умела.

— Кто же срубил сад? — спросила она.

— Крестьяне,— тихо сказала Лиза.

— Крестьяне? Какие крестьяне? Ваши кусковские?

— Да... Наши...

— Те, которым дедушка раздал свое состояние, те, которым отдал свою рубашку? — уже громче, волнуясь, говорила Липочка.

— Да, те самые...

— И ты все-таки их любишь?.. Ты хочешь им отдать свою жизнь?.. Зарыться в деревенской глуши?

— Я не могу осуждать их... Не они виноваты.

— Да как же не они! Они разрушили все ваше бедное счастье...

— Слушай...— и мягко звучал голос Лизы.— Зима позапрошлого года была страшно суровая. Такой зимы я не помнила. Снег выпал рано... В октябре... Слобода не успела заготовить навозного топлива, и уже в январе топить было нечем. Мерзли и мы ужасно. Но, странно, маме было как будто лучше в эти холода... Помню эту январскую светлую ночь, когда кончилось наше счастье. Было так томительно тихо в доме и в саду. По комнатам старого дома трещал мороз. И призрак бабушки метался по залу, по саду и по двору. Ее банька была разобрана нами и сожжена. У нас в этот вечер было так тепло, что стекла оттаяли и сквозь незанавешенное окно были видны деревья с их разлатыми сучьями. По серебряному снегу причудливым узором тянулись их тени. Все спали крепким сном, радуясь теплу. Стряпуха и лакей в кухоньке, папа в кабинете на диване, мама забылась у себя на кровати. Не знаю почему, но я не могла уснуть. Укутавшись маминой шалью, я подошла к окну и смотрела в сад. Он точно замер в каком-то предчувствии. Часы в кабинете пробили час, потом два, а ни одна пушинка снега не упала с сучьев. Звезды такие ясные, пересчитать можно. Мне показалось, что я сейчас увижу бабушку со свечой в руке. Темная тень метнулась между дальних яблонь. Я замерла

от страха... Я дрожала под теплым платком частою дрожью и смотрела в окно. Темная тень метнулась и исчезла. Потом появилась снова. Какой-то человек шел к дому. За ним другой, третий... Липочка, верь мне, когда я думала, что это был призрак, мне было страшно, но когда я поняла, что это живые люди, мне стало в тысячу раз страшнее. Я онемела и застыла в ужасе у окна и не могла не смотреть на них. Люди наполняли сад. Их было много. Они торопились. За ними тянулись сани, и я уже многих узнавала. Я видела Алексея, которому дедушка справил новую избу, я видела Иоську, Веденя, которые всегда пасли скот в нашем саду и портили яблони... Они шли с топорами и пилами. Они шли рубить наш сад. Я очнулась при первых звуках пилы и топора и страшно закричала. Должно быть, было что-то ужасное в моем крике, потому что мама сразу вскочила, схватилась за грудь и закашлялась кровью.

Я не могла ничего сказать и только рукой показала на окно. Мать подошла и стала босыми ногами на полу, ее голова тихо качалась спереди назад и было в этом что-то нестерпимо страшное. Что-то неживое. Долго мы стояли молча. И лишь тогда, когда большая, любимая наша яблоня, дававшая громадные темно-красные яблоки, упала, я побежала к отцу.

Он встал, трясущимися руками стал одеваться, потом велел одеться и мне, и мы вышли в сад... Он кричал, грозил, хватал за руки, отнимал топоры, угрожал судом. Крестьяне мрачно молчали и в то время, когда он боролся с одними, другие валили деревья, грузили на сани и увозили. Наконец к отцу подошел Еремей, кузнец, черный великан, страшный силач. «Одчепысь,— сказал он отцу.— Цыц! Не повинни мы сгынута через твуй сад. Як ще турбуватимешь, так оцей о секирою забью... Громада казала... Так и буде... Попанували, тай годи... Геть звидсися... Щоб и духу вашого не було...» Отец затих, сжался и пошел в комнаты. Мама, все такая же страшная, с качающейся головой, сидела у окна и смотрела, как увозили последние деревья. В мутных клубящихся туманах всходило солнце и точно сочилось кровью поруганного сада. Его лучи скользили, недоуменно оглядывая истоптанный ногами, изъезженный полозьями сад, от которого остались только сизые ветки голой сирени вдоль давно разобранного тына. С мамой сделался припадок. Мы уложили ее в постель. Надо было идти на слободу за молоком для нее. Все боялись мужиков. Наконец пошла я. В первой же хате меня встретили приветливо. У печи сбилась вся семья. Там пылал огонь. На полу лежали сучья и стволы наших

яблонь и груш — их сушили у огня. Мне дали молока, и хозяин, провожая меня, сказал: «А нам выбачайте. Не повинни же мы сгинуты через ваш сад... Выбачай, бидолахо... Сами розумием!..» Дома мама отказалась пить это молоко. Она приказала подвинуть ее постель так, чтобы было видно окно, и так все и смотрела на темные пеньки и белые раны порубленных деревьев. С полудня солнце скрылось в темных тучах, поднявшихся снизу. Стало темно. Мы не зажигали огня. Вдруг хлопнула дверь на балконе, загремело железо на крыше и закрутила вьюга. Три дня и три ночи бушевала она. И в эти дни кончалась моя мама. Не было возможности привести к ней ни доктора, ни священника, снег неся такими струями, что валил с ног, слепил глаза и нельзя было дойти до слободы. Мама умерла в тяжелых муках... Тянулась к окну, ловила воздух... Когда стихла вьюга, ее похоронили. Снег замел пни деревьев, и сани с гробом ехали по саду, как по ровному месту. Папа был как безумный. Он прожил со мною сорок дней и когда повеяло весною, снарядился по дорожному, долго крестил меня, оставил на меня стряпухе полтора ста рублей, написал дяде письмо и ушел. Больше я его не видала. Я осталась одна во всем доме со старухой и стариком. Когда в слободе узнали, что дом остался без хозяина, его стали растаскивать. Сначала тащили по ночам дверные замки, рамы, стекла, потом стали брать и днем, срывать кровельное железо, разбирать полы. Я перешла к священнику в Кусковку. Оттуда меня и взял дядя.

— Что же осталось от дома? — спросила Липочка.

— Когда мы уезжали с дядей из Кусковки, я просила пройти к дому. Была весна. Цвела сирень, и длинные пушистые гроздья ее цветов закрывали сад. По саду взошел бурьян и крапива и под ними не было видно пней. От большого дома оставался только сруб, где была парадная столовая. Одна стена была наполовину разобрана и виден был наш лепной герб, раскрашенный красками. Голубая река, золотая башня с зубцами, остатки букв латинской надписи... Ласточки свили гнезда под подбородками амуров и нимф. В углу стоял поломанный шкаф и в нем лежала бабушкина библия. Дядя взял ее. Это все, что осталось от рода Кусковых...

— У тебя не было злобы?.. Жажды мести?

— Нет. Что я тогда понимала? Мне было четырнадцать лет. Сирень пахла так сладко, над нею жужжали пчелы, впереди было путешествие с добрым дядей, Петербург...

— Ну а теперь, когда ты вспоминаешь все это?

Лиза долго не отвечала.

— Теперь... — наконец сказала она. — Теперь тем более. Я все поняла. И tout comprendre — tout pardonner *. И я мечтаю устроить настоящую школу, чтобы учить детей любви. Христианской любви, умению создать свой достаток, чтобы в будущем не нужно было разрушать чужое добро.

— Но в прошлом... Вот что, Лиза, для меня никак непонятно. В прошлом это мы создавали. В прошлом ключом кипела веселая, шумная, славная жизнь. В прошлом крестьянам Кусковки не нужно было рубить нашего сада. Они не знали голода. Почему же нас заставляют ненавидеть это прошлое и радоваться будущему, где уже так много зла?

— В прошлом, Липочка, было тоже ужасно много зла. Зла с обеих сторон. И мне хочется пожертвовать собою, спасти людей от зла. И я боюсь одного, что правительство не позволит мне преподавать детям то, что нужно. Любовь...

— Странная ты, Лиза... Дедушку убили кусковские крестьяне. Они уничтожили ваш сад, разрушили дом. Они — причина смерти твоей матери и ухода твоего отца. И у тебя нет вражды против них? И им же ты хочешь помогать?!

Лиза, ничего не говоря, села на подушке рядом с двоюродной сестрой. Она прикоснулась своею щекою к ее щеке, прижалась к ней и наконец тихим шепотом сказала:

— Я люблю их... Они мне... родные!..

IX

В спальне было тихо. Варвара Сергеевна дочитывала покаянный псалом. «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, — бормотала она... Помилуй мя. И по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое... Наипаче омый мя от беззакония моего...»

— Ты веришь? — спросила шепотом Лиза.

— Я?.. Я не могу так, как мама... Мне было тринадцать лет. Я заигралась в куклы и не выучила урока истории. Нянька мне сказала: «Ничего, барышня, вы крепко помолитесь Господу, а книжку, развернув страницу, под подушку положите». Ах, как я молилась тогда! Мне казалось, что Бог слышал молитву маленькой глупой девочки... И что же? Историк вызвал меня и вlepил мне прежирного кола. Это глупо... Но я поколебалась...

— Я не верю, — сказала Лиза. — На прошлой неделе, у исповеди, священник выпрашивал меня по заповедям...

* Все понять — простить.

«Не грубила ли матери, или родным, не думала ли дурно о наставниках..? Не творила ли кумира из кого из учителей или артистов?» Дошел до седьмой заповеди, а мне смешно. Колени от волнения дрожат, лицо красное от смущения, а сама еле держусь — вот-вот прысну.

— Ну что же.., седьмой заповеди? — с любопытством спросила Липочка.

— Я тебе не стану говорить. Помнишь, ты уверяла меня, что от того, что тебя поцеловал в плечо Шатров, у тебя будет ребенок?

— А ты знаешь... это?

— Ах, Липочка, Липочка... Деревня не город, не Петербург. Там и не хочешь, а видишь многое, что, может быть, и не надо. Там не только животные, но и люди такому научат, такое покажут, что страшно станет.

— Расскажи мне...

— Никогда... Никогда... Сама потом узнаешь.

— Липочка, Лиза,— послышался из-за ширмы голос Варвары Сергеевны,— будет вам шептаться. Спать пора. Скорее двенадцать.

— Сейчас, мамочка,— отозвалась Липочка.

Обе притихли и, все так же прижавшись к друг другу, сидели на подушке. Было слышно, как заскрипела постель под Варварой Сергеевной, как она ворочалась, кутаясь в одеяло, потом затихла.

— Спит,— сказала Липочка.— Бедная мамочка. Она так устает все эти дни! И службы в церкви, и сама готовит разговоренье — сколько труда на это уходит... Тебе понравилось, как Федя читал сегодня шестопсалмие?

— Что он — верующий? — не отвечая на вопрос, спросила Лиза.

— Верующий или нет, не знаю, но он не такой, как мы.

— Ты знаешь, когда я стала неверующей? Когда стала катехизис изучать. Вот прочла определение веры: «Вера есть уповаемых извещение, вещей обличение невидимых»... И перестала верить. Всю историю Ветхого Завета поняла и усвоила. Новый Завет для меня — поэма удивительной красоты, а вот это: «Вера есть уповаемых извещение» — и было концом моей веры. Пахнуло на меня чиновником, придуманностью, людской неправдой. А где неправда — какая же там вера, какой же там Бог?

— Я Христа вижу,— сказал Липочка.— Иногда мне кажется, что Он тут подле меня, что Он слышит меня, сочувствует мне, понимает меня. И тогда страшно... И хорошо. Мне кажется, что отец Михаил глубоковерующий человек.

Что он, отец Иоанн Кронштадтский — они святые... В них Христос. Христос — это красота!

Лиза промолчала.

За ширмой, у большого киота, тихо мигала лампада, и красное пламя маленьким кружком отражалось сквозь ее стекло на потолке и слабо качалось. Недвижно были натянуты шторы на окнах, тишина второго двора стояла за ними и не было слышно городских шумов.

— Andre с mademoiselle Suzanne вызывают духов,— раздумчиво, как бы сама себе, сказала Лиза.— Ипполит мне говорил, что у них ходило блюдечко и ударяло, когда они читали буквы алфавита... Suzanne водила рукою Andre с карандашом по написанному алфавиту, и Andre чувствовал удары и толчки над некоторыми буквами. И выходили слова. Но понять они ничего не могли. Тяжелый письменный стол Andre поднимался на воздух. Suzanne лежала в обмороке на кушетке, на которой спит Andre... Andre играл на скрипке фантазию, которую слышал в воздухе. Что это такое?

— А тоже... электричество... Разве кто точно знает?.. Я слыхала, что делают опыты. В Америке где-то. И можно будет говорить в Москве, а слушать в Петербурге.

— Странно... гроза, молния... И ничего мы не знаем.

— Илья пророк на колеснице катается,— смеясь тихим смешком, сказала Липочка.— Лиза, а ты не думаешь, что Andre и Suzanne влюблены друг в друга?

— Это было бы ужасно. Suzanne тридцать четыре года.

— Любовь не разбирает... А ты?.. Сознайся, что Ипполит..?

— С ним приятно говорить.

— Он очень умный. Даже дядя его и Andre уважает. А ты... Ты равнодушна к нему?

— Какие пустяки. Спатиньки пора... Ложись ко мне под одеяло. Теплей будет. Хочешь?..

Лиза спустилась с подушки, распахнула одеяло и накрыла им улегшуюся рядом Липочку.

— Как мы нагрели подушки. Жарко голове.

— Постой. Я свою дам...

— Ипполит... Что же... Ипполит,— зевая сказала Лиза.— Я не знаю... По-моему, глупости все это — любить... А славно, что завтра не надо рано вставать. А после, после завтра заутреня... Ты любишь заутреню?

Липочка ничего не ответила. Уткнувшись в маленькую «думку», она спала и тихо посапывала своим чуть вздернутым, задорным носиком.

В Страстную субботу точно какая-то особенная благостная святость спустилась над сырым, мокрым, блистающим солнечными лучами, с белыми просыхающими панелями Петербургом и тихо начала скользить, пробираясь по всем квартирам и забираясь в уголки человеческого сердца.

И по-иному стало биться оно. Отлетали заботы и печали, бедность отходила куда-то в сторону, и приветливее сквозь вымытые стекла заглядывал божий день в самые бедные жилища.

А благодать тихого дня шла дальше, стучалась в хоромы и дворцы, расплывалась по улицам, напояла воздух особенным ликованием, смущая даже неверующие сердца.

Таинственная сладость чуда, знамение великого прообраза нашего воскресения, победы над грехом и смертью заставляли задумываться. Не верили и смеялись над собою... и хотели верить... И не сознавались себе, а уже верили, частицей души своей искали спасения от смерти, прикасались Божества.

Еще в церквях стояли траурные плащаницы, окруженные гробовыми свечами, еще тихо и невнятно читали над ними чтецы слова Евангелия и над городом трепетали грустные волны медлительного перезвона, а уже праздник входил в дома. Потому что видели молящиеся на плащанице — не труп, не тело человека, прободенное страшными ранами, но Бога с лицом, полным благодати. И знали: сегодня в полночь воскреснет Христос.

Воскреснет любовь в сердцах человеческих.

Настанет радость.

Потому что так было всегда. Из века в век!

И все в городе готовились к приятию к себе в дом Христа. Все ждали великого чуда любви и алкали его.

Еще с утра по улицам Петербурга было движение. Булочные, кондитерские и колбасные были открыты. Там толпились люди, спеша получить свои заказы. По всем направлениям шли посыльные, дворники, горничные, мальчики из лавок, дамы, господа и несли закутанные в тонкую бумагу, с торчащими сверху белыми плейчатými бумажными розанами с розовой каемкой и золотыми вьющимися усиками, куличи и пасхи. Разносчики разносили цветы. Редкие извозчики везли людей, нагруженных окороками и гусями. На площадях, по окраинам города, крестьянские базары заканчивали торговлю мороженой свининой и птицей и поспешно разбирали походные ларьки.

После полудня город затих. Прогремили последние конки. Извозчики исчезли, разъехались по своим дворам, и пешеходы стали редки. Мостовые и панели быстро сохли под солнечными лучами. Свежий ветерок налетел с Невы, шелестел бумажками по пустым улицам, завивал кудрявые, пыльные смерчи на площадях, проносился по Гостиному Двору с занавешенными веревками арками.

Сонно дремали на перекрестках городовые.

И в доме Кусковых, несмотря на разницу характеров и возраста его обитателей, старые обиды были позабыты и все с просветленными лицами сидели по своим углам. В полдень ели винегрет с тешкой, с тем чтобы до разговенья ничего не пить и не есть.

Михаил Павлович показывал в своем кабинете Варваре Сергеевне подарки детям. Всем сыновьям одинаковые: коробки шоколада от Крафта, Липочке и Лизе сережки. Липочке как блондинке — с бирюзой и Лизе, темной шатенке, — с гранатами. Они говорили о будущем детей.

В столовой Липочка, Лиза и Миша с Федей устанавливали пасхальный стол, расставляли пасхи, куличи, миски с крашенными яйцами, окорока ветчины и телятины, жареную индейку, фаршированную курицу и между ними ставили горшки, обернутые гофрированной папиросной бумагой, с цветущей азалией, лакфиолями и гиацинтами. Тетя Катя и няня увязывали в тарелке маленькие пасхи, куличи, яйца и солонку с серою «четверговою» солью, чтобы нести их в церковь святить.

Mademoiselle Suzanne, Andre и Ипполит разошлись по своим комнатам. Федя ушел в церковь «читать» над Христом.

В шесть часов весь дом лег отдохнуть, кто раздетый, как на ночь, кто одетый с книгой в руках. Наступили сумерки, огней не зажигали. Варвара Сергеевна, утомленная дневными заботами, крепко спала, девочки лежали на постелях с папильотками в волосах и молчали, устремив глаза в темный потолок.

В половине десятого комнаты осветились огнями. У Варвары Сергеевны горели две большие керосиновые лампы со снятыми абажурами, на большом зеркале стояли две свечи, еще две были на туалете, и все казалось темно. От огней, от суеты в комнатах было жарко, душно и сладко пахло духами, которыми обычно ни Варвара Сергеевна, ни девочки не душились. Все трое тщательно мылись. У всех были открытые платья.

Варвара Сергеевна точно помолодевшая, с черными, про-

битыми сединою волосами, красивыми локонами, уложенными сзади и ниспадающими на плечи и обнаженную спину, в белом шелковом туго стянутом платье, подвигала себе спереди челку и морщила красивый лоб от усилия маленькой руки. Из заповедных ящиков ее туалета были достаны душистые коробочки со старыми брошками и ожерельями. Она казалась молодой и красивой. Точно скинула с себя бремя долгого, частого материнства. Она близорукими выпуклыми серыми глазами с довольной улыбкой осматривала свой полный стан, широкие белые плечи и красивые полные руки. Она колебалась: надеть браслет золотой с черным узором панцирной цепочки на свои изящные руки или дать его Липочке. Ей казалось совестно наряжаться, когда дочь ее уже барышня.

Лиза, сменившая коричневое с черным передником платье гимназистки на белое кашемировое с широкой розовой лентой около талии и пышным бантом на боку, с открытой, тоненькой девичьей шейкой, оттененной черной бархаткой, с узкими худыми плечами, чуть открытыми и тонкими руками, стройная, как газель, с южными, темными, жгучими глазами, первая кончила свой туалет и, отойдя от зеркала, обернулась к Варваре Сергеевне. Она застыла от удивления и восхищения: так показалась ей красивой, новой, неизвестной её милая тетя.

— Тетя Варя! — воскликнула она, кидаясь на шею тете, — да какая вы краса-авица!

И она покрыла поцелуями зарозовевшие щеки Варвары Сергеевны.

— Постой, озорница! И свое и мое платье сомнешь, — притворно сердясь, сказала Варвара Сергеевна.

— Нет, тетя! Дайте же мне нацеловать вас, прекрасную мою.

— Ну покажись, мамочка, — сказала Липочка, еще не одетая, в пышной белой с пелойками юбке, доканчивавшая завивку упрямых светлых волос. Она стала в трех шагах от матери, осмотрела ее с головы до ног внимательным критическим взглядом и сказала: — Очень хороша!.. Да, мама, в тебя влюбиться можно. Какая же должна была быть ты хорошенькая, когда совсем была молода!

— Надень, Липочка, этот браслет, — сказала краснея тронутая восхищением дочери Варвара Сергеевна.

Какой-то ток пробежал по ее жилам. Давно уснувшая женщина пробудилась. В глазах загорелись искорки.

— Ну, что с тобой, мамочка, — да ни за что! Ты сама наденешь! — Надевая браслет на руку матери и целуя ее,

сказала Липочка, — этот браслет тебе подарил папа, когда был женихом — и он так идет к твоей хорошенькой ручке. Жалко только, что милые пальчики так исколоты иголкой...

В комнату постучали.

— Кто там? — закричала Липочка, пугливыми глазами оглядывая взбудораженные постели, белье на полу и грязную воду у умывальника. — К нам нельзя мальчикам.

— Это я, — слышался голос Михаила Павловича.

— Иди, Michel, — сказала Варвара Сергеевна, — можно.

— Я вот что думал, — начал Михаил Павлович, входя во фраке, с орденом на шее, и остановился. — Да вы совсем у меня красавицы... Хороши! Очень хороши! Как думаешь, Варя, если теперь же? — и он, выразительно подмигивая, показал на свои уши. — Им приятно будет на заутрене. А?

— Ну, конечно, — сказала Варвара Сергеевна. — Какой ты милый!.. Подумал!..

— Так вот, мои славные, — Михаил Павлович немного смущался дочери и племянницы, — надевайте-ка это в свои ушонки.

Он подал дочери и племяннице коробочки с серьгами.

— Какая прелесть! — воскликнула Липочка, вынимая и разглядывая маленькие бирюзовые сережки. — Я давно мечтала о таких.

— Первая драгоценность, — нервно смеясь, сказала Лиза.

— А ты, моя милая, надень вместо старой своей брошки вот эту.

— Michel, можно ли такие траты! — обнимая и целуя мужа, сказала Варвара Сергеевна.

XI

В церковь пошли всею семьею, кроме Andre и Suzanne.

Ипполит и Миша в синих тщательно вычищенных мундирах и серых пальто внакидку, за ними Липочка и Лиза, потом Варвара Сергеевна и тетя Катя в светло-лиловом шелковом платье с мантильей, с широкой, в складках, юбкой и, как всегда, простоволосая, Михаил Павлович во фраке и цилиндре, в шинели, и сзади няня Клуша и Федя с узелками с разговеньем, которое надо было святить.

Ивановская от Загородного до Кабинетской горела огнями. Вдоль тротуара, между черных, свежеевымазанных дегтем, чугунных тумб, стояли плошки, налитые салом с керосином. Они пылали желтыми мятущимися огнями и странным светом снизу озаряли дома и прохожих. Дворники в

цветных рубахах и черных жилетках с серебряными цепочками, скрипя блестящими высокими сапогами, ходили вдоль плошек и поливали на огонь из железных чайников керосин. Длинными языками ярко вскидывалось пламя и говорило о чем-то далеком, первобытном, диком, языческом. Толпы мальчишек бегали вдоль плошек, суеились, смеялись, визжали. Красные отсветы пламени радостными вспышками играли на румяных масляных лицах.

От подъезда гимназии отъехала, тихо колыхаясь на мягких рессорах, карета, запряженная савинскими серыми рысаками, и шагом направилась во двор дома, откуда только что вышли Кусковы.

По-праздничному яркими звездами расцветилось глубокое синее небо, точно кто-то смотрел оттуда на город, точно отразились огни города в нем, синем, в тысячу крат лучше и бесподобнее. Томная прохлада петербургской ночи легла на землю, и откуда-то чуть веял сладкий запах прорезавшейся вдруг тополевой почки. Дома темнели. В них гасли окно за окном. Все спешили к длинному, низкому, двухэтажному зданию гимназии, ярко горевшему огнями. От него неслись плавные, дребезжащие, призывные звуки церковного колокола.

Гимназия не походила на обычную будничную гимназию. В вестибюле, у дорических колонн, рядами были поставлены классные столы и парты и на них грудями были навалены пальто, мантильи, шубки, лежали фуражки, цилиндры, шапки, шарфы, платки и шали.

Классный надзиратель Семен Дорофеевич Иванов, прозвищу «Козел», припомаженный, завитой, в новом синем вицмундире, с двумя рослыми восьмиклассниками отбирал церковные билеты, стоя у колонн.

Лестница обратилась в струящийся вверх поток, сверкающий яркими пятнами. Золото и серебро эполет, алые и розовые ленты, черные фраки, тугие, блестящие, длинные, белые манишки, белые, розовые, голубые, нежно-зеленые платья, яркие банты, и красивее всего блеск женских волос, девичьих кос, дамских причесок, сияние женских глаз, улыбок и непередаваемый воздушно-розовый цвет человеческих лиц, шей и плеч. И сквозь этот поток синими струйками с серебряными искрами пробивались, вереща, как воробьи, толкаясь под ногами, маленькие гимназисты, торопящиеся занять свои места впереди всех, за решеткой.

В высоком узком коридоре между классами было душно и чадно. Ярко горели по стенам керосиновые лампы с желтыми абажурами и бросками света заливали проходящих в церковь.

В освещенном горящими люстрами зале было, как на рауте. Барышни и кавалеры ходили взад и вперед шеренгами. Слышался смех, веселые голоса. Сестры товарищей, гимназистки соседней Мариинской гимназии, по-новому причесанные, с яркими бантами в волосах, в светлых платьях, с голыми шейками, казались Ипполиту новыми, незнакомыми, свежими, юными и прекрасными.

С розовых пальчиков были отмыты чернильные пятна. Бирюзовые и гранатовые колючки сверкали на них и вызывали у гимназистов ревнивые сомнения.

В физическом кабинете было тесно. В стороне от ковровой дорожки был поставлен стол и два гимназиста и один из учителей продавали там свечи.

Церковь, полная прихожан, тонула в тихом сумраке. Там было тихо. Бледный Лисенко с белыми волосами, худой, с выступающими лопатками на старом синем мундире, стоял у плащаницы и ровным голосом читал «над Христом». К плащанице, сладко пахнувшей увядающими цветами и ладаном, непрерывным потоком шли прихожане. Они крестились, становились на колени на черных ступенях, ставили свечи и целовали плоско лежащее полотно, на котором был написан Христос. Потом отходили. Испуг и умиление были на их лицах.

Из темного алтаря слышались негромкие голоса священника и дьякона. Теплоухов, красный, потный, с улыбкой, застывшей на мягком лице, то и дело проталкивался к алтарю с большим подносом, уставленным просвирками.

Большой, шестидесятиголосый хор был разделен на две части и стоял по обоим клиросам. За одним, задумчиво заложив два пальца за борт жилета, стоял припомаженный Митька, за другим худощавый чернявый гимназист с лицом горничной — Вознесенский. Маленькие альты и дисканты окружали Митьку, как мелкие опенки в лесу старый пенёк.

Никто не шевелился. Говорили мало и то шепотом. Иногда кто-нибудь вдруг начнет торопливо креститься, положит шесть-семь крестов подряд и вдруг остановится и стоит, устремив глаза на алтарь.

Толстый, с большим висячим круглым животом, точно глобус на двух ножках, директор, «Ipse» * Александр Иванович Чистяков, в сопровождении классного наставника Глазова проталкивался сквозь толпу гимназистов и стал впереди всех, у самого амвона.

Чистенький Молоков в щегольском мундирчике подме-

* Сам (лат.).

нил блеклого Лисенко у плащаницы и волнующимся, спадающим голосом стал читать, бросая в душную тишину короткие фразы. У клироса колебались темно-синие хоругви: их вынимали из гнезд.

Барышня в розовом шелковом платье с кисейной отделкой вдруг побледнела, позеленела и как-то быстро опустилась на пол.

— Ах, дурно!.. Дурно!..— зашептали кругом.

Штатский, гимназист и дама понесли ее к выходу.

— Душно очень,— прошептала громко какая-то нарядная дама.

Директор сказал что-то Глазову, и тот пошел толкаться через толпу и открывать синие вентиляторы.

Как-то сразу в гробовой тишине отдернулась завеса, запахнулись Царские врата, из них вышел отец Михаил в новой, ярко блистающей ризе, за ним дьякон. Отец Михаил прошел чуть торопливой походкой к плащанице, легко поднял ее, благоговейно возложил на голову и ушел в алтарь.

По всей церкви прошел тихий шелест. Крестились. Кто-то вздохнул. Кто-то прошептал: «крестный ход». И толпа зашевелилась, открывая дорогу.

Из правых врат выступал высокий сильный Байков. Он обеими руками обжимал древко фонаря и шел торжественно счастливый. За ним показался большой, металлический, запрестольный крест, покачнувшись справа налево и стал сходить по ступеням амвона. Низко нагнулись к нему малиновые хоругви, опускаясь под люстру.

И было что-то таинственно-чудесное, странно-волнующее в этом молчаливом движении крестного хода. Точно и правда, с тускло мерцающим в темных стеклах фонарем, с крестом и знаменами шли люди удостовериться — точно ли Христос воскрес, точно ли там, где еще третьего дня с плачем и воплями погребали Его, нет Его тела и сидит на разваленных камнях гробницы светлый Ангел в ослепительной небесной одежде?..

Трепетно порхая по белой пороховой нитке, со свечи на свечу побежало пламя по люстрам.

Точно светлый день наступал после сумрачной непогожей ночи.

В толпе начали зажигать свечи.

ХII

Крестный ход возвращался. По коридору раздавался нестройный топот ног.

В большом зале разговоры, смешки и возгласы

приветствий смолкли. Толпа гуляющих стеснилась к окнам. Крестный ход входил из коридора и выстраивался: одна тройка налево, другая направо. И по залу становился ряд икон на серебряных и золоченых парчовых платках, озаренных свечами в подсвечниках.

Федя, красный, точно покрытый лаком, вспотевший от жары и волнения, счастливый, с сияющими глазами, держа обеими руками тяжелый образ в серебряном окладе, зашел направо и стал подле артоса. Забайкин и Виноградов, с умильными обезьяньими рожицами, со свечами в мельхиоровых подсвечниках в руках, установились подле него.

Малиновые, за ними синие бархатные, старые зеленые и совсем старые, помнящие первые дни гимназии, серебряные хоругви тихо колебались над головами.

Сквозь ряд сверкающих, блестящих отражениями огней икон, мимо хоругвей, быстро прошел отец Михаил. В его руке был крест. Перед крестом горели три свечи и к ним маленьким пучком были прикреплены белые ландыши, гиацинты и лилии. Свежие цветы робко жались к холодному металлу. Освященные мотающимися языками пламени, они нежно сияли, подтверждая радость того, что свершилось. И веяло от них весной и чистою безгрешною прелестью.

Бледное лицо священника горело восторгом. Большие, запавшие от поста и утомления глаза излучали свет. Он точно узнал только что какую-то великую радость и спешил поделиться ею с миром.

Он ходил узнать, проверить... И узнал.. И проверил... И уверовал... И то, что он узнал, было страшно и велико. Его взор скользил по всем и не видел никого... Но его видели все. И стихли праздные, светские, ни во что не верующие люди во фраках и мундирах, и загорелись глаза у Лизы, опиравшейся, как взрослая, на руку Ипполита.

Стало торжественно и благостно тихо в зале.

Не дышали... Тихо вздыхали...

Кроткая радость слетала невидимо и смягчала сердца, как солнце мягчит белый холодный снег... Ангелы веяли крыльями над людьми.

И радостно, вдохновенно, почти истушенно прокричал отец Михаил. Точно вызов делал духам Тьмы и ждал их ответа:

— Да воскреснет Бог и расточатся врази его!..

Точно ждали этого возгласа... Из противоположного угла зала ликующими, торжествующими победу, смеющимися, танцующими голосами ответил шестидесятиголосый хор:

— Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Еще по углам дрожали звонкие дисканты, гудели басы, отражаясь о стекла, и тихо звенела, найдя созвучную ноту, розетка на люстре... Отец Михаил еще восторженнее, точно обрадованный вестью, долетевшей до него в крылатых головах небесного Лица, воскликнул:

— Яко исчезает дым, да исчезнут!

И как мотыльки на солнце над пестрым ковром лугов, цветным ковром вспорхнули звуки:

— Христос воскрес из мертвых!..

На Петропавловской крепости гулко ударила пушка, и задребезжали стекла в зале. В открытую форточку вместе с паром доносился гул города, а по небу, точно от звезд, плыли, ширясь в ночной синеве, величественные медные звоны. И уже не скрывали они своей радости, но били и заливались взволнованно и торопливо.

Снова сквозь благовест ударила пушка.

— Только подумать,— сказала мечтательно Лиза, сжимая горячей рукою руку Ипполита,— сейчас по всей России, от края и до края, гудят колокола, грохочут пушки и ликующее «Христос воскрес» раздается везде... везде!..

— Ну не совсем так,— отвечал вяло Ипполит.— Во Владивостоке, поди, давно все разошлись по домам и легли спать, яркое солнце горит над Великим океаном. Не скоро еще оно докатится до нас... А в Калише еще только-только одеваются к заутрене и темны храмы...

Это ученое замечание холодком кольнуло Лизу. Она осторожно высвободила свою руку из его руки и, повернувшись к Липочке, сказала:

— Посмотри на Федю. Какая у него милая восторженная рожица! Вот он — верит... По-настоящему верит, что воскрес Христос. У него ни колебаний, ни сомнений... И смерти нет для него!..

— Оттого он ничего и не боится,— сказала Липочка, с умилением глядя на брата.

— Счастливый! — прошептала Лиза.

ХIII

Федя стоял с самого края крестного хода, недалеко от священника. Детское лицо его было важно, густые брови хмурились. До него долетали обрывки радостных слов, волнующий напев. Он думал свои думы. Ему вспомнились рас-

сказы няни Клуши, как радовался дьявол, узнав о смерти Христа, и мучились в аду грешники, преисполненные отчаяния. Федя видел этот ад. По рассказу няни Клуши, он находился глубоко под землей. Ну, Федя-то знал, что это не так. Он еще недавно прочел «Путешествие к центру земли» и знал, что дядюшка Лиденброк и его племянник Аксель никакого ада и никаких чертей там не нашли. Но Федя думал, что где-то есть такое место, где мучаются и метутся терзаемые отчаянием души умерших и ждут Христа. Няня рассказывала, как Христос спустился после смерти в ад, как испугался дьявол, как Христос разогнал всех его слуг и освободил страдающие души. «Ну, конечно, это было не так. Нянька глупая, необразованная, но, однако, что-то было». Федя чувствовал это «что-то», когда спускался по лестнице, шел по полутемному нижнему коридору, по малому залу, где на полу были расставлены тарелки с куличами, пасхами и яйцами, горели приклеенные к ним свечи и стояла прислуга. Федя слышал восторженный возглас Фени:

— Барин-то наш! Истинный ангелочек!

Было приятно.

Они прошли вместе с ходом в лазарет, вышли на маленький двор, где было темно и волнующе пахло свежестью ночи и мокрым камнем. И когда из темноты двора и коридоров прошли в ярко освещенный зал, наполненный нарядно одетыми людьми, и раздался вдохновенный голос отца Михаила, Феде почудилось, точно он побывал в каком-то другом мире, точно ходил и он с Христом освобождать души грешников, разметал чертей и пришел сюда к людям и кричит восторженную великую весть:

— Тако да погибнут бесы от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением...

«Да,— думает Федя,— было... было... Вот сейчас... И что было?.. Не знаю... Но что-то вошло в меня... И сидит во мне... И радуется... И волнует... И всех, всех люблю...»

С замирающим в зале и рождающимся в физическом кабинете веселым пением и, когда умирало оно в нем среди стеклянных шкафов, оно рождалось в церкви и говорило всем: «Христос воскрес из мертвых, смерть смерть поправ!» — крестный ход разместился по клиросам.

В душевной церкви с запотелыми окнами пахло ладаном, духами, паленым волосом. Но никто не чувствовал усталости. Распаренные красные лица были умильно кротки и, когда отец Михаил вышел и наизусть стал говорить слово о милосердии Божиим, о радости великому дню, когда он, подчеркивая слова, говорил: «Иже пришел и в шестой... и в

девятый час...» все равно — «вниди в радость Господа Твоего», — невольно улыбались умиленные лица...

Гасли свечи в руках. На улице ясно, и сквозь окна выявились внизу белые панели, камни мостовой. Стал виден фасад розового дома, с булочной Беттхер, сонный, еще не проснувшийся дом для Феди родной, близкий и милый.

Отец Михаил вышел на амвон. Крест со свечами, лилиями и гиацинтами, с которым он ни на минуту не расставался, был в его руке. Он остановился, примолк, обводя взором народ, и сказал тихо, просто и убедительно:

— Христос воскрес!

Встрепенулась вся длинная узкая церковь, и шорохом пронеслось вырвавшееся из сотен грудей: — Воистину воскрес!

И еще, и еще... и было слышно только дружное «воистину» с сильным напором на первое «и», с легким шипением на «с»...

Стали христосоваться. Заутреня кончилась, и отец Михаил сделал перерыв на полчаса. Многие расходились. Большой зал опустел. В нем гасили люстры.

Федя, радостный, взволнованный, вышел из алтаря, где он подавал кадило, и стал протискиваться к родителям. Он издали видел свою маму, самую красивую, самую прекрасную из всех, и отца во фраке с орденом на шее, торжественного и непохожего на обычного папу.

Он видел, как Липочка христосовалась с отцом и голубой бант, точно крылья большой бабочки, колыхался справа налево и слева направо.

По всей церкви раздавались сдержанные голоса: — Христос воскрес!

— Воистину!.. — И поцелуй, то звонкие, сочные, то тихие, мягкие. Мотались мужские и женские, старческие и детские затылки справа налево и опять направо в троекратном лобзании.

Ну, Христос воскрес! — перехватила Федю по пути хорошенькая Лиза, — христосуешься с «девчонками»? — Горячие губы встретились с его щекой и, столкнувшись, поцеловали друг друга.

— Ты у меня хороший! — сказала Лиза.

Мама нагнула к Феде завитую голову, и Федя услышал запах ее духов, так напомнивший ему раннее его детство и те вечера, когда мама уезжала в театр и была такая же нарядная и так же от нее пахло... Милая, прекрасная мама... Лучшее, красивее всех на свете.

Федя отыскал в углу за печкой старую няню и пошел с

нею христосоваться. Было немного стыдно делать это на глазах Теплоухова и Лисенко; но и сладка была победа над своим стыдом...

XIV

Кусковы стояли обедню. Эта пасхальная обедня служилась в гимназической церкви особенно торжественно. Митька разучил для нее литургию верных Чайковского, и знакомые песнопения звучали по-иному. Бубнил и взмахивал орарем, точно крыльями, дьякон, возглашая моления «о благочестивейшем, самодержавнейшем великом Государе Нашем Императоре Александре Александровиче», гремели на Неве пушки и гудели, переливаясь с тонкими подголосками, колокола... За Христом, с его чудесным воскресением, вставала такая прекрасная, непобедимая, сильная и богатая Россия!.. Сладко сжималось сердце у Феди, заливало его теплою любовью к еще невиданному, неизвестному «государю императору» и к прекрасной великой России. Так хотелось ей, милой и родной, «изобилия плодов земных», «времени мирного», так хотелось счастья и спасения «плавающим, путешествующим, недугующим, страждущим, плененным»... и думалось: — нет плененных!..

Когда последние ликующие напевы «Христос воскрес» замерли в церкви и тесным потоком двинулась толпа через зал и коридор на лестницу, Федя впервые почувствовал усталость и голод. Федя вспомнил, что он с утра был на ногах и ничего не ел. «Славно будет разговеться!» — подумал он.

В столовой горели канделябры.

Папа и мама христосовались с Феней и кухаркой Аннушкой, и Федя христосовался с Феней. Она большими свежими губами целовала его в губы и до боли, до зубов прижималась к нему своими крепкими губами. И эти поцелуи странно волновали Федю.

Ждали тетю Катю с вынутой «за здоровье» просфорой.

Отец раздал подарки — коробки с шоколадными конфетами.

— Ну, — сказал он, разламывая просфору и раздавая по кусочку всем, — приступим.

— Сначала, — сказала Варвара Сергеевна, — по свяченому яичку с четверговою солью и кулича.

— И налей мне, матушка, чаю. Смерть пить хочется, — сказал Михаил Павлович, наливая себе из маленького графинчика водки, а детям и жене большие рюмки белого вина.

— Екатерина Сергеевна, составите компанию? — сказал он, протягивая графинчик тете Кате.

— Разговевшись, можно, — сказала тетя Катя.

Румяная от жары в церкви и волнения Липочка разливала чай.

— Ну, вот и у праздника, — сказал Михаил Павлович, опрокидывая рюмку водки и закусывая яйцом, густо посыпанным серою солью. — И все у нас, слава Богу, по-русски, по-православному... всего хватило. Охо-хо, что-то Бог и дальше подаст?

Заботы о заработке, о растущих детях и растущих с ними потребностях семьи затуманили его лицо. Он налил еще рюмку и, выпивая, сказал:

— А Andre и mademoiselle все еще не вернулись? Не «ндравится» мне это.

Он налил третью рюмку.

— Оставь, — сказала Варвара Сергеевна, — не довольно ли? Тебе вредно.

— Не учи, матушка... Да... Новое поколение... И семьи, и отца, и матери не надо. И церковь ничто. Все не по-нашему...

Но усилием воли он стряхнул черные мысли и примирительно сказал:

— Как прекрасно сегодня пели, Варя. А? Этот Дмитрий Иванович прямо виртуоз. Ему оперным хором управлять.

— И все благолепно было. Отец Михаил так служил, так служил! — сказала Варвара Сергеевна, радуясь, что гроза на сына пронеслась.

— Смотри, не влюбись, матушка. Много вашей сестры бегают за ним.

— Михаил Павлович. Постыдись... Дочь и племянница тут!

— А что же! И им скажу...

— Да ведь он... святой.

— Святой или играет в святого — это дело десятое, а что он вдовец, молодой и красивый, мы это тоже понимаем.

Варвара Сергеевна чувствовала, что отец недоволен Andre и сдерживается, стараясь скрыть нарастающее раздражение. Два раза во время еды он проворчал, ни к кому не обращаясь: «Нигилист... нигилист...»

Было светло, солнце золотило опущенные в столовой шторы, когда разошлись по своим комнатам.

Миша, спавший в одной комнате с Федей, раздеваясь, сказал:

— А ты стоял, как солдат!

И в голосе двенадцатилетнего брата Федя почувствовал насмешку.

«Неужели он не понимает, что это такое?» — подумал Федя, но ничего не сказал.

Он боялся говорить с братом о вере.

Миша лег под одеяло и заснул. Федя не мог заснуть. Тело приятно ныло, и легкая дрожь пробегала по горячим, ноющим у пяток ногам, Федя слышал, как на дворе пели петухи и мяукала кошка на крыше. Маркиз де Карабас беспокойно ворочался в ногах у Феди. Прогремела по двору карета Савиной. Яков с Андреем разговаривали усталыми голосами, стучали по камням лошади. В прихожей задребезжал звонок. Тетя Катя, ковыляя на одну ногу, пошла отворять своему любимцу. Andre и Suzanne, тихо пересмеиваясь на ворчливый доклад тети Кати, прошли на цыпочках по коридору.

По городу задребезжали первые дрожки, когда Федя забылся крепким, счастливым сном человека, который верит.

XV

Уже третий год Andre не ходил к заутрене. В пятом классе гимназии он как-то вдруг охладел к церкви. Он зачитывался только что появившимися, ходившими в рукописных и гектографированных списках философскими творениями графа Льва Толстого и искал новой веры и нового бога. Весь их класс пошатнулся тогда в вере. Церковь с ее обрядами стала стыдна. В классе стали презрительно говорить: «поп» и «батяка». Когда наступал урок закона Божьего, четверо евреев, бывших в классе: Алабин, Бродович, Ляпкин и Каплан шумно выкидывали книги из ящика и говорили: «Ну вы возитесь теперь со своим попом, а мы пойдем домой...» Было что-то невыразимо обидное, насмешливо-едкое в их словах и особенно в слове «поп», но мальчики молчали. И казалось, что вот сейчас что-то стыдное надо будет делать с кротким, но скупым на баллы батюшкой. И так выходило, что эти четверо темных брюнетов, Каплан еще и курчавый, были выше, умнее, образованнее и культурнее их, христиан.

С этого и пошло. Стало стыдно ходить в церковь, стыдно говорить, исповедываться и причащаться. По классу ходили неприличные стихи и песенки, с насмешками над религией. Толстый Макрицкий в ожидании батюшки на весь класс декламировал:

— Его преосвященство,
За ним все духовенство,

Все пьют до совершенства —
Умилительно.

Хоть поп и с камилавкой,
Но выпил он с прибавкой,
Катается под лавкой, —
Удивительно.

Когда и сам владыка
Подчас не вяжет лыка,
То мне-то, горемыке, —
Позволительно.

Стихи шли из бурсы. Они казались просто смешными, но с ними шел яд, разрушавший таинственное, Божеское, не земное, снимавший пелену духовной радости и выставивший житейское. И уже видел Andre, что отец Михаил в учительской курит тонкие папиросы и спорит с учителями с газетой в руках, что он в классе отхаркивается и сочно плюет в плевательницу, что он человек, а не священник, что он — батька, поп, со всеми житейскими повадками.

Исповедь стала мучительным обманом. Andre, стоя у аналоя, выдумывал грехи, только чтобы поскорее отвязаться и не слушать, что проникновенно говорил отец Михаил. Andre знал, что он говорит это всем мальчикам, говорит тем же голосом и с тою же интонацией. К чаше со святыми Дарами он подходил без веры, не с дрожащими от волнения коленями и не повторял, как раньше, с трепетным страхом слова: «Да не в суд, или во осуждение будет мне причащение»... но шел со скукой, торопясь выполнить казенный обряд. В церковь Andre ходил лишь по принуждению, стараясь попасться на глаза классному надзирателю, а потом незаметно уйти. Он ни за что не говел бы, если бы это не требовалось гимназическими правилами.

Ходить к заутрене тоже стало мучительным. В торжественности богослужения, в радостной благости песнопений, в восторге, охватывавшем толпу, было что-то от Бога и чувствовал себя Andre, расставшийся с Богом, одиноким среди людей. Ему было стыдно христосоваться с отцом и матерью, они в нарядных платьях парили в каком-то восторге, были не похожи на себя и так далеки от Andre, который уже не мог детски чисто понять их.

Сложная, таинственная работа шла в душе Andre, и она, слабая и немощная, металась, жажда духовной пищи.

В эти годы mademoiselle Suzanne объявила себя медиумом и стала заниматься опытами с Andre.

Два года тому назад в Страстную субботу Andre отговорился болезнью и остался дома. Suzanne сделала так, что у него был горячий воспаленный лоб, и обеспокоенная Варвара Сергеевна уложила его в постель. Сладость заутрени была ей испорчена беспокойством за сына. Andre об этом не думал.

В прошлом году Andre сказал, что он пойдет к Исакию, куда его обещал привести товарищ.

В этом — он заявил, что хочет слиться в эту ночь с народом и бродить по улицам.

В одиннадцать часов Andre с Suzanne вышли из дому и пошли по Загородному на Владимирский и Невский.

Гирляндами горели плошки. По Невскому мигали огоньками газовые звезды, и над Думой ярко светились вензеля «А» и «М». И от огоньков, рассеянных по городу, темнее казались темные дома и черным высокое небо.

Бело-сине-красные и бело-желто-черные флаги висели вдоль домов, свешивались темными полотнищами, окаймленные желтою бахромою поперек Невского за Полицейским мостом, и тихо колебались в сыром сумраке, словно призраки ночи летали над городом.

Конка не ходила. Чисто подметенные рельсы мережили светлой каменной дорогой посередине темных торцов Невского. Гулко раздавались шаги и голоса по улицам, полным народа. Весь город был на улицах, на площадях и в храмах. В открытые ворота соборов виднелись огни свечей, лампад и люстр и черное море голов. Глубокий сумрак храмов гнездил в себе какую-то тайну, и разрешения этой тайны ждали толпы на ступенях папертей, на площадях и улицах.

Конные жандармы и усиленный наряд городских поддерживал порядок у соборов.

Звонкие голоса непринужденно звучали в воздухе. Мрак, мерцание плошек, огни газовых рожков, необычность улиц делали людей смелее.

Кое-где показались пьяные.

— Христос воскрес! — загораживая дорогу трем девушкам в платочках и широко улыбаясь пьяной улыбкой, воскликнул какой-то человек в черном картузе, пиджаке нараспашку и высоких сапогах. Он остановился впереди Suzanne с Andre и заставил их остановиться.

— Что вы, мил-человек. Подшалели. Окститесь!.. Еще и заутрени не пропели, а вы с поцелуями лезете, — отвечали девицы, стараясь проскочить мимо расставленных рук.

— Эх, с милой мамзелью завсегда аппетитно поцеловаться, — развязно отвечал пиджак.

— Налили зенки-то спозаранку... Еще и праздник не настал, а они уже пьяные!.. Господи, какой это нонче народ стал!.. Несерьезный...— говорили девицы.

— Кто празднику рад, тот до свету пьян,— обхватывая одну из девушек, сказал пьяный.

— Отцепитесь лучше, а то, глядите, городского крикну.

— Ишь, брысь! Какие! Не православные что ли! Фу ты, ну ты, ножки гнуты.

— И не чухонки тоже. От нашего дома поворот налево.

— Вокруг тумбы и чтобы без поворота. Эх! Ну барышни теперь. Русского человека уважить не могут!..

И отвязавшись от девиц, пиджак пошел впереди Suzanne, напевая во все горло.

— На Божественной страже богоглаголивый Аввакум... да стане с нами... и покаже... покаже...

На Аничковом мосту, под чугунным конем, сидел парень с гармоникой и звонко пел:

Едет чижик в лодочке
В адмиральском чине...
Ах... не выпить ли водочки
По этой причине?

Кругом собиралась толпа. Городовой уговаривал его:

— Молодой человек, а молодой человек... Что вы... Нельзя этого. Служба в церквях идет, а вы эдакое поете.

— Нельзя что ль?.. Не полагается?

— И совсем даже не полагается.

— А в участок в Светлый праздник полагается?

— Кто же вам говорит про участок?.. А только нельзя этого.

— Ну, нельзя, и не буду...

Чем ближе подходили Andre и Suzanne к Исаакиевскому собору, тем гуще, наряднее и богаче становилась толпа. Пахло духами. Слышалась французская, немецкая и английская речь. Вдоль Морской стояли кареты и одиночки. Толпа у дома канцелярии военного министра рассматривала митрополичью белую карету, запряженную четвериком с фореями.

Море голов затопило крыльцо и ступени паперти собора и заполнило промежутки между тяжелыми колоннами. Мерцали маленькими точками огоньки. Под старыми лиственными стояли толпы, и низко на земле горели площадки. Причудливые тени качались по темным ветвям.

Дальше нельзя было идти. Suzanne и Andre стали в стороне от толпы.

Толпа на паперти подалась в стороны, шарахнулась. Кто-то негромко крикнул. Рысью, стуча по камням и трясясь на лошади, проехал жандарм.

Из темной глубины собора плыли золотые пятна. Расплывались шире и, озаренные светом свечей, заливали толпу. Мягко колебались хоругви, то выявляясь в темноте ночи под колоннами, то исчезнут в сумраке...

Гулко, заставляя вздрогнуть, ударила пушка, и эхо перекатилось по улицам. Наверху густо и глубоко ударил большой колокол и, колеблясь, понесся ровный гудящий звук.

И серебром над толпою пролились точно небесные голоса.

Митрополичий хор запел: — Христос воскрес!

И, заглушая его, зазвенели малые колокола и загудела медь вновь ударившего большого колокола.

Кто-то крикнул невнятно. Где-то послышался истерический смех. И снова раскатами, мягко отдаваясь о стены домов, точно прыгал от них резиновый мяч, ударила в крепости пушка.

Золотою рекою сквозь черную толпу медленно двигался крестный ход.

Тысячи голов обнажились.

Звонко пели дисканты: — Христос воскрес!

XVI

— Andre,— сказала Suzanne и просунула руку под локоть Andre,— как думаете вы: верит весь этот народ в чудо воскресения Христа и Его победу над смертью?.. или, просто так... смотрит какое-то зрелище?

— Почему вы это спрашиваете?

Andre повернул свое лицо к Suzanne. Близко стало к ее глазам освещенное красноватым отблеском площаек знакомое, милое лицо и показалось чужим и незнакомым. Легкий пух на невидавшей бритвы бороде и щеках и тень над верхней губою были по-новому, по-иному милыми. Не мальчик, не ребенок шел подле, а мужчина. И Suzanne вздрогнула и выпрямилась.

— Потому что только в России я видала такое величие этого праздника.

— Но вы, Suzanne, жили всегда в России?

— Да, я родилась в Петербурге.

Она замолчала. В памяти встало ее детство. Сирота с малых лет. Дочь учителя французского языка. Потом — сирот-

ский институт. Замкнутая монастырская жизнь среди подруг — и прямо со школьной скамьи она попала к Кусковым бонной и гувернанткой. Andre четыре года, Ипполиту — два, только что родилась Липочка — она вошла всею душою в семью Кусковых, в ее радости и печали. Корь, скарлатина, тиф, дифтерит, новые роды у Варвары Сергеевны, бессонные ночи, отвоевывание этих слабых, пухлых детских тел от смерти, бодрствование при блеске лампадки у икон и свете ночника у постели, слезы и молитвы Варвары Сергеевны и тихий шепот благодарности. — «О, благодарю, благодарю вас, Suzanne — вы добры, как ангел!»... «Suzanne, побудьте при нем за меня. Я с ног валюсь»... «Suzanne, съездите за Павлом Семеновичем»... «Suzanne, запишите температуру»...

Шли годы. Они отмечались переездами на дачу, елками на Рождество, великим постом, Пасхой. Andre начал учиться грамоте, Ипполит стал говорить, Липочка ходить, родился Федя... потом Миша... А она?.. «Suzanne, поиграйте с Andre»... «Suzanne, вы видите, Ипполит просит кубики»... «Suzanne, понянчите Федю».

Эти дети отняли жизнь не только у матери, но и у нее. Где ее жизнь? Кого, что видела она за эти четырнадцать лет?.. Никого. Только детей. И дети ушли от нее. С поступлением их в гимназию она стала не нужна. Осталась по инерции... Стала свободнее и вдруг с ужасом почувствовала, что не жила... Уже появились морщинки у глаз и губы стали как-то суше, а жизни не было... Была только детская...

Два года тому назад, начитавшись книг о спиритизме и гипнотизме, она почувствовала себя медиумом и гипнотизером. Попробовала свои силы над Andre, — Andre поддался. Шутя, смеясь, потом серьезно стала делать опыты. Кроме того, их сблизила любовь к музыке. Suzanne во время игры пыталась влиять на Andre. Andre играл на скрипке. Suzanne слушала его часами. В небольшой комнате, озаренной свечами у пюпитра с нотами, на фоне темной портьеры, в рембрандтовских тонах, рисовалось бледное лицо юноши с откинутыми назад длинными волосами. Тонкие, словно живые пальцы бегали по грифу, нажимая струны, и пел воздушную песню белый смычок.

«Ужели это тот самый Andre, который с диким ревом, искривив широкое лицо и зажмурив блестящие слезами глаза, бежал когда-то к ней со своим горем? Ужели это тот, кто прятался за ее юбки, испуганный чужою собакой? Ужели это тот малютка, которого она купала с Варварой Сергеевной?» — думала Suzanne и восторженными, влюбленными

глазами смотрела на бледное лицо, чуть оттененное пухом молодой бороды, и на серьезные глаза, устремленные в ноты.

«Моцарт! — говорила она про себя. — Andre — Моцарт... Он будет великим виртуозом».

В те дни была в моде платоническая любовь. Suzanne разрешила себе любить Andre платоническою любовью.

Сердце спросило: «Можно?» И разум ответил: «Можно. Платонически!»

И они стали близки. Вместе читали, вместе гуляли, занимались спиритизмом. Никто не обращал на это внимания. Ей тридцать четыре года, Andre — семнадцать. «Она его вот таким знала...» И сама Suzanne так думала. И только сейчас, точно впервые увидала это лицо с тонким профилем, бледные щеки, покрытые темным пухом волос, и почувствовала, что подле нее стоит новый Andre. Чужой, незнакомый, страшный, но милый, любимый. Andre — мужчина со сложными запросами духа. Andre умница и философ. И не она ему, но он ей будет толковать жизнь. Не она его за ручку, но он ее под руку, твердо, как мужчина, поведет по жизненному пути.

Стало страшно. Одно мгновение хотелось выдернуть руку из-под его руки... Но тянуло к нему. Так тянет омут темный, с зелеными глубокими очами, с тишиною неведомого, с тонкими стрелами листьев плакучей ивы на длинных вниз опустившихся в бессилии ветвях.

«Ужели я полюбила его?.. По-настоящему... Так, как пишут в романах... Ужели смогу сказать ему: — Моцарт!.. Великий, дивный, любимый!.. Мой... мой повелитель. Друг мой... Свет мой... Мой муж!..»

Suzanne зябко поежилась подле плеча Andre и, крепче прижимаясь к нему, сказала:

— Пойдемте. Холодно стоять.

Они вышли из толпы и медленно пошли вдоль Александровского сада. Сквозь переплет голых сучьев в мутном свете ночи гигантским силуэтом рисовался всадник на вздыбившемся коне. В протянутой вперед руке таилась страшная сила. Грозным казалось лицо в лавровом венке.

— Мне тяжело, Suzanne, — сказал Andre, глядя на памятник.

— Что, Andre? Опять тоска? — участливо спросила Suzanne.

— Противно все это... Понимаете?.. Россия, памятники, Петр, величие, слава, честь, подвиги, Родина — все это миазми...

— Разве, Andre?

— Нет, слушайте... Не я один так думаю. Вы знаете моего товарища Бродовича? Он очень умный. Все время в первом пятке... Он говорит, что это предрассудки... Вера и Бог... Он говорит, что это выдумали нарочно. Он доказывает историей. Он говорит, что пока есть бог — не может быть свободы... И ее нет... Нет нигде.

— Но сколько народа верит!.. Смотрите, что делается кругом.

— Пьяный с гармошкой на Фонтанке — это вера? Нет, Suzanne, скажите мне: эти митрополиты и епископы, как золотые изваяния важно шествующие в толпе, это золото крестов и бархаты хоругвей, это коленопреклонение и пение — это что же?.. Это Бог?

— Разве вы ничего не чувствуете?

— Я, к сожалению, слишком умен, чтобы чувствовать, — раздраженно сказал Andre.

— Если верить, Suzanne, так надо верить, как няня Клупша, как мама, как Федя. И в ад и рай верить. В муки совести, в горение на медленном огне... В чертей и ангелов, в весь тот вздор, который нам сладостно преподносит религия... Меня тошнит от запаха ладана и розового масла батюшкиной рясы... Я не понимаю, как это все может быть... Психоз, сумасшествие. Тоже гипнотизм своего рода... Государство и религия. А по-моему — ни государство, ни религия.

— Что же тогда? Что любить?.. О чем мечтать?

— Ни о чем.

— А как же Христос?

— Христос?... Не было и Христа. То есть был какой-то там иудей, жизнь которого нам описали, украсив вымыслами. Но никаких чудес, ни воскресения, понимаете, — ничего!.. Да, может быть, гипнотизм. Сильный медиум. Вы слышали рассказ о том, что когда Христос воскресил Лазаря, никто не мог смотреть воскресшему в глаза. И понятно: смерть смотрела из них. Он был оживлен, но не воскрешен, И пришло время: оживленное тело сгнило... Да вздор это все! Воскресать, чтобы снова умереть?.. Нет, лучше один раз и довольно. Навсегда. И чем скорее, чем лучше. В Мюнхенской Пинакотеке есть картина: — «Воскрешение дочери Иаира». Так там со смертного ложа поднимается девушка. И взгляд у ней мертвый и сама она мертвая. Понимаете, в чем соль?.. Не воскрешена, а как в опыте Гальвани с лягушкой, оживлены мускулы, и она согнулась и села... Какой ужас!

— Но, Andre... Что вы!.. Душа есть, и наше «я» не умирает!

— Это неправда. Материя вечна. Ничто в мире не исчезает, но претворяется в новый вид, в новый образ. Но никакого вечного «я» нет. У нас в классе есть гимназист — Витковский. Поляк. Сын богатого помещика. В Полесье на реке Стыри у них имение. Он мне рассказывал: дубы такие, что под ними может обедать сто человек. Десятерым не охватить. И рассказывают не как легенду, а как правду, что когда их предок сажал эти дубы, он вырыл яму и в нее приказал закопать трех громадных, откормленных, убитых быков. И на их трупах вырос этот могучий дуб. Мясо животных претворилось в соки растения, в ветви, листья, в могучий ствол... А «я», которое сидело в быках, куда же девалось? Где оно? В листьях, в желудях, в стволе? Что же, Suzanne, нянины сказки о Боге и рае, иступленно радостные возгласы «Христос воскрес»?.. Нет!.. Ничего!..

Они подошли к небольшому выступу в набережной. Полукруглым уступом входила набережная в Неву. Гранитные скамьи тянулись вдоль выступа. Внизу обмелевшая Нева казалась светлым своим песком. Чуть набегала и ласково шептала холодная, прозрачная вода.

— Сядем,— сказал Andre.— Здесь хорошо. Не видно этого человечества, которое мне так смертельно надоело!

За серым деревянным на барках мостом, горбом поднимавшимся над рекою, бледнело небо. Прозрачный зеленый сумрак клубился за Петропавловскою крепостью. Отрывисто прогудел где-то на взморье пароход и стих. Над Невоею неслись не умолкая колокольные звоны, будили реку и словно призывали рассвет и солнце.

— Какая глупость, какой идиотизм — жизнь и труд,— сказал Andre, облакачиваясь на широкий гранитный массив набережной.— Жутко подумать: этот камень — и в нем история людской глупости. Где-то далеко, на севере, люди копошились в скалах, пробивали отверстие, вставляли пороховой заряд. Скала раздроблялась на куски. Потом днями, неделями, месяцами так, что ныли и саднили в мозолях руки, обтесывали из него этот кусок, везли его на лошадях сюда и ставили... Зачем? Чтобы мы с вами сели здесь? Чтобы кто-нибудь облокотился?.. Не надо этого, ни к чему!..

Suzanne вздохнула и ничего не сказала. Большие, узкие, миндалинами, глаза ее под темными ресницами смотрели устало.

— Я думаю,— продолжал Andre,— не проще ли кончить все? Ипполит мечтает быть естествоиспытателем. И не пони-

мает того, что... не стоит. Все эти Бюффоны, Брэмы, Гумбольдты всю жизнь отдали на то, чтоб изучить какую-нибудь птицу, подглядеть, как она вьет гнездо, или сосчитать, сколько позвонков у змеи... открыть новый цветок... а не все ли равно? В физическом кабинете я смотрю чертежи машин. Кто-нибудь всю жизнь отдал, чтобы придумать какой-нибудь золотник, кран или винтик. В этом винтике вся его жизнь. Утро и вечер, будни и праздник, радость и горе, все в том, куда и как сунуть крошечный винтик! Так вот: стоит ли жить, не пора ли прервать и посмотреть, что там?.. Если там Бог и ангелы — он простит по Своему милосердию. Если там ничего, ну и ладно... И смущает меня одно... А если там вот это... блюдечками стучать, столы поднимать, отвечать на глупые вопросы... Опять та же людская пошлость!.. Что же это такое! — уже с тоскою проговорил Andre и крепко сжал руку Suzanne.

— Andre,— сказала Suzanne. Странно дрогнул ее голос, и ожили усталые глаза.— Andre, вы забыли главное в жизни. Вы забыли ее цель. Ее назначение. Смысл жизни — любовь!

— Любовь,— повторил Andre.— Нет! Увольте!.. Только не это! Мне было тринадцать лет. В цирке Чинизелли шла пантомима «Нибелунги». Я там увидел женщину с длинными волосами, с гордым смелым лицом и огневыми глазами. В шлеме и панцире из золота, гибкая, стройная, она скакала без седла на лошади. Она показалась мне прекрасной. Я влюбился в нее. Это была Клотильда Репетто. Я пошел в магазин Попова у Аничкова моста и купил ее фотографию в этом костюме. Я показал ее своему товарищу Благовидову. Он сказал мне, что хорошо было бы, если бы она мне ее подписала. Он советовал пойти на квартиру и попросить ее дать автограф. Я пошел. У меня сохло в горле и обмякали ноги. Я позвонил у двери на лестнице, на которой дурно пахло конюшней и кошками. Черномазый неопрятный лакей отворил мне. Голос мой прерывался, когда я сказал, что мне нужно видеть госпожу Клотильду Репетто. Меня привели в гостиную. Ко мне вышла пожилая полная черноволосая женщина. Я с трудом узнал в ней свою богиню. На лоб сбегали жирные вьющиеся волосы, черты лица были грубы. На ней был корсаж. Нижние пуговицы тесной кофты не были застегнуты, и оттуда торчала рубашка. На ней была длинная грязная юбка и стоптанные башмаки. От нее пахло луком. Ей, должно быть, было за сорок. Заплетающимся языком я объяснил, что мне надо. Она смеялась, говорила на плохом французском языке, что я милый мальчик, но что

мне рано ухаживать за наездницами из цирка. Она повзвала свою сестру Виргинию. Эта была моложе, стройнее, красивее, но такая же черная. Обе смеялись. Виргиния посадила меня к себе на колени, а Клотильда уселась писать. Я мучился от стыда. Клотильда взяла меня за подбородок и поцеловала жирными губами в губы. Если это любовь,— я навеки излечился от этого чувства. Придя домой, я изорвал и выбросил карточку. Цирк для меня потерял интерес.

— Это не любовь,— сказала Suzanne.— Вы были слишком молоды. Вам было рано любить.

— Хорошо... Мне восемнадцатый год... Пора уже. Шел я великим постом мимо магазина Попова и остановился у витрины с карточками артистов и артисток. Я увидел маленькую карточку. В профиль снята совсем молоденькая девушка. Не в театральном мишурном костюме, а в бальном открытом платье. Маленькая, слегка приподнятая головка, тонкая шея, волосы так уложенные, что кажутся короткими и от этого весь профиль изящен. Внизу подпись: «Оголейт 3». Самая фамилия казалась необычной. Я купил карточку, принес домой. Она мне казалась прекрасной. Парникель, шестиклассник, второгодник, имеет связи в балете. Его сестра танцует на сцене. Я уже хотел просить его познакомиться меня с этой барышней, носящей такую причудливую фамилию: Оголейт... Но вспомнил... И там, наверно, пахнет луком, жирные губы, смешки... и все — ерунда...

Скорбная складка стянула худощавые щеки Andre. Лицо его было печально.

— Пойдемте,— сказал он.— Уже поздно. Народ идет из церквей, и солнце восходит.

Они встали. Утренний холод заставлял Suzanne пожиматься под легкой темно-зеленой с черным узором мантией. Тонкая, высокая, стройная, затянутая в корсет, она шла легкой походкой. Ей казалось, что она молода и прекрасна. Ей казалось, что именно она должна разбудить в Andre любовь и тем вернуть его волю к жизни.

Почти всю набережную до Фонтанки они шли молча, в ногу, рука с рукой.

— Нет, нет...— порывисто сказала Suzanne.— Нет, Andre. Вы заблуждаетесь. Это не любовь! Любовь спасет вас. Излечит от тоски.

— Какая любовь,— со скукою сказал Andre.— К женщине? Ах, читал я и Шопенгауэра, и Скальковского читал. Все правда. Век пушкинских Татьян и Онегиных миновал, и нету тургеневских Лиз... чушь... ерунда... завеса сорвана. Жизнь мне понятна... Отцы наши путались в романтике и

подносили цветы и кольца своим возлюбленным... Ну, мы-то подносить не будем. Если равноправие, если женщина чело- век, то это уже глупо. Любить женщину... нет, увольте!

— Andre... Но это потому, что вы хотели любить чужих, незнакомых женщин. Для любви нужно сродство душ... Нужно долгое знакомство. Нужна взаимность... Когда вас полюбит женщина, тогда, только тогда, вы поймете, что это такое — любовь!

Голос Suzanne дрожал. Andre чувствовал у себя под лок- тем дрожание ее руки, ее бедро касалось его бедра и трепе- тало подле. Andre внимательно посмотрел на Suzanne. Каза- лось, он изучал ее. Да, несомненно, он увидал в ней жен- щину. Он смотрел на нее как мужчина. Suzanne под его взглядом подбиралась и хорошела, как подбирается и лег- кой, полной грации становится лошадь, когда сожмет ее всадник сильными ногами и, бросив вперед, вдруг подберет ее мягким, но настойчивым нажатием мундштука. Поднимет гордо она шею, опустит опененную голову, нальются кровью белки подле темного агата глаз, выгнется лебединая шея, спадет изящными завитками на нее душистая грива, откинет далеко она волнующийся хвост и не идет, а танцует она, пре- краснейшее из созданий Божиих, едва касаясь земли гутта- перчей напруженных копыт.

Молодою и красивой почувствовала себя Suzanne под но- вым взглядом Andre. Точно бремя лет соскочило с нее. Кровь побежала горячим потоком по всему телу и прилила к ее лицу. Затрепетали тонкие ноздри, губы стали горячими и влажными, нежный румянец пробился на блеклые щеки. Она взмахнула левой рукою, и движение руки, затянутой в старую лайковую перчатку, было бессознательно изящно. Она стала шире и легче шагать, и тонкая ножка замелькала из-под длинной юбки.

Подле Andre была не та Suzanne, которая отрывистым резким голосом говорила, точно командовала: «tenez vous droit...», «mangez la soupe!..», «allez a madame votre mere et remerciez la» *. Была новая Suzanne, чужая и родная, далекая и близкая. Явилась женщина Suzanne, так не по- хожая на Клотильду Репетто, что-то сулящая, что-то обе- щающая.

Andre посмотрел на нее еще и еще раз. Скорбная склад- ка пропала с его лица. Странное любопытство загорелось в нем.

— Если бы вы узнали, Andre,— говорила Suzanne,— что

* держитесь прямо... ешьте суп... поблагодарите вашу маму

женщина... девушка чуткая... с высокой душою... может быть, и не молодая... но нет, нет... не подумайте чего-нибудь... не старуха... А mon Dieu, mon Dieu *, что я говорю такое... Я говорю вам... как товарищ... как старый друг вашей семьи... И вдруг вы знаете, что вас любят горячо, сильно... Что о вас думают... Вами живут, вами гордятся, о вас мечтают... Вы говорили... и, mon Dieu, mon Dieu, вы это прекрасно говорили, как может Бюффон или Брэм посвятить всю жизнь животным или сколько позвонков у змей... или тоже про рабочего... который все отдал на то, чтобы придумать, куда поставить какой винтик... А вы не думали, что, может быть, подле них стояла любимая?.. И для нее изобретали этот винт, ее именем называли открытый цветок... И в этом радость, в этом счастье... И божество в этом... в любви!..

Они подходили к дому. Скукой веяло от раскрытых ворот, двора, флигелей, по верхним этажам которых светило солнце. Andre робко позвонил, сейчас же послышались хромающие шаги тети Кати. В квартире было тихо.

— Разговляться-то будешь? — спросила шепотом тетя Катя.

— Нет. Прямо спать, — сказал Andre.

Ему был неприятен вид беспорядочного стола, тарелок с пестрою шелухой яиц, с кожей ветчины, недопитые рюмки и крошки кулича и пасхи на скатерти.

В темном коридоре Suzanne горячею, трепещущею рукою схватила Andre за руку и, обжигая его своим дыханием, сверкая в темноте длинными жгучими глазами, прошептала, склоняясь к его уху:

— Только не подумайте Andre!.. не про себя я... нет... о! не я, не я!.. А mon Dieu! mon Dieu!.. Я сказала потому... мне кажется, что вы нашли бы счастье. Это было бы счастье... Любить...

Она бросилась в свою комнату и заперлась на ключ.

Andre постоял секунду в коридоре, улыбнулся вялой улыбкой и усталой походкой прошел к себе.

Его комната сквозь белую штору была залита ровным солнечным светом. Четко рисовался оконный переплет на серо-желтом натянутом полотне. «Скучно! — подумал Andre... Скучно! Единственная привилегия человека над животными — он может скучать... Нет, надо кончать всю эту канитель».

Он тяжело сел на кушетку, посланную свежим бельем, и начал раздеваться.

* О Боже! Боже!

На второй день праздника Миша с Федей и няней Клушей вздумали катать яйца. Нянька достала откуда-то старый каток, принесла яйца, освободили ковер от кресел... Улыбаясь милой улыбкой, подошла к ним Варвара Сергеевна.

— Ипполит,— весело крикнул Федя,— ну-ка! тряхни стариною. Кто кого?!

Ипполит презрительно пожал плечами и сказал:

— Предоставляю это тебе. Я не ребенок.

— Играют же взрослые на бильярде или в кегли, а чем это глупее? — краснея сказал Федя.— Притом же теперь Пасха.

— Я ни на бильярде, ни в кегли не играю,— сказал Ипполит и пошел в свою комнату. За ним сейчас же пошла Лиза, и Федя крикнул им вслед: «кузинство — большое свинство! Заметно». У окна сидел Andre и смотрел, как Suzanne рисовала акварелью с натуры веточку ландышей. Им и предлагать Федя не посмел. Липочка присела было на корточки подле катка и стала рассматривать старые деревянные яйца, но сейчас же встала.

Ей стало стыдно перед Andre и Suzanne.

— Липочка, помнишь это яйцо? — сказал Федя, протягивая большое белое деревянное яйцо, покрытое уже потрескавшимся лаком и разрисованное цветами.

— Да,— тихо сказала Липочка.— Это «принц».

— И почему мы его «принцем» назвали? Шесть лет тому назад им похристосовалась со мною тетя Лени. Когда его откроешь, там был ярко-ярко-зеленый мох. И в нем, точно в кустах, сидел маленький фарфоровый лебедь. Тетя Лени принесла его в своем мешочке, и от него долго пахло ее духами. Мне это яйцо и лебедь казались тогда дивно прекрасными. Лучше всего. И сама тетя Лени мне казалась волшебницей из сказки. Как думаешь, Липочка, почему у дяди Володи и тети Лени нет детей? Это потому, что она иностранка и протестантка?

— Федька, ты неисправимо глуп! — сказала Липочка.

— А они так нас любят. Как думаешь, что подарит мне тетя Лени? Я хотел бы еще коробку солдат... Казаков. У меня уже семьдесят два есть, а дядя Володя говорит, что в эскадроне надо не меньше ста. И тоже хотелось бы артиллерию. А то у меня всего три пушки. А в батарее — четыре.

— Будет тебе тары-бары растабарывать,— сказала няня Клуша и пустила лиловое яйцо по катку.— Ну-тка, догоняй его своим принцем-то, что ль?

Качаясь с боку на бок по красному желобу катка, белый облезлый «принц» легко скатился на ковер, но отбежал недалеко и остановился.

Миша пустил тяжелое граненое синее яйцо, и оно с грохотом скатилось вниз и чуть не кочнуло «принца».

Липочка, не принимая участия в игре, стояла и снисходительно смотрела на игроков.

— Мама, пусти в них мраморным,— сказала она.

— Пушу и то. А ты что ж, Липочка, гордишься, что ли?

— Платье мять не хочется, мамочка,— сказала Липочка и, отойдя от катка, села на диван.

Без девочек играть было скучно. Варвара Сергеевна скоро устала.

Вечером Кусковы ожидали гостей. Надо было обо всем позаботиться. Варвара Сергеевна встала. Игра прекратилась.

Федя и Миша уткнулись в книги, няня ползала по коврам, прибирая раскатившиеся яйца.

— Ишь, озорники,— ворчала она,— куда раскатали яйца-то... А нянька старая прибирай... Им, молодым, ништо... А у ей косточки болят... Ах, срамники! Срамники!..

Федя бросил книгу, сорвался с дивана и кинулся помогать няньке.

— Сейчас, нянечка,.. сейчас, милая,.. один момент, и все готово, а ты сядь и отдохни покамест...

К вечеру в гостиной расставляли ломберные столы, раскладывали карты, щеточки и мелки. Федя помогал матери.

Он не спрашивал у матери, кто будет. Из года в год у Кусковых бывали все те же гости. Брат Варвары Сергеевны Владимир Сергеевич — артиллерийский капитан с женою тетей Лени — Магдалиной Карловной — хорошенькой светлокудрой веселой петербургской немочкой, предметом обожания обеих девочек и поклонения всей семьи. Старый детский доктор Павел Семенович Чермоев, друг касторового масла и горького хинина, лицейский товарищ Михаила Павловича — Александр Ильич Голицын, сухой, молчаливый чиновник, которого боялись дети, красноносый мировой судья, двоюродный брат Варвары Сергеевны — Юлий Федорович Антонов, про которого дети знали, что он «в молодости пострадал за правду — в крепости сидел», и Фалицкий.

Детей больше всего интересовал Фалицкий. Он был писатель, журналист, «богема»... Он был либерал. В пыльном, залитом какими-то соусами и неопрятно вычищенном сером пиджаке, со следами перхоти на воротнике, с бронзовой цепочкой и массой брелоков «со значением» на жилете попе-

рек толстого круглого живота, на коротеньких толстых ножках со спускающимися без подтяжек штанами, не всегда аккуратно застегнутыми, лысый, с помятыми бакенбардами на толстых прокуренных и прокопченных дымом редакционных комнат щеках,— он резким пятном выделялся на фоне кусковского дома, старавшегося поддерживать чистоту, опрятность и дворянские традиции.

Мама его не любила и боялась дурного влияния на Михаила Павловича. Тетя Катя говорила, что он пишет переводные статьи в «Голос» и «Петербургские ведомости» и «остроумничает» в «Стрекозе» и «Будильнике». Он шатался по притонам, увлекал за собою слабовольного Михаила Павловича, и они транжирили деньги, которые Варвара Сергеевна берегла на подметки Ипполиту, на новые штаны Andre.

Он приходил шумный, пахнувший пивом и табаком, кричал на всю квартиру про прелести Жюдик и напевал стишки и шансонетки.

И сейчас, вслед за звонком, раздался по всей квартире его хриплый баритон.

— O, du Rinoceros, Rinoceros *,— напевал он, разматывая пестрое кашне и ни с кем не христосуясь.

Он успел ущипнуть пониже спины помогавшую ему раздеваться Феню и на ее протест сунул ей рубль.

— O, du Rinoceros, Rinoceros,— раздавалось по гостиной, куда он прошел.

— А, Федя! — воскликнул он,— здравствуй, бутуз! Здорово, брат, ты вырос. Ну как? Как поживаешь, бродяга? Латынь-то осилил? А? Учись, брат!

Федя молчал. Такое обращение с ним Фалицкого его оскорбляло. Небось с Andre так не поговорил бы! Он краснел и думал, как бы удрать. На счастье, пришла Варвара Сергеевна и сейчас же задребезжал звонок. Это были дядя Володя и тетя Лени.

Федя побежал в мамину спальню. Он знал, что тетя Лени прямо пройдет туда, чтобы осматривать в зеркало хорошенькое лицо, пудриться, болтать с барышнями и раздавать подарки. У нее дома был большой попугай в клетке и собака Джек, которая умела делать массу фокусов и охотно играла с детьми.

Дети облепили тетю Лени и дядю Володю и тормозили их. Даже Andre вышел из своей комнаты.

— Andre,— говорил дядя Володя, среднего роста офицер в длинном сюртуке, по-праздничному в эполетах,— вот тебе

* О, ты носорог, носорог!

«Млекопитающие Карла Фогта с рисунками Шпехта». Рисунки, Andre,— восхищение! Звери прямо живут. В зоологический сад ходить не надо.

— Тетя Лени, тетя Лени,— трещала Лиза,— какими душами вы душитесь? *Violette merveille* *. Да?

— Но Лиза, ты растешь! И какая красавица! Покажи ножку? Нет, выше, выше подними юбочку... Танцуешь?.. С ума будешь сводить кавалеров... Ну вот я привезла башмаки, надеюсь, не велики, самый маленький номер...

— Да, Федя, друг сердечный, таракан запечный, пополним твою армию двумя орудиями с запряжкой и эскадроном казаков, еще я и два взвода пехоты в резерв поставлю,— шумно говорил дядя Володя, из громадного коврового мешка вынимая подарки...— А, Миша! — обернулся он к младшему племяннику,— что, друг?

Как яблочко румян,
Одет весьма беспечно,
Не то, чтоб очень пьян,
Но весел бесконечно...

Так-то, Михаиле! Получай, брат, своего Майн Рида — ибо ты чтец, Федюха жнец, а Andre на дуде игрец. Что твоя скрипка, Андрюша? Не запускай.

— Что ты такой бледный, Андриаша? Не хвораешь ли? — участливо спросила тетя Лени.

В прихожей раздавались звонки. Гости собирались, а дядя Володя и тетя Лени сидели в спальней Варвары Сергеевны и барышень и не торопились идти играть в карты. Тетя Лени с Лизой и Липочкой, тесно прижавшимися к ней, расселись на узкой кровати Лизы, дядя Володя прислонился к спинке кровати, Федя, раскрыв рот, стоял против него, Andre забрался на подоконник, Миша лежал у ног тети Лени.

— Тетя, а что Джек? — ласково говорил Федя,— дома остался? Отчего не привела с собой, мы бы играли с ним и с Дамкой.

— Где были у заутрени? В первой гимназии?

— А вы, тетя?

— Мы как всегда в Уделах.

— Много народа? — стараясь вести светский разговор, говорила Липочка.

— Дядя, в пушку запрягают четырех лошадей? Я видел шесть.

* Чудесные фиалки.

Два раза заглядывала Варвара Сергеевна звать в гостиную, играть в карты, но не хватало духу разрушить детское счастье. Она качала головой и уходила. Наконец появился сам Михаил Павлович с картами в руках.

— Ну, будет вам,— сказал он,— Магдалина Карловна, вам ничего будет со мной, Павлом Семеновичем и Фалицким.

Тетя Лени поморщилась, но ничего не сказала и взяла карту.

— Тетя Лени! — крикнула Липочка,— в промежутках приходите к нам поболтать. Мы и спать ложиться не будем.

— Нет, нет, ложитесь! Я и так приду!

XIX

В гостиной играли на двух столах. За одним Михаил Павлович, тетя Лени, Фалицкий и Чермоев, за другим Голицын, Варвара Сергеевна, Антонов и дядя Володя.

Федя незаметно прокрался в угол у печки, забрался с ногами в кресло и, неприметный в своей черной гимназической рубашке, сидел и наблюдал за игроками.

Гостиная тонула в сумерках длинного апрельского вечера. На потолке была люстра со свечами, но сколько себя помнил Федя, ее никогда не зажигали. На круглом столе подле дивана стояла высокая лампа с абажуром матового стекла в виде тюльпана и на печке, подле бронзовых часов, два канделябра, но горели только четыре свечи, стоящие по две на углах карточных столов и освещавшие сосредоточенные лица игроков.

Федя думал: «Неужели игра такое важное дело?» Ему странно казалось, как вспыхивал и погасал разговор, гостиная погружалась в сосредоточенную тишину, громко сипел старый Чермоев и хрипел страдавший удушьем Фалицкий. Феде было жаль маму, тетю Лени и дядю Володю. «Им, наверное, не хочется играть, но папа хочет, и они играют. Папе нужно составить «партию» всем этим господам и особенно противному Фалицкому, который говорит какие-то ужасные вещи, отчего страдает мама и пунцовым румянцем заливаает щеки тети Лени».

— Пас!

— Пас!

— Игра в трефах. Что скажете?

— Я пас.

— Пас.

Гостиная погружалась в молчание. Слышно было, как звонко тикали часы на мраморной полке, сипел Чермоев и хрипло дышал Фалицкий.

— Дети как? — спросил, оборачиваясь от своего стола у Михаила Павловича, Голицын. — Довольны вы классическим образованием?

— И да, и нет. Мы думали, Делянов поведет по-иному. Хотя немного смягчит против графа Толстого. Подумайте, Александр Ильич, — восемь уроков латыни в неделю, шесть греческого — это половина всех часов! При таком страшном напряжении умственных способностей я боюсь, что дети выйдут недоучками.

— Латынь — хорошая гимнастика для мозга, а знание классической литературы и понимание греко-римской культуры развивает любовь к красоте, — медленно сказал Голицын.

— Но, Александр Ильич, — возразил Михаил Павлович, — латынь латыни рознь. Они ее изучают не так, как учили мы с вами в лицее.

— Но они все-таки читают в подлиннике Корнелия Непота, Юлия Цезаря, Саллюстия, Цицерона, Овидия Назона, Ксенофонта, Гомера, Софокла. Это роскошь. Это такой освежающий душ на молодые мозги, что худого получить от этого не может. Они волей-неволей уносятся в мир античной красоты, права и правды, и они понесут с собою в жизнь преклонение перед законом, уважение к общественности, к *res publicum* *, и те понятия элементарного парламентаризма, которые так нужны нам, чтобы снова сдвинуть Россию с мертвой точки и повести ее по пути прогресса, — тасуя карты белыми блестящими руками, солидно сказал Голицын и поджал нижнюю губу так, что длинная редкая острая седая козлиная борода выпятилась вперед.

— А совсем не это нужно!.. Не это... — закричал через стол Фалицкий. — Магдалина Карловна, так нельзя-с! Я объявил игру в пиках, в пиках! Черт возьми!.. России не красота нужна и античные фигли-мигли, а сельскохозяйственное и техническое образование... Надо самоги шить уметь, а не Овидиевские метаморфозы скандировать... Надо права свои понимать и долг исполнять перед народом, а не в сказках Гомера распыляться.

— Да, если бы мои дети, — примирительно заговорил Михаил Павлович, — изучали классическую литературу и жизнь древнего мира! В подлиннике, так сказать, изучали.

* общественному делу.

Туда-сюда — я бы понял это. Но они засушены в грамматических формах. Их учителя, за малым исключением, бездарные чехи. Почему поставлено *ut consecutivum*, почему *concessivum* или *finale*? Когда после *postquam* ставить *perfectum*, когда *plusquamperfectum*! И дальше этого ничего. Помешаны на задалбливании форм неправильных глаголов и аористах. Начнут многое, а за год и «*De bello Gallico*» * не осият!

— Сушат молодой мозг,— сказал дядя Володя.

— И лучшие будут худшими,— сказал Фалицкий и запел: — о, du *Rinoceros*, *Rinoceros*!

Варвара Сергеевна поморщилась.

— Прошлого не вернешь,— раздражаясь и мучительно краснея носом и краями щеки, заговорил Антонов.— Надо думать о будущем. Надо не только и даже не столько искать идеалов в Элладе и Риме времен патрициев, сколько создавать будущее, опирающееся не на сословия, а на классы. Вон хотят все вернуть дворянам, а не видят того, что мы, дворяне, рухлядь, хлам, опавшие листья. В кучу метлоу, в угол сада и поджечь, пока не замело снегом.

— Чем провинились перед вами дворяне? — сказал Голицын.— Отцы наши сидели по деревням и вотчинам среди народа и не гнушались им. Мы были одно с народом. Мы были его братья и даже жизнью и достоянием жертвовали этому самому народу. Вспомните покойного Павла Саввича — уже, кажется, куда дальше!

— Так и сидел бы в деревне и берег бы дворянское гнездо. А то на поди, какой христианин выискался! Все роздал, а детей, внуков кем оставил?.. Дворянами?.. Что же — Михаил Павлович дворянин?.. Дети его дворяне? Нет, Александр Ильич, без двора нет и дворян,— говорил горячо Антонов, и слюна брызгала с его пухлого рта.— И все нонешние затеи нового царствования не на добро, а на зло. Искусственно, земскими начальниками дворянство не создать. Это значит увядшие листки ниточками к сучьям привязывать и думать, что весна на дворе. Осень, Александр Ильич, на дворе.

— Будет и весна,— сказал дядя Володя.

— А когда весна будет, так сухие листья — к черту, к черту-с. Другое понадобится. Не дворянство-с. Мужик другой стал. Мужика знать надо-с. Теперь по деревням-то не Антоны Горемыки и не Касьяны с «Красивой Мечи» сидят, а серьезный народ. К ним на Овидии Назоне не подъедешь.

* «О галльской войне» — сочинение Юлия Цезаря.

Там свои губернаторы и судьи, свои попечители растут и как бы не сказали они нам: — руки прочь...

— Критиковать легко,— сказал Голицын.

— Не спорю-с. Но примеры на лицо-с!.. Вот у Михаила Павловича растет молодое поколение. Пожалуйста, спросим, кто на что готовится. Андрюша уже гимназию кончает, каждого видать. Ну что же дадут они России и народу? Ибо народ-то их ждет. Он на что-нибудь трудовую копейку нес, чтобы насаждать образование. Миша! Ну-ка характеризуй ребят.

— Изволь... Andre восемнадцатый год пошел. Он определился. Мы дали ему все, что по нынешнему времени могли дать. Он хорошо говорит по-французски. Я читал его сочинения. Он грамотно пишет... Ну... играет на скрипке... Немного увлекался побочно естественными науками. Брема чуть не наизусть знает... Да... кем он будет? Не знаю... Профессором, как я? Ученым?

— Так... Так... Что же для народа? Ему не профессора, а учителя нужны. Кто твой Андрюша? Музыкант в оркестре? И не первая скрипка, а так, где-нибудь в третьем ряду... Коммивояжер по Франции и Швейцарии... профессор... Ну путешественник. Тоже какую-нибудь дикую лошадь или верблюда откроет... А для государства, для народа? Ведь Государь-то хочет ему все дать... На скрипке в волостном правлении сыграет... Сумеет он заставить крестьян вести разумное хозяйство? Сумеет заставить не лениться, быть честными, не уговорить, не разжалобить Антоном Горемыкой или Муму быть любящими, не бить лошадей вожжами по глазам и не калечить детей?

— Да, конечно. Andre не годится для деревни. Да он и здоровья слабого.

— Ну, хорошо. Ипполит?..

— Ну, Ипполит!!... Это светило латинизма и математики. Ежели не свихнется — это преподаватель, ученый.

— Итак номер два. Федя?..

— Ох, заботит меня Федя. Грубый он какой-то. Точно не нашего рода. Кухаркин сын. Не дается ему латынь. Ему вот савинскому кучеру помогать лошадей запрягать или с Федосьиным женихом по городу шататься. Ему в церкви читать. Пономарь какой-то! Отбил от рук мальчишка. Волком глядит в лес. Четырнадцать лет поросенку, а как на Феню заглядывает. Боюсь, боюсь я за него. Чудной. Нянины сказки, игра в солдатики и рядом так и льнет ко всем простым людям. Ему первое удовольствие к Филиппову за калачами сбегать, на Семеновском плацу торчать, смотреть,

как солдат учат. Намедни рассказывал, смотрел там какой-то экстинктор Рамон-Боналаса испытывали. Изба, мол, была построена, пожарные приехали, вышел человек с небольшой красной трубкой, избу зажгли и, когда она разгорелась, он ее потушил. Где только толпа, где приключение, там и мой Федька. По-французски говорит, как сапожник, а такие уличные словечки откалывает — срам слушать. Придется сорванца в берейторскую школу отдать. Кем он будет? Бог знает! Боюсь, что становым приставом — дальше не пойдет.

— Вот и выходит, что чем меньше школа обработала мальчика, тем жизненнее он выходит. Инстинктом ищет общего языка с народом, практической школой.

— Все нападки на школу,— сказал Чермоев.— Какая бы школа ни была, она уж тем хороша, что дает мальчику гимнастику мозга. После гимназии университет покажется легким и выправит все недостатки средней школы.

— O, du Rinoceros, Rinoceros,— пропел Фалицкий.

XX

Больше Федя не слушал. Слезы душили его. Притаившись, сжавшись маленьким комочком, отстегнув бляху пояса, чтобы она своим блеском не выдала, стараясь тихо дышать, он слушал жестокие слова отца. И мама, мама не заступилась за него. Тетя Лени молчала! И эти гадкие, стыдные слова про Феню!.. И при тете!

Глаза застилало слезами. Тонули в сумерках лица игроков, и свечи казались расплывчатыми яркими звездочками, от которых шли во все стороны длинные тонкие лучи и тянулись до самого потолка. Он — грубый, он никуда не годный мальчик. Это слушала милая, добрая мама и ничего не сказала. Он стыдными глазами смотрит на Феню и тетя Лени — обожаемая фея-волшебница, нежная, светлокудрая тетя Лени, существо из какого-то особого мира,— слышала это! И что! Что она подумала про него! Стыдно будет показаться ей на глаза.

Стоит ли жить, когда папа не любит его и говорит о нем с таким пренебрежением... За что? За двойку по латыни и тройку с минусом из греческого!.. Но это потому, что Эдмунд Альбертович его ненавидит, а рыжий Кербер никогда не дает ему времени подумать и справиться с аористом. Но по закону Божьему, по русскому у него пять. И по геометрии четыре, по географии, по алгебре, по истории четыре и пять... Папа сказал, что это не важно. Это второстепенные предме-

ты. И Митька на пятой неделе поста вызывал к себе и отчитывал за пренебрежение к наукам. Грозил переэкзаменовкой и оставлением на второй год!

Его все презирают за то, что он плохо учится. Его считают никуда не годным мальчиком.

Неправда!.. Он всею своей жизнью докажет, что это неправда... У дяди Володи в каком-то военном журнале он прочитал одну фразу и запомнил ее навсегда.

«Никакая слава в мире не может сравниться со славою полководца», — так начиналась какая-то военная статья. — «Писатель чтим и уважаем сравнительно малым числом грамотных и читающих его людей, художника и скульптора знает еще меньшее число людей, издававших их произведения, ученого знает еще меньшее число людей науки, — и только имя полководца гремит по всему миру и превозносят его победители и трепещут его имени побежденные и из века в век гремит его имя, передается из поколения в поколение в истории его побед, в легендах, песнях и поэмах»...

Федя дословно помнит эту фразу. В ней он услышал правду. Да... О каком-нибудь Софокле, Платоне или о Парразии, о художниках древности — что говорит история? Пять-шесть строк. А Киру и Ксерксу, Александру и Юлию Цезарю посвящены целые страницы!.. Их походы изучают самым подробным образом. Осаду Трои мы знаем и только чуть-чуть слышали про каких-то там ученых...

Кто они? Федя имена их позабыл. А Наполеон? Суворов? Скобелев? Нет спичечной коробки, на которой не красовалась бы фигура храброго генерала и не были бы подписаны стихи о всаднике на белом коне. А Бакланов? Ипполит, когда Федя ему сказал о Бакланове, скривился и сказал: «Не слышал такого», а Федя сам слышал, как шла рота по плацу и солдаты дружно пели:

Генерал-майор Бакланов,
Бакланов генерал...

Рявкнут всею ротою и снова тенора звонко, хватая за душу, начнут:

Генерал-майор Бакланов

и вся рота, могуче отбивая шаг, ответит:

Бакланов генерал...

Видно, был герой?! Или Гурко, Радецкий?

И Федя будет таким. Он не будет во время боя сидеть на складных стуликах да издали смотреть на сражение в

бинокль, как нарисовано у Верещагина. Нет, на белом коне он пойдет, как шел Скобелев при атаке Гривицкого редута или под Шейновым. Федя помнит эти картины Верещагина. И ему, как Скобелеву, солдаты будут махать белыми кепи и кричать громкое ура!

Он будет полководцем! А разве нужно полководцу знать латинский язык?.. Ему нужно быть храбрым... Федя храбр... Он не боится привидений, он может взять лягушку в руки и не бежит от мыши... Он не боится темных комнат и духи mademoiselle Suzanne не смеют появляться при нем. У него стальные нервы и железная воля — это все, что нужно для полководца. Так ему говорил дядя Володя.

Федя приоткрыл глаза. Свечи горели покойным неярким светом, освещая зеленое сукно, исписанное длинными колонками цифр. Медленно и скупо раздавались слова:

— Пас!

— Пас...

— Владимир Сергеевич, а вы?

Долго молчал дядя Володя и беспокойно разглядывал карты. Наконец говорил холодно, как бы печально, обиженным жалким тоном:

— Я тоже — пас!

XXI

Andre и Suzanne, к великому негодованию тети Кати, заперлись в комнате у Suzanne. Тетя Катя ходила, ковыляя, по столовой, помогала няне Клуше накрывать стол для ужина и говорила:

— Хоть бы гостей постыдилась, бесстыдница! Ох, совратит она Андрияшу.

— И что вы, барышня! — говорила Клуша. — Ведь ребеночком его мадмазель знала. Рази можно такой грех!

— Растут дети! Растут, нянька... Ох, не видели бы мои глаза, как растут. Гадкими становятся барышни, что кобылы здоровые стали — им женихи на уме, танцы, а не то, чтобы серьезное что. Жертва идее, народу... А мальчики? Ипполит от Лизаветы не отходит. А та, бесстыдница, как увидит его, вся краской залется и глаза блестящие делают. Ох, нянька, разврат по дому ходит. Нет, чтобы себя в девичестве соблюсти, Христовой невестой остаться, служить человечеству, а не семье. О другом думушка.

— Да что ж им, барышня. Дело молодое. А что ж хоть бы и поженились. Одно, что сестра двоюродная, нехорошо.

Так, может, они так только, а там кого другую найдут. Только бы не Софью Германовну.

— А что же Софья Германовна?

— Нехорошо, барышня. Все как-то... Жидовка.

— Эх, нянька! А тут лучше? Француженка... Духов вызывают. Поди — целуются. Я ходила подслушать. Тихо. Не слышать, чтобы что... А Федя?.. Я уже мамаше докладывала, что Феньку прогнать надо. Пялит на нее буркалы мальчишка... Няня, няня, и какие они хорошие были маленькими!.. Век, нянька, плохой. Стыда не стало. Прежде не так.

— Ну, барышня, что о прежнем поминать! Прежде-то тоже девичьи были. Хорошего мало. Теперь все остратка есть. Нельзя этого.

— Постой, кажись, играют на скрипке. Пойди послушать, что такое. А подсмотреть, хоть и не подглядывай. Темень такая — ничего не видно.

Из комнаты Suzanne слышались тихие звуки скрипки. Окно было занавешено одеялом, и в мрак чуть виднелась стройная фигура Suzanne, стоявшей у столика, посередине комнаты. У книжного шкафа стоял Andre и, прислонившись спиной к шкафу, играл на скрипке, то начиная, то обрывая игру.

— Andre, вы слышите? — задыхающимся взволнованным голосом прошептала Suzanne.

— Погодите... Сейчас поймаю... Кажется так?

— Да... Ми... ми... ми... ре... ми... ми... фа... Я слышу... Да, так, так...

Жалобная стонущая мелодия начинала нарастать, скрипка пела громче. Недетская страсть заговорила со струн. Точно греховные мысли Suzanne звуками лились ему в ухо. Эта музыка пробуждала в нем новые, незнакомые чувства. Томила неясным ожиданием. Как будто что-то знакомое, где-то слышанное, срывалось со струн; но иными, живыми, полными силы звуками. Чуть глухим, но верным голосом запела, вторя скрипке, Suzanne. И страсть колебала ее голос. Andre почувствовал, как он горячею струею пробежал по его телу. Смычок дрогнул в его руке.

Мой голос для тебя, и ласковый и томный,

Тревожит позднее молчанье ночи темной...

Плакала скрипка и креп подле нее голос. Он говорил о чем-то таинственном, как тайна бытия, и сильном, как море, готовом унести к неизведанным наслаждениям.

Во тьме твои глаза блистают предо мною.

Мне улыбаются... И голос слышу я...

— Оставьте...— с рыданием в голосе крикнула Suzanne...— Довольно... Я не могу больше. Сейчас я впадаю в транс... Садитесь... Бросьте... Бросьте вашу скрипку...

Со звоном упала скрипка на кровать Suzanne. Наступила напряженная тишина.

— Садитесь, Andre,— прошептала Suzanne.— Вот так.

Холодная рука Suzanne коснулась пальцев Andre. Опять, как ночью в Страстную субботу, приблизились к его лицу длинные блестящие глаза. Горячее дыхание Suzanne обжигало его лоб и шевелило тонкие волосы. Пряный аромат восточных духов туманил сознание. В углу комнаты еле видным красным огоньком на пепельнице тлела монашка и сладкий запах ладана становился все гуще, заполняя небольшую комнату. Было томительно тихо. Время летело. Через коридор и прихожую были слышны голоса игроков в гостиной и всякий раз, как они говорили, Suzanne морщила лоб и шептала с досадою:

— Ах! Мешают... мешают... Ждите... ждите... Чувствую... будет! будет!..

Прошел час. От напряжения у Andre стал проступать на лбу мелкими каплями пот. Его рука стала влажной. Пальцы Suzanne казались еще холоднее.

— Вы слышите?..— прошептала Suzanne.— Есть... Здесь...

В углу, за умывальником, резко щелкнуло. Точно пол треснул.

Щелчок повторился ближе, у самой кровати, похожий на короткий разряд электричества.

— Не оглядывайтесь... Тихо... Тихо...

Холодная как лед рука Suzanne дрожала. Пальцы коржились конвульсивными движениями, как береста на огне.

— Дух!..— взволнованным шепотом сказала Suzanne.— Это ты?..

Щелчок раздался у самых ног Andre, и страх перед чем-то непостижимым липкими волнами побежал по телу Andre от ног к голове.

— Дух! — сказала снова Suzanne, и Andre слышал, как срывался ее голос в пересохшем горле.— Ты будешь отвечать нам?.. Я надеюсь,— ты хороший дух?..

Щелчки раздались у постели, у шкафа, у занавешенного окна. Вдруг с тихим шелестом соскочило прищипленное к окну тяжелое темное одеяло и бледный свет петербургской ночи тихо вошел сквозь натянутую штору и расплылся по комнате. Andre испуганными глазами искал таинственную причину щелчков. Комната стояла во всем своем будничном

порядке. Японские бумажные веера висели в углу левее письменного стола, правее были акварели работы Suzanne, у окна косо стоял письменный стол и на нем лежала стопкой бумага. Верхний лист вдруг сдвинулся, точно от ветра, и, медленно порхая, упал на пол возле стула Suzanne.

— Писать будет...— прошептала Suzanne.— Не разрывайте тока... Поднимите бумагу. Карандаш есть?.. Возьмите. Держите так... Дайте конец мне... Так... Хорошо... Дух,— сказала она, чуть возвышая голос.— Мы готовы... Кто ты?

Карандаш в руке Andre двинулся и провел волнообразную линию. Suzanne держала его конец в руке, и он нервно двигался, заставляя двигаться и руку Andre.

Лицо Suzanne близко нагнулось к лицу Andre. Белые яркие зубы показались из-под тонких красных губ и были на вершок от губы Andre, затененной молодыми усами. Они ловили дыхание друг друга.

Медленно, едва касаясь бумаги, пошел карандаш. Чуть заметная серая линия потянулась за ним. Буквы сливались с буквами, образуя какую-то круглую вязь, и с трудом угадывались.

— Миласуреи...— прочла Suzanne.— Это имя духа...

— Дух,— прошептала она, и ее дыхание было так горячо, что обжигало губы Andre.— Твои намерения?.. Что ты хочешь?..

Было тихо. Карандаш то трогался, то останавливался в нерешимости и возвращался на прежнее место.

И вдруг резко пошел. Остановился... И буква за буквой написал слово «люблю». В то же мгновение горячие уста прильнули к губам Andre и Suzanne впились в них долгим жгучим поцелуем несдерживаемой страсти.

Пол зашатался под ногами у Andre, ему казалось, что стул колеблется под ним. Сладко спирало горло, мешая дышать, и он так же, как Suzanne, старался выпить ее дыхание. Это было непонятное блаженство. Он хотел обнять Suzanne за талию, поднял руку, и сейчас же подряд резко застучали щелчки в разных местах комнаты и с треском полетел столик на пол.

За две комнаты раздался испуганный голос Миши. Он кричал во сне:

— Мама... Мама...

Торопливо на его зов пробежала из гостиной Варвара Сергеевна.

— Оставьте, будет! Что с вами,— прошептала Suzanne.— Вы порвали связь... Вы испугали духа...

Письменный экзамен латинского языка только что окончился. Последний и самый страшный, самый трудный экзамен. Гимназисты, один за другим, подавали листки с написанным *extemporale*. Первый ученик, Вродович, красивый брюнет с тонким носом и широкими ноздрями, встал первым, тихо подошел к столу, за которым сидели Митька и Верг, сухощавый латинист с маленькими черными бачками у висков, уверенно положил свою работу и вышел, никому не кланяясь. За ним потянулся сухой Лазаревский, страдавший вечным насморком, со старческим плоским лицом и черными острыми глазами, потом подал свою работу коренастый, рано возмужавший Благовидов, сын адвоката, гордившийся своими связями через отца с художественным, артистическим и литературным миром.

Andre кончил последнюю фразу и мучился, правильно ли он употребил сослагательное наклонение. Он попробовал подглядеть у своего соседа, Ляпкина, но тот писал, прикрывая рукою. Andre решительно дописал последнее слово и стал перечитывать. Кажется, вышло гладко. «После того, как Эпаминонд» так, так... *perfectum* или *plusquam-perfectum*? *Perfectum*... да... «и чтобы закрепить свои завоевания, он... *Ut*... ну, конечно, — *finale*»...

Andre дописал перевод, встал с нагретой скамьи и подал Митьке.

Митька не глядя положил его на маленькую стопку листов, прикрытых книгой.

Andre поклонился и вышел.

Праздник оконченных экзаменов пел в его душе. В соседнем шестом классе были настежь открыты окна. Они выходили на большой гимназический двор, где за полуразрушенной деревянной оградой был старый, запущенный гимназический сад. На дворе несколько гимназистов младших классов играли в мяч. Они поддавали его палкой вверх и бегали за ним с поднятыми головами, глядя, как поднимался к синему небу, становился золотым и точно таял большой серый мячик. По краям у стен домов росли одуванчики и уже цвели яркими пушистыми желтыми звездочками.

По аллее, шедшей вдоль решетки, ходил Бродович, поджидавший Andre.

В углу класса, у печки, как заговорщики, толпились человек восемь гимназистов, разглядывали какие-то картинки и слушали рассказ Благовидова. Лица у всех были красные, взволнованные, возбужденные.

Andre подошел к ним.

По рукам гимназистов ходили карточки, изображавшие обнаженных женщин. Благовидов с важностью рассказывал товарищам:

— Очень просто это, господа... Прихожу вчера под вечер... Пушкинская, номер четырнадцатый. Зовут ее Анюта... Маленькая, черненькая... спереди кудряшки барашком завиты... Горничная у ней... кричит: «Барышня, кавалеры гимназисты пришли»... Я и Баум...

— Это которого в прошлом году выгнали?

— Ну да... Он теперь в корпусе. Бравый такой кадет... Молодчик...

— Ну, как же вы?.. Не знали совсем. Незнакомые и пришли.

— Это все равно. Соломников нам адрес дал. Принесли пиво... наливку... Шоколадные конфеты... Баум пошел к ее подруге... Я остался... Она говорит: что же, раздеваться будем...

Andre тихонько отошел от гимназистов. У него пересохло в горле и кружилась голова. Было противно. Товарищи, столпившиеся подле Благовидова с красными потными лицами, показались ему похожими на собачонок, стаяей бегающих за сучкой. Невысокий, голубоглазый, кудрявый Бачинский, симпатия Andre, чистый, хорошенький мальчик с розовыми щеками, покрытыми нежным пухом, стоял с полуоткрытым ртом. Прищуренные глаза его были масленисты, он неровно дышал и невольно чмокал губами. Он стал противен Andre.

Но уйти Andre уже не мог. Он, отвернувшись лицом к окну и делая вид, что заинтересован игрою мальчиков в саду, слушал одним ухом рассказ Благовидова.

— Удивительно... Неизъяснимое блаженство. Восторг... Это, господа, нечто... Нечто такое, что передать нельзя... Надо самому испытать... Когда я понял это, мне открылась вся прелесть поэзии Овидия и смысл стихов Пушкина и Анакреона... «*Ars amandi*» *, мне стало ясно, как шоколад.

Andre вышел в коридор. Лицо его горело. Он прошел в раздевальную, надел фуражку, ступил одною ногою на двор, чтобы идти к Бродовичу, но повернул назад и тихо пошел домой.

Кровь стучала ему в виски. «Пушкинская, 14... Пушкинская, 14», — повторял он про себя. Зовут Анюткой... Всего три рубля... Неизъяснимое блаженство... А номер квартиры?

* «Искусство любить».

Дурак... Надо было спросить... Войти. Каждый может... Спросить дворника, где «девочки» живут...

Он дошел до ворот своего дома, заглянул в пустой двор, на который скупо падали солнечные лучи, и повернул назад. Он не мог идти домой.

— «Неизъяснимое блаженство,— подумал он,— да, так и должно быть... Иначе, почему вся литература вертится подле этого вопроса и нет романа, повести без этого? А история? Благовидов рассказывал про Наполеона и его романы... А почему Александр I вступился за Пруссию? Pour les beaux yeux de la reine de Prusse *. Весь мир в этом. И кто не познал этого, тот не жил».

Andre вынул кошелек и пересчитал деньги. Он хорошо знал, что у него четыре рубля сорок копеек, и все-таки пересчитал... Он шел колеблющейся, нерешительной походкой через Кабинетскую к Ямской и остановился. Пошел обратно. Лицо было красно, тело пробивал горячий пот. Перед глазами встала газетная простыня и длинный ряд маленьких квадратиков объявлений врачей-специалистов. Ужас охватил его. Так легко заболеть! Узнает мама!.. Скажет отцу!.. Братья будут знать!.. Лиза... Suzanne... Какой ужас!..

Он вернулся домой и заперся в своей комнате. Мелкая дрожь трясла его, как в лихорадке.

Был полдень. Дома никого не было. Он был один. Он отказался от мысли идти туда, где был Благовидов, но он стал уже другой. Мережились виденные издали фотографии и казались прекрасными. Тайна глядела с них. Хотелось раскрыть эту тайну. Весь свет перевернулся. Suzanne, Лиза, Соня Бродович вдруг стали другими. Точно он видел их тела сквозь материю платья. Неужели они такие? Они женщины со всею притягательной силой женщины. О Шопенгауэре забыл, но вспоминал стихи Овидия и видел в них новый смысл... «Неизъяснимое блаженство!»... Женщины!

Неделю тому назад был поцелуй Suzanne. Он пережил его снова. Усилием памяти восстановил каждую мелкую подробность последнего сеанса. Он играл на скрипке, Suzanne пела и прервала пение там, где говорится: «Люблю... твоя... твоя...» Потом щелкало. Дух написал это странное слово «Миласуреи». Он прочел наоборот и вышло: «Иерусалим»... написал «люблю» и затем — поцелуй... Кровь ударила снова в голову и прилила к лицу. «Дурак,— подумал он.— Дурак, чего же тебе еще надо? Вот она, настоящая страсть во всей прелести взаимности». И уже во всей власти женщины встал

* Для прекрасных глаз прусской королевы.

перед ним образ Suzanne. Длинные, миндалевидные, темные глаза в черной опушке ресниц, с темными веками... умышленно небрежно закрученные волосы. «Тонкая, гибкая и, должно быть,— страстная... Французенка!» А он, он ходил вокруг да около и не видел. «Сегодня суббота...— подумал он.— Все уйдут ко всеобщей. Ипполит и Лиза уедут. Дома никого. Папа в клубе. Мы одни... Незыяснимое блаженство...— прошептал он,— незыяснимое блаженство».

Он обдумывал каждый шаг, каждое движение, и кровь клокотала в его жилах. «Надо отдохнуть»,— подумал он и прилег на койку.

«А дальше что?.. Она гувернантка... А вдруг он обманулся... все это не так... Она честная девушка... Закричит... пожалуется маме... отцу... Позор!..»

Вспомнились слова Благовидова и его смех через растянутый рот, из которого торчали гнилые зубы: «Теперь честных нет. Всякой хочется».

Уткнулся лицом в подушку и лежал, ни о чем не думая, с горячей воспаленной головой и спутанными волосами. Томился... Казалось, не наступит никогда вечер.

XXIII

В сумраке комнаты с окном, занавешенным одеялом, чуть намечались так хорошо знакомые и давно надоевшие предметы. Сквозь щели окна с боков пробивались лучи вечернего солнца и таяли в темноте и только там, где упала их узкая полоса, в странной четкости вставали: ножка стола, угол чернильницы, корешок книги.

Andre привык к сумраку и видел письменный стол Ипполита, стоящий у стены, свой стол у окна, кровать Ипполита, низкую, железную, с бело-розовым одеялом и двумя мягкими подушками, этажерку с книгами на стене, другую, стоячую, с толстыми на ней листами гербариев, с ящиками насекомых. В углу умывальник... Сам Andre сидел на стуле, и у него было чувство, как перед какою-то медицинской операцией. Сердце колотилось... во рту пересохло.

Ипполит давно уехал с Липочкой и Лизой в Павловск. Миша с утра исчез играть с гимназистами в лапту. Отец в клубе. Все остальные в церкви. Голос Фени был слышен на дворе, она зубоскалила с дворниками. На кухне была только Аннушка.

Suzanne обещала прийти на сеанс. Если через пять минут она не придет, он пойдет к ней.

— Andre...

Дверь тихо отворилась, и в золоте узкого солнечного луча, пробивавшегося из столовой в коридор, появилась Suzanne.

— Вы уже все приготовили... Пойдите, а столик? Я сейчас принесу.

Она ушла и вернулась с небольшим круглым столиком на столбике. Они сели. Положили руки.

— Andre. Я боюсь, сегодня ничего не выйдет. Я не в настроении. Боюсь, что не впаду в транс,— сказала Suzanne. Ее голос дрожал.

Andre сидел, не смея дышать. Его слух был так напряжен, что он слышал, как тикали его серебряные часы на письменном столе. Малейший шум на дворе доносился, заглушенный одеялом и шторой. Хохотали дворники. Мороженщик кричал на дворе.

— Дух, ты здесь? — спросила Suzanne, и голос ее отозвался по углам комнаты. Ничто не треснуло, ничто не щелкнуло в углу.

— Нет, ничего не выйдет,— сказала надорванным голосом Suzanne и быстро встала. Andre несмело взял ее за талию. Она стояла, опустив голову и руки. Лицо ее горело. Andre неловко стал целовать ее в губы, щеки, в шею, куда попало. Она не отвечала на поцелуи, не шевелилась, не противилась.

— Что вы делаете? — прошептала она испуганно, когда он дрожащими руками стал расстегивать сзади пуговицы ее кофточки.— Зачем?..

Он повлек ее к постели Ипполита и усадил на нее. Он ничего не помнил и не соображал. Временами у него темнело в глазах. Она смотрела на него испуганным взглядом, но помогала раздеть себя и покорялась каждому его движению.

— Andre,— прошептала она...— Что же это?..

.....

«Неизъяснимое блаженство»...— прошептал Andre, когда полуодетая Suzanne вырвалась от него с блузкой в руках и пробежала в свою комнату. Он криво усмехнулся. Он сидел на смятой и взбудораженной постели Ипполита и думал. Весь разговор их в пасхальную ночь вставал перед ним и ясно было одно. Он не создан для этого. Ни для любви, ни для страсти... Ни вообще для жизни... Все это довольно-таки противная штука. Давно уже решил он, что жить не стоит. Тогда, под звон колоколов, Suzanne сказала ему, что жизнь заключается в любви, что любовь есть цель и наслаждение

жизни. Иначе говорили Шопенгауэр и Скальковский, каждый по-своему...

Andre встал, привел комнату в порядок, снял с окна одеяло.

— «Если бы кто видел?!.. Какая гнусность. И если это надо делать таясь, как вор, так что же здесь хорошего?!»

Он схватил с полки первую попавшуюся книгу, развернул ее и бросил на стол. Квартира оживала, могли войти. Он раскрыл книгу... Геометрия...

«Геометрия, так геометрия! Не все ли равно? Две параллельные линии никогда не встретятся,— прочел он...— И мы не встретимся больше никогда... Стыдно... А как же?.. Нет... это надо продумать... Что же было? Было что-то стыдное, ужасное... Но как же Suzanne? Он должен теперь жениться на ней. Ему восемнадцать лет, ей тридцать четыре. Через три года он может на ней жениться. Они будут жить вместе... всю жизнь... У них будут дети... Нет... это невозможно... Но вообще... Чего же он хотел? Какая цель этого нелепого существования, называемого жизнью? Сегодня утром он писал extemporale на экзамене. Старался... мучился... Для чего? Чтобы кончить хорошо гимназию. А потом?

Со двора был слышен смех. Пиликала гармоника. Смеялась Феня. Andre послышался голос Федеи.

«Федя может. Ему все открыто. Теперь, поди, сидит с савинскими кучером, конюхом и Феней, щелкает семечки, смеется. Его все радует: светит солнце — бежит, кричит: «Мама, мама! Посмотри, какое солнце! Как красиво горит оно на окнах!» Льет дождь — «Какой приятный дождь! Мама! Это весна идет с дождями, смывая снега, скоро лето!» Летят зимою снежинки, а Федя у окна: «Мамочка — как создал Бог снежинки!» Чудак Федя. Он поверил в эту сложную сказку, придуманную попами, и его не собьешь... Федя не растерялся бы... Две параллельные никогда не сойдутся... И черт с ними... и пусть не сойдутся. Недавно Соня Бродович сказала: «Если жизнь не удастся — возьми и уйди». Соня Бродович! Уж если жениться, если надо это все... «неизъяснимое блаженство», так жениться на Соне. Такой красавицы не было и не будет... И как богато они живут!.. На Пасху он был у них. Они евреи, но все служащие ее отца христиане, и в их доме, на Екатерининском канале, были устроены роскошные разговены и пасхальный стол во всю громадную столовую трещал от пасок, баб, куличей, плетек, мазурок, баумкухенов, окороков и всякой снеди.

— «Соня,— сказал он ей,— как же это, ведь вы — евреи?».— Она задорно повела плечом и, вскинув на Andre

свою изящную голову, матово-бледную, с темными волосами, ползущими на лоб, сказала: — «Истинно интеллигентный человек не имеет религии. Он не верит в бога. Но это доставляет радость людям, и папа решил это сделать».

Воспоминание о Соне обожгло Andre. «Если бы это Соня? О! Все было бы иначе! Она бы не убежала так!.. Все, все было бы иначе. Да и не могло бы быть так».

Вдруг встали все подробности жизни в тесноте, на маленькой квартире и то, чего не видел и не понимал раньше, стало так ясно.

— Suzanne моя жена! Suzanne невеста. А что скажет мама... папа?!! Крику, брани, попреков не оберешься... Ипполит будет кривить тонкие губы, Липочка сделает «ужасное» лицо и скажет: «Andre, неужели это правда? Ты и Suzanne! Какой ужас!» У нее все — ужас... А Лиза?.. Лиза!.. Как, должно быть, надменно-презрительна будет ее усмешка. Andre — замкнутый полубог и спутался со старой гувернанткой. О, какая пошлость!.. Миша будет сидеть на углу стола и смотреть любопытными глазами, и если не осудит кто, то только Федя... А тетя Катя!.. Она уже ищет, подглядывает, прислушивается и, если узнает, — как будет торжествовать! Она давно ненавидит Suzanne, давно преследует ее за то, что она занимается спиритизмом... Хорош спиритизм!»

Andre встал и еще раз безглаголиво оправил подушки и одеяло. Ему все казалось, что постель выдаст.

Вечерело. Его позвали пить чай. Он отозвался нездоровьем и сказал, что не хочет. Он слышал через стену, что и Suzanne отказалась. Отец рано вернулся. Ходил по столовой и все ворчал.

— «Надо решиться! — жить не стоит. Но и надо иметь мужество объясниться».

Andre написал записку: «Прошу вас, завтра, в 10 утра, в Михайловский сад у дворцовой решетки», — сложил и молча просунул под дверь комнаты Suzanne.

XXIV

Михаил Павлович после чая позвал Варвару Сергеевну к себе в кабинет. Это всегда обозначало какую-нибудь неприятность: или семейную, или денежную и Варвара Сергеевна нервно, дрожащими руками прибрав посуду и шепотом попросив тетю Катю напоить чаем Ипполита, Липочку и Лизу, когда они вернутся, с красными пятнами на лице пошла к мужу.

Михаил Павлович сидел в сером халате с малиновыми кистями у большого письменного стола, в кресле с полукруглой спинкой и курил из длинного черешневого чубука. И то, что он курил длинную «дедушкину» трубку, обозначало, что он находился в раздраженном состоянии.

— Ну, наконец-то!.. Слава Богу. Всех напоила? Наседка... ты к ним, а они от тебя... Нечего сказать!.. Воспитала!.. Золото нетяннутое... Садись.

Михаил Павлович указал жене на диван, где ему уже была постлана постель.

— Почему Andre не пришел к чаю? — отрывисто спросил он.

— Ах, боже мой! Михаил Павлович... Я не знаю. Сегодня у него был последний экзамен. Латинский... Устал... Голова болела... Это так понятно.

— А Suzanne?

— Suzanne?

— Да, Suzanne... Милая моя... Ты все смотришь на детей, что они херувимы... Духи бесплотные!.. Они не наше поколение. Они не дворянчики, а в гимназии-то от кухаркиных сыновей чему-чему не научатся... Andre нигилист. В бога не верует... Спиритизм и скрипка до добра не доведут. Да ты меня слушай! — возвысил он голос, увидав, что Варвара Сергеевна отвернулась к окну.

— Я тебя слушаю, Михаил Павлович, — не кричи на меня. Но я не люблю, когда ты так говоришь про детей.

— Ты все веришь, что они так чистыми и останутся! Гони природу в дверь — она влетит в окно... Не так они воспитаны. Мы воспитывались дома... Они на улице. Скажи, что делает Suzanne? Миша по-французски не говорит. Даже отметки по французскому плохие. С девочками тары-бары и все по-русски. За столом никогда не поправит. Какая ее роль?

— Но, Михаил Павлович, не могу же я выгнать девушку. Она четырнадцать лет прожила в нашем доме, и ей я обязана жизнью моих детей... Ведь Федя умер бы, если бы она не дежурила ночами при нем...

— И все это не резоны. Она женщина и женщина балзаковского возраста. Эти шуры-муры до добра не доведут.

— У тебя, Михаил Павлович, всегда нехорошие мысли. Ты не можешь чисто смотреть на девушку.

— А, знаю я их! Одно у них на уме!... У всех... слышишь, мать, у всех... И у Липы, и у Лизы... Природу не переделаешь. И вот мой сказ: от греха подальше. Suzanne пусть лето проживет на даче, а там расчет. Пусть теперь же ищет себе место. Довольно пожила. Другая состояние бы скопила.

— Это на пятнадцать рублей жалования!

— Ее дело. Поменьше бы блузок шила. Вчера посмотрел: шелковые чулки! Это почему? С каких это пор такая мода? И Лизу с осени в институт. Надо попросить Юлию Антонову. А то Ипполиту голову свернула... И Феню вон.

— Господи милостивый! Ее-то за что?

— А за Федьку.

— Михаил Павлович! Побойся бога. Мальчику четырнадцать лет.

— Пятнадцать почти.

— Игрушки у него на уме. Он, если на дворе, так это из-за савинских лошадей и кучеров. А Феня... да и она не девчонка. Невеста уже!...

— Э, матушка, такие-то мальчишек и портят. Уже больно он хорош... Да и возмужал. Нет, довольно. Моложе, чем няня Клуша, чтобы не было прислуги... Поняла?...

— Михаил Павлович. Пощади! Какая муха тебя укусила?

— Не муха, матушка моя, а...— Михаил Павлович потянул носом,— любовью этой самой по всей квартире пахнет, весна... И нехорошо... Так и знай... Не перемену. Ни Suzanne, ни Лизы чтобы к осени не было. И духом их чтобы не пахло.

— Михаил Павлович!

— Ну, будет... Кажется, не первый год знакомы... Когда наметила на дачу?

— В четверг, на будущей неделе.

— Уложиться-то успеешь?

— Да, кое-что укладываю.

Михаил Павлович пыхнул трубкой и окутался табачным дымом.

— Заботят меня, Варя, дети,— сказал он.— Вот они где у меня сидят.— Михаил Павлович похлопал себя по затылку.— Не имели мы права рожать их.

— Господи!... Да что ты говоришь,— испуганно воскликнула Варвара Сергеевна.— Опомнись... Божие благословение... Благодать Господа на нас...

— Говорю, что думаю. Родить-то мы родили, а воспитать?

— Сделали, Михаил Павлович, что могли. Слава тебе Господи. Всех в гимназию определили. Идут — радоваться надо. Бога благодарить... Гордиться можем. Не у всех такие дети. По два года в классе не сидят.

— Гимназия... Да в гимназии-то чиновник... Поняла? Я — чиновник, и они уже чиновники. «От и до». Все рыцари двадцатого числа и только... Бога не вижу у них, любви...

У нас была семья, деревня, была Россия... Мы умели любить... И стихи, и цветы, и букеты, и конфеты... У них любовь — животный акт... А!.. Да не дергайся, матушка. Дело говорю. Говорю то, чем страдаю побольше твоего. Не поспевают они за жизнью. За народом не поспевают чиновники-то новые. Теперь Россия — колосс необъятный, вся в порыве вперед. За границей переводят и изучают Толстого, Тургенева, Гоголя, Достоевского. О нас уже там целая литература. Менделеев, Меншуткин, Бекетов, Потанин, Пржевальский, Яблочков, Семенов, Гоби — это, мать моя, европейские ученые и жизнь обязывает идти за ними... Обязывает, черт возьми, работать... А они остановились. А! не они виноваты... Царь виноват... Режим виноват... Я, матушка, либералом был, либералом и останусь. Я вижу — народ прыгнул вперед, а мы его земским начальником, исправником, становым, да полицией, да классическим образованием. Тишина!... Да... Тишина...

Михаил Павлович замолчал и порывисто сосал длинный чубук. В черешневой обожженной чашке среди серого пепла вспыхивали красные искры. Хрипел чубук. Варвара Сергеевна испуганными глазами смотрела на мужа. Жизнь ее детей, как черная скала, надвигалась на нее, рисуясь острыми зубцами на красном мятущемся тучах кровавом небе. «Господи! — думала она, — и слава тебе, Господи, что тишина и порядок... Господи, тихое и безмятежное житие даруй нам во всяком благочестии и чистоте... Что еще Бога гневить!? Хорошо теперь... Тихо»...

— Тишина... — повторил Михаил Павлович и пустил кольцами дым. — А не обман ли? Могучий властный император все возложил на свои широкие плечи... А, не дай Бог, умрет? Общественность, придавленная теперь, потребует своей доли в управлении, и поднимает голову темный жадный мужик. Надо быть во всеоружии знания и силы... А с чем придут в жизнь мои молодцы? Мы знали жизнь. Мы видали деревню. Они наблюдают ее из дачного палисадника...

Гасли весенние сумерки в кабинете. Пригорюнившись, сидела на постели Варвара Сергеевна, и красные пятна сошли с ее поблекшего лица. Оно было бледно.

— Мой отец знал, что делал, пока не свихнулся. Он верил в Бога и боготворил царя. Он был примером для крестьян. Но он увлекся и бросил имение без своей руки. Я оторвался от деревни, но я верил в благодетельность реформ Александра II и слепо шел за ним... К парламентаризму... к конституции... Народ, мужика хотел я ввести в министерства и сказать: — Правь! Теперь тяжелая рука императора,

оскорбленного в сыновних чувствах убийством отца, остановила нас на полпути и нам не говорят настоящего слова. Но инерции порыва вперед не остановишь. Работа идет и детям предстоит не жизнь, а борьба... Страшно, мать моя... Страшно!.. У нас были — Царь и Бог. У нас была Россия. Они отстали от веры, не благоговеют перед царем и Россия для них — географическое имя. Они жаждут идти в народ. А что они дадут народу, когда у них самих ничего нет. С пустыми руками, с безлюбящим сердцем идут они туда и порывом хотят заменить знание. И когда станут ошибаться — где найдут исправление? Когда я согрешил — я пошел в церковь... Они? Ни молиться, ни плакать, ни каяться они не умеют. Они все сами...

Михаил Павлович отставил чубук, встал и прошелся по кабинету.

— Знаешь, матушка,— сказал он, останавливаясь против жены,— что давит меня? Это — что так страшно тихо... Россия застыла в величавом спокойствии... Да застыла ли? Вот мне иногда чудится... Даже снилось как-то раз что-то подобное... Будто могучий разжиревший конь становился над крутым обрывом. Тяжелый всадник сильною рукою резко сдержал его скак и овладел его волею. Нагнув большую упрямую голову, раскрыв от напора железа пасть, с которой каплет пена, стоит громадный конь. Злобою сверкают его глаза. Он напряжил передние ноги и уперся ими в край бездны. Но скользит под ним земля, змеится трещина за его ногами и шире становится... И чудится мне, что вот сорвется громадным комом и, увлекая всадника, полетит под обрыв, ломая кусты, сбивая скалы, калеча ноги, разбивая насмерть... Вот так-то, матушка, и Россия!... Тишина... Да тишина-то — и не перед бурей, а просто-таки перед крушением...

Михаил Павлович подошел к жене, сел рядом с нею и сказал с глубокою тоскою:

— Тишина над пропастью... А дети!.. Растут дети!.. И они туда же!..

Варвара Сергеевна устремила глаза на образ, тускло мерцавший в углу, и застыла подле мужа.

Верующая... покорная...

XXV

Suzanne вбежала в комнату, затворила на ключ дверь и бросилась на постель. Жалко щемило ее сердце. Она ждала единения сердец, бесконечных задушевных разговоров, но-

чей, проводимых в молчаливом любовании природой, и тихого горения любви, которое разумом приведет ее к алтарю. Спокойной пристани, домашнего очага алкала ее душа. Жаждала выйти из вечной опеки хозяев и самой завести свой дом. Были любовь и увлечение Andre, но были и другие мысли. Она знала, что Мише уже двенадцать лет, что дети перестали с нею заниматься, и понимала, что ее терпят. Она сознавала, что не сегодня-завтра перед нею снова станет вопрос крова и пищи и опять придется нянчить, возиться с жестокими, капризными детьми и приноравливаться к хозяевам. И то, что было возможным в двадцать лет, казалось трудным в тридцать четыре.

Горько было на сердце. Она искала в Andre души, верила в его благородство, и никогда ей не приходило в голову, что это может кончиться так грубо.

С ней поступили, как с гувернанткой, как с низшим существом. Вся ее гордость возмутилась в ней. Если бы она верила в духов — она призвала бы всех духов тьмы помочь ей отомстить наглому мальчишке... Но знала она, что какая-то сила у нее есть, что она может вызывать какие-то непонятные щелчки в воздухе, за две комнаты заставить расплакаться нервного Мишу или сделать так, что выскочат из гостиной девочки и станут уверять, что там кто-то есть, или звякнет фортепьяно, или поднимется стол, но что это за сила — она не знала и управлять ею не могла.

Она понимала: все потеряно. Это пойдет дальше и чем дальше, тем гаже, заметнее, пока не откроется. И ее с позором выгонят.

Любовница гимназиста. Любовница мальчишки. Мелкая дрожь трясла ее тело. С гадливостью она вспомнила красное, потное лицо и волосы, упавшие в беспорядке на лоб.

Она ходила взад и вперед по комнате и ломала руки. Она переоделась, пригладила волосы и подошла к зеркалу. Зеркало отразило поблекшие, увядающие черты. Оно не льстило ей. Лоб желтел и тонкие нити надвигающихся морщин протянулись по нему. Нос покраснел, длинные губы пересохли и потрескались и концы опускались вниз. Кожа желтела в их углах. Румянец горел неровными коричневыми пятнами. Только глаза были хороши. Страшные, трагические глаза. В ней всегда находили что-то фатальное... Но разве фатальные женщины созданы для утех любви? Она хотела бросить и разбить зеркало. Старая гувернантка!

Как выйдет она к чаю и посмотрит в глаза милой, доброй Варваре Сергеевне? Как взглянет на нее Михаил Павлович? Он давно говорит про их сеансы: «не нравится мне».

У него, как у всех мужчин за сорок лет, какая-то подозрительная наблюдательность. И так же, как Andre, она сознавала всю невозможность продолжать жить в этой семье, где еще вчера ей было уютно и хорошо, где весело смеялись девочки и Andre говорил что-то умное и хорошее.

Сейчас она ненавидела Andre слепую жестокою ненавистью. Не понимала, как может снова быть утро, беготня детей, няни и горничной по коридору, столовая, розовая скатерть с узором петушками по краям, самовар, плюшки из немецкой булочной и постепенно собирающиеся дети...

— Bonjour, Suzanne *.

— Bonjour, Andre **.

— Avez-vous bien dormi? ***

— Bonjour, Suzanne.

— Bonjour, chere Липочка...****

— Ты что, шалунья, видела во сне?

— Ох, я так спала, что едва глаза продрала, когда Феня меня будить стала.

— Липочка, quelles expressions! *****

— Современные, Suzanne, гимназические...

Как же это теперь будет?..

...Она уйдет... Сначала к Юлии Антоновне, потом пойдет к Соне Бродович. Они богатые и Соня очень добрая. Соня, пожалуй, единственный человек, которому она могла бы сказать... намекнуть о причине разрыва... Завтра, когда еще все будут спать, в восемь часов утра, она тихонько выйдет, возьмет извозчика и уедет. Варваре Сергеевне оставит записку, поблагодарит ее за все... Но как объяснить уход?.. Такой внезапный!.. Что-нибудь надо придумать.

Suzanne подошла к комоду и стала выбрасывать на постель свой нищенский скарб. Старые платья, старые юбки, все такой хлам, что и везти не стоит. Стоптаные башмаки. Акварели... Ученические тетрадки Andre... Карточки детей. И брать нечего... Внизу комода шкатулка с лекарствами. Это Варвара Сергеевна ей дала спрятать, чтобы дети не взяли грехом. Там и ядовитые есть... Коробки с гильзами и табаком и машинка для набивания папирос. Она набивала папиросы Михаилу Павловичу и Andre, который дома курил.

Машинально перебирала лекарства. В памяти рождались бессонные ночи и дети, метавшиеся в жару. Маленькие ро-

* — Здравствуйте, Suzanne.

** — Здравствуйте, Andre.

*** — Хорошо спали?

**** — Здравствуйте, милая Липочка.

***** — Какие выражения!..

зовые тельца, покрытые сыпью, жалкие, больные взгляды. В эти ночи Варвара Сергеевна, Чермоев и она сливались в одной общей тоске, в одной молитве утишить страдания ребенка, спасти его от смерти. Чермоев тихим голосом, шлепая толстыми губами над беззубым ртом и качая громадной головой, на которой, как у Бисмарка, торчало три волоса, читал им лекции о том, что надо делать и какое лекарство чем замечательно. Можно же быть таким безобразным, как Чермоев, и таким добрым, умным и симпатичным!! Настоящий детский доктор! Точно сорвался с иллюстрации к Диккенсу и только клистирной трубки под мышкой ему не доставало. Огромное красивое лицо без бровей, без ресниц, без усов и бороды, все в морщинах, бегущих во все стороны, с крошечными, заплывшими жиром, слезящимися серыми глазками, короткая шея и неизменный черный скюртук ниже колен на грузном жирном теле... Он страдал свистящей одышкой и, когда поднимался к Кусковым, долго отдувался, тяжело дышал и отирал пот с голого черепа... А как его все любили! Спасителя детей!.. Первым желанием детей всегда было желание быть доктором «как Пал Семеныч»...

«Валериановые капли»... «если употреблять неумеренно,— говорил Павел Семенович,— можно испортить сердце. Явится сонливость, апатия и медленная смерть. И что замечательно, при судебном вскрытии трудно узнать, отчего умер человек. Одно хорошо, что вследствие сильного запаха жертва может заметить и заподозрить преступный замысел».

Судебная медицина была его коньком. В молодости он много работал над исследованием тайно действующих ядов, писал об этом диссертацию и состоял медицинским экспертом в суде.

Suzanne вынула маленький пакетик с темной этикеткой, перевязанный красным шнурком. Он лежал особо. От него шел нежный, пресный, будто трупный запах, и он охлаждал ее руку. Она прочла надпись. Пакетик дрогнул в ее руке.

— Будьте, ради Бога, осторожны с этим порошком,— говорил Павел Семенович,— я даю его вам потому, что знаю, что у вас никто не станет злоупотреблять им. Если подсыпать его в табак и дать вдыхать его дым, наступает блаженное радостное состояние покоя, потом головокружение, рвота... А если курить и курить, то и смерть — и никакое вскрытие не покажет, что человек отравлен...»

Зачем?.. Для чего дал его доктор?..

Ах, да. Он дал, как наркотик, когда в мучительной астме задыхалась мать Варвары Сергеевны. Дал, чтобы нюхать.

Вот она, ее судьба!.. Так надо!...

Уйти и курить отравленные папиросы. Вместе, обоим курить... И медленно, красиво умереть.

Головокружение... потом рвота...

Какая же это красота!?..

Suzanne подошла к письменному столу, на котором стояли коробки с табаком и гильзами. Привычным движением насыпала горку табаку и высыпала на нее блестящие, как снег, мягкие на ощупь, белые кристаллики страшного порошка и стала растирать и перемешивать их с табаком.

Что-то зашуршало у двери. Suzanne оглянулась испуганно. Кто-то протолкнул под дверь записку. Она выждала в полной неподвижности несколько минут, потом подошла, подняла записку, прочла ее, зажгла спичку и медленно сожгла. И когда пламя подошло к пальцам, она схватила черный пепел и растерла его в порошок. Большие темные глаза ее горели суровою решимостью. Упрямо выдался вперед подбородок, и дрожали длинные тонкие пальцы, насыпавшие табак в машинку.

Она делала папиросы и складывала их в отдельную коробочку.

Пустые глаза смотрели вперед не видя.

Сердце глухо и неровно стучало.

XXVI

Было десять утра, когда Suzanne, в длинной черной юбке с маленьким турнюром, в блузке, застегнутой сзади перламутровыми пуговками, в шляпке из желтой соломы с широкими полями и густой кремовой вуалью, высокая, стройная, гибкая, легкой походкой входила в Михайловский сад.

Она отвезла свои вещи к Юлии Антоновне в институт, оставила записку Варваре Сергеевне, что не вернется, и шла теперь, полная решимости, неся в маленьком мешке коробку с двадцатью пятью папиросами, заготовленными для себя. Она казалась себе удивительно красивой в своем решении. Ее голова была гордо поднята, она хотела сказать Андре все, обласкать его в последний раз, вызвать в нем чувство страсти и тогда — гордо кинуть ему, кто она и что она решила, и уйти... Навсегда.

Короткая густая трава тонкими иголками, точно бархатом, покрывала широкие газоны. Песчаные дорожки были приведены в порядок и цветы северной весны, белые и розовые маргаритки, скромно поднимали свои головки из темных клумб.

Раскидистые широкоствольные дубы и липы сияли молододою листвою. Дубы розовели почками, и черные их стволы

выделялись в нежной зелени лип. В глубине сада стоял утренний сырой туман. Сад, как оранжерея, благоухал пахучей свежестью едва пробивавшейся листвы... Городские шумы доносились в тишину аллей заглушенными. Трещали по мостовой железные шины далеких извозчичьих дрожек. С Марсова поля раздастся команда, треск барабанов, поплывут плавные медные звуки оркестра... И смолкнут, заглушенные стволами, листвою, туманами. Тишина, мягкий сумрак аллей, редкие прохожие и где-то далеко неприятный отрывистый стук железного молотка по камню...

Suzanne шла по извилистой дорожке, забирая влево от входа и направляясь к дворцу. Тут было глуше, тише и сырее. Город был не слышен, гуще сплетались черным сводом толстые ветви. Сырость проступала из-под ног, и мягко подавалась упругая глина дорожек, оставляя маленькие мокрые следы.

Прямая аллея, открывавшая перспективу на дворец, была пуста. На боковой, шедшей вдоль дворца у Екатерининского канала, маячила, качаясь, тонкая фигура в гимназическом пальто, накинутом на плечи, и в темно-синей потасканной фуражке. Небрежность костюма Andre оскорбила Suzanne, надевшую на себя лучшее платье.

Andre увидал Suzanne и пошел к ней неторопливой походкой. Красивая речь разрыва, которую он приготовил, вылетела у него из головы при виде разодетой Suzanne.

«Ишь, разрядилась, старая дура!» — подумал он. Откуда-то, со дна души, поднимались едкие, обидные, черствые слова. Andre ненавидел в эту минуту Suzanne, она была ему противна, как была когда-то противна Клотильда Репетто.

Они сошлись у скамейки и остановились, не здороваясь.

— Сядем,— коротко сказал Andre и первым сел на краю скамьи.

Она молча села. Негодование подымалось в ее сердце, и она гневными глазами смотрела на Andre.

Andre сидел отвернувшись на краю скамьи, заложив ногу на ногу. Он вытянул левую руку вдоль спинки и нервно барабанил по ней пальцами.

— Suzanne,— наконец сказал он, глядя в сторону, в глубь аллей, точно ждал оттуда кого-то.— Зачем все это было?..

Suzanne дрожала внутреннею дрожью. Ее подбородок прыгал, она едва сдерживалась, чтобы не расплакаться. Наконец, собравшись с духом, она, не глядя на Andre, низко опустив голову и чертя круги зонтиком по песку, сказала:

— Это вы... Вас... Вы хотели этого!...

— Я?...

Andre быстро обернулся к Suzanne. Он вдруг как-то особенно остро заметил блеклую кожу на шее, руки с тонкими пальцами в черных перчатках, потрепанную юбку, ноги в старых ботинках со следами глинистой грязи у подошв и на каблуке.

Она не ответила.

— Suzanne,— сказал он,— пускай я виноват... Я!.. Я пришел сказать вам, что как-нибудь надо кончить... Пусть этого как будто не было...

Когда Suzanne шла на свидание, она ожидала другого. Она ждала разбуженной, неудовлетворенной страсти. Мольбы о вторичном свидании, благодарного шепота, увещаний оставлять ночью открытую дверь ее спальни и жадного искательства новых сладостных минут. После вчерашнего — она ожидала новых попыток, более смелых... Так читала она в романах!.. О! Как она ему ответит!! Гордо, с достоинством и насмешкой. Он стал бы молить ее, она молчала бы долго и потом сказала бы ему о своем решении, показала бы папиросы и, гордая, встала бы... Он кинулся бы за ней и тогда, быть может... она простила бы его и полилась бы та песня любви, которой так давно ждало ее сердце.

— Что вам надо от меня? — кротко, со вздохом, сказала Suzanne.

Она еще ждала мужской ласки, мужского ответа на ее женский призыв.

— Suzanne,— жестко сказал Andre.— Будем логичны. Мы не романтики прошлого века и мы должны понимать сущность вещей. Вы знаете, я разочарован в жизни. Я вам не раз говорил, что ничто не привязывает и не влечет меня здесь. Напротив, желанна мне смерть. Вы мне сказали, что это потому, что я не знаю любви, что любовь движет всем миром и вне любви нет и жизни.

— Разве это любовь? — вздохнула Suzanne.

— А что же любовь? — желчно, с сарказмом, выкрикнул Andre, выпрямился на скамейке и прямо посмотрел на Suzanne. Лицо, закутанное вуалью, раздражало его.

«Тоже! Кокетка! — подумал он.— Прячет свои морщины и темные круги вокруг глаз. Прячет свой красный заплаканный нос»...

— Любовь,— начала Suzanne; в ее голосе слышались торжественные ноты. Порывистым движением она скинула вуаль и повернулась к Andre. Он видел все ее морщины, ее большие, обведенные темными веками, усталые глаза, ее покрасневший нос и опустившиеся щеки. О! какую старой она показалась ему в эту минуту! Как смешон был ему ее вос-

торженный, таинственный шепот! Как гадка казалась вся жизнь.

— Любовь,— повторила она,— это горение двух сердец в одном сжигающем пламени...

— Вера есть уповающих извещение, вещей обличение невидимых,— в тон ей сказал Andre, и худощавое лицо его стянулось горькой складкой. «Глупая, старая институтка! Гувернантка, выросшая в детской, всю жизнь мечтавшая и никогда не осуществившая своей мечты!» Как человек к человеку, как христианин к христианину он не мог подойти к ней и подходил к ней лишь как самец к самке. Он быстро усвоил себе рассказ Благовидова о «неизъяснимом блаженстве» и искал его. Его не было. Его эстетическое чувство не было удовлетворено, за ним стояли стыд и страх вчерашнего, и в виски колотилась одна мысль: скорее, скорее бы кончить. Сердце было пусто давно, а пустое сердце не могло гореть.

— Andre,— сказала Suzanne с укором...— Грех, Andre. Вы помните, как мы шли по набережной и я говорила вам о любви. Я любила вас... Я люблю вас, несмотря ни на что... Я все простила вам. У меня нет против вас злого чувства... Все, что вы ни делаете — мне все кажется прекрасным... Это любовь!

Нервным движением она отстегивала и застегивала свой маленький мешочек, и Andre видел в нем толстую коробку папирос, едва помещавшуюся в нем. Suzanne не курила. Значит, принесла для него. Andre показалось, что он будет иметь более независимый вид, если закурит. Он протянул руку и осторожно вынул коробку. Она не заметила.

— Suzanne,— сказал Andre холодно,— я просил вас прийти не для этого. Вы понимаете, что после того, что было вчера, нам трудно жить в одном месте, в постоянном общении, под наблюдением восьми пар глаз. Смешным мне не хочется быть. У нас все вызнают, все выследят... Одна Липочка чего стоит!.. Жандарм в юбке.

— Andre! — голос Suzanne звучал мольбою.— Andre, не наносите мне удара, которого я не заслужила!

— Я думал и о вас, Suzanne,— чуть мягче сказал Andre.

— Andre, я девушка. Я честная девушка, из хорошей семьи. Неужели вы... Я уже переехала от вас... Оставила письмо Варваре Сергеевне...

— Куда?

— Не все ли вам равно? — невольная кокетливая улыбка скользнула по губам Suzanne.

— Да, конечно, мне это решительно все равно,— сказал Andre.— Но как вы объяснили маме причину вашего отъезда?

— Я написала, что очень расстроились нервы от спиритических сеансов. Мне... страшно жить. Это правда, Andre, мне страшно жить... Я решила...

Она потянулась к сумочке и заметила отсутствие папирос. Бледное лицо ее стало еще бледнее, страшный испуг глядел из глаз. «Неужели она потеряла и кто-нибудь нашел... и курит... и умрет!..» — подумала она, но сейчас же увидела папиросы в руках у Andre и сказала, вставая:

— Andre, отдайте!

— Вы принесли их мне.

— Нет. Это я себе приготовила. Я прошу вас: отдайте!

— Давно ли вы стали курить? — насмешливо сказал Andre и лениво поднялся со скамьи.

— Отдайте, Andre. Я требую!.. Это нечестно... Вы украли их!

— Это становится забавным... Что вам эти папиросы?

— Andre. Молю вас.

Он протянул ей руку и сказал чуть в нос: — До свиданья, Suzanne. Прощайте. Две параллельные линии никогда не сходятся. Отныне мы — две параллельные...

Острым, пронизывающим взглядом смотрела Suzanne в глаза Andre. Хотела проникнуть в душу его и рассмотреть, что там. Холодно было худощавое замкнутое лицо, и скорбная складка резче легла вдоль щеки.

— Прощайте, Suzanne!

Она до боли любила его и до боли ненавидела. «Пусть умрет, — серым трусливым зайцем прометнулась мутная мысль, — пусть умрет».

Краска прилила к лицу, и лицо ее стало коричневым. Каждая жилка дрожала в ней от волнения, гул стоял в ушах, она сама не чувствовала себя. Точно это была не она, а другая, страшная женщина, совсем ей незнакомая...

— Andre, — сказала она глухим голосом и не слышала себя, — я заклинаю вас: отдайте папиросы!

Andre положил коробку в карман и иронически улыбнулся.

— Беру на память о вас, Suzanne, и буду хранить, как святыню!

Она резко повернулась и пошла по дорожке. Влажный песок расступался под ее неровными, то торопливыми, то медленными шагами. Она шла, не видя куда, и светлая шляпка нелепо колыхалась на ее голове. Со спины, с ее худыми лопатками и очень тонкою талией, она казалась еще старше. Andre смотрел ей вслед.

«Фатальная женщина, — подумал он. — В ней что-то есть

не от мира сего, если только существует какой-то мир, помимо здешнего».

Andre криво усмехнулся... «Что-то есть... Нездешнее... Фатальная женщина!.. Женщина... «широкобедрый, низкорослый, коротконогий пол могло назвать прекрасным только раздраженное чувственное воображение мужчины...» — вспомнил он из Шопенгауэра... — Я выше этого!..»

Он долго бродил по Михайловскому саду, ни о чем не думая. Когда он вернулся домой, няня Клуша таинственно передала ему запечатанное сургучом письмо.

— Посыльный принес, — прошептала на, — наказывал с рук на руки передать.

Andre хмуро взял письмо. На нем карандашом был написан адрес и крупно стояло: «Няне Клуше. Передать Andre. В собственные руки».

Он пошел в свою комнату. В углу за столом сидел Ипполит и зубрил. У него завтра был экзамен.

Andre сел к своему столу, развернул все ту же геометрию. Открылась опять на том, что две параллельные никогда не сходятся.

Осторожно, тихонько вскрыл конверт.

Нервным почерком было написано:

«Andre, умоляю всем святым!.. Папиросы отравлены!..»

Саркастическая улыбка скривила его губы. Andre не сомневался, что Suzanne хотела его отравить. Он долго думал, потом медленно, стараясь не шуметь, разорвал записку и конверт пополам, еще и еще, разодрал на крошечные клочки, перемешал в руке и подошел к раскрытому окну. Было тепло. Ветер завивал пыль на дворе, куры бродили по куче в мусорном ларе. Звонко пел светло-желтый с черным, отливающим в зеленое хвостом петух. На дворе не было никого. Andre бросил кусочки бумаги, и они закружились по ветру, стали падать в ларь, полетели через желтый деревянный забор соседнего дома. Куры жадно бросились на них и стали клевать, затаптывая в навоз.

Andre самодовольно улыбнулся.

Ему казалось, что он стал выше ростом, старше, важнее... Ему стало жаль Suzanne.

XXVII

За два дня до Троицы Кусовы переезжали на дачу. Для детей... Михаилу Павловичу, занятому ежедневной службой, без каникул, было не до дачи. Но дети поправлялись на све-

жем воздухе, набирались сил и это был обычай всех петербургских семей покидать на лето душный Петербург, с его раскаленным асфальтом, известкой, пылью и навозными ямами, и уезжать в деревню на дачу.

С первого года замужества Варвары Сергеевны — каждую весну, — дача была ее заботой. Они жили сперва на прекрасных дачах в Петергофе и Стрельне, со стеклянными балконами, старыми таинственными садами, с барской мебелью... Но прибавлялась, росла семья, уменьшались доходы, и они перекочевали сначала в Удельную, потом в Парголово и Коломяги. Дачи нанимались уже без мебели, с голыми стенами из барочного леса, с щелявыми жидкими переборками из тонких досок, заклеенных продранными обоями.

Теперь они ехали в Мурино, за Лесным. Сообщение с Лесною конкою поддерживал тяжелый дилижанс «кукушка», или «двадцать мучеников», за сорок копеек лениво тащивший пассажиров по каменной дороге восемь верст до Муринской церкви.

В день переезда встали в пять часов утра. Туман клубился над городом. Варвара Сергеевна и няня Клуша, стоя в столовой у окна, глядели на мокрые крыши и гадали: поднимается туман кверху или опускается... Если опустится — будет для переезда хорошая погода.

— И, матушка барыня, — говорила няня Клуша, — хорошая будет погода. Была бы худая — самоваром бы пахло... А чу! — и не пахнет совсем... Глянь, и камень на дворе мокрый... Опять и голуби гулькают. Они зря не станут гулкать — знать, солнышко чуют. Доедем, барыня, Бог даст, без дождя.

— Будить пора, нянька, детей.

Да встали уже... Федор Михайлович кота своєю в корзину увязывают, чтобы не убежал, как в прошлом году.

То-то греха было. Очень уже Карабас беспокойный стал. Чует, что на дачу едут. И Дамка, ишь, так и не отходит от вас... Боятся, чтобы не забыли.

— Кухонную посуду, няня, уложили?

— Всю... Ахти, барыня!.. Вот, гляди, и забыли таз-то медный... Баринов... так ведь и остался бы! Ну, как варенье варить задумаем, а его нет... Возьмите его у барина в кабинете.

— Сейчас принесу его, нянька...

Чай пили сонные, вялые. Едва допили, унесли самовар и посуду укладывать в корзины с сеном.

По всей квартире валялись мятая газетная бумага и клоч-

ки сена. Мебель была сдвинута в беспорядке, что «брать» и что «не брать».

— Федя, Липочка, Лиза! Да наблюдайте вы, ради Бога,— говорила Варвара Сергеевна,— совсем я без памяти стала. А теперь без Suzanne, боюсь, все напутаю... Ломовые придут, все потащут без спроса: им все одно. И будет как в третьем годе — гостиный диван увезли, а Мишину кровать забыли... Миша-то смотрит, приехали или нет возы? В семь часов обещали, а уже четверть восьмого...

Но ломовые приехали. Две подводы, одна с ящиком синего цвета, другая платформой, запряженные рослыми красивыми лошадьми, стояли на дворе у подъезда, и двое таких же рослых, сильных и могучих, как их лошади, мужиков, какие, кажется, только и рождаются в России, атлетического вида, в красной и розовой рубахах, в черных жилетках, с нашитыми на спине мешками из грубого холста для переноски тяжестей, с крюками за поясом и с веревками, задавали лошадям сено. Федя был подле с хлебом и солью для лошадей.

— Послушай! Она не кусается? — спрашивал он, осторожно приближаясь к громадной лошади, казавшейся еще больше от широкой, тяжелой, темно-синей дуги, расписанной золотом, зелеными листьями и розовыми цветами.

— Ничего... Не тронет. Она хлеб-то любит!

Варвара Сергеевна в легкой мантилье появилась на крыльце.

— Федя! Федя! Не подходи! Это злые лошади! — кричала она.

— Не бойтесь, барыня, не тронут.

— Брезенты-то взяли?

— Да зачем брезенты, коли погода хорошая?

— А ну, как дождь?

— Ничего. Рогожами хорошо укроем.

— То-то рогожами!.. Я когда нанимала, так сговаривалась, чтобы брезенты непременно были.

— Да авось без дождя.

— Авось... То-то у вас все авось... А пойдет дождь, все матрацы помочит. На чем спать?..

— Вещи-то готовы? Брать можно? — спросил примирительно мужик с красивой русой бородой.

— Готовы, давно готовы,— бойко ответила Феня, одетая по-дорожному в шляпке, черной легкой мантилье и с зонтиком в руках, ставя небольшой сундучок на подводу.

— Это что ж? Ваше, что ль?.. Вы погодите, мы распределим все аккуратно.. Как следует.

По квартире ходили, громыхали тяжелыми сапогами ломовые, наполняли комнаты крепким мужицким запахом махорки, сапожной смазки; рогож и пота, поднимали тяжелые ящики с кухонной медной посудой, кряхтя, взваливали на спину, сгибались и медленно шли, чуть приседая в коленях по лестнице.

— Этот, пожалуйста, осторожнее, тут посуда,— говорила Липочка.

— Не сумлевайтесь, барышня.

— Когда увязывать-то будете? — спрашивала Варвара Сергеевна, неумоимо ходившая то на двор, то на квартиру и наблюдавшая, чего-нибудь не забыли.

— А вот все потаскаем, прицелимся, что куда класть, и враз погрузим.

— Вы ножки-то столам не поломайте да на диван, оборони Бог, чего тяжелого не поставьте,— говорила няня Клуша.

— Ну, мама,— сказал Ипполит, в фуражке и шинели входя в гостиную, мы с Андре поедem. Мы раньше в Ботанический сад, а потом с четырехчасовым дилижансом — на дачу. Ты посмотри, чтобы бумагу для гербариев не забыли.

— А завтракать как же?

— Да мы без завтрака.

— Что вы, оголтелые! Разве можно так! Погодите, я вам булки с сыром и маслом намажу. Да фуражку сними, нехристь. Образа тут.

Ипполит снисходительно улынулся и снял фуражку.

— А Андре и проститься не зайдет?

— Не навеки же, мама, расстаемся.

— Ох! болит у меня сердце за вас. Умные стали!

— А разве, мама, плохо быть умным? — смеясь, сказал Ипполит.

— Да только не слишком. Когда ум за разум зайдет — хорошего мало.

— Мама! Мама!..— Федя, румянный от работы, вбежал к матери.

Он помогал ломовым и носил вниз буковые стулья.

— Я понесу клетку с птицами. Они уже погрузили мебель.

— А Маркиза Карабаса с собою в карету возьмем? Ты позволишь? А то ему так скучно! Он все, бедняжка, мяучит, точно плачет.

Липочка была с Лизой в разгромленной маминой спаль-

ной, где оставались большое зеркало, туалет и пузатый комод: их никогда не брали на дачу. Они были «фамильные», и их берегли. Липочка сидела на подоконнике открытого окна, Лиза — на туалете.

— Ужасно обидно,— говорила Лиза,— что нас везут в карете, а не пустили с Andre и Ипполитом в Ботанический сад, а потом на конке и в дилижансе. То-то было бы весело!

— Мама совсем отсталая женщина,— сказала Липочка.— Ей все кажется неприличным. Я ее расспрашивала. Она, когда была наших лет, ездила на своих лошадях на дачу на Каменном Острове... А мы... Почему такая деградация?

Липочка тщательно выговорила где-то слышанное и понравившееся ей слово.

— Как думаешь, Липочка,— болтая ногами сказала Лиза,— почему ушла Suzanne?

— Говорят, ей нечего было больше у нас делать. И где бы ее поместили на даче? Ты слыхала? Хотели нас поместить вчетвером. Это было бы ужасно! Или хотели Федю с Мишей — в столовой. Тоже хорошего мало. Федя уже большой... А ты не догадываешься? — лукаво подмигивая, сказала Липочка.

Лиза засмеялась.

— Ну, конечно, знаю. Из-за Andre. Но кто это устроил?

— Разумеется, папа и тетя Катя.

— Как я не люблю тетю Катю,— сказала Лиза.— Вот всех ваших люблю... И Suzanne очень, очень любила, а тетю Катю никак не могу подлюбить. Она низкая. Она шпионка! Она на всех злится за то, что у нее испорченная нога и она осталась старой девой. Ты не знаешь, почему она не вышла замуж?

— По убеждению,— фыркнула Липочка.

— Ну?

— Ты разве не слыхала ее истории? Она всегда твердит, что девство лучше супружества, что она Христова невеста.

— Ханжа!

— А ногу она испортила еще девочкой, спасая на пожаре во дворце какого-то мужика.

— Она во дворце жила?

— Так же, как и мама. Дедушка был управляющим двором Великой княгини... И папа познакомился с мамой еще мальчиком, бывая на балах для adolescents *, как тогда называли.

— Ужасно смешно. Старая детская любовь, а потом брак с благословения родителей, и дети. Совсем по библии.

* юношей.

— Что же смешного. А Ипполит? — лукаво подмигнула Лизе Липочка.

Лиза надула губы.

— Ипполит... Ипполит... Неужели ты думаешь? Это проба пера. Мне в нем все нравится, кроме имени. Ну как его переделаешь на уменьшительное. Поля?... Точно девушка Поля... Лита?... Тоже девчонка... Ип? Ну вот и закричишь, как немцы «ип, ип, хурра!»... У нас, если и любовь, то платоническая.

— А какая еще бывает?

— А ты не знаешь? Глупая... Страстная.

— В чем разница?

— Пожалуй, такой дурочке, как ты, и не объяснишь. Платоническая дальше пожатия руки, разговора, почтительного ухаживания не идет. Это дружба... Ну а страстная! Тут все! И поцелуи, и бешеные объятия, и страсть, и все-все... Ужас как хорошо!

— Ты испытала?

— Что ты говоришь, Липочка, чего сама не понимаешь. Разве девушке это можно?

— Откуда же ты знаешь?

— Слыхала... Читала. Мне кажется, Suzanne любила Андре страстно, а он ее совсем не любил, и оттого она ушла.

— Говорят, ее Бродович устраивает секретарем в редакцию.

— Женщина — секретарь. Ужасно смешно.

Распахивая обе половинки дверей, шумно влетел в спальню Федя.

— Вы чего тут расселись, — крикнул он, — сейчас возы уезжают. Мама где?.. не забыли ли что?

— Твоего кота забыли, — сказала Лиза.

— Ах, оставьте! Мой кот поедет с нами! В карете.

— Вот еще глупости. Он нам покоя не даст.

— Мама сказала!.. Мама сказала!.. Мама любит кота! Мама любит меня!

Нараспев прокричал Федя и помчался на двор.

Возы были готовы. Поперек платформы, спереди, стоял большой диван Михаила Павловича, на диване — обернутая газетами клетка с птицами, и рядом уже сидела нарядная Феня, держа в руках зонтик с бахромой. На втором возу, на сложенных матрацах, сидела Аннушка, а рядом с ней важно лежала пестрая Дамка. Она широко раскрыла пасть, высунула длинный красный язык и всем видом своим показывала, что она тоже ужасно устала от всей этой кутерьмы, от беганья на квартиру и на двор, от лая на лошадей, и что

она понимает значение переезда и очень довольна попасть на дачу.

Варвара Сергеевна давала последние наставления ломовым.

— В ворота-то поедете, смотрите, ножки не поломайте.

— Да что вы, барыня. Нешто можно? Так неаккуратно.

— Да смотрите, в Лесном-то у трактира не задерживайтесь.

— Только лошадей покормим. Сами знаете, дорога на Мурино дальше тяжелая пойдет. Не покормивши нельзя... На чаек бы с вашей милости.

— Это уже когда приедете,— сказала Варвара Сергеевна, но дала серебряный рубль. Она по опыту знала, что так скорее и целее довезут ее вещи.

— Ну с Богом! — сказала она.

— С Богом,— повторили ломовые. Все перекрестились. Дамка радостно завизжала и забила концом лохматого хвоста по матрацу, могучий серый конь влез в хомут, и платформа, чуть покачнувшись, покатила по камням. За ней — другая.

Варвара Сергеевна посмотрела, пока ящик с ее азалиями и фикусом, стоявший на задке между большими колесами, не скрылся за воротами, и, вздохнув, пошла на квартиру.

XXIX

На квартире Варвара Сергеевна, тетя Катя и Клуша, вооружившись метлами и щетками, подметали и прибирали комнаты. В гостиной мебель и рояль были накрыты белыми чехлами. На рояль сложили тюлевые оконные гардины. Большой ковер скатали в длинный серый рулон и положили у стены.

Варвара Сергеевна любила и ценила порядок. Она знала, что порядок берегает вещи. А цену вещам она знала. Мебель покупали только в начале брачной жизни, потом было не на что. Жизнь захватила Варвару Сергеевну, обставила тысячью мелочей и придавила ее. Ни почитать, ни погулять... Чтобы поддерживать внешнее приличие, надо было экономить и самой наблюдать за хозяйством. Дни шли в непрерывной суматохе, и не было видно конца их длинной черед. Утром надо было поить чаем детей, готовить им французские (младшим — трехкопеечные, старшим — пятикопеечные) булочки с маслом, зеленым сыром, колбасой или вареньем из малиновых семечек. Дети уходили в половине

девятого, а возвращались только к трем. На большой перемене их надо было подкормить. Уходили дети, и надо было идти за провизией. Большую часть провизии Варвара Сергеевна закупала сама. Она ходила на Шукин двор к братьям Лапшиным за рябчиками, курами и куропатками, она покупала рыбу на садках, на фонтанке, у братьев Романовых, заготавливала дрова с барок, меряла и считала сажени. Жалованья Михаила Павловича едва хватало на стол, квартиру, на жалованье Suzanne и прислуге и плату за ученье. А одежда, дача, подарки детям, приемы гостей! Надо было экономить копейки, чтобы создать рубли.

Дети снашивали платья безумно скоро. Чулки дырявились, панталоны просвечивали, на юбках появлялась бахрома. И вернувшись с рынка, Варвара Сергеевна садилась у окна, у своего рабочего столика с бисером, вышитыми вставками под стеклом и с откидной бархатной подушечкой для иглолок или у швейной машинки, и шила, и штопала до сумерек. У ее ног лежала и спала Дамка, ходившая с нею, на окне прыгали чижики и снегири, кот рядом в кресле пел какую-то уютную песню. Маленькие руки, про которые, когда она была девушкой и жила во дворце, «при дворе», говорили, что они созданы для поцелуев, быстро водили иглой или спицами и чинили изъяны Andre, Ипполитова, Липочкина, Лизино, Фединого и Мишиного платья и белья. Черные штаны на ее коленях сменяли коричневые юбки, белые панталоны, пестрые чулки...

Смеркалось. Жаль было зажигать лампы. Керосин, хоть и дешев, да слишком много его шло. Вечером у каждого на столе горела своя кумберговская лампа, и, согнувшись над книгами, все сидели и учились. Много шло керосина на детские лампы.

Варвара Сергеевна вставала от работы и шла в гостиную. Мягкие зимние сумерки тихо густели по углам. Висел над диваном в золотой раме портрет Государя Николая Павловича — кумира ее детства. А над бронзовыми часами, подарком богатой тетки, в овальной золотой раме — раскрашенная литография на камне дациаровского издания — портрет принцессы Дагмиры, нынешней императрицы.

За стеною фикусов, азалий, муз и рододендронов мутны были окна. Тихо шагая стоптанными домашними туфлями без каблуков, ходила взад и вперед по залу Варвара Сергеевна, и за нею покорно ходила ее Дамка.

Варвара Сергеевна вспоминала дни детства и юности. Она не училась так много, как ее дети... А как много знала... Она успевала заниматься музыкой, пела, танцевала. Ах, как

она танцевала!.. Ее считали самой грациозной девушкой из всех дочерей служащих при дворе. Она помнит громадные залы с блестящими паркетными полами, с большими картинами в широких золотых рамах по стенам, с расписными потолками. «Рождение земли»... Сплетение женских тел, амуров, роз, незабудок и темных фавнов с трубами, и синева неба...

Парады, сцены битв. И опять обнаженные бело-розовые тела и цветы, цветы...

— Век был другой,— шепчет Варвара Сергеевна и останавливается у окна. Она не видит сумрачного петербургского неба и унылого двора, колодцем уходящего вниз.— Теперь художники пишут арестантский вагон и стаю голубей подле, слезы вдовы, пьяных запасных, которых насильно тащат по вагонам на войну, самоубийство юноши...

— Тогда?..

— Вспомнила... Ах, что это были за волшебные минуты!..

Зимний день клубится густыми туманами между деревьев Летнего сада. По дорожкам проложена широкая деревянная панель, усыпанная красным песком, а кругом глубокий, рыхлый, белый снег. Так славно пахнет зимою. Она, Зизи Голицына, Витя Гарновский, Сандрик Петерс, Оля и Маня Шнейдер, идут по доскам по главной аллее. Позади идут их гувернантки. Она, Варя Баланина, белая, в белой шапочке, шубке горностаевого меха, с маленькой муфточкой, в белых толстых шерстяных чулках и калошах, идет с края... И видит «его»... Он идет на прогулку со своею большою собакою, Милордом... Молодой Император... Красавец... Полубог... И вся детвора, смеясь и волнуясь, толпою вваливается в снег и выстраивается вдоль досок: два пальчика правой руки у лба, «во фронт»... Румяные щеки таят улыбку, синие, серые, карие глазки серьезные...

Милорд кидается к ним. Он их знает. Играет с ними. Валил кого-либо в снег. Ни страха, ни визга, ни смеха... Нельзя. «Он» подходит.

— Простудишься, Варя!.. Я вам не позволяю в снег ходить...

Берет шаловливо за уши. Выводит на доски.

— Какие непослушные!

Он всех знал по именам.

Тогда была красота...

Варвара Сергеевна тяжело вздохнула.

Тихо отходит красота прошлого от людей и занимает ее место проза жизни.

— Но почему?.. Почему?

Дамка кинулась в прихожую. Это значило, что Федя попался на дворе. Варвара Сергеевна пошла, выпустила ее на лестницу и, стоя у двери, слушала ее радостный лай и визг и голос Феде.

Потом ожидание Михаила Павловича, обед, разливание супа, раскладывание каждому любимых кусков.

— Мама, мне крылышко!

— Мама, я не хочу ножку!

— Но дети, вы же знаете, что у курицы всего два крыла.

Старание быть справедливой. Себя забывала. Самой некогда было есть...

Вечер... Иногда удавалось уйти в гостиную и забыться за старой музыкой Глюка, за вальсами Шопена и Годфрея.

Но чаще по вечерам шли уроки. То Липочка сидела у рояля, била нудные гаммы, и раздавался жесткий, деревянный счет Suzanne.

— И раз, и два, и три, четыре, смотрите на ноты, мягче мизинным пальцем...

То приходил Федя и говорил: «Мама, спроси меня из истории». Глядя в учебник Беллярминова, Варвара Сергеевна старалась слушать про Кира, царя Персидского и не слушала, а считала в уме: «две пары рябчиков по 60 копеек — рубль двадцать, пять фунтов брусники по четыре — двадцать... Должно было остаться пять, а в кошельке только зелененькая... Что же я еще покупала? У Феде опять колени просвечивают. Придется завтра дать новые, а эти подштопать».

— Мама, ты совсем меня не слушаешь. А меня завтра вызовут! — капризно говорил Федя.

Когда приходили гости, играли в карты. В винт или безик. Разговор увядал за скучными расчетами. Михаил Павлович сердился на партнеров. Вдруг вспыхивал разговор, казался интересным и сразу увядал оттого, что кто-нибудь говорил «игра в червях», и опять все погружалось в сонливую тишину карточных расчетов, и, казалось, люди тупели за картами.

Не оттого ли уходила красота из мира и люди становились беднее и скучнее, что простой народ тихо, но верно спивался, а образованные люди сушили свои мозги картами?

Усталая, разбитая, шла Варвара Сергеевна в спальню, раздевалась и под непрерывный шепот девочек клала широкие кресты, кланялась в землю и молилась... Ей становилось легко. Бремя забот уходило, забывались рубли и копейки, из которых складывались рубли. Она молилась о том, чтобы

дети хорошо учились, чтобы они были верующими, честными людьми, чтобы любили Родину и Государя и были здоровы. Им сказать, им внушить эту любовь она не смела. Боялась, что ее засмеют и поругают самое святое в ее сердце. И она молила Бога: «Вразуми, научи, просвети!»

И светлую радостью была церковь.

Любила она тихие великолепные службы, когда долго читает дьячок и слышатся отдельные его возгласы на полупонятном, но родном с детства и таком прекрасном славянском языке. И читает все такие хорошие, кроткие вещи. Под его воркующую скороговорку плывут тихие мысли и встают картины какой-то иной жизни.

Вдруг резко прозвучат слова «верблюдов же тысяча!»

В сумраке храма мерещатся знойная пустыня и стадо верблюдов, и все в каком-то благостном трепетании, в четком, особом свете, как на гравюрах Дорэ...

Потом выйдет священник, темный, в одной епитрахили, и раздумчиво и сокрушенно начнет читать задушевную молитву Ефрема Сирина.

— Господи и Владыка живота моего...

Любила она желтую игру огоньков свечей в косых лучах зимнего солнца, возле золота икон, святые ризы с золотыми крестами и гремящие напевы большого гимназического хора, от которых звенели стеклянные подвески на бронзовой люстре.

«Яко до Царя всех подыдем, ангельскими невидимо доуносима чинми».

И порхало в воздухе неизъяснимо чудное «аллилуйя», и стучалось в сердце, точно ангелы бились крыльями в темницу души и звали ее к Богу.

— Ах,— думала она,— все хорошо! Все под Богом.

Не видела тогда тяжести жизни, не знала скуки ее обыденщины, потому что вся была пропитана глубокою, святою верою в Господа Иисуса Христа и не сомневалась, не задумывалась ни о чем.

Знала — будет после смерти суд справедливый, Божий. Готовилась ответить на суде по совести и предстать к Господу очищенной от земных грехов.

И мысль о смерти была не страшна ей. Сама не зная того, в своей душе она хранила красоту...

Барвара Сергеевна, усевшись в кресле, в углу гостиной, совсем ушла в свои думы и воспоминания. Она забыла, где она, и не сразу поняла, в чем дело, когда Федя ей прокричал, что карета приехала.

Завтракали всухомятку, без скатерти и тарелок, с одним

общим ножом. Варвара Сергеевна, няня Клуша и тетя Катя присаживались на дорогу, заставляли присаживаться детей, сердились, что они не слушались. Девочки присели со снисходительным видом, не скрывая улыбок, Федя покорно сел, Миша протестовал. Крестились по углам. Наконец стали расаживаться в четырехместное ландо.

Липочка и Лиза заявили, что они не могут ехать спиной к лошадям: их укачивает. Они сели с тетей Катей на заднюю скамейку, Варвара Сергеевна, Миша и няня Клуша — спереди. Федя забрался на козлы. Маркиза Карабаса оставили в ногах у Варвары Сергеевны, и она взяла его под свое покровительство.

— Мама,— нагибаясь с козел, говорил Федя,— смотри, чтобы девчонки не мучили и не толкали Карабаса. Он и так волнуется.

— Ты ему валерьяновых капель дай,— сказала Липочка.

— Тебе смешки, а ты подумай, что он переживает.

Дворник, замыкавший квартиру на ключ, подошел к коляске и, сняв картуз с головы, слушал Варвару Сергеевну.

— Ты, Семен, заглядывай, пожалуйста, на квартиру. Как бы воры не забрались,— говорила Варвара Сергеевна.

— Обороны Бог. Вот как дом стоит, никогда мы про воров не слышали.

— А ремонт на лестнице делать будут, смотрите, мастеровой народ ох какой!

— Да, маляры-то, барыня, нам, почитай, все известные. Что мы! Не русские, что ли? Не крещеные люди! Грех какой!..

— Ладно, Семен, а все поглядывай! Ну, трогай.

— Семен! — крикнул Федя.— Андрею и Якову поклонись.

За городом, у деревни Ручьи, купили у девочек, бежавших за коляской, букетики ландышей. Варвара Сергеевна спросила молока. Девчонка сбегала в избу и принесла холодный, покрытый капельками, помятый жестяной кувшин и стакан. Густое молоко медленно лилось из кувшина.

— Хочешь? — спросила Варвара Сергеевна у Феди, когда в коляске все напились.

— Не надо, мамочка... А впрочем, дай.

Девчонка запросила за молоко двугривенный.

— И гривенника за глаза довольно,— сказала тетя Катя.

Варвара Сергеевна дала двугривенный.

— Бог с ними! — сказала она.— Пусть наживаются. Ишь, оборванная какая!

— Ты грамотная? — спросила Лиза.

Девочка тупо смотрела на барышню и вздыхала.

— Несчастлиная,— сказала Лиза, когда коляска снова покатилась по пыльной дороге.

Невесела, безрадостна была окружающая природа. Небо в облаках низко приникло к болотам, поросшим чахлой кривою березкою и жалкими низкими соснами. Тощий скот бродил по болотам. Пастух в сермяжной свитке, босой, стоял у дороги и смотрел на коляску. Болота сменились пахотой. Тяжелые прямые пласты земли были перевернуты и лежали желтые от песков, длинные и прямые. Потом шли чахлые, чуть поднявшиеся овсы. Их сменяли золотистые прямоугольники полей, поросших цветущей куриной слепотой и дудками. Все было ровно. И лес вдали темный, сосновый ровным прямоугольником вступал в поля.

По сторонам дороги потянулся молодой невысокий осиновый лесок, и сразу за зеленым лугом, на котором была привязана пестрая, черная с белым корова и бродил с колокольчиком на шее лохматый, такой же пестрый, теленок, стали в линию за палисадниками дачи. У крайней калитки стоял шест, и на нем длинным языком мотался фантастический белый с голубым флаг.

— Куда ехать-то? — спросил кучер.

— А вот за церковью трактир будет, а за трактиром, значит, направо по улице,— сказала Варвара Сергеевна.

Она волновалась: доехали ли возы, все ли благополучно довели.

У большого трактира с большой красной вывеской золотом с разводами было написано «Муринский трактир», а внизу — «Постоялый двор. Продажа питей распивочно и на вынос». В тени старых раскидистых берез, росших за деревянным забором с калиткой с надписью «Вход в сад», на деревянном дощатом помосте стояло несколько тарантаек, накрытых холстами. За трактиром вправо широкой аллеей берез шла улица. На боковой стенке трактира была прибита доска и на ней написано «Охтенская улица».

И только проехали березы и въехали на пустое место между полей, Федя увидел возы, стоявшие у маленькой, крашенной в голубую краску дачки.

Дамка увидела коляску, с лаем и визгом бросилась навстречу и прыгала к самому лицу Варвары Сергеевны.

Варвара Сергеевна крестилась и тяжело вылезала из коляски. У нее отекли ноги и кружилась голова.

Феня, сменившая шляпу платочком, шла ей навстречу.

— Ну слава Богу! Доехали! — говорила Варвара Сергеевна. — Что, Феня, ничего не поломали?

— Ножку у стола Андрея Михайловича. Так ее приставить недолго. Игнат придет — починит.

— Золотой человек твой Игнат, Феня. Одно беда, что пьет.

— Рабочему человеку, барыня, трудно без этого,— сказала Феня.

Девочки и Федя с вынутым из корзины Маркизом Карabasом уже обежали всю дачу и смотрели с верхнего балкона.

Миша угрюмо шел за матерью.

Ломовые развязывали веревки и снимали рогожи.

XXXI

В Троицин день Федя проснулся от тихого шелеста над головой и сладкого запаха молодого березового листа. Мама привязывала к его постели молодую березку.

Он потянулся, не открывая глаз. «Милая моя мама»,— подумал он.— Обо всем-то она подумает, обо всем позаботится. И как было бы невозможно жить без нее»... И только Варвара Сергеевна взялась за тонкую, оклееную обоями дверь, он тихо окликнул ее:

— Мама! Мамочка!

— Что, Федя?

— В церковь пойдем?

— Пойдем, родной.

— Кто да кто?

— Ты, тетя Катя, няня и я.

— А Липочка и Лиза?

— Отказались. Сказали, что после придут, в народе толкаться,— вздыхая, сказала Варвара Сергеевна.

— Мама, мундир надеть?

— Иди в коломянковой блузе. Тепло совсем. Солнце. Хороший день.

Федя с Мишей спали на самом верху, на третьем этаже, «в гробу», как называли они свою каморку под крышей. Стоять можно только посредине комнаты, а с боков, где стояли кровати, спускалась крутая крыша.

У большой белой каменной церкви Александровской постройки «кораблем», в ограде между больших берез и тонколистных ив, среди могил священников и попечителей храма, гомонил на кладбище празднично одетый народ. Дачники и дачницы под пестрыми прозрачными зонтиками, барышни в малороссийских и мордовских костюмах, в косах с разноцветными лентами, с челками, спущенными на лоб,

в монисто из янтаря, стеклянных бус и кораллов на загорелых шеях, студенты в синих и красных, расшитых по вороту косоворотках, гимназисты, кадеты пестрым узором разместились между воротами ограды и церковью. Вился над ними сизый дымок папирос, и трепетал молодой задорный смех. По могилам прилегающего к ограде кладбища разместились деревенские парни, в пиджаках поверх цветных рубаш, в сапогах гармоникой и в черных картузах с блестящими козырьками. Девки, в пестрых ситцевых платьях и платках, некоторые по-городскому в шляпках и прическах на затылке, в мантильях и «пальтишках», стояли отдельно от парней, лущили семечки и задорно перекликались с парнями.

В церкви было тесно. По одну сторону стояли мужики в свитках. Маслянистые, с тщательно расчесанными рыжими, темными, седыми и лысыми затылками головы были напряженно тупы. Среди мужичьих, пахнущих махоркой и дегтем черных, серых и коричневых кафтанов, ближе к амвону резкими пятнами легли белые кителя исправника и двух офицеров и несколько чиновничьих вицмундиров с золотыми пуговицами. Правая сторона церкви была занята бабами. Здесь крепко пахло коровьим маслом, ситцем и луком. Темные и пестрые платки, повойники, кички и шляпки с цветами непрерывно колебались, точно цветущий луг под напором ветерка.

Иконостас старинной резной работы стиля церковного рококо начала XIX века, с пухлыми толстощеками херувимами, виноградными листьями и витыми колонками, горел золотом. Иконы Спасителя и Божьей Матери были украшены желтыми гирляндами бутоньерок, одуванчиков и курослепа. По бокам царских врат стояли молодые березки. На аналое, у образа «Праздника», увядал нежный венок ландышей. Вдоль клиросов и везде по храму были расставлены молодые березки, и их нежный весенний аромат смешивался с запахом ладана, мужичьей одежды, коровьего масла и розовых капель и входил в душный воздух переполненного храма дыханием молодой рожи.

Пестрый хор певчих местной школы стоял на одном клиросе, на другом были почетные прихожане, старый генерал в отставных погонах, волостной старшина, осанистый старик с длинною седою бородою и несколько дам в коричневых и синих платьях.

Федя с Варварой Сергеевной, тетей Катей и няней Клушей пришли в десять, но церковь была уже полна. Кончили читать евангелие.

Федю, привыкшего к чинному порядку гимназической церкви, коробил непрерывный гул голосов, мешавший слу-

шать и молиться. Его хлопали по плечу свечой, сзади просовывалась рука со свечкой. Федя передавал ее таким же образом дальше, и по головам молящихся, по плечам, то приподнимаясь, то опускаясь, как щепки разбитого плота по порожиистой реке, текли к алтарю белые свечи. Они замирали, останавливались и шли дальше к иконостасу, где тесной гурьбой стояли мальчишки. Там, то справа, то слева, выходил кто-нибудь из передних рядов, тяжело поднимался по ступени, со стуком становился на колени, бухал на четвереньках земные поклоны, крестился, мотая волосами, и ставил свечку. Свечей было много. Их некуда было ставить. Снимали полубогоревшие и ставили новые.

— Празднику! — шептали сзади.

— Празднику! — говорили негромким голосом слева.

— Спасителю! — слышался шипящий тенорок справа.

— Миколу Угоднику! — басил кто-то впереди.

— Миколу, сказал тебе, коему лешему ставишь-то? — негодовал сзади Федю возмущенный бас.

Впереди возились, шумели и дрались мальчишки. Маленькие ползали к иконам, порывались пробраться в алтарь, их оттягивали, они плакали. Матери вмешивались в кипень детских русских головок и пестрых рубаш. Раздавались шлепки и уговаривания.

Бабы охали, шептали молитвы, истово крестились, повторяя за священником слова возгласов и добавляя свои.

— Святая святым, — шептала сзади Федю старуха, — им, святым угодникам, подсоби, помоги, сподоби и помилуй их!

Хор пел стройно, но резко отделялись жалобные дисканты и гудели басы, на давая аккорда, которого в гимназии умел достигнуть Митька. Слова выговаривали невнятно, и хор терял красоту. Священник и дьякон служили ревностно. Они были в новых ярко-зеленых, расшитых золотом ризах, большие, массивные, громогласые, густоволосые; но портило впечатление, что к словам молитв и возгласов они прибавляли замечания молящимся.

— Со страхом божьим и верою приступите! — возглашал священник и почти тем же голосом говорил, — не все сразу, подходи поодиночке. Тетка Акулина, повремени маленько.

Причастников было много. Плакали и вопили, булькая, захлебываясь и задыхаясь, грудные дети.

Весь молебен стояли на коленях, охали, ахали. Кто-то истерично кричал.

Красота православной службы растворялась в русском деревенском быте, и быт этот был непонятен и чужд Феде. Он возмущался и осуждал.

— Мама, почему не уймут детей? — говорил он, обращаясь к матери. — Мама, надо же вывести эту женщину! Почему она хохочет? Разве можно так!.. В церкви!

— Молчи, Федя, молись, — кротко шептала Варвара Сергеевна.

Она молилась. С умиленным лицом смотрела она на желтые бедные цветы чахлых болотных полей. Поведение крестьян ее не возмущало. Она понимала их. Они ей еще были родными. Федя не понимал деревни. Он был далек от нее и менее «барин», чем была «барыней» его мать, он осуждал ее, презирал и в трудном деревенском быте видел только грязь, вонь и беспорядок.

Когда выходили из храма, на погосте уже были пьяные, под раскидистым кустом бузины, в молодых темно-коричневых листочках, играли на гармонике парни и хохотали девки. На площади, подле коновязей, где привязаны были мелкие круглые, сытые лошадки, запряженные в тарантайки с сиденьями, накрытыми коврами из лоскутков, гуляли дачники. Липочка и Лиза в белых платьях с бантами, тех самых, в которых они были у заутрени, ходили с Ипполитом.

Варвара Сергеевна подумала:

«Растут дети, растут... и уходят...»

XXXII

Вечером на главной улице — «Муринском проспекте» было гулянье, раздавались песни, пиликала гармоника, у большого трактира слышались буйные крики и дикий рев пьяных голосов. На Охотенской улице, где на отшибе стояли три дачи крестьянина Ивана Рыжова, из которых одну снимали Кусковы, дремала покойная прохладная тишина.

Против дачи Кусковых, за дорогою, было поле. Над полем медленно поднимался туман, а к нему с бледно-синего, зеленеющего на западе неба опускалось большое красное солнце. Поперек него протянулась тонкая фиолетовая тучка, а ниже, на самом горизонте, за молодым осиновым, еще голым лесом, точно поджидая солнце, клубились тяжелые черно-фиолетовые тучи.

У калитки палисадника, украшенной двумя березками с нежными розовыми стволами, стояла скамейка. На скамейке сидели няня Клуша, Миша и Федя. Липочка и Лиза, обнявшись за талии, ходили маленькими шагами по дорожке мимо дачи, поскрипывали башмачками по красному песку, густо насыпанному Рыжовым вдоль канавы с мостиками и прислушивались, что говорила няня.

Andre сидел в палисаднике, в небольшой беседке из зеленых крашенных планок, прикрытой со стороны дорожки акацией, а с боков зацветающей белыми и лиловыми бутонами сиренью. Он читал, но бросил читать и теперь слушал рассказ няни Клуши, изредка досадливо пожимая плечами.

Миша днем, лежа на лужайке, не отрываясь, «взасос», прочел «Страшную месть» и «Вия» Гоголя и был полон чертовщины. Он с детскою настойчивостью и вместе с легкой иронией, боясь уронить себя, допрашивал няню Клушу.

— Как, няня, человек умирает?

— А неизвестно как... Бог душеньку, значит, отнимает, с того и кончается человек. Каждому человеку Богом установлены пределы и сроки. И кому кончина положена благостная, святая, тихая и мирная, во всяком благочестии — красота, а не кончина! Кому Господь посылает за грехи кончину в муках смертных. И каждому пути его указаны, и смертный час определен,— уверенно говорила няня Клуша.

— Ну вот... Умер, скажем, человек... А дальше что? — говорил Миша.

— Что? Ну, значит, душенька покинула тело. Остался храм телесный без души, и от этого смерть. А душа девять ден остается тут, возле тела, в доме.

— Так ведь, няня, покойника увезут. Когда бабушка умерла, ее на третий день увезли на Смоленское,— сказал Федя. Куда же душа-то девается? И она — на Смоленское?

— Она все одно остается при доме. При родных. С того и в доме беспокойство бывает. Тоска. Душенька-то бродит возле. Иная какая беспокойная душа еще и стонет, мается.

— Ты, няня, слыхала эти стоны? — спросил Федя.

— Сама-то не слыхала. Бог боронил. А старые люди сказывали — бывает!

— Ну а потом? — спросил Миша.

— А потом еще сорок ден дано душеньке мытарствовать, с землей не расставаться. Оттого и поминать надо, сорок ден молиться за покойника, потому крепко нужна молитва за умершего эти дни. Тяжелые эти дни для души. Готовится она предстать перед Господом, отчет дать во всех своих согрешениях, вольных и невольных.

— А что же дальше?

— Дальше предстанет душа пред судищем Христовым и вся прегрешения ее, вольные и невольные, откроются. Станет все ясно перед Господом. Вся жизнь раскроется, вот как цветок раскрывается перед солнышком, и видны все лепесточки его самые махонькие. И скажет Христос, куда идти душе, в огонь ли вечный, в муки адовы или в райское вечное блаженство.

— Где же этот суд происходит? — спросил Федя.

Федя читал Фламариона и знал из географии, как устроена земля, как солнце, как луна и звезды. Он смотрел, как опускалось за рощу румяное солнце и думал: «Это земля своим краем поднимается и застит солнце, потянулась тень мрака, но еще остался солнечный свет в атмосфере, и оттого приходят сумерки». Все было просто и ясно. И не так, как рассказывала няня... «Откуда это она? Показалась над полем синеватая звездочка. И она давно там была, только видно ее не было, потому что солнце заливало ее своим светом, вот как днем неприметно пламя свечи». Все хорошо знал и понимал Федя. Но у няни Клуши все было неправильно, сумбурно. Это потому, что няня Клуша простая, необразованная. Но волновал ее рассказ странною красотой. Входил в душу. И верить хотела душа няне, а не науке. И батюшка, когда рассказывал, почему надо служить панихиды, говорил то же самое. А ведь он образованный?.. Почему же он? Потому что он поп?.. Но мама верит ему, а не Фламариону, и те старики и старухи, которые были сегодня в церкви, тоже верят, как няня. И сто миллионов, тысяча миллионов народа так веруют.

— На небе, — недовольным голосом сказала няня. — Господь на небеси, и душеньки летят на небо. Там и судище Христово устроено.

— Ну, а где же на небе? — спросил Миша. — На солнце, на звезде какой или на луне?

— Сказано, на небе, а про звезду нигде не упомянуто, — еще суше ответила няня.

— Так ведь небо, — сказал Федя, — это безвоздушное пространство, там ничего нет. Там и суда никакого быть не может... Там холод страшный.

Andre в беседке с ленивым любопытством ждал ответа няни. Если у Феди были сомнения в науке, какие-то надежды на будущую загробную жизнь, Andre все было ясно. Книжки ему все разъяснили. Только сеансы Suzanne, таинственные щелчки, волна страха, которая вдруг находила на дом, когда кричал и метался во сне Миша, девочки пугливо жались друг к другу, тяжелый стол грохал об пол, предметы срывались с него и падали не по отвесу вниз, а летели в другой конец комнаты — все это расходилось с наукой. «Ну мы не знаем, — так будущие поколения изучат и узнают. Наши деды не знали электричества, тоже считали его какою-то таинственной силой... Изучат и «духов» и заставят их служить людям, как заставили служить электричество», — подумал Andre и опять прислушался к разговору.

— Что же происходит на Божьем суде? — спросил Федя,

уже сомневающийся, так как вопрос о том, где происходит суд, остался открытым. По географии такого места не могло быть. Каждый уголок Вселенной обшарили ученые и предусмотрели, что и дальше то же самое. И все-таки была и там тайна. Тайна бесконечности, с которой не мирилась детская душа и искала конец, быть может, в таком месте, где и действительно обретаются Бог и суд Божий.

Няня Клуша теперь отвечала неохотно. Она чуяла сомнение в том, в чем нельзя сомневаться, недоверие к тому, во что надо верить.

— На суде творится правда Божия. Господь оказывает справедливость людям, и примиряется душенька с жизнью.

— А на земле?.. Разве не может быть справедливости на земле? Нельзя добиться правды на земле?..

— И, батюшка! Какая же справедливость на земле! Вот как жила я молодою в деревне, была у нас Капитоновна, блаженная. Вот как родилась, так и по самую смерть из избы не выходила. А стояла ее изба на краю села и была она маленькая, темная, всего два окошечка в ней, как в хлеву, с маленькими стеклами. И была Капитоновна глухая и немая, ни тебе говорить что, ни слушать никак... Питалась, чем люди принесут. А зимою, иной раз дня по три, ей ни воды, ни хлеба никто не занесет. И прожила она так-то до семьдесят лет, Божьего света не видавши, среди сырости, пауков, мышей да тараканов. Обет такой дала. И ни греха за ней никакого не было, ни мысли греховной... Протянула жисть, значит, без всякой радости. Ужли же Господь душу ее праведную не примет к себе, не устроит в селениях райских, не ублажит ее? Или... может, слышали... по Смоленскому ходит блаженная Ксения. Милостынку собирает, да что соберет — нищим же и раздаст. А кто в горе совета ее спросит, выслушает и разумный совет подаст. Правдиво, от Бога, значит, дано ей знать, чем и как утешить людей. В золоте и нарядах могла бы она ходить, земными радостями радоваться, а она предпочла на кладбище с нищими сирых и убогих ублажать. Так вот ей-то, блаженненькой, ужели Господь не воздаст за подвижническую ее жизнь?.. Все предусмотрено у Господа, все. Он, мудрый, устроит и создаст мир истинный... Или злодей, пьяница, убивец какой — пусть здесь натешится кровушкой, а там ему воздастся сторицею в геенне огненной и в вечном огне.

— Няня, а что же такое геенна огненная? — спросил Федя.

— Учены уже очень стали, Федор Михайлович, — ворчливо сказала няня Клуша. — И чему в гимназии учиться, ежели ничего хорошего, правильного не научили?!

— Няня, а черти есть? — спросил Миша.

— С рогами и с хвостами? — уже с явной насмешкой сказал Федя, задетый тем, что нянька назвала его по имени и отчеству.

Няня встала.

— И с рогами, и с хвостами! — сердито сказала она. А вы-то вот, видать, без крестов!.. Тьфу, непутевые! Срамники! Грома на вас нету! Согрешишь только с вами! День какой седни великий! А они!.. Срамники, ей-Богу!.. И какая ваша наука, коли ничегошеньки вы не знаете?

Няня Клуша хлопнула калиткой и пошла к даче.

Молча ходили, обнявшись, Липочка и Лиза. «Скрип-скрип» — скрипели их башмачки по песку.

Andre встал и схватился руками за голову. Он давно решил покончить с собою. Довольно... Жизнь надоела... Еще в тот день, когда любовь ему не удалась, он стал писать стихотворение Никитина «Вырыта заступом яма глубокая». По слову в день... Когда допишет — конец... Сегодня прочел статью Достоевского в старой газете: «Бобок». И стало страшно... Если и правда... Лежать, лежать и проснуться... И говорят... и думают... А потом... затихают навсегда. И, затихая, бормочут «бобок... бобок»... И затем ничего. А няня Клуша!!! Целая система!!!

Andre сжал пальцы так, что они хрустнули.

«А! — подумал он. Все равно — решено!.. А там «бобок», ад, рай, черти, ангелы! Не все ли одно!.. Один конец».

XXXIII

На другой день Andre, Ипполит и Федя поехали к товарищу Андре по гимназии, Бродовичу, в Павловск.

У Бродовичей была собственная дача. Они были очень богатые и культурные люди, и их богатство, их особенная широта жизни поражали Кусковых. У Абрама было множество игрушек, но ни одна не походила на те игрушки, в которые играл Федя. У Абрама был маленький паровоз, и к нему рельсы и вагоны. Если налить в него воды и зажечь внизу спирт, то паровоз начинал пыхтеть, как настоящий, пускать пары, а потом шел по рельсам сначала медленно, а потом так быстро, что его трудно было остановить. У него был прибор для гальванопластики, гипс и формы для отливки из него статуй, у него была настоящая спираль Румкорфа и Гейслеровы трубки, горевшие таинственными, волшебными огнями. У Абрама было несколько тысяч маленьких белых и красных кирпичиков, из которых можно было строить

дома, печи, мосты, что угодно... У Абрама были раскрашенные рисунки всех зверей... Чего-чего не валялось в большой пустой комнате Абрама, бывшей его детской.

Сам Абрам давно не играл в игрушки, и, судя по тому что игрушки были целые, неполоманные, он никогда ими не интересовался. Когда Абрам был маленьким, он любил больше всего читать и рассуждать. С шестого класса гимназии он изучал судебное дело. Он доставал подробные судебные отчеты со всеми речами и со своими товарищами изучал их. Он устраивал у себя судебные заседания, изображая процессы, на которых он, его товарищи Андре и Ипполит, говорили речи защитника и прокурора, устраивали перекрестный допрос свидетелей, вставляли поправки и, наконец, выносили приговор. Карьера адвоката влекла его. В ней он видел и славу, и шумный успех, в ней видел блеск больший, нежели блеск сцены, потому что артист повторяет чужие слова, адвокат же произносит то, что сам создал и выносил в сердце.

Среднего роста брюнет, с маленьким вздернутым носиком, на котором сидели очки, с задранной кверху гордой головкой, вечно любующийся сам собою, довольный тем, что он первый ученик, страстный спорщик, он был в гимназии приметною величиною, и его конкурент по балам талантливей, но неуравновешенный Белов сочинил на него стихи:

Жил на свете пан Бродович,
Был заносчив он и горд,
По характеру — попович,
Бегал он от битых морд.
По наружности мартышка,
Думал он, что недурен,
Толст и мягок был, как пышка,
И мечтал, что он умен.
Нос задрал, входил он в классы,
Споры тотчас заводил,
Получив пятерок массы,
Он из класса уходил.
Много он прочел книжонок,
Изучал и то и се,
Но ни воли, ни силенок
Не хватало кончить все...

Кусковых тянуло к Бродовичу еще то, что его отец был редактором громадной «восьмистолбцовой» ежедневной газеты и в их доме можно было видеть на приемах почти всех знаменитостей сцены, эстрады, газетного, литературного и адвокатского мира.

Папа Бродович, Герман Самуилович, был типичный еврей, маленький, пузатый, немного рыжеватый, в золотых очках на добрых близоруких глазах. Он умел вести свой орган так, что, считаясь неизменно либеральным и печатая смелые статьи, он не подвергался никаким неприятностям. Он умел ладить не только с цензурой, но и с жандармскими властями, принимая их, когда нужно и так, что этого никто не знал. И когда в газете появлялась сильная и резкая статья, оказывалось, что эту статью еще в рукописи прочел жандармский полковник и нашел ее «отвечающей моменту».

Много помогала ему в этом его супруга, красивая, накрашенная молодящаяся польская еврейка с темным прошлым едва ли не веселого дома, умевшая теперь играть роль великосветской дамы и привлечь на свои вечера офицеров гвардии. Вместе с этим на интимных приемах в уютном полутемном будуаре, когда нужно, наедине с гостем, она пользовалась наукой прошлого и, вспоминая дни своей молодости, покоряла своими увядшими прелестями те сердца, которые нужны были газете.

Из маленького уличного справочного листка в какие-нибудь десять лет газеты выросла в большое издание, заглушила умирающий «Голос» и становящиеся все более и более скучными «Петербургские Ведомости» и смело вступила в борьбу со входящим в славу «Новым Временем».

Дом Бродовичей был передовым домом. В нем собирались лучшие умы тогдашнего общества, и в нем обсуждались все жгучие политические вопросы.

Кусковым у Бродовичей все казалось таким новым и современным, что их скромный дом им представлялся отставшим лет на двести. Им это было особенно ясно, когда они смотрели и слушали сестру Абрама — Соню. Она казалась им существом иного, лучшего мира... Человеком будущего, двадцатого века.

Софья Германовна была на четыре года старше брата и училась на медицинских курсах. Она позировала на передовую женщину, не признающую условных приличий и поражала мужчин изящным цинизмом своих суждений. Притом она была удивительно красива какою-то картинной красотой, с библейскими чертами чистокровной семитки. Высокая, стройная, гибкая, она гордо несла на тонкой классической формы шее и плечах голову античной красоты, с матовой бледностью лица, алыми, маленькими полными губами, небольшим, красивого рисунка, носом и громадными в синеватых белках глазами, затененными длинными густыми ресницами. Чудесные черные волосы, впадающие в

золото, были всегда тщательно завиты и уложены в оригинальную прическу. В маленьких ушах висели большие стальные серьги. Ее платья — всегда по последней моде — описывались хроникерами, а mister Penn * посвящал ей особые статьи в своих модных хрониках. Ее профиль, ее фигуру зарисовывал Богданов **, и писать ее портрет мечтали лучшие художники.

Немудрено, что Andre и Ипполит млели перед нею и смотрели на нее как на какое-то чудо.

Музыкальная и понимающая музыку, она играла на арфе и была знакома с лучшими музыкантами.

Для Кусковых бывать у Бродовичей — значило погружаться в какой-то новый мир мировой культуры, уйти от латинской грамматики, от мелких сплетен и забот, от нудной хлопотни матери и жить несколько часов богатой жизнью, где все делается само.

И дача Бродовичей не походила на то, что Кусковы называли дачами. В глубине Павловска, там, где улицы его образуют сплошной зеленый свод старых лип и дубов и за высокими кустами сирени и акаций не видно строений, где исчезают деревянные решетки палисадников, но глубокий ров и земляной вал отделяют шоссе от садов, или стоит изящная железная решетка на цоколе из белого песчаника, были красивые железные ворота на каменных столбах.

На правом столбе была прикрепленá большая медная доска с надписью черными буквами «Дача Германа Самойловича Бродович». Подле была калитка. За калиткой, по тенистому парку, разбегались дорожки. Федя всегда удивлялся, как в петербургском климате могли расти такие редкие нежные цветы. Чуть поднимаясь на пригорок, покрытый муравою, блестела зеленым бархатом широкая лужайка, обвитая голубым узором низкой лобеллии. За нею, в пестрой гамме ранних гелиотропов, махровых левкоев, флоксов и резеды стояли тонкие штамповые розы. На верху лужайки громадные агавы протянули из зеленых кадок свои мясистые листья, в горках из туфа росли кактусы, и весь фундамент дачи обступали белые, розовые и голубые гортензии. И все у них цвело раньше срока, выведенное в парниках и оранжереях.

Весь палисадник дачи Кусковых был меньше одной этой лужайки. А вправо и влево от нее, как кулисы, надвигались кусты калины, бузины, жасмина и сирени. От них отделялась, точно нарочно брошенная в зелень лужайки, голубая

* Хроникер того времени для балов и светских собраний.

** Знаменитый рисовальщик красивых женских головок и фигур.

американская ель. Какой-то особый можжевельник стоял сторожем подле кустов. За кустами были таинственные тихие дорожки, струилась речка, и над нею висел мостик с перилами из белых стволов березы. И все это было — Бродовичей... Их собственное...

Сюда не долетали шумы улицы. Здесь не кричали разносчики и появление ярославца с лотком на голове, укутанным красным кумачом, под которым стоят окрашенные розовым соком плетенные из лучины корзины с душистой земляникой и клубникой, или рыбника с кадкой, где в воде со льдом лежат живые сиги, окуни и ерши, здесь было немислимо.

Это был таинственно красивый мир капитала, которого не знали Кусковы, и Феде казалось, что, переступая порог этой дачи, он вступал в новое царство, уходил из няниных сказок, от маминой любви... Уходил из самой России.

За воротами этого дома Россия не имела того великого значения, которое имела она на улице, когда там висели бело-сине-красные флаги, горели плошки и газовые вензеля. И казались неуместными на этой даче и самые русские флаги.

И было пленительно хорошо, но вместе с тем и жутко ходить к Бродовичам. Точно там был грех...

XXXIV

Абрам принял товарищей с самым радушным гостеприимством. Он и действительно любил трех братьев. Андре и Ипполиту он покровительствовал, мечтая вывести их в люди, Фене сердечно, со снисходительной усмешкой, предоставлял свои игрушки.

Сони не было дома. Она уехала в Петербург. Мама Бродович сидела на стеклянном балконе и слушала, как молодой офицер читал ей свои рассказы, первый опыт юного пера, которые он мечтал поместить в фельетонах газеты ее мужа.

— Ваши новеллы очень, очень милы, monsieur Николаев,— говорила мама Бродович, щурия свои подрисованные глаза и плотоядно оглядывая статную фигуру молодого офицера. Я поговорю с Германом Самойловичем, и, я думаю, мы это уладим. Итак, вы безнадежно влюблены в Натарову! Несчастный! Стоит думать об этом... А, здравствуйте, молодые люди,— обратилась она к Кусковым, проходившим через балкон с Абрамом.— Абрам, скажи, чтобы вам дали чаю и бутербродов...

Абрам провел гостей в свой обширный кабинет. Федя принялся рассматривать наваленные перед ним Абрамом книги. Тут была та волшебная литература восхитительных путешествий, приключений, кораблекрушений, дивных экзотических стран с ненашим солнцем, которую только и признавал Федя.

Он забыл про чай и про бутерброды с икрой и сыром и смотрел картинки.

Andre лежал на широком диване. Ипполит стоял лицом к широкому итальянскому окну, нервный Абрам ходил по комнате и горячо говорил.

— Сейчас придет Соня... Соня вам расскажет. Это прямо ужасно. На этих днях будет казнено целых пять человек. И это на пороге двадцатого века... Я не могу ни есть, ни спать! Что должны думать они, эти несчастные жертвы правительственной тирании!! Этот процесс определил меня. Я буду защитником по политическим делам! И если бы вы знали, как они честны!.. Они могли бы отпереться, сказать, что это клевета, поклеп полиции. Ведь доказательства их заговора так шатки! Они этого не хотят. Они суд делают оружием своей пропаганды.

— Но мы даже не слыхали про это,— сказал Ипполит.

— Еще бы! Цензура запретила писать по этому поводу. К папá два раза приезжал цензор.

— Что же они хотели сделать? — спросил Andre.

— Убить императора...

Федя сделал невольное движение. Ему показалось, что он ослышался. Книга медленно сползла с его колен и упала на пол. Он покраснел и стал ее поднимать. В эту минуту дверь отворилась. Вошла Соня.

— Узнала от маман, что у тебя гости, и пришла,— сказала она, входя. Она была в изящном черном легком мантии с пелериной и маленькой черной шляпке, не закрывавшей лба. Вуаль была поднята, и ее бледное матовое лицо горело негодованием.

Она подала поднявшимся ей навстречу Кусковым маленькую ручку, затянутую в черную перчатку и, не садясь, проговорила:

— Это, господа, ужасно. Я сейчас от них.

— Ну? — спросил Абрам, останавливаясь против сестры.

— Спокойны... Красивы... Особенно Шевырев... Обреченные. Ульянов на вопрос председателя суда, как могли они решиться поднять руку на священную особу императора, ответил с горечью: «В других странах на правительство можно действовать путем агитации, печати, парламентских

собраний... У нас это запрещено. Отняты все пути к нормальному проведению в жизнь самых заветных своих убеждений. И человека толкают на единственный путь, каким можно добиться изменения и улучшения правительственной системы управления страной. Этот путь — террор... Террор есть единственный способ политической борьбы в России. И он будет продолжаться до тех пор, пока...»

— Что же председатель? — перебил Ипполит.

Andre и Ипполит слушали ее не садясь, с разгоревшимися лицами. Им казалось, что они не только слушают, но принимают участие в чем-то исключительно важном, даже опасном. Федя сидел в углу, на полу, с книгой в руке. Лицо его горело. Он делал вид, что увлечен картинками, а сам напряженно слушал и старался запомнить каждое слово малопонятного ему разговора.

— Председатель? Он прервал Ульянова... — коротко бросила Соня.

— Почему именно императора они хотели убить? — запинаясь спросил Ипполит.

— А что же делать, коллеги! Кругом сон, болото, мертвое царство... Я помчалась в наше землячество. И говорить не стоит. Кто уехал на каникулы, кто собирается ехать, ищет выгодных кондиций. Лекции прекращены. Ни сходки не соберешь, ни забастовки не устроишь. Университет застыл в летнем маразме, и в сонных коридорах и аудиториях одни сторожа... Гадко, коллеги...

— А ты не думаешь, Соня, — сказал Абрам, стоящий спиной к окну, — что если бы университет даже жил полной жизнью, ничего бы не удалось сделать?

— И их повесят... так... среди молчания страны... И будут в дымном городе гудеть фабричные гудки и лязгать железом, и будут снова по Неве и каналам пароходы?... Жизнь не остановится, не замрет? — воскликнула Соня и, заломив руки, остановилась в театральной позе.

— Ты видишь? — сказал тихо Абрам и сделал рукою округленный жест.

— Все уснуло... — проговорила Соня, озираясь кругом. Все уснуло в своем российском благополучии. Царь в финских шхерах удит рыбу!! И Европа благоговейно смотрит на него! Россия!.. Россия — прежде всего. Россия!.. Мы — русские! Работа Катковых, Аксаковых, Победоносцевых сказывается... Россия и православие!.. О-о-о! — простонала Соня и умолкла, закусив белыми зубами нижнюю губу.

Она была прекрасна, как героиня какой-то волнующей драмы.

Андре и Ипполит слушали ее, не спуская с нее восхищенных глаз. Абрам начал снова ходить по комнате. Федя сидел, низко опустив голову, и его грудь под черной суконной рубашкой часто поднималась и опускалась.

— А что такое Россия? — чуть слышно проговорила Соня. — Внизу — дикое, бессмысленное стадо мужиков, сдерживаемое опричниками-солдатами и спаиваемое правительством, полуголодное, темное, жадное, ни во что не верующее, ни к чему, кроме скотского труда на земле, не способное, а в городах... Интеллигенция... Такая же спившаяся, жалкая, трусливая.., и никого, никого. Вы расслабляете свои мозги картежной игрой, вы усыпляете нервы вином и водкой.., вы стали такими же скотами, как и народ. Кругом почтительное, восхищенное молчание. Свечи Яблочкова!.. Картины Айвазовского!.. синее море, синее небо... картины Виллевалде, — прилизанная русская слава в толковании немецкого старца!.. Все — под цензурой, все — под семью замками... Откуда-то из недр «Ясной Поляны» звучит чей-то более смелый голос, и тот говорит... Соня выговорила трагическим шепотом: о непротивлении злу!.. Какая пакость так жить. Какой ужас думать так, как будто на свете только и есть Россия!.. Думать о России!

Она замолчала. Несколько долгих, тяжелых минут в кабинете стояла томительная тишина. В саду чирикали птицы и одна настойчиво и звонко кричала, пророча дождь. По синему небу тихо бродили разорванные облака, и были они, как пар какого-то гиганта-паровоза. Внизу, на балконе, мерно читал офицер, и не было слышно слов, но ровное, чуть ритмичное бормотание доносилось в открытое окно. На кухне часто и настойчиво стучали ножами.

— А о чем же думать, если не о России? — спросил хриплым, не своим голосом Федя.

Соня смерила его гордым взглядом прекрасных темных глаз из-под нахмуренных бровей с головы до ног и долго не отвечала. Наконец решительно, властно и сильно, как умеют говорить очень красивые и знающие, что они красивы, женщины, коротко сказала:

— О человечестве!

XXXV

После обеда Ипполит и Федя уехали. Андре остался ночевать у Абрама.

В его душе было сладкое томление. Он уже не мог не

глядеть на Соню; не мог не думать о ней, не мог не мечтать, что, если бы вместо Сюзанны, тогда была Соня, было бы все по-иному. Слова Сюзанны о том, что такое любовь, он теперь понимал. Для Сони... Да, для Сони стоило жить и всю жизнь работать над каким-нибудь винтом или изучать растения... Для Сони можно было и умереть.

Он постоянно носил при себе папиросы, взятые им у Suzanne. Боялся, чтобы они не попались кому-нибудь. В стихотворении «Вырыта заступом яма глубокая» ему оставалось дописать сегодня одно слово и завтра выкурить папиросы, чтобы перейти черту, отделяющую жизнь от смерти. Еще утром ему казалось это легко и просто. Он нарочно назвался на этот день к Бродовичу. После обеда он попрощается с братьями, накажет им хорошенько поклониться маме и папе, Лизе и Липочке, Мише и тете Кате... всем-всем. Потом, поздно ночью, пойдет один гулять в парк, и там, в тихой одинокой аллее, выкурит папиросы и уснет вечным сном.

Утром прохожие случайно наткнутся на холодный труп гимназиста с прекрасным, гордым, окаменелым лицом... Ни записки, ни слова прощения. Только стихотворение скажет миру, что ушла жизнь опостылевшая, невеселая, одинокая... Это будет гордо... Красиво... Пусть знают все... Мама, папа, мадемуазель Suzanne, Бродовичи... Соня... Пусть знают все, что такое был Andre!..

Соня вдруг овладела им, и все придуманное показалось в ином свете. Конечно, он не нарушит слова, которое он дал сам себе, он непременно умрет, но раньше он все скажет Соне. Он и о Suzanne ей расскажет... И Andre, томимый своими мыслями, не отходил от Сони.

После обеда ходили на музыку. Мама Бродович шла с офицером-писателем. Она была в вычурном парижском платье и сильно подрисована. Соня была с музыкальным критиком и композитором, только что написавшим оперу и искавшим, чтобы об этом было помещено в газете. Сзади шли Andre и Абрам. Andre видел, что почти весь Павловск приветливо раскланивался с Соней. Это ему не нравилось... Было неприятно и то, что она, так горячо говорившая о предстоящей смертной казни пяти революционеров, говорившая, что не может ни есть, ни пить, была одета в прекрасный вечерний туалет и улыбалась знакомым, льстиво и гордо отвечая на поклонь.

Andre не слушал, что говорил ему Абрам. Абрам хвастался своею интригою с какою-то балетною корифейкой и, смеясь глядя через большие круглые очки на Andre, говорил:

— Вы понимаете, Andre, я жид и гимназист, только гим-

назист, и я имею гораздо больше успеха, чем этот офицер, что идет с мамá. Деньги — это сила! Ну мама устроит так, что новеллы его будут напечатаны у нас в газете, и папа заплатит по две копейки за строчку, ну это он заработает шесть рублей в неделю, двадцать четыре рубля в месяц, а мне вчера один ужин с нею обошелся в триста! О, что мы делали!.. что делали!

Andre смотрел на Соню, на ее тонкую талию и чуть колеблющиеся на ходу широкие еврейские бедра и думал, как и что ей скажет. И что ни придумывал, все выходило бледным. Слова казались ничтожными для того, что он переживал!

У дома, когда офицер прощался и все остановились, Andre удалось остаться подле Сони и он, глядя в упор тоскующими, влюбленными глазами, прошептал невнятно:

— Соня, мне очень нужно с вами безотлагательно поговорить... Это очень важно для нас обоих!..

— После чая придите в мой будуар,— спокойно сказала Соня.

Она сказала это громко, ни от кого не скрывая, показывая, что ничего в этом не видит особенного. И это было Andre больно и оскорбительно. Она не поняла его...

Но после чая прийти не удалось. Критик остался, и в гостиной музицировали. Соня играла на арфе, критик на рояле наигрывал отрывки из своей оперы.

Только в двенадцатом часу Соня встала, надела на арфу чехол и, проходя мимо Andre, сказала: «Поднимитесь ко мне через четверть часа».

Когда Andre постучал у двери ее маленькой гостиной, она ответила из спальни: «Войдите, я сейчас буду к вашим услугам».

Andre вошел в будуар. Голубой фонарь на бронзовой цепочке спускался с задрапированного голубою материей в складках потолка и призрачным светом озарял маленькую комнату, устланную ковром. Короткий, почти квадратный черный рояль занимал половину комнаты. В другой части стояли диван, два низких кресла и столик с фарфоровыми безделушками. По стенам были картины в золотых рамах. Широкое, во всю стену, окно с мелким переплетом было открыто в сад, залитый мягким светом полной луны. Снизу слышались заглушенные звуки фортепиано. Критик продолжал играть. Иногда его игру прерывал басистый голос папá Бродович, смех мама и еще голоса каких-то пришедших ночью гостей.

В саду несмело квакали северные лягушки. Пряно пахло

черемухой и сиренью и здоровым смолистым духом сосны. Где-то далеко, за садом, сквозь чащу листья чуть просвечивало небольшое освещенное красным светом лампы окно.

Andre стоял спиной к окну и нетерпеливо ждал Соню. Какие-то тяжелые молотки били ему в виски, губы сохли, и он невольно часто их облизывал.

Соня вышла к нему, одетая в мягкий тонкий халат из блестящей черной материи. Он покорными складками, как рубашка, облегал ее тело и был небрежно завязан ниже талии шнурком с кистями, упавшими к коленям. Она казалась в этом костюме ниже, худее и вместе с тем как-то значительнее.

— Ну вот, коллега, я вся к вашим услугам,— просто сказала Соня.

Она взяла с маленького столика портсигар слоновой кости, достала тоненькую папиросу и протянула портсигар Andre.

— Курите?

Andre вспомнил о своих отравленных папиросах, покраснел, смутился и сказал невнятно:

— Нет... Сейчас не хочу... Я уж потом.

— Ну как хотите,— сказала Соня.

Она чиркнула спичку и медленно, со вкусом, выкурила папиросу. Села на низкий широкий диван, откинулась на спинку и, выпуская дым через ноздри, проговорила:

— Я вся — внимание.

XXXVI

— Я пришел к вам... за советом... за помощью... за указаниями...— начал Андре и смутился. Соня смотрела на него с откровенным удивлением. Она приподняла подбородок, отчего тоньше стала казаться ее шея и, полуоткрыв небольшой рот, из-под приспущенных в ленивой мечтательности ресниц смотрела на него темными большими умными глазами.

— Я, видите, думал... Вот опять-таки по делу Шевырева...

— Ужасное дело,— контрольным шепотом проговорила Соня.

— Ну скажите... Может быть, какой-нибудь человек, которому все равно... не жить, который решил... твердо решил покончить с собою... мог бы помочь?

Соня минуту раздумывала.

— Нет,— тихо сказала она.— Аппарат власти слишком силен, и помочь им, спасти их невозможно.

Andre сделал плечами досадливое движение и ничего не сказал. Он был очень взволнован. Запах тонких духов, мягкая красота небольшого будуара, свежее дыхание белой лунной ночи, напоенной ароматами черемухи и сирени, создавали для него такую обстановку, где он уже казался себе оторванным от своей жизни и унесенным в мир чуткой красоты. Вернуться отсюда на дачу в Мурино, спать с Ипполитом в крошечной комнате с отстающими обоями, с клопами, с маленьким, заваленным книгами столом, слышать, как за тонкой дощатой переборкой со щелями кричат на диване измученный службой отец, а по другую сторону шепчет молитвы мать и о чем-то до поздней ночи переговариваются девочки, было невыносимо. Или остаться здесь навсегда, или умереть.

— Во всяком случае,— как бы про себя проговорила Соня,— когда наступит время, вы не сокрушите ненавистную власть и дадите народу свободу.

— Не я? — глухо спросил Andre.

— Я не лично про вас говорю, коллега, а вообще про интеллигенцию. Она ни к чему не способна, и правительство так воспитывает ее, чтобы она и была ни к чему не способна.

— А кто же? — спросил Andre.

Соня затянулась папирсой.

— Боюсь, что слишком задержу вас. А вы хотели мне сказать что-то важное.

— Я подожду. Каждая минута, которую вы мне дарите, отнята у смерти. Я дорожу этими минутами... Может быть, вы прольете свет, откроете перспективы лучшего будущего.

— Вряд ли... Видите... Мы на пороге двадцатого века. Неужели же и новый век будет все то же самое?.. Войны, казни, жалкая злоба, повторение уроков истории?.. Есть данные думать, что будет совсем не так. Девятнадцать веков были сословия. Было дворянство, был низший класс. И они изжили себя... О!.. Я не обольщаюсь... Я знаю, что крестьяне и рабочие и теперь, как во времена крепостного права, во времена феодализма, рыцарства, во времена Римской Империи все так же грубы, некультурны, примитивны и просто животные, послушное орудие для тех, кто ими сумел овладеть. Мир строит не масса, не толпа, не народы, а вожди...

— Что вы говорите?.. Вы?.. Вы?..— проговорил Andre и сделал шаг от окна. Но сейчас же вернулся и ослабевшим голосом сказал: — А, народ?

— Так было... так есть... так будет,— проговорила, прижимая папирску пеплом к пепельнице и гася ее, Соня.— Вы, дворянство, владели массой, пока были дворянами.

Но вы перестали ими быть. В погоне за земными благами вы стали думать, что деньги, сила и вы, дворяне, потеряли свою настоящую силу, которая была в красоте и благородстве.

— Вы это говорите! — снова прошептал Andre.

— Да, Andre... Я говорю это потому, что я знаю, что говорю... Как полагаете вы, что заставляло кружевницу всю ночь сидеть и плести кружева, чтобы украсить свою барышню-невесту?.. И еще песни петь?.. Девушка шла ночевать к хилому барину от своего сильного жениха и счастливой себя считала... Почему, когда едут Александр Александрович с Марией Федоровной, народ срывает шапки с голов, кричит «ура» и бежит за санями. Потому, коллега, что была сказка о белой и черной кости, о синей и красной крови, потому что были принцы и Сандрильоны, потому что были грязные избы со спертым воздухом и роскошные дворцы. Этого не стало! Когда вы, дворяне, покинули свои дворцы, вы перестали быть дворянами. Когда я увидела на Морской вывеску «Техническая контора князя Тенишева» и узнала, что князь Хилков ездит на паровозе за машиниста, я поняла, что вы — конченые люди. Вы сняли с себя княжеские короны и стали в толпу. Но толпе нужны кумиры, и эти кумиры будут!!.

— Кто же? — вяло сказал Andre.

— Осмотритесь, коллега, кто?.. Те, кого вы презирали и гнали на протяжении веков, станут вашими господами... Мы... евреи... Почему вы, — прищуривая глаза и вставая с дивана, сказала с силою Соня, — в трудную минуту жизни пошли за утешением не к священнику, не к отцу с матерью, а ко мне... к жидовке!?

Она всем корпусом подалась вперед и тонкими узкими пальцами ухватила за спинку кресла. В этом движении, сильном и порывистом, Соня показалась Andre прекрасным хищным зверем, готовым растерзать его, но пока играющим с ним. На него из прищуренных глаз с длинными ресницами смотрела порода, сохраненная в первобытной чистоте через века. Пахнуло зноем Палестины и красотой саронских роз. Черный капот плотно охватил ее стройное тело и был как настоящая чешуя.

Ему стало жутко.

— Вы отошли от родителей... Вы не верите в Бога! — точно выплеснув воду с блюдечка, кинула Соня и, будто устав, мягко и беспомощно гибким движением опустила в кресло.

— Разве есть Бог? — спросил Andre. На него вдруг нашили томительная скука и безразличие. Он чувствовал себя

подавленным. Липкий пот проступил по спине и ногам, и свежесть ночи холодила. Внутренняя дрожь трясла его.

— Бога нет,— спокойно сказала Соня и снова закурила папиросу.— Бога выдумали люди, чтобы можно было жить.

— А без Бога нельзя жить? — с дрожью в голосе спросил Andre.

— Слабым — нельзя. Сильным — можно. Сильные могут и без Бога.

— А если слабый не верит?

— Он погибнет,— медленно выпуская сквозь сжатые губы дым и глядя на него, сказала Соня.

— Так значит... Бога нет?..— бледным голосом сказал Andre. Он надеялся услышать колебание в ее ответе... Тогда он спасен... Тогда можно жить... Искать и найти Бога... Но твердо и ясно, как звон башенных часов, бьющих полночь над уснувшим городом в тихую темную ночь, прозвучал ответ:

— Это сказала наука... Это сказал разум.

— Но если нет Бога... Тогда... смерть?..— Андре остановился и с мольбою смотрел на Соню.

— Смерть?.. прекращение обмена веществ, свертывание крови, остановка сжимания сердечного мускула, малокровие мозга, потеря чувствительности, труповое окоченение, разложение тканей, превращение их в газы и сукровицу — вот что такое смерть,...— ровным голосом говорила Соня, размахивая рукой с папиросой.

— А душа?

Andre казалось, что темный страшный омут захватил его в крутящуюся воронку и тянет в глубину. Он цепляется за ветви склонившихся к омуту кустов — ветви ломаются, он хочет ухватиться за плывущее бревно — но бревно оказывается соломинной.

— Души нет... Жизнь проще, чем мы ее себе представляем. Жизнь — это химический процесс. Почему у человека должна быть душа, а ее нет у собаки или у засохшего листа дерева, который упадет и гниет на земле?

— А как же... Многое... непостижимое, что мы видим.

— Рефлексы головного мозга.

— И ничего?..

— Ничего...

Соня затаилась и, не выпуская дыма, глядела в окно. Белая ночь клубилась туманами и была полна тайны и великой красоты. Но Andre не видел ни этой тайны, ни этой красоты, кричавших ему о Боге... Его мозг сосредоточился

на маленькой ничтожной мысли о своем «я», и это «я» делало последние усилия для того, чтобы выкарабкаться из черного омута, найти светлую точку.

— Любовь?..— чуть слышно прошептал он.

— Химический процесс, не вполне изученный, зарождения эмбриона. Но я думаю, что то, что пророчествовал Гёте в «Фаусте», удастся людям, и создание Гомункула, искусственного человека, станет очередной задачей химии, если бы это понадобилось. Но и без того людей родится слишком много, и создавать их искусственно не приходится.

— А материнская любовь?

— Только инстинкт самки,— выпуская дым кольцами, сказала Соня.

Она поднялась, отошла в темный угол и стала там, скрестив на груди руки.

— Я знаю,— сказала она глухим голосом,— что вы замышляете. Я знаю, зачем вы пришли сюда. Вы хотите покончить с собою. А что же ваша мать?.. Что же не придет она спасти свое первородное чадо?.. Ну позовите ее?.. Если есть душа, если есть Бог, материнская любовь и прочая чепуха — пусть остановит она вас. Ну!.. просите!.. взывайте!.. ждите!..

Andre в страхе обернулся к окну. В саду стояла томящая тишина. Ни один звук не раздавался в доме. Все спало. Шел третий час ночи. Еще гуще стал туман в саду, он закрыл клумбы с цветами, и деревья точно плавали на серебристом просторе. Веяло холодной сыростью.

И вдруг щемящий, за душу берущий звук, точно далекий иступленный стон или крик отчаяния донесся издалека. Сейчас же завyla собака, и снова все стихло.

Andre пошатнулся и, чтобы не упасть, ухватился обеими руками за крышку рояля.

XXXVII

— Ну что вы! — как в забытьи услышал он над собою голос Сони.— Павлин кричит на ферме... Сейчас запоят пехухи.

Она стояла подле него. Классический чистый профиль лица нагнулся к нему, и спокойное дыхание обожгло его щеки.

— Соня,— сказал Andre, пристально глядя на нее.— Я решил так потому, что разочаровался в жизни... и в любви... Я... имел женщину...

— Немножко рано... А впрочем, вам сколько лет?

— Противно... Это все... гадко...

— Да, акт не из красивых. Можно было бы придумать что-нибудь поумнее. Даром что воспет в тысячелетней гамме стихов и прозы, музыки, живописи, скульптуры и танца. Все музы служили ему.

— Соня... Я думаю, это потому... Что я не любил... Я сделал это из любопытства.

— Что же... Одна моя товарка по курсам отдалась студенту для того, чтобы изучить лучше науку, испытав все на себе,— холодно сказала Соня.

— Соня... Вы могли бы полюбить меня?.. Согреть своим участием? Соня, я знаю вас давно. Шесть лет как вы являетесь мне в сонных грезах, и я мечтаю о вас. Ваша жизнь кажется мне удивительно красивой, загадочной, и, когда вы подле, мне смерть не страшна... Вы, Соня, сильная... Очень сильная. Вы из тех, которые будут править миром... Я прошу у вас одного... Поддержите меня... Скажите мне, что мне не надо умирать... что я могу жить... ходить к вам, слушать вашу игру на арфе... слушать, как вы говорите... провожать вас на курсы... Думать вашими думами... О, не думайте, я ничего не прошу... Того мне не надо... Я знаю, что вы никогда не выйдете за меня замуж...

Он замолчал. Где-то за садом запели петухи. Небо над деревьями вдруг подернулось розовой краской, и стало еще холоднее. Тревожно колыхался туман, и гуще был аромат черемухи. Соня смотрела куда-то вдаль скучающим, безразличным, чужим взглядом. Андре вынул из-за пазухи коробку с папиросами.

— Та женщина,— сказал он волнуясь,— дала мне эти папиросы. Они отравлены. Соня, одно ваше слово, и я сожгу их в камине... Вы молчите...

Соня холодно смотрела куда-то ничего не выражающими глазами. Она, казалось, ни о чем не думала. Где-то вдали очень-очень далеко билась, ища спасения, чужая жизнь. Но какую ненужною казалась она ей. Провожать на курсы... Встречать... Целыми днями торчать перед нею, такую занятой. Вот и сейчас уже третий час, восходит солнце, а он сидит и ноет, ноет над душой... И все они такие. Русские дворянчики... Изжили свои души, стали нытиками и эгоистами. Ну что он думает? Засел у меня в будуаре и урчит всю ночь нужными мыслями. Хорошо, что папа, и мама, и Абрам знают и меня, и его. Мальчишка!.. Имел женщину!.. Пришел рассказывать об этом!.. кому?.. Девушке, которую будто бы любит... Только русский способен на такую гадость!.. Нага-

дит и приведет на нагаженное место: поклонись, мол, моей гадости... Еще и действительно отравится тут... Как это глупо! Пойти, позвать Абрама!

— Да... вы молчите... Ну... пусть... значит судьба...

Вырыта заступом яма глубокая,— торжественно проговорил Andre, вытянул толстую папиросу и медленно раскурил ее. Он достал из кармана маленькую смятую записку и протянул ее Соне.

— Это я писал,— сказал он, покашливая. По слову в день... Каждый день... Решил: напишу последнее слово и умру... Вот оно... Вчера написано! Восходит новое солнце. Но дня от этого солнца я не увижу...

Он поперхнулся и закашлялся, но сейчас же втянул в себя дым. Красный туман поплыл у него перед глазами, он, словно объятый восторгом, стал делать затяжку за затяжкой и глотать дым. Голова кружилась. Докуренная папироса упала из его пальцев, взгляд был мутный. Он, шатаясь, дошел до кресла и опустился в него. Но сейчас же вынул вторую папиросу и закурил. Он курил и ничего не видел. Все вертелось перед глазами: кресло, в котором он сидел, точно падало в какую-то пропасть; вместо Сони было мутное пятно, и большие жгучие глаза ее испускали искры. Красные лучи шли во все стороны от ее лица.

— Вы с ума сошли! — воскликнула Соня, когда он стал затягиваться и бледнеть.— Да что же это за мерзость! Абрам!.. Абрам!.. Вон, сию же минуту! Вот отсюда!..

Andre не слышал этого крика. Сердце его сжало какими-то страшными клещами, из нутра поднялась мучительная жгучая тошнота, он нагнулся, хотел встать, подойти к окну, но его шатнуло, как пьяного, и голова упала на грудь.

Гадливо обегая его, Соня выскочила из будуара, подбежала к двери спальни своего брата и стала кричать: «Абрам! Абрам!.. На помощь!»

Абрам, только что уснувший, в наскоро наброшенном халате и туфлях на босу ногу вышел к сестре.

— Абрам! Иди скорее!.. Надо отправить Andre в госпиталь... Он отравился...

XXXVIII

В доме поднялась суeta. На конюшне разбуженный кучер торопливо запрягал лошадь в полуколяску. Почтенный Герман Самуилович, привыкший к ночным работам, в черном бархатном пиджаке, при свете уже поднявшегося солнца

писал записку старшему врачу госпиталя. Андре вытащили из будуара Сони, снесли вниз и положили на крыльцо. Он едва дышал. Поднимались частые приступы тошноты, но рвоты не было, текла одна желчь. Сердце замирало. Наконец заспанный кучер в жилетке и синей рубашке, в черной кучерской шляпе подал пахнущую краской и дегтем коляску. Абрам с дворником усадили в нее Андре и повезли в госпиталь.

Не доезжая до госпиталя, Андре два раза дернулся, икнул и затих, коченея...

— И возить в больницу не стоит, — сказал дворник. Прямо бы в покойницкую при участке. Куда проще.

Абрам разбудил старшего врача, передал ему письмо своего отца и тело Андре, вернулся домой, захватил записку Андре и коробку с папиросами и с первым поездом поехал в Петербург, а оттуда в Мурино, чтобы осторожно сообщить о смерти Андре его родителям.

Был девятый час утра, когда Абрам на извозчике подъехал к даче Кусковых.

Михаил Павлович только что уехал на службу. Варвара Сергеевна, проводив его, готовила на балконе чай для детей. Все дети и тетя Катя еще спали. Аннушка ушла в лавки, Феня на заднем крыльце раздувала самовар, няня Клуша в дощатом коридоре чистила детское платье и сапожки.

Когда Варвара Сергеевна увидела Абрама, подкатывающего к калитке палисадника, ее сердце замерло от предчувствия, что что-нибудь случилось с Андре.

Поправив чепчик на голове и прикрыв им папиюльки, она в утреннем лиловом капоте, из рукавов которого высывались концы ночной рубашки, в суконных туфлях, легкой побегжкой побежала через сад и воскликнула еще издали: «Андре?!»

— Варвара Сергеевна, мне надо переговорить с вами так, чтобы никто не слышал и, если можно, не видал, — сказал строго Абрам.

— Ах, как же... как же это устроить! — сказала, краснея пятнами, Варвара Сергеевна.

Вся маленькая дача была полна. Всюду были не стены, а дощатые переборки, и в столовой было слышно, как звенели посудой и мылись барышни, а в комнате Михаила Павловича было слышно, что делалось у Ипполита и у тети Кати... Некуда укрыться от любопытных глаз и ушей. Палисадник был так мал и гол со своими молодыми березками.

— Ах как же! — повторила Варвара Сергеевна и, открыв калитку, вышла с Абрамом на улицу.

Туманы, низко клубившиеся ночью над землею, поднялись. Небо стало похожим на серую мокрую вату. Мелкая пронизывающая капель сыпалась сверху и крошечными блестящими шариками оседала на капоте Варвары Сергеевны, на ее чепце и волосах, на фуражке и пальто Бродовича.

В мутном просторе за дорогой, за мокрыми, налитанными водой полями, чуть намечался густой осинник. Он казался темным, плотным, умеющим хранить тайны.

— Пойдемте в лес,— сказала Варвара Сергеевна.

Абрам покосился на свои ботинки, на новое щегольское пальто, но ничего не сказал и пошел по узкой тропинке вдоль канавы.

Когда они вступили на мягкий влажный мох леса, Варвара Сергеевна остановилась. Ее ноги в суконных туфлях были совсем мокры. Но она этого не чувствовала. В мокром капоте, в тишине непогодливого серого утра, под мелкою капелью уныло морозящего дождя все забывшая, кроме сына, она казалась Абраму маленькой и жалкой. Осина трепетала сырыми листьями над ее головою, и тонкие стволы леса составляли кругом непроницаемую стену. Здесь их никто не мог ни видеть, ни слышать...

— Andre? — прошептала Варвара Сергеевна. — Что с ним?

— Andre очень плохо,— сказал Абрам и, сняв очки, стал протирать их. Случилось несчастье. Он отравился, или вернее, отравлен.

— Где же он?

— В Павловске, в госпитале.

— Жив еще? Ему помогли?..

— Боюсь, что нет... Варвара Сергеевна, я знаю, что вы мужественная, верующая женщина и сумеете услышать правду. На рассвете он скончался.

Варвара Сергеевна перекрестилась широким крестом и бессильно ухватила за ствол осины. Капли воды упали на нее холодным дождем и текли по ее лицу, как слезы.

— Как это случилось? — тихо проговорила она, не поднимая глаз на Абрама.

Абрам всю дорогу обдумывал сам, как это вышло. Он гордился тем, что у него не только способности следователя, но и сыщика. По быстрому рассказу Сони, по тому, что ему говорил Andre, Абрам за те четыре часа, что ехал в Мурино, пришел к заключению, что тут было не самоубийство, а убийство, основанное на яде и внушении.

Он перебирал в памяти события последних двух недель и нарисовал точную картину, как это было.

— Мой Андрюша наложил на себя руки!.. Но почему? Какое горе томило его? Какую муку проглядела я, мать, в его душе! — воскликнула Варвара Сергеевна.

— Он умер после того, как выкурил две папиросы из этой коробки, — сказал Абрам, доставая коробку. — Вот видите, простая белая коробка от гильз, а не от папирос. В ней было 25 штук, двадцать три лежат на месте, две выкурены — я окурки собрал и положил сюда же. Едва он докурил вторую папиросу, с ним сделалось дурно. Мы повезли его в больницу. Дорогой он скончался. Не сказал ни одного слова. Ясно: папиросы были отравлены. Это непокупные папиросы.

— Это коробка и гильзы, которые набивала Suzanne, — сказала, тупо глядя в землю, Варвара Сергеевна.

Абрам молчал. В лесу было так тихо, что было слышно, как капали с листьев капли дождя на мокрый мох.

— Тут еще было одно, — сказал, наконец, Абрам. — Как раз после латинского экзамена на другой день у вас ушла Suzanne. Папиросы и коробка помяты. Их долго носили. Вчера Andre говорил моей сестре, что он решил кончить тогда, когда допишет стихотворение «Вырыта заступом яма глубокая». Писать будет по слову в день. Это единственная записка, которую нашли при нем. Он дал ее Соне. Отсчитав назад слова, мы приходим почти ко дню экзамена. Не хватает двух слов. Ясно, что мысль возникла в голове Andre все в тот же роковой день или, во всяком случае, на другой день. Мне ясно, что эта мысль не без участия Suzanne, потому что сколько я знаю, папиросы в вашем доме набивала она одна и только у ней хранились гильзы, табак и машинка. Путем такой дедукции я прихожу к следующим посылкам: в день экзамена латинского языка с Andre произошло что-то такое, что сильно потрясло его душу, — это имело отношение к Suzanne и заставило ее уйти от вас, уходя, изготовить отравленные папиросы и передать их Andre. Между нами (это мое предположение) было решено, что Andre покончит с собою тогда, когда допишет последнее слово стихотворения. Это было в субботу. Я случайно видел Suzanne в понедельник. Она приходила к отцу искать места. Она была как больная. Глаза впалые, лицо исхудалое. Отсюда делаю заключение: Andre не отравился, но был отравлен. Все улики падают на Suzanne. У нее ключ от тайны, которую Andre унес в могилу.

— Боже! Боже мой!.. Но Suzanne знала Andre малюткой! Она была всегда с ним, и никого она так не любила, как его!

— Мои выводы строго логичны, — сказал Абрам.

Варвара Сергеевна стояла не двигаясь. Ни одна слеза не показалась в ее красных, воспаленных глазах.

— Andre... Andre...— прошептала она.

В эти минуты она любила только его, только его одного.

— Эту тайну знаем я да вы,— торжественно сказал Абрам. Официально Andre умер от внезапного сердечного приступа, закончившегося разрывом сердца. Его смерть признали естественной, и врач и полиция не будут настаивать на вскрытии. Про папиросы знаю я да Соня. Соня не выдаст. Если даже сказать про них, про стихи и про слова самого Andre — это будет простое самоубийство в припадке меланхолии... Но если вы пожелаете, я отправлюсь к следователю и все нити приведут... к Suzanne. Я могу и молчать... Решайте вы... Вы — мать... Вам лучше знать, что делать... Коробка у меня. Химическое исследование сейчас же укажет, что там есть... Если вы хотите, чтобы это дело было начато, вы оставите коробку у меня. Если нет — вы возьмете ее и уничтожите. И Соня, и я — мы будем молчать. Тогда Andre умер естественной смертью.

Молча пошла Варвара Сергеевна от Абрама. Она вышла из рощи на тропинку и направилась к даче. Ноги скользили по мокрой глинистой почве. Она хотела идти скорее и не могла. Едва не падала. Хваталась за прутья ивы, росшей по сторонам, осыпала себя дождевою капелью. Торопливо бежали мысли, и не знала она, что делать?

...«По закону так... по закону,— думала Варвара Сергеевна.— По закону нельзя, чтобы тот, кто убил, остался без наказания. Как я встречусь с ней теперь?.. Я знала ее тайну. Но Andre сам... Внушение... Спиритические сеансы... Мог и не знать... Но где были мои глаза, что я проглядела все это? Чермоев мне говорил: «Опасный возраст». Я не верила. Читала книги про все это и не верила. Думала, все, но не Andre... Кто же его убил?.. Я... Я его убила, моего дорогого мальчика, я его не остерегла, потому что сама ничего не знала! Все думала о житейском! Поила чаем, хлопотала с обедом, штопала днями чулки и ставила заплатки на штаны, а душу его, душеньку-то проглядела. И слыхала от них и смешки над религией и над отечеством, а молчала... Молчала... Обряды бросили, на церковь не крестились, за обед, не молясь, садились... Думала... Пустяки! Бог простит. Молодое поколение... По-ученому воспитано!»

Она уже подходила к даче. Вдруг остановилась так неожиданно, что Абрам едва не наткнулся на нее. Она повернулась к нему.

Долго потом Абрам не мог забыть ее лица. Дивно пре-

красно было оно. Лучились ясные, большие голубо-серые глаза неземною, великою, христианскою любовью. Все лицо преобразилось. Молодо и блестяще было оно, вдруг омытое слезами, исчезли куда-то заботные морщины, и казалось оно, как яркий солнечный день, когда всякий листок трепещет под золотыми лучами и дрожит восторгом.

«Да,— подумал Абрам.— Сильны они своею верою христианскою, и трудна будет с ними борьба, пока есть такие, как Варвара Сергеевна».

— Дайте мне эти... папиросы...,— порывисто сказала Варвара Сергеевна.— Я сожгу их сейчас на кухне...

XXXIX

Через полчаса Абрам увидел Варвару Сергеевну в столовой среди детей. В черном платье и черной шляпке, постаревшая, изменившаяся, с вдруг обнаружившимися на лбу морщинами, с опустившимся углами тонкого рта, она отдавала распоряжения о похоронах сына. Она сама ехала сейчас с Абрамом в Павловск, тетя Катя с Мишей ехали за священником и причтом, Липочка с Феней — к дяде Володе, Ипполит — в «Новое время» сдавать объявление, Лиза с няней Клушей — к отцу с запиской, чтобы тот достал денег.

Сложный обряд православных похорон, панихид, оповещений захватил ее, и ничто не могло и не должно было быть забыто. Об одном скорбела Варвара Сергеевна, что не сможет она похоронить Андре со «своими» на Смоленском кладбище, а придется «из экономии» хоронить там, где он умер, в Павловске.

В четверг Andre отпевали в Артиллерийской церкви. Белый гроб был покрыт венками и ветками черемухи и сирени. В нем, глубоко провалившись на дно, худой и как бы ссохшийся, в синем гимназическом мундире, лежал Andre. Белое лицо с обострившимся носом было спокойно и не выражало ничего. В душном воздухе жаркого летнего дня толклись с жужжанием мухи, и к сладкому запаху сирени и ладана нет-нет примешивался тяжелый, душный, противный, пресный запах трупa и карболки. И было непонятно, откуда он шел. Восковые руки были сложены на груди, и странны и страшны были серые тени между пальцев. Смерть во всей ее ужасной тайне стояла перед детьми, и, они каждый по-своему относились к ней.

Ипполит с Лизой стояли подальше и старались не глядеть на Andre. Липочка не вставала с колен, колотилась

лбом об пол и плакала горячими слезами. Федя широко раскрытыми глазами глядел в лицо покойника, оглядывая церковь, и думал: «Видит ли его теперь душа Andre, знает или нет его помыслы? И где она? В жаркой ли струе нагретого пламенем свечей воздуха, уносящегося кверху, в волнах ли клубящегося ладана?.. Или это она птичкой пролетела в окно, забила у стекла и с радостным чириканьем улетела». Федя именно теперь, когда лицом к лицу стоял перед тайной смерти, видел белое лицо брата, ко всему равнодушное, и угадывал ужасное значение противного запаха, от которого долго потом не мог отделаться, именно теперь верил глубоко в то, что говорила няня Клуша, и считал, что все ученые мира не знают того, что знает няня и о чем так благостно, покойно говорит небольшой хор, поющий на клиросе... «И вечного огня исхити».

Он уже не сомневался, как сомневался в Троицу, но верил твердо, что где-то есть такое место «светле, покойне, откуда же отбеже болезни, печали и въздыхания». Где? Он не знал. Не знали этого и ученые, но такое место было, и где оно, знали только няня Клуша да мама.

Они говорили просто: «У Бога!».

Федя тщательно крестился, горячо молился, становился на колени и не спускал глаз с лица Andre. Он знал, что душа его брата видит его, и ему хотелось, чтобы душа эта осталась довольна им.

Кругом гроба толпилась небольшая группа родственников и знакомых. Несколько гимназистов, Бродович с Соней стояли поодаль.

По углам церкви стояли любопытные дачники, какие-то старухи и старики. У паперти ожидали дроги, запряженные парюю лошадей в черных пополах, с намордниками и капорами, закрывавшими уши. Лошади стояли понуро, поводили ушами и точно слушали, что делается в церкви, и ждали, когда застучит молоток, заколачивая крышку гроба.

Когда пожилой человек в черном сюртуке накрыл крышкою гроб и вбил длинные гвозди в его края, Михаил Павлович, дядя Володя, Чермеев, Филицкий, Федя и Бродович подошли, взялись за серебряные ручки и, нагибаясь, неловко, не в ногу, ступая вразброд, понесли гроб из церкви и установили на дрогах.

Варвара Сергеевна шла, низко опустив голову и часто крестясь за гробом. Священник с крестом торопливо прошел вперед и за ним, толкаясь, выходили пестро одетые певчие.

Радостный летний день, роща сосен напротив храма, чириканье птиц, густая стена высокой акации в желтых бут-

нах среди нежной зелени; очарование бледного глубокого неба с мягко плывущими перистыми розовато-лиловыми облаками, звуки трубы, на которой кто-то играл неподалеку упражнения, несколько дачниц и детей в светлых платьях и звонкие дребезжащие крики разносчицы на улице «Нитки, тесемки, чулки, шнурки, бумаги чулошнаи» так сильно говорили о жизни, о радости жить под этим небом, что гроб с покойником, колесница, лошади в черных капорах казались совсем ненужными, и хотелось как можно скорее отделаться от них.

И было понятно Феде, что священник торопливо читал молитвы над глубокой ямой, вырытой в песке, проникновенно, грустно, но с каким-то облегчением взяв небольшим совочком с поданного ему блюда песок, говорил: «Земля бо еси и в землю отыдеши», а хор пел «Вечная память», и все подходили и, толкаясь, сыпали песок, жестко, комями ударявший в крышку гроба. А потом торопливо стучали лопатами мужики в белых рубахах, скрипел песок о железо, тяжело осыпалась земля и один из могильщиков прилаживал высокий, крашеный масляной краской белый крест.

В кустах среди могил перелетали и пели птицы. Шмели и пчелы озабоченно кружились в воздухе, нищие стояли, ожидая подачек, и, как ни старалась смерть доказать, что это ее царство, кругом шла жизнь, и жизнь была сильнее смерти, и смерть никак не могла ее осилить.

И это заметил Федя.

Andre, его брат, умер... Но ничего от этого не изменилось на земле, все оставалось по-прежнему. И много умрет таких, как Andre, умрет и Федя, но мир останется, потому что не Andre, не Федя, не человек вообще с его разумом создали этот мир, но создал его Господь Бог.

Это для Феде теперь стало неопровержимо ясным.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Сороковой день после кончины Andre приходился на день рождения Варвары Сергеевны. Должны были приехать гости: дядя Володя с тетей Лени и Фалицкий — к обеду, в четыре часа.

Варвара Сергеевна утром отдала Аннушке все распоряжения об обеде, а сама с Федей, еще когда все спали, поехала на кладбище.

Шестой день подряд лил косой холодный дождь, стучал в окна дачи и наполнял ее тоскою и сыростью.

Гости собрались, а Варвара Сергеевна все еще не возвращалась. В столовой, выходявшей окнами на балкон, на котором безнадежно висели набухшие полотнища холщовых занавесей, было так темно, что на ломберном столе, стоявшем в углу, зажгли свечи.

— А не сыграть ли нам, господа, по маленькой в ожидании, — сказал Михаил Павлович, распечатывая колоду. — И куда мать запропастилась, понять не могу. В три часа дилижанс пришел, давно бы здесь должна была быть, а ее нету.

Он подошел к накрытому столу, взял графинчик водки и, наливая дрожащей рукою рюмку, сказал:

— Иван Сигизмундович, прикажешь?.. Тебе, Володя, не предлагаю, знаю — откажешься? Ну какой ты военный!..

Капитан!.. А, капитан!.. а водки не пьет... Помнишь: «Как я рад, капитан, что я вас увидел, вашей роты подпоручик дочь мою обидел»...

— Шш! шш! — замахал на него руками дядя Володя, — скажешь тоже!.. Профессор!..

После смерти Andre Михаил Павлович стал пить. Он пил не так, как пьют мужики, с горя ли, с радости ли, по праздникам напивающиеся до бесчувствия, а пил умеренно, методично, по две, по три рюмки за завтраком и рюмки по четыре за обедом... Он заходил в буфеты и трактиры, едучи на службу, молча тыкал пальцем на рюмку, выпивал одну, другую, закусывал чем-нибудь, бросал на стойку мелочь и уходил. Он никогда не был пьян, но всегда находился в повышенном состоянии духа и легко раздражался. Точно глушил в себе какую-то глубокую тяжелую мысль и не давал ей подняться со дна души. И только начинала она грызть его где-то, в далеком уголке его существа, он опрокидывал рюмку водки, мутнели глаза, краснели веки, и мысль исчезала. Он стал раздраженно спорить, не слушая собеседника, по вечерам либеральничал в клубе, ругая правительство и классическое образование, и имел уже неприятности по службе. Он обрюзг и опустился, за эти сорок дней он постарел на несколько лет, лицо его стало красным, веки опухли, губы растолстели, и над ними неопрятно висели сильно поседевшие усы.

— Разве по единой, холодно у вас очень, — сказал Фалицкий, принимая расплесканную в дрожащей руке Михаила Павловича рюмку.

За карты сели в пальто. Дядя Володя — с поднятым воротником. В углу комнаты текло, диван был отставлен, и на его месте стоял цинковый таз. В него звонко шлепала вода.

— Надоела эта дача,
Просто хоть сойди с ума,
Вместо красного-то лета
Тут зеленая зима.
Холод, стужа, непогода,
По окнам струей течет, —

декламировал дядя Володя.

— Тебе сдавать, — сказал он Михаилу Павловичу.

— Капитан... поэт! — фыркнул Михаил Павлович, — счастливы вы, Магдалина Карловна, что у вас нет детей.

— Ну что уж... всяко бывает, — сказал Фалицкий.

— Бывает... бывает, — проворчал Михаил Павлович. — Бывает, что и медведь летает... Вы что объявили?

- Семь червей,— сказала тетя Лени.
- Я пас... Да... Болезнь века... века... Воли к жизни нет...
- Тебе ходить,— сказал дядя Володя.
- Пас... А откуда взяться воле? Ничего... Ни Бога, ни любви, ни романтики, ни волнений... Одна латинская грамматика... Очень уж просто все стало... Мы мечтали... Они?.. все знают...
- То, что было, не вернешь! — сказал дядя Володя.
- Знаю... А только... Гадко!.. Понимаешь — гадко. Эгоизм... Я, мне, для меня... Все — я,.. а другие, близкие. А, черт... им все наплевать. И отечество им звук пустой... И слава... Какая, к черту, слава, если равенство... Ты понимаешь это?.. Магдалина Карловна, вы это понимаете, что Пушкин равен сапожнику, а Суворов — пехотному ефрейтору... К черту — Вандомские колонны... А ведь каждому мечтать-то хочется. Каждый Вольтером или Наполеоном себя мнит. Памятника-то каждому хочется, а если поверить в это равенство, так не будет памятника-то! А? И кто мечтал, кто возносился, тому что останется?.. Или отвергнуть равенство, религию свою отвергнуть... или уйти... Вот она какая штука-то... Жуткая штука новая-то теория... Где дети? — спросил Михаил Павлович у вошедшей няни Клуши.
- Наверху все сбились. В комнате Федора Михайловича. Мамашу поджидают. И что их задержало такое! И погода, не приведи Господи, какая стала гадкая... А пора, пора бы им уже и домой быть. Шестой час пошел... С дилижанса публика прошла, а их все нету!.. Уже не случилось ли чего!
- Ну, не каркай, старая! — сказал Михаил Павлович. — Что же, господа, еще одну... Не идет моя благоверная.

II

В это самое время Варвара Сергеевна поднималась по размокшей дороге от Ручьевского моста. Федя вел ее под руку. Низкое серое небо опрокинулось над горизонтом и насунилось густыми, черными, беспросветными тучами. Холодный дождь сыпал, то припуская, то ослабевая, казалось, совсем перестал и вдруг налетал снова с порывом ветра, упал в буро-желтые лужи, вздувался пузырями и звенел по воде придорожных канав. Дали исчезли, стусевались, и за мелким леском небо серыми тучами легло на землю и точно давило ее, выдавливая воду. Вода шумела в каналах у домов Ручьевской деревни и несла яичную скорлупу, огуречную

кожу, окурки и бумажки под чистые мостики, к крутому спуску у горбатого моста. Деревня, казалось, вымерла. Все попряталось... Куры сбились стаями под стенами домов, ища укрытия. Собаки забились в подворотни, крестьян не было видно. Дорога, мощенная крупными, глянцевыми от дождя, красными и серыми плоскими глыбами гранита, была пуста.

Было безумие идти пешком. Обувь стояла дороже, чем взял бы извозчик, но Варвара Сергеевна не имела в кошельке ни копейки и не хотела дома просить Михаила Павловича. Она упрямо шла пешком. Распустив большой дождевой зонтик, подобрав подол черным «пажом» — толстым резиновым шнуром — так, что стали видны ее ноги в простых чулках и стоптанные старые башмаки, она шла спотыкаясь. Она опиралась на руку сына, смотрела в землю и думала о том, что только что произошло.

Косой холодный дождь бил ее по ногам, забегал в лицо, ударял в грудь. Ветер распахивал черную мантилью, Варвара Сергеевна промокла до последней нитки, ей было холодно, но холод и неприятная сырость во всем теле доставляли ей сладкое ощущение страдания.

Все сорок дней со дня смерти сына она не переставала думать и томиться. Молиться она не могла. Ей казалось, .. нет... она верила, что душа Andre подле нее, что она невыносимо страдает, мятется и просит молитвы и защиты перед Богом. Но когда становилась за ширмами на молитву подле своей бедной постели с соломенным матрацом и устремляла глаза на старый лик Спасителя в серебрянной оправе, вместо молитвы вставали упреки. «Зачем?.. Господи! зачем?» — шептала она, и жесткие, колкие слова, страшные греховные мысли неслись в ее голове. Все вспоминала она: и свои девичьи грезы, и красоту детства во дворце, в тенистых парках, и девичьи игры в серсо, и катанье колеса, и встречи с Государем. Разве о том мечтала она, когда в Крещенский сочельник лила воск и жгла бумагу. Разве о такой жизни!.. Чтение Жуковского и Пушкина развили в ней любовь к прекрасному и нежному... А вышло: короткое женихование, брак и сейчас — и года не прошло — Andre и дети, дети. Тогда не роптала. Ей казалось тогда, что это будет так красиво в старости. Она с седыми волосами, окруженная детьми. Их юные рассказы, откровенность с нею, любовь, заботы. Как в романах, как на картинах! Но шла жизнь и разметывала мечты. Распылялись грезы, и день шел за днем, дети росли скрытные, пренебрежительно, свысока смотрели на нее, и было нестерпимо больно. И все-таки верила, что будет день,

когда кончится ученье, они войдут в семью и станут помогать. Станут беречь ее старость. «Andre! зачем ты ушел, не исполнив своего долга!» — восклицала она, пряча в подушки лицо, чтобы заглушить рыдания. — «Господи! Где же ты был, что не остановил его!.. Он был так молод и слаб!..»

Она ездила на могилу. Становилась на колени на песочном холмике, обнимала белые доски креста, вокруг которого стояли в горшках цветы, и слушала, лицом прижавшись к кресту.

«Надо молиться,— говорила она себе.— Надо вымолить моему мальчику прощение у Бога. Спасти его. Много может сделать перед Господом молитва матери»...

«Мама, сыграй мне вальс Годфрея!» — слышался его голос не из могилы, а откуда-то из далекого воспоминания. Могила была нема.

О, если бы заговорить могла могила! Она не испугалась бы, но, прильнув к сырой земле, она слушала бы, что скажет ей ее Andre. Какие поручения ей даст... она все исполнит... Только скажи! Пахло сырою землею, песком, низкие махровые левкой выдыхали сладкий, пряный аромат, шумели задумчиво деревья, и за кладбищем сосновый лес глухо рассказывал о чем-то... Нема была могила!!! И не могла она молиться.

«Зачем? Зачем? — стоном несло в ее голове.— Зачем, милый Андрюша?! Отчего не пришел?!»

Ездила всегда с Федей. Другие дети холодно относились к этим поездкам. Ипполит поехал два раза, но оба раза только заглянул на кладбище, а потом пропадал у Бродовичей, и Варвара Сергеевна возвращалась одна. Липочка и Лиза — что они дома лучше помолются, а вид кладбища расстраивает им нервы. Миша был мал, тетя Катя оставалась, чтобы следить за хозяйством. Один Федя всегда охотно ездил с матерью. Он оставлял ее у могилы, а сам шел бродить по кладбищу, читал надгробные надписи и караулил ее у выхода. И Варвара Сергеевна ценила его чуткость.

Сегодня он оставил ее у входа и сказал: «Мама, я накопил денег и пойду искать священника. Отслужим панихиду. Это мой подарок на день твоего рождения».

Это было давнишнее желание Варвары Сергеевны — отслужить панихиду на могиле. Но денег хронически не хватало, и Варвара Сергеевна не сводила концов с концами.

По мокрому песку дорожки Варвара Сергеевна приближалась к могиле. Она опустила голову и ничего не видела, кроме песка, могильных холмов, решеток и плит по сторонам.

— Варвара Сергеевна! — услышала она дрожащий голос...

Она подняла голову. У креста Andre стояла Suzanne.

Варвара Сергеевна остановилась, медленно свернула зонтик и, опираясь на него, смотрела на Suzanne. Ноги ее подкашивались. Ей казалось, что она страшно устала. Она тяжело дышала. Сначала она не различала Suzanne, но увидела длинную, стянутую фигуру в черном, стоявшую против нее, с опущенными руками. Дождь продолжал лить, и ветер гудел вершинами сосен. Было по-осеннему хмуро, сыро и неприятно на кладбище.

— О! Не проклиняйте меня, но послушайте, — по-французски сказала Suzanne.

Первое движение было — прогнать Suzanne, резко и жестко сказать, что она — убийца ее сына. Но слов не было на языке, Варвара Сергеевна приоткрыла рот и молча стояла, крепко опершись обеими руками на свернутый зонтик. Слезы застилали ее глаза, и от них лицо Suzanne расплывалось в блестящих лучах.

Suzanne медленно опустилась на колени и мокрыми, покрасневшими от холода руками обняла крест, на котором висел старый увядший венок сирени. Мерно гудели, словно бредили сосны, трепетали длинные мокрые листья ивняка у изгороди, точно бились в испуге. Варваре Сергеевне было холодно, мелкий озноб пробивал ее насквозь.

— Эти папиросы... дрожа сказала Suzanne... — я готовила себе... Я хотела умереть. Умер он...

Молчала Варвара Сергеевна. Suzanne с мольбою смотрела на нее. Она ждала проклятий, упреков. Молчание было страшнее всего. Варвара Сергеевна вгляделась в лицо Suzanne и ужаснулась. Горе съело ее последнюю молодость. Пожелтевшее лицо было страшно своею худобою, на голойшее резко выдавались жилы, и скулы тяжело висели над нею. Из-под маленькой черной шляпы космами выбивались черные волосы, и Варваре Сергеевне показалось, что седина пробила их. Большие миндалевидные глаза опухли и смотрели мутно. Варвара Сергеевна вздохнула и молча опустила голову.

— О, говорите! Скажите мне что-нибудь! — ломая руки, воскликнула Suzanne. — Если бы вы знали, как я любила его!.. Какая тоска на сердце! Я ничего не могу делать... Да... это я... я дала ему папиросы... Он знал, что они отравлены... С самой Пасхи он все думал покончить с собою... Тяготился жизнью... Говорил о смерти.

Как подкошенная упала на колени, на мокрый песок

Варвара Сергеевна и припала лицом к могильному холму. В трех аршинах от нее отделенное слоем земли и песка лежит то, что было Andre. Ей казалось, что она видит в темной земляной массе, среди корней, серебряный гроб, цветы на нем. Но под крышку гроба не смело заглянуть ее воображение.

«Andre,— думала она,— Andre, что же это такое, ты сам?.. Сам наложил на себя руки. Твоя душа томилась, искала выхода, она билась в теле, как птичка бьется в клетке, и ты не пришел ко мне посоветоваться. Ведь я мать твоя!»

Рядом глухо, как на исповеди, отрывочными отдельными словами бормотала Suzanne, рассказывая свою историю.

— Не знаю, как вышло... Он вернулся с экзамена возбужденный... Чего-то ждал... Мы устроили сеанс... Он повалил меня, стал раздевать... Я не сопротивлялась... Не понимала сама... Я так любила его... Потом отчаяние... На другой день он говорил мне жесткие, обидные слова... Я дала ему папиросы... Я виновата... Меня нельзя простить... Но... я не хотела. Вот что скажу вам... Не хотела!!

«Ты не пришел ко мне, Andre,— с болью в сердце повторила Варвара Сергеевна...— Не пришел...»

Вдруг ясно все вспомнила... Все его детство. У нее беременность, роды, болезни детей, в промежутки — жадное хватание за остатки той красивой жизни, которую она так любила. Театры, оперы, концерты, вечера и танцы у знакомых. Она еще была хороша, за ней ухаживали. Искали поцеловать ее руку, жаждали танцевать с нею, говорили ей приятные слова. Но годы точно отодвигали от нее ту жизнь, полную красоты, и, как ящиком, накрывали ее тесными, мелкими интересами детской и спальни. Все больше требовало времени шитье и штопка, заботы о детях, их купанье, обтирание, лечение... Приходилось учить латинскую грамматику, чтобы помогать Andre. «Alauda est laeta» — жаворонок весел,— вспоминала она примеры из грамматики Ходобая и самую грамматику увидела... Длинная, в темно-малиновом переплете с черным узором... Amo, amas, amat, amamus, amatis, amant...* Andre сменил Ипполит. Потом Липочка... Надоедливые гаммы, наблюдение, чтобы она не повторяла слов, которые употребляли мальчики, французский язык... А потом — Федя, сильный, бурный Федя, любопытный, настойчивый, самый откровенный с нею. И Боже, какие слова, какие стихи и прибаутки он приносил из гимназии и говорил ей. Многих слов она не знала и от него, от сына, впервые

* Люблю, любишь, любит...(лат.)

узнала о том страшном сквернословии, которое проходило мимо нее, потому что и мать, и тетки ей говорили, что у нее «уши сережками завешены».

И Andre ушел от нее.

При жизни она видела его мельком... Некогда было поговорить с ним. Он приходил в девятом часу утра в столовую, сердито швырял на диван под картой Европы ранец с книгами и садился пить чай. Ругал гимназию.

— Хоть бы гимназия сгорела... провалилась в тартарары... Хоть бы мороз дошел до двадцати градусов, и в гимназию не надо ходить.

Выпивал наспех свой стакан и уходил, не попрощавшись, не попросив перекрестить.

— Глупости все это, не поможет!..

Возвращался в три, в четвертом, бледный, хмурый, сердитый, и запирался в своей комнате. За обедом молчал, а после обеда сидел опять, согнувшись над книгами, читал и писал в синих тетрадках с белыми ярлыками. Что писал — не говорил. Что читал — не рассказывал, не советовался.

Потом начались спиритические сеансы. Варвару Сергеевну не пускали на них. Она парализовала медиума. При ней ничего не выходило.

И — пришла любовь!

«Andre, неужели ты полюбил?...»

Фалицкий много и дрянно рассказывал о девицах легкого поведения, о «горизонталках», о роли гувернанток и горничных в подрастающей семье, но ей казалось, что это не коснется ее детей... Ее уши были завешены сережками.

«Andre, Andre! Прости, прости меня!»

И сейчас же думала: «Что же могла я сделать?» Дети ушли, и они знали ее не больше, чем молодая годовалая собака знает свою мать.

Страшно... Боже, как страшно!.. Томил холодный ужас, и точно ледяные струи пробегали в груди и захватывали сердце.

Подле металась в горе и молила о прощении другая женщина, а под ними, в трех аршинах, был гроб, и в нем — великая тайна смерти.

И кто виноват?..

Никто... Не могла она судить эту несчастную плачущую девушку, вымазавшуюся в песке и глине, страшную пустыми, заплаканными глазами.

И помочь может только Бог!

— Ради бога, Варвара Сергеевна! Au nom de Dieu! — стонала mademoiselle Suzanne.

— Бог простит,— вставая сказала Варвара Сергеевна...— Встаньте-ка. Давайте я вас почищу. Глина и песок пристали к вам...

— И я вас... И вы... И вы... О, Варвара Сергеевна. В горе мы двое... Простите... Простите меня.

— Бог простит,...— сурово, не поднимая от земли глаз, повторила Варвара Сергеевна.— Где же вы живете?

— Нигде,— тихо ответила Suzanne.

— Как нигде?

— Поступила было к Бродович, да не могу работать. Мучила совесть.

— Ну что было, того не воротишь. Видно, так Богу угодно. На все его святая воля... Где же вы живете?

— Была в меблированных комнатах на Пушкинской, но меня гонит хозяйка.

— Переезжайте завтра ко мне... Как-нибудь устроим вас...

Suzanne кинулась к Варваре Сергеевне, хотела поцеловать ей руку, но та отстранилась.

— Не надо!.. Не надо,— сказала она.— После... Дайте привыкнуть... и все понять.

По грязной дорожке к могиле приближался Федя. За ним шел старый священник в черной скуфейке и солдат в шинели внакидку с книгами и кадилом...

Кадило заливал дождь, ветер трепал и относил слова молитвы. Торопился и комкал панихиду старенький священник, скверно пел жидким тенором солдат, и ему не в тон вторил Федя, и казалось, что слушал их, понимал и вполне оценивал лишь тот, кто лежал в трех аршинах под ними, накрытый сосновыми досками, обтянутыми глазетом, и кто понял уже все значение панихиды сорокового дня.

Чудилось, что носилась в вихре дождевой капли, металась среди листьев ивы и желтой акации и задумчиво шумела в густых соснах смятенная душа Andre, торопясь в последний путь, на небо.

Спокойнее становилось на душе у Варвары Сергеевны. Казалось, что она хорошо, правильно, «как надо» поступила.

Прощаясь, она поцеловала рыдающую Suzanne и отдала ей все, что имела, оставив только на железную дорогу и на конку до Лесного.

— От Лесного пешком дойдем, Федя? — спросила она сына, стоявшего подле.

— Конечно, мамочка,— ласково отвечал Федя.

Они шли теперь, поднимаясь от Ручьев, и выходили в пустынное поле, где ветер рвал из рук Варвары Сергеевны

зонтик, мочил ей ноги и грудь, и уже трудно было идти, скользили старые резиновые калоши по кривым камням, и были мокрые колени.

Варвара Сергеевна вспомнила, что сегодня день ее рождения. Дома пекли пирог с сигом и визигой с рисом, приехал ее брат Володя и Лени, Фалицкий... Она думала о том, как она переоденется и будет хлопотать, угощая гостей, она соображала, как поставит стол, чтобы ни на кого не капало с потолка, и забывала усталость... Она думала, как устроить Сюзанну и чем объяснить Михаилу Павловичу ее возвращение...

Она твердо знала свой долг хозяйки и торопилась его исполнить.

III

Был четвертый час утра. Низким туманом садилась роса на скошенные поля, покрытые небольшими сероватыми копнами сена. За дачей Кусковых клубилась парами неширокая Охта, а за нею чернел могучий старый лес «медвежьего ста-на».

Ясноло и розовело небо над лесом. Угасали последние звезды. Было тихо, как бывает тихо на севере, где долго спят петухи, ожидая тепла, где не голосисты собаки и нет цикад. Ни один звук не рождался в воздухе, все спало глубоким сном, и страшно было, что в ряде построек, окруженных березами и вытянувшихся улицей в одну линию, живет много людей и царит крепкий предутренний сон. В воздухе стыл душистый запах сена и был он неподвижный, сладкий, сонный и холодный.

Вся прелесть севера была в этом сыром утре, в парчовой полосе росы, еще не сверкающей бриллиантами на ковре скошенных лугов, в цветущем картофеле и низких овсах, пригнувших семянные метелки. Под желтым глинистым обрывом едва двигалась темная, холодная, с красно-бурой железистой водою река и ни одна волна не плескала в ней.

Из голубовато-серого старого сарая с замшелыми боками и крутою крышей, с двумя свежими светло-желтыми досками, лежащими среди черных досок, с широкими, настежь раскрытыми воротами, у которых стояла телега с сеном, с воткнутыми вилами и прислоненными граблями легкой бодрой походкой вышел среднего роста худощавый человек, с широкой бородой в завитках, мягкими усами и красивыми тонкими чертами лица.

Он взял пять длинных удочек, стоявших у сарая, ведерко, в котором громыхалась жестянка с червями, перекрестился на восток и направился к задворкам дач, стоявших в ста шагах от сарая.

Это был Фенин жених Игнат, рабочий Царскосельской железнодорожной мастерской, запасный ефрейтор, недавно получивший расчет за пьянство, живший на сеновале у невесты и питавшийся на кухне Кусковых.

Варвара Сергеевна допустила его, жалея его и Феню. Притом, по ее словам, Игнат был «великий человек на малые дела». Он сдружился с Федей, из картона и щепок строил ему рельсы и стрелки, делал модели паровозов и вагонов, ходил с ним купаться и удить рыбу. Удильщик он был страстный.

Едва он вышел через заднюю калитку во двор, как к нему, виляя хвостом, бросилась лохматая Дамка и стала прыгать на грудь, слегка повизгивая. Вслед за нею с кухонного крыльца легко сбежала, стуча по доскам тонкими босыми ногами, Феня, одетая в одну рубашку с накинутым поверх длинным драповым пальто, заспанная, растрепанная. В руках у нее был сверток, обернутый в простое холщовое полотенце.

— Это вам, Игнат, и Федору Михайловичу барыня изготовила фрыштык,— сказала она,— обнимая жениха и любовно заглядывая ему в глаза.

— Спасибо! Спасибо, Фенюша. А папиросками разжились?

— И папироски есть.

— Ну не задерживайте, чтобы самый хороший клев нам не пропустить. Солнышко-то вот-вот покажется.

Феня охватила Игната за шею горячими руками и поцеловала в мокрые от росы и умывания усы.

Игнат прошел в палисадник и, остановившись против дачи, притаившейся в полосах тумана, с плотно опущенными белыми шторами за запотевшими окнами, приложил ладони рук ко рту рупором и негромко сказал: «Федор Михайлович, готовы?»

Окно второго этажа сейчас же раскрылось, и в нем появилось румяное загорелое лицо Феди с растрепанными волосами.

— Сейчас, Игнат.

Окно закрылось... Еще через минуту тихо отворилась балконная дверь, и на балконе в коломьянковой рубашке и синей фуражке появился Федя. В одной руке он нес короткие сапожки с рыжими лохматыми голенищами, в другой —

большое ведро для рыбы. Он шел босиком, чтобы никого в доме не разбудить. Усевшись на ступеньках балкона, отталкивая кидавшуюся на него Дамку, он проворно надел сапоги и поздоровался с Игнатом.

— Что вчера, Игнат? — спросил Федя. — Много поймали?

— Щуку с руку, язя, которого есть нельзя, да два налима прошли мимо, — отвечал Игнат.

— Нет... в самом деле?

— Ничего, Федор Михайлович. Я даже вчера и не ходил совсем. Некогда было. Удочки вам налаживал, червей копал.

— Как думаете, клев будет?

— Должон быть.

— Мы куда пойдем?

— За Новую. Ко второму погребу. Я там богатое место присмотрел... Омут... Там и щука должна быть... А Охта там — саженой тридцать, не меньше.

— Глубоко?

— Поболе пяти аршин будет.

— Вот хорошо.

— И место глухое... Туда никто не ходит.

Он бодро шагал по мягкой, с прибитою росой пылью полевой дороге, уходившей к югу, вниз по реке. Федя старался идти в ногу с Игнатом.

— Тяжело было в солдатах, Игнат?

— Отчего тяжело? Хорошо. Долг свой справил, теперь гуляй.

— А не били?

— Хорошего солдата разве бьют?... Я четыре года служил, так за четыре-то года у нас всего один раз ротный приказал одному солдату розог дать. Так и то давно пора было. Дрянь солдат был. На язык больно скорый и вор.

— А страшно это?... Если пороть станут?

— Куда страшно... Мне так смерть, и та милее была бы.

— А тому?... кого пороли?

— Ему что. Встал, встряхнулся, порты оправил и пошел. Отпетый. Однако все потише стал. Больше уже не попадало...

— А за что же пороли?

— У старухи на маневрах куртку украл, — неохотно сказал Игнат... Ну что же, Федор Михайлович, с песнями, что ли?... по-солдатски?

— Да, Игнат, пожалуйста, — робко сказал Федя.

Ему доставляло громадное удовольствие ходить с Игнатом широким, бодрым, «солдатским» шагом, распевая песни. Ему казалось тогда, что идут не они двое и поет сладким

тенорком Игнат, а он ему несмело подтягивает, а идет целая рота, целый батальон, полк и тяжело отбивается по дороге нога: раз, два! раз, два!

— Мы к Балканам подходили,
Нам казались высоки,
Три часа переходили
И сказали: пустяки! —

дрожавшим голосом, выделявая как искусный солдатский запевала колена, запел Игнат и, кончив куплет, сказал: «Ну! разом, дружно». И оба схватили:

Греми, слава, трубой!
Мы дрались, турок, с тобой!
Царь Салтана победил,
Христиан освободил!...

И снова пел Игнат, одушевляясь рисуемой картиной:

Как стрелочки прискакали
На казацких лошадях:
Турки разом закричали —
Свой аман и свой аллах!

Когда кончили, слегка запыхались от скорой ходьбы и громкого пения за целый хор.

— А что, Игнат, турки — плохой народ? — спросил Федя. — Вы их видели?

— Дюже хороший народ, Федор Михайлович. И солдат хороший, обстоятельный, дерется хорошо, и сами опрятные, добрые, ласковые, но самое ладное в них: в бога крепко веруют и добро творят.

— Так ведь они мусульмане. У них Магомет, а не Христос.

— И Христа они почитают.

— А как же турецкие зверства? Я маленьким был, видел: в пассаже показывали. Так сделано: дерево, и к нему три болгарина привязаны, а под ними — уголья. И огонь из красной фольги сделан. А ноги у них обуглены, черные, и на лицах — мука. И знаешь, что все это нарочно, из воска сделано, а смотреть жутко. А в комнате, где показывали, полутемно и публика шепотом говорит...

— Не знаю. Я того не видел. А чего не видел, про то и не знаю. А вот, скажем, лошадь, корова, овца, собака или ишак чисто друг у него. Нет, чтобы как у нас, пьяные возжами по чем ни попало: по глазам, по ногам, где большее,

били да вскачь по мостовой скакали, а ей, лошади-то больно. Она чувствует... Всякая животная у него в холе, и к нам они хорошо: «Урус, урус, якши»... Ну, башибузуки, или черкесы, или курды, те, действительно, что живодеры... Так и наш солдат или казак в долгу не оставался. Ежели без офицера — не попадайся... Обработать умели... Да... всего бывало!

— А Государя вы видали?

— Как сказать? И видел, и нет. Шли через Систов город и сказали: Государь будет смотреть. Идем, слышу: «Песенники, по местам! Чище равняться по отделениям!» Батальонный, Лавров, обернулся к нам и так басисто командует: «Батал-льон, на пле-е-е-чо!» — грянули барабанщики враз, мы ружьем отбили, правую руку к ляжке прижимаем, чтобы ружье не колыхалось у плеча, и тут голос: «Здо-г'ово г'ебята! — кто-то с балкона сказал. Ну мы враз: «Здравия желаем императорское и го-го-го!» И такой восторг подхватил. Ног под собою не слышим, жары, пыли будто нет, точно сила какая несет нас, винтовки не чую, так и прошли, где-то «ура» кричат, проскакал в пыли донец в кепке с назатыльником с алым лампасом, гляжу: уже смолкли барабаны и командуют: «Ружья — вольно, песенники, вперед!»... А на душе как в Светлый Праздник. Легко!... Хорошо!...

— А после не видели?

— Ни разу не сподобился.

— Игнат, а почему Государя убили? Что говорят в народе? Вот на заводе, где вы были?

— Да кто ж его убил? Рази народ?... Скубенты.

— Нет, рабочие... Крестьяне...

— Ну, значит, от крестьянства отбились. У нас тогда по заводу сбор был на часовню. Последнюю копейку отдавали... Жалели, да и совесть зазрила.

— А полиция не заставляла?

— Да, Федор Михайлович, вот я что слышу... Вы, или Ипполит Михайлович, или покойный братец ваш, Андрей Михайлович, все «полиция, полиция, фараоны», и все, можно сказать, понапрасну. Ну, как жить без полиции? Ведь мало разве негодного народа кругом? Ежели страха-то не будет, так, Господи боже мой, чего не оберешься. У нас иной пьяный на убийство лезет, себя не помнит, как же не урезонить его. Ведь и его уберегут, от греха-то... А то без полиции?! О господи! Иной раз на кухне-то или в садике сидишь с Феней, слушаешь, и чего вы не наговорите. Да разве можно такое? Надо же знать народ-то!.. Он-то ведь разный. Иной так работает, что удерживать надо, не нарадовался бы, ну, а другой, известно, лентяй, без окрика и работать не ста-

нет... А без работы, Федор Михайлович, вся земля погибнет. Сказано еще Адаму: «В поте лица будешь добывать свой хлеб» и Еве: «В болезни будешь рожать детей». Такое, значит, заклятие дано. Коли бы женщины рождали без мук, ну, и мужчина без труда бы жил. А то ведь нет этого. Значит, так и надо. Надо трудиться... Ну, вот оно и место наше... Господи, помоги! И чтобы клев хороший! Благослови начало!..

IV

За лесом широким золотым краем показалось солнце. Таяли туманы. Река протянулась темной холодной дорогой между лугов правого берега и лесов левого. Сосновый бор не доходил до реки шагов на тридцать. По самому берегу густо разрослась ольха. Против удильщиков, на широкой просеке, бугрились земляные валы, поросшие травой, и в них были видны кирпичные стены и черные железные ворота. У ворот стояла полосатая будка и часовой в белой рубашке с алыми погонами и в темной бескозырке ходил взад и вперед. Это пороховой погреб. Феде особенно казалось заманчивым удить здесь. Рассказывали, что когда-то давно взорвало такой погреб и кругом было убито много народа. Красная кирпичная стена в земляном валу с черною дверью таила за собою страшную силу, могущую все сокрушить, и манила тайной, погребенной за нею.

К воде спускались по крутому обрыву, поросшему ивовыми кустами. Река подмыла берег, и отвесная стена красного песку, прорезанного полосами темно-серой глины, тянулась влево от маленькой сухой площадки, где стояли удильщики. Редкий камыш рос кругом.

— Лодку бы!.. Лодку здесь! — жадным шепотом говорил Игнат. То-то наловили бы. Лещи должны быть!.. Самое лещинное место... Он, коли потянет, так не сразу. Он хитрый. Он водить будет долго... И все кругами. Поведет и отпустит. А вы, Федор Михайлович, ждите. Не напугать бы... Не бросил бы... Когда поплавок книзу пойдет, тут уж подсекать надо. Эх, леща бы завоевать! Папаша-то ваш любят жареного с кашей.

Рыболовы разошлись по двум сторонам небольшого заливчика. Игнат с наслаждением раскурил папиросу, зажмурился, поплевал на червяка, насаженного на крючок, и, со свистом взмахнув удилищем, закинул серый поплавок с красным ободом на самую середину реки. Федя тоже попле-

вал на червяка (клевать лучше будет) и, мысленно молясь Богу, чтобы клев был хороший, закинул одну за другой две удочки. Красный с белым и зеленый поплавок медленно поплыли по течению, белый конский волос лесы стал натягиваться, показались узелки на нем, гусиное перо в поплавке нагнулось, дрогнуло, вытягиваемое течением, и поплавок остановился.

Весь мир для Феди сосредоточился в этих двух поплавках, тихо колеблемых течением на густой, еще темной, не озаренной солнцем воде.

Мимо, стараясь не шуметь камышами, прошел Игнат.

— Я жерлицу, Федор Михайлович, повыше поставлю, ну как щука набежит или окунь фунтовый... Где караси-то?

— В ведерке,— Федя плечом повел назад, показывая на ведерко с водою, стоявшее сзади в траве.

Река светлела. Темно-коричневые глубины точно смыло, стальная синева покрыла воду и вдруг с набежавшим ветерком загорелась золотом, забелела и заискрилась огнями на живой низкой ряби. Солнце поплыло над лесом. Где-то далеко на том берегу стучал топор и каждый звук четко отражался об воду. Куковала кукушка, смолкла, перелетела и снова куковала, точно дразнила кого.

«Липочка любит считать, сколько раз прокукует кукушка. Она верит, что столько лет будет жить»,— думал Федя. «Это глупости. Разве можно это угадать? Вот Andre в Духов день остался у Бродовичей, на другой день хотели какой-то судебный процесс разбирать... Кажется, об убийстве Сары Беккер Мироновичем. Должны были прийти Алабин, Ляпкин и Бирюков. Andre должен был быть за прокурора, Абрам — защитником, Бирюков — подсудимым, а Andre сам умер. Кто знает, что будет завтра... Через минуту. Возьмет и взорвется погреб... И я, и Федосын жених будем уничтожены...»

Федя покосился на погреб. Солнечными лучами был он залит, и в их блеске уже не был ни таинственным, ни страшным, но обыденным и простым. Часовой стоял у двери, держа ружье у ноги. Он имел скучный, будничный вид.

«А страшно ему, должно быть, ночью»,— думал Федя... Хорошо бы такую берданку иметь, как у него... Со штыком... Леонов говорил, что осенью, когда казаки уходят, можно у них за двадцать пять рублей купить берданку. Игнат рассказывал, что она на версту и больше бьет...»

— Федор Михайлович... Федор Михайлович...— услышал он шепот с боку,— клюет!

Федя вздрогнул и посмотрел на поплавок. Маленький зе-

ленный круг ушел глубоко в воду, пошел под водою, снова выплыл и опять ушел. Федя схватил удилище, потянул его и с радостью ощутил на конце сопротивляющееся биение рыбы. Вытащил... На конце лесы в солнечных лучах как золотая билась маленькая головастая рыбка.

— Ерш! — крикнул Игнат, — ну и то добре. Почин дороже денег.

Дрожащею от волнения рукою Федя перехватил скользкого, липкого ерша и стал выпрастывать глубоко проглоченный крючок.

— Ерши уж это всегда так, — тоном знатока и записного рыболова говорил Федя, он, ежели хватит, так, мое почтение, здравствуйте, проглотит совсем...

Клев не оправдал ожидания. Часы уходили, уже высоко стояло солнце. Поля оживали, слышался звон оттачиваемой брусом косы и шелест травы, где-то ржал тонко и жалобно, точно плакал, догоняя мать, жеребенок. Мухи и комары надоедали.

В ведерке у Феди плавали в воде пять ершей, две крупные красноперые плотвы, несколько синеспинных, серебробрюхих уклеек, которых Игнат и за рыбу не считал, да два маленьких окуня. У Федосьина жениха было почти то же да один плоский серебристый фунтовый подлещик — гордость Игната и зависть Феди.

Около полудня Федя перешел на другое место. На песчаной отмели была устроена пристанька в две доски, как видно, для полосканья белья. Федя стал с удочкой в руке на конец досок и смотрел на воду. Под яркими лучами солнца была прозрачна темная глубина. Как в стеклянной чаше был виден белый, чуть иззубренный водою песок и тонкими буро-зелеными стволами тянулся к поверхности редкий камыш. Точно зеленые змеи изгибались стебли кувшинок, подымаясь к большим овальным листьям. Нежные, белые, с золотистою серединою плавали лилии. Течения не было, поплавок стоял прямо, и видна была под ним леса, черная дробинка грузила и крючок, на котором медленно извивался ставший белым земляной червяк.

Над водою реяли две синие, стального цвета стрекозы. Их плоские крылья переливались перламутром. Федя, затаив дыхание, смотрел на червяка и на стайку из пяти крупных окуней, которые играли в солнечном луче, проникшем в прозрачную глубину. Появлялись их зеленоватые спины, покрытые черными полосами, ярко красные плавники распластывались в воде и тихо шевелились, разумно подаваясь то вперед, то назад: видны были большие черные глаза, ок-

руженные золотым обводом, светлые, широко открытые губы. И была в их игре несказанная красота.

Сердце Феи сладко сжималось. Какие-то отрывочные мысли, осколки фраз и слов, слышанных от Андре и Ипполита, прочтенных в книгах, налетали в голову, проносились, как легкий вечерний ветерок, и оставалась опять только красота крошечного уголка божьего мира, где играло пять окулей.

«Гумбольд... Дарвин... Брэм... Бюффон... Ипполит... неслось в голове Феи... Ипполит... как просто у него все!.. Говорил как-то. Земной шар покрылся, охлаждаясь, слизью, в слизи зародились инфузории, а там амеба, и пошло, и пошло, все само... Просто от химии... Нянька сказала тогда, в Троицу: «Ученые очень стали...» Правда, няня... Вот Ипполит, «этого», наверно, никогда не видал. Как играют!.. Красные плавники... И какой цвет... Не придумаешь такого. Перышко к перышку положено, и глазами ворочают. Тоже думают, поди, что-нибудь... И я над ними стою и смотрю... В воде отразились мое лицо, фуражка, даже герб видать... Все «само собою... от амебы... Держи карман шире!.. А батюшка рассказывал: был хаос, и в нем носился Бог... Даже на картинке я видел: клубятся тучи, и Бог, большой, с седой бородой, а из лба лучи... мысли... Ну, конечно, не так... А все-таки кто-то думал, создавал... Лилии белые с желтым султанчиком в темных, с коричневыми жилками листьях: это не само... А кто-то великою любовью создал это... Для чего? Я стою и люблю, и мое сердце чем-то наполнено... Для меня создал! Тепло на сердце... Какое-то чувство... Странное... хорошее. Боже, как я люблю все это! Мою милую, милую, хорошую маму... Липочку, Лизу, Мишу... Игната. Какой он хороший! Как все хорошо кругом. Солнечный свет. Ты создал... сказал: «Да будет свет!», и просияло солнце, и звезды стали ходить вокруг него... Какие несчастные те, кто этого не понимает... Кто ищет и не знает... Как все просто!.. Как хорошо!.. Пахнет кашкой и скошенным сеном. Ты создал... Ты, великий, дивный, кроткий, Бог-отец... Ты глядишь на меня с синевы неба, не из атмосферы, не из безвоздушного пространства, а с небесной тверди, тобою созданной, ты глядишь на меня, маленького гимназиста, и ты... Ты, любишь меня?.. Ласкаешь солнечными лучами, радуешь синими стрекозами, рыбками в воде и этой лилией, которую ты так любовно, роскошно одел!.. Это все, все ты... Ты, Господи!»

Сомнения слетали с души, растопляясь в лучах солнца. Широким, бурным восторгом заливала волшебная, бескрай-

няя любовь. Все сердце Феде было один благодарный гимн Творцу Вселенной.

Чуял в себе душу... Бессмертную... Понимающую Бога... Частицу Божества.

Таяли сомнения... Ничего в мире не было страшного. Все прекрасно... потому что, потому что... Бессмертна душа.

V

В конце лета в семье Кусковых было в моде рыцарство. Федя, Липочка и даже хмурый Миша грезили Вальтер Скоттом и читали историю рыцарей. «Дама сердца», «Паж», «Оруженосец» не сходили с языка, Лиза и Ипполит гордо держались в стороне от этого течения, но оно захватывало и их.

Лиза дразнила Ипполита, что его дама сердца — таинственная Юлия Сторе. И было в этом дразнении немало обиженного самолюбия и жгучей ревности.

Ночи стали темными, а когда блистали на небе звезды и висела полная луна, Муринский проспект, напоенный запахом цветущей липы, казался волшебным. Маленькие дачки с мезонинами и балконами, с парусиновыми занавесками, из-за которых просвечивали свечи в лампionaх, или керосиновые лампы под цветными колпаками, рисовались замки, таинственными «гациендами», и жизнь наполнялась волнующими призраками удивительных приключений.

Федя колебался, кого избрать ему дамой сердца и кому принести обеты рыцаря: Мусе Семенюк, соседке по даче, или таинственной незнакомке, имени которой он не знал, барышне-англичанке со светлыми волосами, жившей на собственной даче на Лавриковской дороге, которую Федя для себя назвал Мэри.

С Мусей Семенюк знакомство было сделано давно. Недели две спустя после смерти Андре стоявшая пустою зеленая с белыми разводами у окон соседняя дача наполнилась оживлением. На дороге у калитки стояло две подводы, и ломовые носили постели, трюмо, какие-то мелкие пuffy и диванчики таких ярких цветов и такой формы, каких Федя никогда еще не видал. Расстановкой распоряжались полная, небрежно одетая старая женщина с седыми буклями, в желтой с черными лентами шляпке и пожилая сухощавая француженка.

Днем Федя ходил на рыбную ловлю, и, когда вечером вернулся, в соседнем саду, у их решетки, бесцеремонно за-

глядывая к ним в беседку, стояли две барышни. Они были одинаковы одеты в расшитые мордовские костюмы. Та, которая казалась постарше, имела пепельно-русые, прекрасные волосы, спереди завитые кольцами, а сзади спускающиеся на спину спиралями, у ее соседки они были заплетены в две темно-бронзовые косы. Первая имела слегка удлинненное лицо нежного овала, довольно большой нос и красивые бледные губы. Большие, чисто-голубого цвета глаза под тонкими рыжими бровями освещали ее лицо блистанием меланхолической грусти. У второй лицо было круглое, глаза рыжие, веселые, нос чуть вздернутый, над губами на щеках играли маленькие ямочки, и все лицо ее казалось вечно смеющимся.

Федя заметил, что тонкие шеи соседок были покрыты пестрыми монисто, и у обеих поверх бус были надеты цепочки из маленьких золотых и разноцветных каменных ячеек. Белые руки были обнажены по локоть, на них были браслеты. Поверх темно-синих широких, в складку, юбок были узорные передники, сплошь расшитые красным, синим, черным и желтым.

Девушки стояли обнявшись и из большой коробки ели конфеты.

— Господин гимназист,— закричала веселая с рыжими глазами,— хотите конфетку?

Федя смутился, до слез покраснел, но принял независимый вид, заложил руки в карманы и нерешительно подошел к ним. Язык у него стал как деревянный, он хотел убежать, но вместо того остановился шагах в пяти. Лицо его пылало, он имел преглупый вид.

— Он, вероятно, немой... Совсем минога в обмороке,— сказала старшая, а младшая показала старшей пальцем белую бляху на ремennom поясе Феде, на которой был гимназический штампель «С. П. I. Г.» — «С.-Петербургская 1-я гимназия», и сказала, смеясь:

— Сенной площади первый гуляка, что с таким, Муся, разговаривать.

— И неправда,— гневно воскликнул Федя,— «сей повинуется одному Государю»

Барышни ничего не ответили и, обнявшись за талию, чуть покачиваясь и напевая под нос, пошли по дорожке, вышли за калитку и направились мимо дачи Кусковых к Муруну.

Покой Феде был нарушен. Он хотел читать заманчивую историю «Айвенго», но читать не мог. Он сел на скамейку, на мостике, и долго смотрел, как угасало на западе небо и белые, призрачные июньские сумерки играли над землею.

Мысль беспокойно следовала за барышнями. «Куда они пошли? Кто они?.. Разве прилично было им первым заговаривать с посторонним гимназистом?» И неосознанно стучалась в сердце мысль, что они очень хорошенькие, милые и, должно быть, добрые барышни.

Он прозевал их, когда они вернулись, и видел только их спины, когда они проходили в калитку. На их даче бренчали на фортепиано и грудной женский голос томно пел:

Месяц плывет по ночным небесам,
Друг твой проводит рукой по струнам.
Струны рокочут, струны звенят,
Страстные звуки к милой летят.

Печальная и страстная мелодия модного вальса неслась к бледному небу и сливалась с светом без тени белой северной ночи. Тихо стояли березы, опустив молодые зубчатые листочки, похожие на сердца, и, казалось, слушали пение. Сирень пахла сладостно и душно. Наверху, в ветвях, завозилась в гнезде птица и опять стояла призраком бледная тишина. И в душу Феди, волнуя ее, входил женский голос:

Под твоим одним окошком
Про любовь мою пою,
И к твоим, малютка, ножкам,
Страсть души моей несу...

«Хорошо! — подумал Федя. — Как хорошо!.. А бедный... лежит под землею и ничего не чувствует, ничего не слышит!»

Федя подумал, что нехорошо отдаваться наслаждениям, когда еще бродит тут подле, все слышит и все знает душа... Он пошел подальше от искушения, домой, но нарочно замедлил шаги, чтобы услышать страстный призыв:

Выйди на одно мгновение,
Мой тигренок, на балкон.

В столовой на диванчике, тесно прижавшись друг к другу, сидели Лиза и Липочка. Ипполит ходил взад и вперед по комнате. Сестра и красавица-кузина показались Феде блеклыми и бедными после барышень в-мордовских костюмах.

Федя рассказал свои наблюдения за соседками.

— Носят ожерелья из яичек! — воскликнула Липочка. — Чудачки! Разве можно носить яички после Вознесенья? А уже Троица прошла!

— Неправославные какие-нибудь, — сказала Лиза.

— Наверно «фря» какая-нибудь,— морща нос сказала Липочка.— Блондинки! Чухонки-молочницы!

Федя промолчал. Ему было неприятно, что так говорили про соседок.

— Нет... они как будто милые...— наконец нерешительно сказал он.

— Ну, уж нашел... милые! В мордовских костюмах! Кто теперь носит такие костюмы? От них, наверно, на аршин ку-мачом пахнет,— сказала Липочка.

— Ты сама в праздник надевала,— сказал Федя.

— Не мордовский, а малороссийский. Малороссийский — это шик... а мордовский — *mauvais genre* *. И яички после Вознесения на шее!.. Чухонки!

Федя надулся и сел в углу под лампой читать «Айвенго».

— Ты у нас, Федичка, не влюбись! — сказала насмешливо Лиза.

VI

Через два дня тетя Катя, которая всегда все знала, рассказала, что соседки — корифейки Императорского балета. Фамилия их — Семенюк, а по сцене они Ленская 1-я и Ленская 2-я. Старшая, Муся, получает 80 рублей в месяц жалованья и самостоятельно танцует в операх, младшая, Лиза, всего первый год как вышла из училища и танцует «у воды», на пятидесяти рублях. Старуха, их мать, вдова штабс-капитана, убитого в турецкую войну, сухая чернявая женщина — *mademoiselle Marie*. Держат они одну прислугу, сама старуха готовит, и едят впроголодь. Бывает, что и совсем не обедают. За младшей ухаживает гвардейский полковник Соколинский, но только хочет он жениться или «так» — одному Богу известно. Ездит часто, дарит цветы и конфеты, а ничего «такого» не было. Барышни веселые, но строгие, «себя соблюдают».

Все это подслушал Федя, когда тетя Катя громким ворчливым шепотком докладывала о соседях Варваре Сергеевне.

— Присматривать надо,— говорила тетя Катя,— и за молодежью, да и за Михаилом Павловичем, а то как бы Фалицкий не свел. Да и для барышень наших знакомство зазорное... Балетчицы!..

Для Феди это было знаменательное открытие. Танцовщицы Императорского балета!

* дурной тон.

Два раза в эту зиму Федя был в Большом театре на балетных спектаклях. Он приходил рано, тогда, когда в театре почти никого не было и по коридорам пахло газом. Он входил в полутемный зрительный зал, освещенный только свечами у лож, и с замирающим от волнения сердцем смотрел с высоты третьего яруса в темную глубину. Внизу чинными рядами стояли темно-малиновые стулья, и расписанный какою-то фантастическою картиною занавес с каким-то гномом с маской, в лесу, где танцуют сильфиды, сам по себе казался великолепным... Галерка наполнялась. Стучали по деревянному полу и ступенькам ногами, кто-то споткнулся, загремел по лестнице, кто-то засмеялся. С вершины округлого потолка, над темной, в прозрачных хрусталях, точно ледяной люстрой, вдруг отделился кольцеобразный настил и стал медленно опускаться, окружая люстру. На нем стояли два человека с горящими длинными свечами. Они ходили по кругу, и от прикосновения их свечей вспыхивали внутри газовые рожки, звенел хрусталь подвесков и загорался прозрачными цветами радуги. Зал освещался. Это было так волшебное и так интересно.

Внизу появлялись нарядные богато одетые женщины, офицеры с золотыми погонами, штатские во фраках. Из оркестра, сливаясь в какую-то возбуждающую гармонию, слышались звуки настраиваемых инструментов. Пели и стонали скрипки, злобно ворчал контрабас, вдруг скажет музыкальную фразу сильный фагот, и ее повторит одна, а потом другая флейта; снова поют скрипки, отрывисто завывает труба, пищит кларнетист, проверяя пищик. Зал быстро сразу наполнился... В ложах бельэтажа нарядные дамы, окаймляя малиновый барьер сверкающим бриллиантами рядом темных и русых голов, блистали нежно розовою полоскою обнаженных плеч. Запах газа вытеснялся запахом духов. Федя все забывал и смотрел горящими глазами на зрительный зал.

Тихо поднимался занавес.

Нагнувшись к самому барьеру, впившись глазами в маленький мамин бинокль, от чьего смятого кожаного, подбитого малиновым шелком с золотыми буквами футляра так сладко пахло мамиными духами, Федя смотрел, не отрываясь, на сцену.

Играл оркестр. Одновременно и одинаково поднимались и опускались у скрипачей руки, и ожесточенно махал палочкой тонкий человек в черном фраке. Треснул и рассыпался трелью барабан, и ему завторили трубы. Медь звенела, потрясая воздух, заглушала скрипки, звала на подвиг.

Федя весь ушел на сцену и не мог понять, снится это ему во сне, или наяву попал он в царство, где очаровательным узором кружат тонкие девичьи руки, в такт качаются, как чашечки цветов, улыбающиеся женские головки, и, как роса, на них ясно сверкают ласковые глаза. Стройные, нежно-розовые ноги, точно живые цветочные пестики, движутся из больших, радужных, как распутившаяся роза, пышных тюлевых тюников и летят, едва касаясь пола.

На сцене — рыцари и крестьянки, толстый и смешной Санчо Панса с настоящим ослом, громадный паук и десятки женщин не похожих на женщин. Не то феи... Не то цветы...

В антракте театр ревел и топал ногами. Вызывали Цукки. По афише Федя знал, что Виржиния Цукки исполняла главную роль. Два господина рядом с Федей чуть не до драки спорили о достоинствах спины Цукки.

— Вы говорите, Вазем,— кричал один,— да, конечно Вазем хороша, но у нее нет такой спины, как у Цукки. Уверяю вас, что в спине Цукки больше поэзии, чем у всех современных поэтов.

— Но позвольте, в смысле пластики, Цукки не выше Соколовой,— возражал рыжий полный бородач.

— Что! Что такое! Михаил Михалыч... Конечно, я не помню Соколову в зените ее славы, но говорить так!.. Простите, вы ничего не понимаете в балете.

— Но, слушайте. Цукки — да, грация. Природная, чуть ленивая грация итальянки, но школы, понимаете, школы нет. Только русский балет имеет эту тонкую школу, без акробатизма, основанную на грации. В балабиле она была смешна! Андриянова и другие партнерши были выше примы!..

Федя жадно ловил каждое слово, каждый новый термин. Если бы ему сказали, что танцовщицы — самые обыкновенные женщины, любящие шоколадные конфеты и лимонад, обожающие ужины с шампанским и гвардейских офицеров, что Липочка и Лиза стройнее и красивее многих из них, ему показалось бы это святотатством. Они были для него совсем особенными существами, не имеющими ничего общего с «девчонками» и простыми гимназистками!

Под неистовые вопли райка «Цукки! Андриянова!.. Цукки!» Федя напялил свое холодное, ветром подбитое, перешитое с Ипполита пальто и, толкаясь, помчался по коридорам и лестницам на улицу к артистическому подъезду. Он стоял по колено в снегу и смотрел, как усаживались в тяжелые, неуклюжие кареты молоденькие девушки в темно-зеленых

капорах, как выходили другие, изящно одетые, с маленькими сверточками, нанимали извозчиков или шли пешком и исчезали в сумраке морозной ночи.

Куда они девались? Каковы были их квартиры?..

Феде казалось, что для них и дома продолжалась та же удивительная, чудесная и полная грации жизнь.

.....

Эти барышни, предложившие ему конфеты, эти барышни, смутившие его, были балетные танцовщицы! Он жил рядом с ними. Он мог наблюдать их тут, совсем подле.

Их жизнь не походила на жизнь Липочки и Лизы.

До полудня на даче стояла тишина. Большие окна их комнаты были плотно занавешены белой шторой. Барышни почивали... На заднем крыльце их мать в грязном капоте покупала у селедочницы селедки и щупала их руками, достаточно ли они жирны. С полудня растрепанная Marie носилась с балкона на кухню и обратно то с чашкой кофе, то с юбками на руке, а с плотно занавешенного холщовыми занавесками балкона слышались капризные голоса:

— Marie! Кофе!.. Marie, где же масло? Marie, подайте серую юбку... Ах, да не ту!.. пепельно-серую... Вы слышите: пепельно-серую...

Звенела чайная посуда.

Потом в каких-то прозрачных длинных капотах Муся и Лиза валялись на травке, читали по-французски друг другу вслух, зевали и перебранивались по-русски с сидевшей подле Marie в неизменном черном платье.

Раза два в неделю к их даче подъезжали какие-то молодые люди. Офицеры, лицеисты, пажи. Большой компанией шли гулять. Муся и Лиза — впереди, с розовыми зонтиками в кружевных оборках.

Вечером на даче пели хором, под гитару, пианино.

Пели выходившего из моды «Стрелочка» и цыганские песни. Потом пела Муся. Федя хорошо знал ее голос.

Глядя на луч пурпурного заката,
Стояли мы на берегу Невы.

Лиза подхватывала, и они продолжали уже вместе:

Вы руку жали мне... Промчался без возврата
Тот сладкий миг... Его забыли вы...

Когда они кончали, раздавались аплодисменты и крики «Браво! Бис!»

И Муся и Лиза пели вдвоем:

Ach, wie so bald,
Verhallet der Reigen,
Wandelt sich Sommer in Winterzeit. *

Федя сидел в саду, в кустах акации. Как хотелось ему туда... Но познакомиться не смел. Смотрел на свои стоптанные, вечно пыльные сапоги, на сношенные до бахромы штаны и желтую пахучую коломьянковую рубашку... Каким ничтожным он сознавал себя!

Что он умеет? Что он пойдет и скажет?

Ничего он не умеет, ничего не знает и совсем он им не нужен!

Мечтал о подвигах. Мечтал о чем-то, что вдруг поставит его выше всех пажей и лицеистов и сделает его милым и дорогим этим девушкам. Он избегал встречи с ними, боялся насмешек, дичал, уходил с Федосьиным женихом на рыбную ловлю и пропадал на ней целыми днями. И, стоя над поплавками, до боли мечтал о героических делах, которые приведут его к этим прелестным феям, носящим звучное имя Семенюк.

VII

Ипполит, Лиза и Липочка сидели на балконе. Июльский вечер догорал... Темнело... Прерывистый, весь сотканный из недомолвок шел разговор. Федя, обуреваемый жаждой отдать кому-нибудь жизнь, сердце и силы, подошел к ним и сел в ногах у Липочки на низенькой маминой скамеечке.

— Ну ты чего? — грубовато-ласково сказала Липочка. — Как загорел! Совсем черный стал, точно арап.

— Ипполит, — сказал Федя, — я хотел спросить тебя... Дама рыцаря должна непременно быть знакома с ним, или он может даже не знать ее имени?

— Что это тебе так вздумалось? — спросил Ипполит.

— А я вот как понимаю: истинный рыцарь не должен знать своей дамы. Не знаемая им, вся в воображении, наделенная самыми прекрасными качествами, она должна вести его от подвига к подвигу.

— Ну уж не понимаю, — сказала Липочка.

— Я ходил как-то по Лавриковской дороге, — продолжал Федя, — знаешь, там, где живут англичане. И вижу,

* Как скоро пронеслись времена хороводов, и зима сменяет лето.

проехала амазонка. Барышня стройная, голубоглазая, светлокурая и такая нежная-нежная. Под нею лошадь медно-красной масти, холеная, чищенная. А сзади — грум в куртке с золотыми пуговицами и тоже такая прекрасная лошадь.

— Жрет, наверно, кровавые бифштексы и играет на кельбане,— сказала Липочка.

Федя не обратил внимания на ее слова и продолжал.

— Их сад окружен высокой акацией, растущей по земляному валу над рвом. Через ров ведет мост с белыми перилами, за мостом — ворота. Когда открыли ворота, я заглянул туда. Боже! Какая красота! У Бродовичей в Павловске красиво, а тут кругом дома стоят в кадках стриженные деревья, а прямо идет аллея, и все розы, розы. А подле дома громадные, раскидистые липы, ну так красиво!.. Вот такую взять в дамы сердца!.. Или императрицу... Чтобы красота и богатство были вместе. А самому быть бедным рабочим или сторожем-солдатом... Жить в сторожке подле... Красить ворота или охранять ее... И любить тайно... А она чтобы и не подозревала... Вот это, я думаю, хорошо, по-настоящему...

— Платоническая любовь,— протянула Лиза.

— Видишь, Лиза,— сказал Ипполит,— почему мне многое так нравится в Юлии Сторе.

— Что же?

— Ее большой светлый ум. Ее стремление к равенству между людьми. Уничтожение богатства. Ты видишь, как тянет красота и неравенство. Как ослепляет оно людей. Федя готов влюбиться в девушку, которую только раз увидел потому, что она его поразила красотой своей роскошной жизни. Он готов стать ее рабом. А, может, она сухая, черствая, эгоистка, мучит и эксплуатирует простой народ.

— И наверно, такая,— сказала Липочка.

— Юлия говорит: должно быть равенство и не должно быть богатых.

— Юлия — дама твоего сердца,— сказала Лиза. Ревнивый огонек блеснул в ее глазах.— Скажи, Ипполит, она очень красива?

— Красива? Нет, Лиза, к ней этот эпитет нельзя применить. Он пошел для нее.

— Скажите пожалуйста!

— Она необычайна. Красота условна. Хороший цвет лица, блестящие живые глаза, прекрасные зубы, брови тонкие, и уже красота. Ничего этого в Юлии нет.

— Какая же она?

— Я не берусь сказать какая. Она вся в своих суждениях... Резких... необычайных... За ними ее не видишь. За-

говорили как-то о Пушкине. Она говорит: «Я Пушкина не читала — это пошлость». А Лермонтова? «Конечно нет: стыдно читать такие вещи».

— Что же она читала? — спросила Липочка.

— Карла Маркса, Кропоткина, Герцена... Из наших писателей она признает отчасти Толстого, Достоевского ненавидит.

— Ну-ну! — протянула Липочка.

— Но нужно ее понять... В ней горит ее высокий дух, и он в ней все. Громадные густые пепельно-серые волосы скручены на затылке небрежным узлом. На голове какая-нибудь необычная шляпа, из-под которой виден бледный овал ее лица. Глаза светлые, пристальные, жуткие, и в них идея. Придет к Соне, та: «Хотите, Юлия, кофе?»

— «Ах не до кофе мне! Представьте, Мальцана арестовали. Нашли литературу!» и пойдет. Голос глухой, проникающий в душу... Двигается она то тихо, как дух, то порывисто. Она горит идеей и все для нее сделает.

— Что же это за идея? — спросила Лиза.

— Мы вот молимся в церкви о мире всего мира. А что для этого делаем? Она работает над этим... Она в какой-то тайной организации, стремящейся устранить неравенство, прекратить зависть и поводы для вражды и ссор между людьми. Она работает для народа!..

— Но как же устранить неравенство? — сказал Федя. — У той англичанки лошадь, а у меня нет... Дача прекрасная.

— Юлия и те, что с нею, стремятся, чтобы у всех были и лошади и дачи. Весь народ чтоб был богат.

— А если не хватит?

— А кто же строить их будет? — в голос спросили Липочка и Федя.

— Ну, значит, ни лошадей, ни дач... но уже никому.

Наступило неловкое молчание. Липочка, Лиза и Федя благоговели перед Ипполитом и каждое слово его считали откровением. А тут выходило что-то странное. Мир без лошадей и без красивых дач казался как будто уже не таким заманчивым, и стремиться к такой идее не хотелось.

Сумерки все густели, и лишь силуэтами намечались фигуры молодежи.

— Юлия часто говорит, — снова сказал Ипполит, — пусть будут бедны, но бедны все. Не нужно королей и императоров, не нужно сановников и генералов, но все равны... И землю отдать крестьянам.

— Стоит тогда работать, — сказал Федя. — Дядя Володя говорил, что плохой тот солдат, который не мечтает быть ге-

нералом. А если все равно, никогда ничего не добьешься, то и работать и рисковать жизнью не станешь.

— Дядя Володя отсталый человек. Он родился при крепостном праве... Он ретроград.

— А я не понимаю... Если я не хочу. Мне нравится быть бедным сторожем и служить у своей дамы сердца, отворять ей ворота, когда она едет верхом, и, сняв шапку, провожать ее взглядом обожания.

— Федя, ты непроходимо глуп,— сказал Ипполит.

— Сядь в калошу,— сказала Липочка.—

— Не понимаю... Для чего же тогда трудиться? Я поймал подлещика и окуня, а Федосьин жених ничего не поймал, и я счастлив.

— А если Федосьин жених тоже поймал бы подлещика и окуня,— снисходительно сказал Ипполит.

— Это уже скучно. Важно именно стать лучше, богаче других. В этом, по-моему, счастье. В достижении мечты.

— Неправда,— сказал Ипполит,— в достижении желаемого нет счастья, является разочарование и пресыщение. Хочется есть, а наелся — пища становится противной.

— Но если все равно ничего не добиться — исчезнет цель труда и люди перестанут работать,— сказала Липочка.

— Пусть отдохнут... Слишком много работали...

— А не погибнет, Ипполит, тогда и красота жизни? — задумчиво наклоняя голову, молвила Лиза.

— Что такое красота? — пожимая плечами, сказал Ипполит.

— Красота? Трудно сказать. Все красота! Я понимаю Федю. Эта англичанка на гнедой нарядной лошади, широкий мост, аллея роз и в глубине дача в густой зелени лип — это красота... И стоит жить, чтобы видеть эту красоту.

— А сколько народа трудилось, чтобы создать все это. Каменщики, плотники в измазанных отрепьях, с ведерками, кистями и топорами, оборванные, в лаптях, расходились по вечерам с постройки, шатаясь от усталости. Ты помнишь, Лиза, стихотворение Некрасова «Железная дорога». Как подумаешь, сколько горя, сколько голодных смертей принесла эта постройка, и от железной дороги откажешься.

— Красота,— снова сказала Лиза.— Я вспоминаю наш господский дом в Раздольном Логе, когда дедушка был жив. Наш чудный сад... Может быть, и были правы крестьяне. Нельзя было иметь такой дом, когда они жили в крошечных мазанках с соломенными крышами... Но наш дом и сад были — красота. Они уничтожили ее. А что создали?..

— Так, Лиза, и до крепостного права можно договориться,— сказал, вставая, Ипполит.

Лиза молчала. Федя поднялся со скамеечки и сказал:
— Надоели вы мне со своею философией! Ничего-то вы не понимаете! Смотрите, какая прекрасная ночь!

VIII

Ночь была тихая и на редкость теплая для Петербурга. По темно-синему небу выпали яркие звезды и играли, проливая на землю таинственный и нежный свет. У Семенюков пели хором что-то торжественное под аккомпанемент пианино. Далеко в стороне английских дач взлетали, оставляя огневые следы, ракеты и падали дрожащими красными, зелеными и белыми звездочками, погасая над темными купами столетних лип. Там играл оркестр, и плавные звуки вальса долетали до дачи Кусковых и порхали в темноте уснувшего палисадника.

Федя вышел за калитку. На скамейке на мостике через придорожную канаву сидели Игнат и хозяин дачи Иван Рыжов. Они любовались огнями и слушали музыку. Федя поздоровался и пожал крепкую мозолистую, не похожую на человеческую руку Рыжова с прямыми, жесткими пальцами.

— Убрали, Иван, сено? — спросил Федя. Ему казалось, что с крестьянами надо непременно говорить о хозяйстве, и он думал, что он умеет с ними разговаривать.

— Давно... Намедни жать начали,— сказал, пододвигаясь и давая место Феде, Рыжов.

— А что жать?

— Да рожь... Что у нас и жать-то? Пшеницу не сеем.

— А овсы как?

— Ну, те не скоро. Вы, почитай, с дачи съедете, как косить станем. Он у нас поздний, овес-то.

— А трудно это... работать? — спросил Федя.

— Да уже куда трудней. Трудней не бывает. Уж наше крестьянское дело что ни на есть чижолое.

— У доменной печи не стояли,— сдержанно сказал Игнат и раскурил папиросу.

— Ну это — может быть,— снисходительно согласился Рыжов.— Рабочему человеку — это точно — не сладко жидется. А тоже, зато в городе, при всех, при своих. Трактиры завсегда, органы, партерные. Чем не жизнь?..

— А вот англичане тут на даче,— заговорил Федя, подделяваясь под язык Рыжова и оттого говоря туманно и неясно.— Я видал. Барышня и лошади, значит, верховые. А сзади человек. Хорошо живут.

— Куды лучше! — сказал Рыжов. — Это Вильсоны. Я знаю. Песок возимши для сада. Богаты страсть. У него в Питере компания, две фабрики держут, сказывали, три тыщи рабочих одних и он — самый главный. А тоже сюда приехал тятенька евоный простым мастером... Ничего живут.

— А нельзя, чтобы все так жили? — сказал Федя.

— То ис как так? — спросил Рыжов.

— Ну вот, скажем, чтобы у меня, у вас, у Игната лошади верховые, дачи...

Игнат пустил кольцами дым, посмотрел, как он таял в полосе света, падавшей с дачного балкона, где зажгли лампу, и сказал:

— Лошадей, Федор Михайлыч, не хватит.

— Ну допустим, что хватило бы.

— Ин быть по-вашему. Вы что — ездить хотите, али убирать?

— То есть как это убирать?

— Чистить, значит, навоз вывозить, корм задавать, поить, седлать.

— Да уж придется так, коли все, — снисходительно сказал Рыжов.

— Ну хорошо... буду чистить.

— Так и удовольствия того не будет. Спросите солдата кавалерии, что сладко ему? Ночь не спамши, все возле лошади крутится...

План, чтобы все имели верховых лошадей, выходил невыполнимым.

— Я ведь вот к чему вел, — сказал Федя, — чтобы все были равны. Понимаете, ни богатых, ни бедных, а всем хорошо.

Рыжов покрутил головою.

— Учены очень, барин, — сказал он. — Рази ж это можно? Мой отец, помирая, значит, делил между мною и братом Степаном все поровну. Что ему, то и мне. А теперь у меня вот три дачи стоят, да покос я в казенном лесу снимаю, пудов поболее тысячи в город за зиму сена на кавалерию поставлю, а Степан пьяный валяется и всего у него одна коровенка да жена больная. Вот вам и поровну.

— Ничего, Федор Михайлыч, с того не выйдет, — сказал серьезно Игнат. — Верите, я бы два раза мог машинистом быть. Уже на товарном и был, да вот болезнь моя несчастная. Запью — и все прахом пойдет. Чья вина? Инженер Михайловский как меня обожает. «Ты, — говорит, — Игнат, зарок дай. На стеклянный сходи, свечу поставь, — год продержись, — я тебя на «скорый» устрою. Золотая твоя голова».

— Это точно,— вмешался Рыжов.— У кого это есть — тут уже ничего не поделаться. И зарок не поможет. Свихнется.

— Вот и не идет у меня. А, может, я бы мог не то что машинистом, а инженером быть,— сказал Игнат.— Это уже как от Бога.

— А как же тогда?.. Равенство. Ведь несправедливо.

— Равенство там, на небе,— сказал Игнат.— Няня ваша, святая старушка, правильно говорит: «Помрем и сравняемся. Все помрем одинако — то и равенство». Опять один долго живет, а другой, глянь, и пяти дней не пожил.

— У меня один ребенок, двух недель не жимши, Богу душеньку отдал.

— Да, у него единого справедливость,— вздыхая сказал Игнат.

— Но есть люди,— сказал Федя, стараясь всеми силами говорить понятно,— которые хотят, чтобы все было справедливо. Ни войн чтобы не было, ни богатых, ни бедных, а все равны.

— Пустое, Федор Михайлыч, говорите,— строго сказал Игнат.— Воевали мы, болгар освобождали. Что же, плохо, по-вашему?

Федя молчал.

— Живем ничего себе,— сказал Рыжов.— Живем, хлеб жуем и чужого нам не надобно. Мы возьмем чужое и чужой возьмет наше. Все под Богом ходим. Слава Христу и государю императору Александру Александровичу.

Спокойнее становилось на душе у Феди. Но, Боже, каких страшных противоречий полна была жизнь! То, что говорил Ипполит, Лиза, таинственная Юлия Сторе, что так часто повторяли у Бродовичей, совсем не сходилось с тем, что думали и говорили Игнат, Рыжов, Андрей, Яков, Феня... А ведь они были «народ»!.. а не Бродовичи. И правда невозможно всем иметь верховых лошадей и дачи. Если всем иметь, кто же будет дворниками, садовниками, конюхами, а если их не будет, все погибнет... И выходит, что равенство возможно только тогда, когда никто ничего не будет иметь, когда все будут голыми, как дикари. Но и у дикарей есть короли и вожди, и у них уборы из перьев, птиц и раковин?..

Ипполит, Юлия Сторе, Лиза, Бродовичи умные. Они учились всему этому, читали Кропоткина и Герцена — им нельзя не верить!.. Опять же Иван Рыжов, Игнат, Андрей, Яков, Феня, няня Клуша — народ... А народу надо отдавать все, потому что он много страдал и мы его должники... Это всегда повторяет Лиза... Никак не укладывалась жизнь ни в какие рамки...

— Иван,— спросил Федя,— вы не знаете, как зовут ба-
рышню Вильсон?

— Не слышал что-то.

— Не Мери?

— Не знаю... Не слышал.

Федя задумчиво слушал далекую музыку... «Пусть там сидит Мери... Красиво? Мери... Его Мери... Его дама сердца... Мери Вильсон сидит мечтательно на длинном соломенном кресле, в цветных подушках... Играют на площадке музыканты. Цветы, конфеты, мороженое. Много мороженого, сливочного и крем-брюле. Он, ее бедный рыцарь, сидит с двумя честными поселянами — Игнатом и Иваном и мечтает о ней... Как хорошо! Или быть савинским кучером. Запрягать ее прекрасных рысаков и подавать по снегу широкие сани».

«Марья Гавриловна, на набережную?»

«Да, Федор, на набережную».

«За его спиною прекрасное лицо и дивные вдумчивые глаза. Марья Гавриловна довольна им. Она любит своего кучера».

«Спасибо, Федор, вы дивно прокатили»...

«Он сидел в тесной кучерской, а у Марьи Гавриловны гости, играет музыка. Пусть веселится».

«Но кого же, кого избрать своею дамой сердца? Кому молиться, о ком вздыхать? Муся Семенюк, Марья Гавриловна или таинственная Мери Вильсон?»

Федя вытащил из кармана кошелек, где в секретном отделении лежал серебряный рубль... Одна сторона его была спилена и на ней вырезано «М. С». Он тихонько поднес его к губам.

— «Нет, я не изменю тебе, дорогая!»

IX

Прошло лето. Кусковы вернулись на городскую квартиру. Начались занятия в гимназии. Был торжественный акт в большом зале, том самом, где стоял во время заутрени Федя с образом Воскресения и двумя ассистентами. В зале теперь были поставлены рядами стулья и сидели родители гимназистов. Был на акте Михаил Павлович в черном фраке, с орденом на шее, Варвара Сергеевна в своем лучшем лиловом платье, обшитом черным кружевом, немного старомодном, но нарядном, шелковым, Липочка и Лиза были в своих белых платьях с большими цветными бантами, чуть пахнувших бензином, которым их тщательно чистили накануне.

Толстый Ipse, Александр Иванович Чистяков, скрипучим голосом читал отчет за «истекший» год, Митька вызывал гимназистов, окончивших с золотыми и серебряными медалями. Они выходили, красные от смущения, застенчивые, неловко проталкиваясь через толпу, одни уже в новеньких, с иголочки, черных штатских сюртуках, другие в старых, сильно сношенных, синих гимназических мундирах. Попечитель, сухой старичок с розовой лентой поверх жилета, под синим вицмундирным фраком, передавал маленькие коробочки с золотыми и серебряными медалями и пожимал руки «лауреатам», как он называл этих окончивших с наградой.

Они возвращались, и родные окружали их, заглядывая через плечи на маленькие золотые и серебряные кружки.

Митька вызывал тем же ровным, бесстрастным голосом гимназистов, удостоенных, при переходе из классов в класс, наград книгами и «Похвальными листами».

— Русков, Андрей... скончался в мае сего года... Михаил Павлович, угодно вам получить награду вашего достойного сына? — выкликнул он, поднимая две толстые книги, переплетенные в синие коленкоровые переплеты, тисненные золотом, и большой лист александрийской бумаги.

Михаил Павлович вышел из-за стульев. Когда он подходил к столу, Федя первый раз заметил, как осунулся, постарел и поседел его отец. Бакенбарды стали совсем белые, и большая красная лысина спускалась почти до шеи.

— «Шиллер в переводе Гербеля», — сказал, возвращаясь к Варваре Сергеевне, Михаил Павлович.

Варвара Сергеевна беззвучно плакала. Лиза, развернув книгу, смотрела рисунки.

— Какие прелестные гравюры, — шептала она. Ах! Какая прелесть! Посмотрите, тетя — Мария Стюарт!.. Дон-Карлос!.. Валленштейн!..

Ипполит получил том истории Щебальского «Речь Посполитая», Миша — басни Крылова с рисунками Панова. Федя ничего не получил. Он едва перешел в пятый класс с тройкою с двумя минусами за латинское *extemporale* и с тройкой за греческое.

После акта начались классы. В просторных высоких комнатах гулко раздавались голоса, точно за лето накопилась в них пустота, пахло масляною краскою и свежеею замазкой, и осеннее солнце бросало косые лучи на черные наклонные парты.

Второклассники вели охоту на новичков, пригостишки пестрой толпой в неформенных платьях пугливо жались в углу зала подле Семена-«козла».

Федя переехал с верхнего этажа в нижний и уселся за Цицерона и Овидия, стараясь понять всю прелесть латинского стихосложения.

Но дама сердца не шла у него из головы, хотелось быть рыцарем и посвятить кому-то жизнь. «Ей» писать стихи, «ее» имя терпеливо вырезать перочинным ножиком на черной парте, о «ней» думать в скучные часы геометрии и алгебры, о «ней» молиться в церкви.

И не знал, кто же она? Их было слишком много. Императорша, которую он знал только по портрету, висевшему в гостиной, Марья Гавриловна Савина, Муся Семенюк, «Мери» Вильсон, блондинка на гнедой лошади, живущая в чудном «коттедже» на Лавриковской дороге и виденная всего только раз или... Таня, горничная, сестра Фени, которая как-то при смехе и шутках Фени вбежала, одетая в солдатский гусарский мундир своего брата, в комнату Феди, когда там кроме него никого не было, и крепко поцеловала его в губы. От ее губ пахло яблоками, и вся она была живая, как ртуть, упругая и смешная с толстыми ляжками, обтянутыми синими чакчирами. Она пробудила в Феде какие-то новые, смутные чувства. Кровь прилила к лицу, он задышался, не мог разобрать, красива или нет Таня, неловко хватал ее за руки и за ноги при смехе Фени. Они боролись смеясь, Федя повалил Таню на свои колени, она вырвалась, чмокнула его в щеку и убежала.

— Таня! Таня! Гусарик! — крикнул Федя и бросился за ней. Феня перегородила ему дорогу.

— Нехорошо, Федор Михайлович, ну, как мамаша узнает... Побаловались и довольно!..

И он остался, смущенный, сконфуженный и подавленный.

— ...Нехорошо...

Но мечтал несколько дней о Тане. И ее называл «дамой сердца». Чувствовал на зубах крепкий яблочный запах ее дыхания и ощущал на коленях прикосновение мягких ляжек.

Феня вышла замуж за Игната. В белом платье с флер д'оранжами, она казалась Феде удивительно красивой. Ее лицо было строго и временами коричневыми становились сухощавые загорелые щеки от набегавшего румянца. Михаил Павлович и Варвара Сергеевна были посаженными отцом и матерью. Таня в скромном костюме и шляпке стояла недалеко от Феди, и Федя смотрел на ее простенькое лицо с серыми глазами и не мог понять, чем заворожила она его в тот солнечный сентябрьский день, когда ворвалась в синем доломане и чакчирах и закружила, и завертела его.

А в ноябре, когда вдруг упал снег на городские улицы, пахнуло морозом и в городе стало тихо, сумрачно и морозно, Муся Семенюк, и Мери Вильсон, и Таня, и даже Савина вылетели из головы Феди.

Артистка Леонова давала прощальные спектакли. В Малом театре на Фонтанке, вне правил, шла опера. Играли «Жизнь за царя». Толстенская Бичурина-Ваня бегала по сцене, ломала руки и в страшной тревоге пела:

Отворите! Отворите!

И Федя, сидевший на балконе, волновался и краснел. Бо-
ялся, успеют ли открыть, помогут ли, спасут ли?.. Это было так важно. Дело шло о России.

Вы седлайте коней,
Зажигайте огни,
Люди добрые!

торопливо кричала Бичурина-Ваня, а у Феди колотилось сердце.

И когда Карякин-Сусанин, мощным басом потрясая театр, пел:

Страху не страшусь,
Смерти не боюсь,
Лягу за Царя, за Русь!

у Феди слезы бежали из глаз и он чувствовал, что завидует Сусанину. Это была первая опера, которую видел Федя, и она покорила его. Все стало ясно. Дама сердца выявилась во всей красоте и величии, и стало ясно, что за такую даму стоило отдать жизнь, и сердце, и все...

Эта дама — Россия!

Россия покрывала собою всех, она олицетворялась в императрице, в Марье Гавриловне Савиной, в Мусе Семенюк, она захлестывала и жившую в ней чужестранку — Мери Вильсон, она давала такое сладкое ощущение яблок при поцелуе Тани в гусарском мундире, она стояла строгой невестой Феней — она была везде...

Звонили колокола на сцене, стреляли пушки и хор ликующими голосами пел волнующее «Славься», и у Феди внутри тоже звонили колокола, невидимые голоса пели «Славься» и все трепетало в нем от любви к России.

Он шел из театра ночью по Чернышову переулку, смотрел, как длинной чередой уходили в грязную улицу газовые фонари, катились по рыхлому коричневому снегу извозчичьи санки и шли шумные толпы молодежи и голоса весело

звенели в ночной тишине, и он любил бесконечною, не знающе меры любовью и Петербург, и его основателя Петра, и Россию, и Ваню-Бичурину, и Антонину-Леонову и хотел быть Сусаниным — лечь костями — за царя! за Русь!..

Х

— Ну, что же, нашел свою даму сердца? — спросил Ипполит, вставая с дивана, на котором только что слушал, как Лиза задушевым голосом, сама себе аккомпанируя, пела:

Солнце низенько,
Вечер близенько,
Приди до мене,
Мое серденько...

Были воскресные сумерки. Ипполит, Липочка и mademoiselle Suzanne с точно окаменелым лицом, строгая и чопорная, сидели на диване. Федя стоял возле большого горшка с фикусом у окна и слушал Лизу затаив дыхание.

— Ты все витаешь в облаках, Федя, — сказала Лиза, откладывая ноты. — Рыцарь девятнадцатого века.

Федя спокойно скрестил на груди руки и сказал:

— Да, я нашел свою даму сердца.

— Что же. Можно узнать, кто она? Не секрет? — сказала Липочка.

Федя не сразу ответил.

— Нет... Не секрет... Моя дама — Россия! За нее я готов отдать жизнь, и счастье... и все... все... За нее — все.

Никто ничего сначала не сказал. В гостиной стало тихо. Так тихо, что Феде даже стало страшно. Но он подбодрился и гордо поднял голову.

— Патриот! — с громадным, нескрываемым презрением сказал Ипполит.

— Как ты глуп, Федя! — сказала Лиза.

— Сел в калошу, — проговорила Липочка.

Федя вскипел. Он покраснел, рука в волнении ерошила волосы, и он, задыхаясь, спросил:

— Что же худого быть патриотом? Греки были патриотами, и мы учим о Леониде, сражавшемся в Фермопильском ущелье, чтобы спасти Родину.

— Старые сказки, — сказал Ипполит. — Будет время, когда Родина — будет словом постыдным... А нам, русским, и сейчас стыдно того, что мы так отстали и не вошли в семью народов.

— Стыдно быть русским? — сказал Федя.

— Да, Федя. Пора тебе понять... Тебе уже пятнадцать лет, ты смотри, как вырос, усы пробиваются, а ты все Корнелием Непотом гредишь да сказки Горация повторяешь. Россия — с позволения сказать, родина наша, безнадежно отсталая страна рабов и деспотизма. Хуже и гаже ее трудно придумать. Ее могут спасти только коренные либеральные реформы — наделение крестьянской общины землею и просвещение народа.

— Что ты говоришь!

— Да, Федя, да... Внизу у нас нищета, темнота, люди, умирающие с голоду... В Ветлянке была чума. Чума на пороге двадцатого века, как в страшные дни средневековья! Да разве у нас и сейчас не средневековье? Колдуны, знахари, самосожжение сектантов, темные невежественные попы и суеверная религия, говорящая о воскресении мертвых! И люди... Точно эти люди каменного века с грубыми, тяжелыми чертами лица... Наверху — роскошь, разврат и слепое устремление на Запад. Китай да Россия — вот два отсталых, но гнилых гиганта. Но Китай застыл в своих формах, а мы еще лезем в Европу со своею отсталостью, со своими карикатурными генералами и городовыми, со своим удушением свободной мысли и хотим ей диктовать свою волю! Федя! Пора тебе понять, что Россия и ей подобные страны — это прошлое. Великая французская революция указала нам пути, по которым должны идти народы. Эти пути ведут к одному: к человечеству с одним общим языком. Человечество и идеи, связанные с ним, — вот что надо поставить в красном углу своего сердца, а не нацию, не религию, не государство... Человечество! Понял!

— Человечество, — прошептал Федя. — Человечество. Я слышал уже это. Это говорила Соня Бродович в тот день, когда... Нет, Ипполит, нет. Это не так. С одним общим языком?.. Каким?

— Эсперанто хотя бы... Языком, понятным каждому.

— А русский?

— Будут изучать, как мы теперь изучаем латинский, для того, чтобы знакомиться с литературой предков.

— И все будут говорить на одном языке?

— Да.

— Как это нелепо.

Феде мало было русского языка. Он с Мишей говорил «по-фетински», что состояло в том, что все слоги читались в обратном порядке и говорили вместо: «пойдем кататься на коньках» — «демпой сятатька ан кахконь», а с Липочкой

одно время объяснялись «по-пепски», что состояло в том, что к каждому слогу прибавляли букву «п» с соответствующей гласной и та же фраза выходила: — «попойдепем капатапатьсяпа напа копонькапах», это было еще труднее и забавнее... И вдруг — эсперанто!

— А как же Гоголь? — вдруг сказал Федя. — Неужели и «Тараса Бульбу» на эсперанто будут переводить?

— Я думаю, что Гоголя вообще переводить не будут. Таких книг будущему человечеству не надо.

— То есть как это?

— Это не полезные книги. Человечеству незачем набивать свои головы бесполезными сочинениями.

— А что полезно?

— Все, что может дать человечеству счастье.

— А сколько счастья мне дал Гоголь! — воскликнул Федя. — Нет, Ипполит, этого не будет. Не будет того, что поругают наш чистый русский язык, что не будет нашей великой веры православной, наших красивых церквей, не поругают моей прекрасной дамы сердца, не оскорбят Россию! Я не допущу этого! Мы, рыцари России, станем на ее защиту!

И Федя, не дожидаясь, точно боясь возражений Ипполита, Лизы и Липочки, быстрыми шагами вышел из гостиной.

В темной столовой он наткнулся на мать. Она приняла его в объятия, прижала к груди и, нагнув ему голову, целовала его в упрямые волосы, вихрами спадавшие на лоб.

— Как ты вырос, Федя, — говорила она. — И не достанешь до твоих волосиков. Какой ты у меня хороший, умный, чуткий, Федя... Милый Федя. Будь всегда, всегда таким...

Слезы капали на лоб Феде. Плакала его мама.

— Люби, Федя, люби Россию, люби, как меня любишь! Как мать твою! Люби Россию!.. Пусть она всегда будет твоею дамою сердца.

XI

Откуда явилась у Феде эта сильная, страстная любовь к Родине? Где взял он умение понимать величие и красоту России? В гимназии его не учили этому, серьезных книг он не читал. До Достоевского еще не дорос и понять его не мог.

Сказалось то, что он был «маминым любимчиком». А для Варвары Сергеевны Россия была все. Как ни была она подавлена домашними заботами, «мелочами жизни», ее сердце продолжало гореть тою великою любовью и пониманием

России, какою горели женщины ее века. Она-то находила время читать и перечитывать Достоевского. В самой себе она находила струны, которые отзывались на каждую родную красоту, и она умела подметить ее в самых «мелочах жизни» и передать ее Феде.

Едва кончились уроки в гимназии, Федя закидывал ранец за спину и бежал через улицу домой. Дома его ждала мама, дома на него с визгливым радостным лаем бросалась Дамка, дома терся у его ног, выгибая спину и задрав кверху хвост султаном, Маркиз де Карабас. Дома было хорошо, и товарищи по классу не могли отвлечь его от дома. Дома ждала прогулка с матерью, всегда по хозяйственным делам...

Надвигались на город зимние сумерки, но еще огней не зажигали. Сквозь громадные стекла магазинов, наполовину разукрашенные морозом, гляделись выставки товаров. Все такие знакомые, родные. Все вывески были изучены наизусть.

Часовой магазин на углу Загородного гляделся в морозную улицу десятками часов, и главные — большие стеклянные с золотыми стрелками — показывали три. Напротив, в маленьком двухэтажном доме, была продажа певчих птиц.

— Мама, перейдем, посмотрим,— говорил Федя.

Снег был глубокий, чуть рыхлый, желто-серый посередине, где было сильно наезжено санями, и белый с краев. Весело неслись маленькие извозчичьи лошадки, и шерсть от пота была на них курчавая, завитками, а когда останавливались они, пахучий пар поднимался над их спинами. Иногда, красиво выбрасывая ноги, мчался рысак и, когда попадала нога на камень под снегом, сверкала искра и слышался четкий короткий стук подковы, а потом скрипел полоз.

В мягких сумерках тонула перспектива Загородного, и последние отблески бледного зимнего солнца отражались на золоте купола белой Владимирской колокольни.

Все родное, изученное с детства.

Славно пахло морозом. Люди шли румяные, улыбающиеся, и пар шел у них изо рта и ноздрей и окутывал легкой дымкой, и точно пастелью были нарисованы лица. Дамы и барышни были в вуалях, и вуали забавно намокали у губ. Бежали навстречу вереницами, по две, по три гимназистки Мариинки и за ними горничные с связками книг и с сумочками рукодельными и с завтраком.

У пяти углов уже светился желтыми огнями газовых рожков большой «колонияльный» магазин братьев Лапных, и веселили в нем глаз Феде горы желтых апельсинов,

мандаринов и лимонов, яблок и груш, банки с вареньем, пастилы.

Небо наверху было фарфоровое, матовое, бледно-голубое и тихо гасло на глазах у Феди. И когда, обгоняя, пробежал с лестницей на плече фонарщик и зажигал фонари, небо становилось темным, тонули в прозрачной вязкости ночи крыши высоких домов и уютнее, как старый дом, становились улицы, обвешанные гирляндами золотистых огней.

Федя шел рядом с матерью, неся ее ковровый мешок, и Варвара Сергеевна любовалась им. Он на целую голову был выше ее и в своем легком старом пальто казался стройным и мужественным. Синяя фуражка была надета на правый бок, и слегка выбивались русые кудри. Мороз посеребрил их на концах. Над верхней губой Варвара Сергеевна заметила у сына легкую тень и, точно только сейчас увидела, спросила:

— Что это, Федя?.. Да никак у тебя усы растут?

Федя ничего не сказал. Красное от мороза лицо его расплылось в довольную, счастливую улыбку.

Они проходили по Чернышеву переулку мимо большого сада Коммерческого училища, где из-за железной решетки голые кусты и деревья протягивали серебристые ветви, все в инее, точно обсахаренные. За решеткой лежал белый ровный снег, и сад, теряясь в сумерках, казался бесконечным.

На Фонтанке, где еще не зажигали огней вдоль набережной, были навалены грудami сосновые и березовые дрова. Стояли тяжелые сани с койками, запряженными рослыми, красивыми, могучими лошадьми в черной сбруе с медным набором. Звонко раздавались голоса кладчиков, щелкали, падая с треском, поленья и, покрывая все голоса, кричали подравшиеся громадные, ломовые жеребцы. Издалека, от Самсониевского моста, с катка, неслись звуки военного оркестра. Играли все того же «Тигренка», которого пели летом у Семенюк.

— В России всего много,— говорила Варвара Сергеевна,— все свое. Дрова пришли летом по Тихвинской и Онежской системам каналов из лесов, которым конца-края нет... Всю Западную Европу уместить можно на нашем северном крае — и все леса... И везде работают русские люди, и русские лошади везут заготовленный лес. Маленькие, крепкие вятские, пермские лошадки, финки, а здесь по городу тамбовские и воронежские битюги. Нигде нет такого богатства, как у нас. И никакой народ не мог бы, Федя, так трудиться, так приспособиться, как русский народ... Все, все — свое... Только баловство одно — иностранное...

Темными гранитными беседками, усыпанными снегом, с фонарями на цепях, надвинулся на них Чернышев мост, и чуть качались доски под ногами лошадей в его разводной части.

И когда перешли его, Варвара Сергеевна остановилась у большой полукруглой площади.

— Смотри, Федя,— тихо сказала она, сжимая его красную от мороза руку маленькой ручкой в теплой шерстяной перчатке.— Какая красота! Была я молода и где, где только я не побывала. Была в Венеции, была в Риме, в Париже — любовалась аваню Елисейских полей. А вот этот закуток среди бледно-желтых зданий с белыми колоннами, уголок строгого Александровского стиля, я не могу не любить. Зимой, в сумерки короткого дня, хорош он. Смотри, Федя, смотри и люби... красоту своей Родины!.. Запомни: это стиль! Тут ни одной линии ни прибавить, ни убавить нельзя!..

Небо уже было темно-фиолетовым, как фон портрета на старой миниатюре, писанной на кости. Но еще видны были струи белого дыма, что поднимались из труб и исчезали в сумерках. Большие черные окна министерских зданий, арки ворот были мягки, точно таили еще в себе свет прошедшего дня. Строгая, ровная уходила вправо Театральная улица и замыкалась чуть видной, совсем прозрачной громадой Александринского театра. Все было строго, подтянуто, как часовой того времени в кивере с длинным султаном, в тесном мундире и узких лосинах.

— Видишь, Федя, какие мы!.. Ты посмотри: маленькие колонки под окнами, большие колонны фасада! Запомни, Федя... Это грация чистого стиля.

Как же было не любить Россию!? Как не сделать ее своею дамою сердца, когда и сама мама, милая, добрая мама, мама, которая одна все знает и понимает, сказала ему, что она — красота!..

ХII

На Щукином дворе у Варвары Сергеевны были свои поставщики. В громадной лавке братьев Лапшиных, торговавших с Берлином и Лондоном и отправлявших за границу в зашитых рогожами корзинах партии мороженных сибирских рябцов и тетерок, Варвару Сергеевну, покупающую на копейки, встречали как родную.

Она была старая покупательница. Двадцать лет ходила

она в эту лавку, и на глазах хозяина и сидельцев выросли ее дети.

— Что, матушка-барыня, давно жаловать не изволили? — снимая картуз с лысой головы, говорил бородатый хозяин, ласково из-под очков глядя на бедно одетую, в старом салопчике на беличьем меху, Варвару Сергеевну. — А сынок-то, Федор Михайлович, маменьку переросли.

Федя смотрел на горы дичи, наваленной на полу громадного сарая. Шесть молодцов в коротких лисьих шубах, повязанных передниками, бойко кидали серых мягких рябчиков, пестрых свиристелей и отсчитывали их по сотням.

«Русские рябчики.. — думал он. — Все ее, моей мамы, сердца — России. Ишь какое богатство!..»

От Лапшиных прошли внутрь двора, где под громадными навесами в сотнях широких и длинных корзин, в которых можно было уместить взрослого человека, краснела клюква, брусника, лежали румяные яблоки и золотистая морошка, где в ящиках из тонких досок тонул в опилках зеленый и темный крымский, астраханский и кавказский виноград, где стояли громадные банки самых различных варений и где Федя еще больше проникся уважением к своей Родине, такой на вид бедной и скромной, но так щедро засыпавшей дарами своих обитателей...

А когда мама, купив все, что было нужно, крикнула извозчика и поехала с Федей домой, — на Чернышевом было темно, тянулись сани с седоками, обгоняли тяжелые койки, наваленные кубическими глыбами снега, лежащими точно куски исполинского сахара, извозчик сидел боком на облучке, дергал вожжами и что-то длинно и охотно рассказывал Варваре Сергеевне. И было хорошо в переулке...

Против Лапина, где завернутые в темно-синюю бумагу, с обнаженными белыми, сверкающими при свете газовых рожков верхушками стояли на цыбиках чая сахарные головы, Федя слез и пошел до Троицкой, к Филиппову, за булками.

Он шел по тесной каменной панели, густо посыпанной желтым песком, в тиши пустынной улицы. Пар надотом сверкал радугою при блеске редких фонарей. Он читал вывески: «Продажа дров», «Продажа вин», «Ренсковый погреб» и вспоминал анекдот, рассказанный ему дядей Володи́ем иностранце, который уверял, что в Петербурге все купцы носят одинаковые фамилии: Продажадровы и Продажавины... «Почему ренсковый погреб? Откуда это слово? Продажа рейнских вин? От Рейна, что ли?» И слово ренсковый ему было мило. Такое родное, русское, петербургское.

«Или вот,— думал он, глядя на вывеску «Modes et robes *,— как изводили мы mademoiselle Suzanne, когда читали нарочно: «модас эт робес»... Хорошая mademoiselle Suzanne. Как она, бедная, постарела после смерти Andre. Верно, и правда любила его сильно... Вот стоит! Любить кого-нибудь. Земного... Кто умереть может. Я вот люблю... Бога... Маму... ну всех родных, конечно, но больше всего я люблю Россию... Петербург... Санкт-Петербург... Питер — все бока повиытер... Петрополис... Петроград... какое глупое слово — Петроград... А русское?.. но глупое... нельзя никак переименовывать,— как назвали, так и есть... У Пушкина: «... и всплыл Петрополь, как тритон, по пояс в воду погружен»... Но мне больше нравится: «Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный вид... Невы державное течение, береговой ее гранит...» Пушкин, видно, тоже любил Петербург... Он был гений. Я таким, как Пушкин, не могу быть, но я люблю Петербург и люблю Пушкина, потому что он мой. Он русский... И не русский, а арап. Арап Петра Великого!.. Боже, какая ерунда!.. Так и тетя Лени — немка. А какая она немка! Такая же петербурженка, как и мы... Фалицкий как-то пел:

А вот и паша Леничка, Леничка
Из Коломны, немочка, немочка...

А мама сердилась... Краснела пятнами. Не люблю я Фалицкого... Липочка говорит, что он «старый пошляк». Я и Липочку люблю, хотя она всегда смеется надо мною. Она тоже петербурженка... Ну совсем как парижанка, только гораздо лучше. Что Париж? Въедешь и угоришь. А Питер — все бока повиытер”...

У Филиппова на окнах, над куличами — громадными «именинными» кренделями в два аршина величиною, желтыми бабочками горели газовые рожки.

Двойная дверь на блоке скрипела, впуская и выпуская покупателей. На деревянном полу были густо насыпаны белые опилки, и от нанесенного снега было мокро. Магазин был тесно набит народом. Кто стоял у прилавков, кто, стуча медными пятаками о мраморный край у кассы, покупал марки, которыми расплачивался за покупки. Белые от муки, пухлые, расторопные продавцы в рубахах и передниках, с волосами, подвязанными на лбу ремешком, проворно подавали бумажные пакеты и носились за прилавками, уставленными высокими цилиндрами из кренделей, заварных с

* Моды и платья.

маком и солью, мелких румяных сушек, овальных, розовых, миндальных, маленьких, темных, сладких, рассыпчатых и больших, в которых голову можно было продеть. В корзинах и ящиках лежали красно-коричневые, рассыпчатые сухари, маленькие желтые сухарики, сухари, осыпанные крупным кристалльным сахаром и толченым орехом, и сухари, политые белым и розовым сахаром. За стеклянным прилавком горами лежали калачи, сайки простые и заварные, мучные, соленые, витые, сладкие плюшки, крендели и гуськи с сахаром и изюмом. Отдельно грудками лежали маслянистые подовые пирожки с луком, мясом, капустой, яйцом и вареньем и слоеные тонкие, хрустящие.

В ярком свете, в теплом воздухе было парно от людей. У Феде на ресницы налип иней, от этого искрились лица продавцов и покупателей. Шумно было от голосов.

— Два калача по три!

— Сайку в пять и два кренделя по полторы!

— Получите за два пирожка шесть копеек!

— Фунт сухарей ванильных в тридцать!

Тут Федя увидел Ляпкина. Он ел пирожок. Сало текло по его пальцам, и он с набитым ртом доказывал что-то студенту и курсистке, тоже жевавшим пирожки.

«Богата Россия», — подумал Федя. Поклонился Ляпкину и стал протискиваться к прилавку.

Когда вышел от Филиппова, в темную ночь уходил уже Невский огнями уличных фонарей и освещенными окнами магазинов. На Думе пятном светились часы, и в туманной зимней мгле чуть намечалась адмиралтейская игла. Все было прозрачно.

У панели стояли лихачи. Их лошади, нарядные, почти такие же хорошие, как лошади Савиной, были накрыты пестрыми лохматыми коврами. Кучера, красивые, бойкие, нахальные, зубоскалили на панели.

«Ну где есть такие люди? — подумал Федя и с любовью посмотрел на лихачей. — Завидное житье... Эх, был бы я лихачом, не надо бы учить латинскую грамматику».

Вспомнил двойку, полученную утром у Верта за перевод метаморфоз Овидия. Нет, не давались ему латинские стихи.

«Плохо, — подумал Федя. — Этак я и на второй год останусь... Ну что же... стану лихачом!.. Пожалуйте, кавалер, прокачу на американской шведке!..»

Но прибавил шагу. «Зубрить дома надо. Зубрить... Кербер-грек завтра вызовет, Гомера, сукина сына, переводить...»

Дома, после обеда, в маленькой комнате горело две лам-

пы. У Миши — под зеленым колпаком, у Феди — под голу-
бым. Миша, закрыв глаза, зубрил латинские предлоги.

— Ante, apud, ad, adversus, circum, circa, citra, cis, ergo, contra, ...хоть бы сгорела проклятая гимназия!.. Чтобы черти
начихали на плешь сволочи Митьке! — потягиваясь провор-
чал он безразличным тоном.

Из гостиной по коридору неслись гаммы. Mademoiselle
Suzanne занималась с Липочкой.

Федя сидел за своим столом. Мягко светила лампа. Мар-
киз де Карабас важно разлегся на столе, подле ранца, и пре-
зрительно вытянул серый в черных кольцах хвост вдоль гре-
ческой грамматики. Он щурил зеленые глаза на «Одиссею»
и сладко мурлыкал. Должно быть, читал про Пенелопу.

Федя, заткнув уши, углубился в жизнеописание графа
Суворова-Рымнического, князя Итальянского... Он ушел в да-
лекую поднебесную высь Сен-Готарда, он бился на Чертовом
мосту и влюбленными глазами смотрел на маленького ста-
рика на казачьей лошади в «родительском» плаще, пропу-
скавшего мимо себя замерзавших солдат. «Чудо-богатыри, —
слышалось ему, — неприятель перед вами дрожит!»

Какие-то невидимые струны пели в его душе, и ему слы-
шался голос кумира солдат, великого русского полководца:

«Помилуй Бог, как хорошо!.. Бог, отечество, государь...
Горжусь, что я русский!»

ХIII

Ипполит стоял посреди гостиной, против Феди, и декла-
мировал нараспев:

— Победоносцев для синода, бедоносцев для народа, до-
носцев для царя, рогоносцев для себя.

— Кто это Победоносцев? — спросил Федя.

— Обер-прокурор святейшего синода и друг царя.

— Ты его знаешь?

— Нет, не имею этой великой чести.

— Как же ты говоришь так про него?

— Слыхал, что он пишет сочинения: о России, о право-
славии, о самодержавии. Он, Катков и Аксаков — три кита
славянофильства, православия и царизма — видят в России
какое-то новое откровение.

— А ты читал?

— Ну! Вот нашел! «Я глупостей не чтец, а пуще образ-
цовых». Буду я читать различные «Московские Ведомости»
и «Русские Вестники».

— Может быть, и очень умно написано.
— Патриотично, значит — не умно.
— Разве глупо — любить Россию?
— Россия самая печальная страна в мире. За что ее любить?

— Но ты — русский.

— К сожалению — да. Но я стремлюсь стать европейцем, даже и не европейцем: и это заблуждение... человеком. Человек — это звучит гордо. А русский?.. Что такое русский?

Феде больно было слышать это от Ипполита. Спорить с ним он не смел. Ипполит был старший брат, в седьмом классе и с первого класса шел первым учеником. Когда он приносил домой «месячную ведомость» с отметками, она вся состояла из пятерок. Успех, внимание, прилежание — пять, пять, пять. Вся ровная, точно какой-то красивый узор на бумаге. Только батюшка, отец Михаила, приставил к первой пятерке маленький минус, но такой маленький, что его и незаметно... У Феде, увы, — пестрота была страшная. Толстые двойки роковыми пятнами стояли и против греческого, и против латинского, и жирная пятерка с плюсом, поставленным батюшкой за благочестие и чтение на клиросе, не скрашивала ведомости. Тройку вклеил немец, и тройка стояла у математика. Не мог Федя усвоить латинского стихосложения и почему надо читать в стихах *vires* с ударением на «е», когда настоящее ударение на «i». И какое «а» долгое и какое короткое, и почему одно долгое, а другое, точно такое же, — короткое. Он шел к Ипполиту. Ипполит брал книгу, откидывал черную прядь длинных волос от лба.

И красивые лились стихи.

— Ну, читай, Федя.

Ничего не выходило. Ломался язык, не было созвучия, та же фраза звучала грубо.

Насмешливо горели карие глаза Ипполита.

— Ах, Федя, но это же так красиво!

Да, у Ипполита — было красиво. Он мог. И Федя чувствовал превосходство Ипполита над собою, и потому ему так неприятно было, когда Ипполит издевался над Россией.

— Романовы — обмановы... Рюриковичи... Романовы. Чушь, Федичка, чушь, — говорил он, покачиваясь. — Ты не знаешь истории. Ты запутался в хронологии, ты родословной не выучил.

И у Ипполита все выходило иначе и выходило — гадко. Да... самая печальная страна в мире.

Первый Романов, Михаил Федорович, «Миша» — был

умом слаб, не развит и не образован. Правил умный и хитрый Филарет. И как-то так выходило у Ипполита, что все эти Михайлы Федоровичи и Алексеи Михайловичи думали не о России, а о себе, копили себе вотчины, пили народную кровь.

— Какие Романовы,— говорил Ипполит.— Их нет. Возьми рюмку вина и при каждом браке наливай половину водой. Чистая вода осталась... Теперешний — на трубе в оркестре играет... и прескверно, вся его и слава. А кругом: средневековые... Кем окружил себя: Вайновский, Делянов, Катков, Победоносцев — и сыск и застенки. Сидит на штыках... Только не прочно это. И Россия, старая дура.

— Ипполит,— со слезами говорил Федя,— но ведь это доказать надо!

— И доказывать не надо. Ясно, как божий день.

— Какая же страна, по-твоему, заслуживает подражания?

— Франция... Англия... Америка... А в общем — никакая. Государство — это ненормальность. Не должно быть никаких государств, никаких границ, никаких стеснений. И мы этого достигнем.

— Кто же «мы»?

— Мы — народники. Мы пойдем в народ и научим его. Мы просветим его. Ты, Федя, неразвит. Вся беда твоя в том... Твое мышление не может выбиться из рамок: семья, церковь, отечество. Это — детство, но взрослый должен понять, что не это нужно. Я бы посоветовал тебе кое-что читать, может быть, ходить со мною к Бродовичам, там бывают умные люди. Вот теперь решено спланировать студентам в землячества.

— Для чего?

— Мало ли для чего... Для оппозиции правительству.

— Но что худого сделало правительство?

— Гм! Долго рассказывать. Все худо.

Федя мысленно прошелся по Щукиному двору, побывал у Филиппова, в Эрмитаже, в Исаакиевском и Казанском соборах, в Морском музее, постоял на Николаевском мосту, полюбовался на вереницы пароходов, стоявших вдоль Невы,— все было хорошо, прекрасно, все сделано «правительством» — императорами... Но как сказать это Ипполиту? Не поймет его Ипполит! Не захочет понять! А где же убедить его, когда он, Федя, неразвит.

— Видишь, Федя,— опираясь на рояль, сказал Ипполит,— надо так устроить, чтобы не было гнета сверху и темноты снизу. Нужно... Нет, ты не поймешь! Не можешь еще

ты этого понять. Ты — в прошлом, я — в будущем, и это будущее никак не должно походить на прошлое. В будущем — царь равен нищему. Нет царей. Как в сказке Андерсена, если увидеть правду — царь голый. Ничем он от других людей не отличается. Никакого патриотизма... Патриотизм — это возвышение своей народной семьи над другими, а это недопустимо. И вот, Федя, почему я сознательно повторяю, что Победоносцевы, Аксаковы, Катковы, Достоевские, Пушкины, Гончаровы — вредны. Одних надо уничтожать, с другими надо бороться более сильным словом.

— Как уничтожать?

— Как уничтожили Александра II, как хотели уничтожить Александра III Шевырев и Ульянов, как хотели уничтожить Николая I Рылеев, Муравьев и Пестель. Эта борьба не нами начата. Лучшие, благороднейшие умы России мечтали об этом.

— Мечтали... об убийстве... лучшие... благороднейшие умы?!... Но за что?! За что? — бормотал весь красный Федя.

— Не «за что», а «потому», что они стоят поперек дороги. Они мешают.

— Но за ними — народ... за ними Россия.

— Народ — ничто. Не народ ли дал Разина, Болотникова, Булавина и Пугачева, не народ ли устраивал бунты в Аракчеевских колониях? Россия... Да, с нею придется побороться и, если нужно... и ее уничтожить.

Федя низко опустил голову и тихо, на цыпочках, вышел из гостиной.

Тяжело было у него на душе. Буря бушевала в юной груди! Точно огромная птица билось сердце, и тяжело поднималась грудь. В виски стучало. Брат... Брат... Это сказал брат... старший, любимый, умный, уважаемый брат... Надо уничтожить его даму сердца Россию. И он молчит!.. Если бы оскорбили Мусю Семенюк, если бы обидели Савину, он встал бы на защиту их, дрался бы на дуэли... Но холодно и жестоко говорили, что нужно уничтожить Россию, и он молчал! Что же, может быть, и правда: он молод и глуп... он не видит того, что так ясно и просто Ипполиту, и о чем смело говорят у Бродовичей.

А мама?

Что же?... Ипполит как-то и про маму сказал, что мама другого поколения. Она отсталая женщина.

Холодно было на сердце. И те, за кого хотел ухватиться Федя, уже заранее были заклеены презрением. Батюшка-поп, которому выгодно держать народ в темноте, дядя Володя — офицер и ретроград... Отец?... Но отец?... Отец тоже часто говорил непонятные речи... Он гордится, что он либерал.

Его дама сердца не прекрасная, здоровая, молодая женщина, с губами крепкими и пахнущими яблоками, с густыми русыми косами... Она — размалеванная старуха с гниющими зубами и плешивой головой...

XIV

Михаил Павлович заметно опускался. Варвара Сергеевна видела это и, что ее особенно огорчало и расстраивало, подметили это и дети. Он ходил неряшливо одетый, «манкировал» службой и лекциями, либеральничал в клубе. Фалицкий стал неотлучным его спутником, и они вместе пили, играли и шатались по клубам. Из благородного собрания на Мойке они перекочевали в коммерческое, а потом в приказчиный клуб на Владимирской и чаще играли в макао или паровоз, чем в винт и безик. В не совсем трезвом виде Михаил Павлович при детях хвастался какими-то победами над клубными дамами и называл их «мушкатерками». Он был противен в эти минуты с голым черепом и растрепанными седыми бакенбардами.

Но по-прежнему к обеду семья собиралась и Михаил Павлович председательствовал за столом. Прежде он рассказывал о службе, о тех людях, с которыми сталкивался, говорил о внешней политике на основании передовых статей газет и разговоров на службе, о значении лорда Биконсфильда, о палате депутатов в Париже, и дети, слушая его, развивались, получали новые понятия. И было заведено, что никто не смел вставать из-за стола раньше отца, что все крестились, садясь за стол, и крестились, уходя от обеда. Михаил Павлович никогда не засиживался после обеда, но вставал, гладил по голове кого-нибудь из детей, задавал два-три вопроса и уходил в кабинет, где отдыхал часа полтора перед клубом.

Дети боялись отца и не смели возражать ему. Что сказал отец — то свято. Они росли своею жизнью, у него была своя, полная важной тайны жизнь. Им были непонятны и отдых после обеда, и клуб до двух часов ночи, и карты, и проигрыши, от которых плакала мать. Они осуждали отца, но молчали. Из-за отца часто вставали из-за стола без третьего блюда и на вопрос кого-нибудь из детей: «Мама, а что же на третье?» Варвара Сергеевна все чаще отвечала: «кресты!», что означало, что надо креститься и уходить. «Кушайте, дети, супа побольше», — говорила Варвара Сергеевна, — больше ничего не будет. По маленькому кусочку вчерашней говяди-

ны». «Вчерашние» блюда все чаще появлялись за столом. Мать ходила в одном и том же платье, глубже прорезывали ее лоб заботные морщины и змеились пучками у висков.

Старилась мама, милая мама, старилась от мелких невзгод жизни, от будничной борьбы с бюджетом, который никак не удавалось свести от двадцатого до двадцатого. Должали по лавкам, перешивали куртки Ипполита на Федю и Федины на Мишу и хлопотал Михаил Павлович о пособии то на лечение, то на воспитание детей.

Суровая жизнь вплотную подходила к семье Кусковых, но не могли они бросить тетю Катю, не могли прогнать бездомную *mademoiselle Suzanne* и не решались отдать Лизу в институт. По-прежнему обедали на скатерти и с салфетками, но «фамильное» серебро со вздохами Варвара Сергеевна снесла в ломбард и переписывала закладные...

Боролись с жизнью, как борется пловец, ухватившийся за обломок мачты. Грозные валы налетают на него и грозят смыть его, но не так они, как мертвая покойная зыбь бесконечного морского простора истощает силы пловца своей непрерывностью.

Уже не крестились, садясь за стол, дети. Стыдились этого. Молча сидел и пил рюмку за рюмкой холодную водку Михаил Павлович, мрачно косился на детей, точно ожидал слова осуждения. И раздражался без причины.

Прилипали кусочки лука к растрепанным бакенбардам, и падали хлебные крошки на вытертые лацканы старого сюртука. Неряшливым стариком выглядел отец, и обаяние и страх перед ним пропали. Чувствовал это Михаил Павлович и был готов грозным окриком поддержать семейную дисциплину. В напряженном молчании проходили скудные, скромные обеды.

— Ты что смотришь, Ипполит?.. Что водку еще пью?.. Смотри!.. А отца осуждать не смеешь!.. Не смеешь!.. Понял!.. Я тебе говорю!..

Тонкая усмешка змеилась на бледных губах Ипполита, пятнами краснела Варвара Сергеевна, и слезы набухали в больших глазах Липочки.

— Оставь его, Михаил Павлович,— тихо говорила Варвара Сергеевна.— Ну, что уж!

— Ты меня, матушка, не учи! Как детей воспитала!.. Миша ножом ест. Этого показать не могут... Кухаркины сыновья!.. Либералами стали... отцовского авторитета не признают.

— Ты, папа, сам говорил, что нужно быть либералом,— тихо, но настойчиво сказал Ипполит.

— Как!?... Что я говорил?.. Вздор... Ерунда...— Михаил Павлович сел боком на стул и раскурил трубку. Лицо его стало красно, глаза беспокойно бегали, пальцы со спичкой дрожали и не попадали в чубук. Обед был кончен, но все сидели с беспокойным чувством, что начинается беседа и будет чей-то «бенефис», кто-нибудь будет «у праздника». Все сидели за столом натянуто, глядя в пустые тарелки. Федя катал мякиш черного хлеба и тихонько ел грязные катышки. Лиза брезгливо пожимала плечами.

— Дурак!.. дурак!..— бормотал Михаил Павлович, и дети знали, что это относилось к нему самому...— Дурак,— уже громко проговорил он.— Либерал... ты понимаешь, что такое либерал? А?.. Да, говорил... Каждый человек должен быть свободных понятий, иметь свои убеждения... Говорил... Но надо понимать,.. наука...

— Твоя наука, папа,— уже смело, принимая бенефис на себя, проговорил Ипполит,— нам не годится. Это отсталая наука.

— Как?.. Что ты говоришь такое? Вздор! Вздор мелешь... Наука одна. Нет моей и вашей науки. Научные истины вечны и непреложны.

— Но методы их применения изменяются. Это все равно, как человек, знающий только арифметику, мучается над решением задач и должен заучивать особые способы вычислений, похожие на китайские головоломки, а когда узнает алгебру, легко, путем уравнений, решает эти самые задачи...

— Вздор... Это не то,— покрывая себя клубами синего дыма, сказал Михаил Павлович.

— У вас,— продолжал Ипполит,— играл роль патриотизм, у вас были герои: генералы, полководцы, ученые, изобретатели, вы ставили им памятники. Вы выбирали единицы из народных тысяч и носились с ними, забывая народ... Мы отрицаем патриотизм и мы берем народ, весь как он есть, и ставим его на пьедестал, несем ему и свои способности, и свои жизни.

— Народничество,— пробормотал Михаил Павлович, туго усваивая захмелевшими мозгами мысль Ипполита.— Что же, может быть, ты прав... А ты знаешь... ты-то, молодкосос, знаешь, что надо народу?.. Жизнь отдаешь ему? На черта ему твоя жизнь!

— Образование...— сказал Ипполит.— Развить, поднять народ до себя, устранить причины, мешающие этому.

Восторженными, любящими глазами смотрела Лиза на двоюродного брата. Он рисовался ей героем. Миша поднял голову. Ярче горели пятна на лице Варвары Сергеевны.

Федя уткнулся в тарелку, и полные щеки его покраснели.

— Ты прав,— вдруг поднимая голову, сказал Михаил Павлович. Жесткая хмельная улыбка глядела из-под мокрых усов.— Ты прав, но ни ты, никто из вас не годны для работы... Ты кто? Ты такой же профессор, как я!.. И ты, как я, будешь приходить каждый день в аудиторию и говорить все теми же и теми же словами. «Прошлый раз, господа, мы разобрали причины, препятствующие развитию скотоводства на севере Европейской России, теперь мы обратимся к цифровым данным»... Да, да, сегодня, как в прошлом году, как двадцать лет тому назад... Федя... Федя... сапожником будет... Черт его знает кем... Надо его в ремесленную школу отдать... Лиза... Ну, Лиза хорошенькая, и, если умна будет, может на содержание поступить

— Михаил Павлович! Опомнись! — нервно воскликнула Варвара Сергеевна.— Тут дети. Они не должны и слов таких знать.

— Э, матушка! Побольше нас с тобой знают. Что же, потвоему, это нечестно, недобродетельно?

— Оставь, Михаил Павлович.

— Я тебя, матушка, спрашиваю,— возвышая голос до крика, сказал Михаил Павлович,— это нечестный хлеб?.. Мария Магдалина... Христос осудил ее? И поверь, матушка, наши клубные мушкетерки получше будут всех ваших барынь... Ростишь дочерей, а о том думала, мать моя, что с ними делать? Замуж не выдашь. Не те времена. Где же конкуренцию выдержать с клубными гетерами. Туда идет все красивое... А Липочка... Что же ей фельдшерицей быть?.. Клистиры мужикам ставить?

— Михаил Павлович!

— Пусть привыкают... Ты, Ипполит, говорил: народ! Народу?.. Что ему нужно? Черт его знает что! Вас тут сидит пять человек молодежи, что вы ему дадите? Его надо тащить из грязи, как вы потащите? Э, черт! Климат ему переделать надо, избы каменные построить, как у немцев... Можешь?.. Можешь?.. Черт!.. Учителя... Фельдшерицы... мушкетеры... обстригутся и в народ лезут, потому лишь, что уроды... Были бы красивы — замуж пошли или на содержание... Взор... Вы,.. Ты, Ипполит!.. Вы все никчемные люди, продукт вырождения сословия. Тут вы не нужны, а там вас не примут потому, что народ сильнее, здоровее, да и умнее и по-своему образованнее вас!..

— Успенский, Златовратский... — начал было Ипполит, но Михаил Павлович перебил его:

— Не тычь мне именами! К черту!.. Я давно ничего не

читаю. Ничего, кроме «Нового Времени» и «Правительственного Вестника»... понял? Я чиновник... И это вы,— вставая со стула, кричал Михаил Павлович,— вы и ты, матушка, нарождавшая их мне, виноваты, что я чиновник... рыцарь двадцатого числа, ничего не знающий, кроме своих идиотских лекций... И если топлю в вине свои мысли — вы виноваты... Может быть, и я мечтал, как вы, о народе, о славе, о подвиге... и вы... к черту, к черту!..

Михаил Павлович вышел из столовой, прошел тяжелыми шагами к кабинету, и было слышно, как он хлопнул за собою дверь.

— Это черт знает что такое! — вставая сказал Ипполит и пошел к себе.

Варвара Сергеевна плакала. Федя обнимал ее за шею и говорил: — Милая, милая мама, прости, прости нас!

Девочки истерично смеялись, и странно блестели глаза у Лизы.

Тетя Катя прибирала с *mademoiselle Suzanne* со стола. Она недовольно фыркала и ворчала:

— Старый пьяница... Папаша... Хорош отец!.. А эти дуры и рады! Кобылы!..

Нехорошо становится в семействе Кусковых.

XV

На Масленой на Царицыном лугу были устроены балаганы. Танечка, сестра Фени, та самая горничная, что осенью соблазнила Федю гусарским мундиром, играла в самом большом балагане № 1 Малафеева — царевну. Она забежала к сестре, вызвала на кухню Федю и сказала:

— Непременно, барин, побывайте в балагане, посмотрите, настоящая я артистка, заправдашняя, или не стоит марасться. На репетиции газетчик один был, говорил, что очень хороша. А костюмчик: одно загляденье. Голубой атлас с позументом: прямо Россия, да и только.

Места в балаганах были от рубля до гривенника. Тетя Лени дала Феде два рубля на балаганы, и ему хотелось обойти их все, послушать деда и закупить на лотках халвы, орехов и рахат-лукума. Все это можно было сделать, если побывать во вторых и третьих местах по 20 и 40 копеек, но ему хотелось хорошенько посмотреть Танечку, и он решил не смотреть «завоевание Америки», но зато взять у Малафеева первое место.

Уже от Симеоновского моста набережная Фонтанки, Кленовая аллея и Садовая были полны народом. В толпе дудели

свистульки, играли на гармонике, слышались пьяные возгласы и пение. Посередине улицы на гнедых, круто подбренных на мундштуках лошадях разъезжали конные жандармы в маленьких алых шапочках, отороченных черным каракулем, с белыми волосяными султанами.

С Марсова поля неслись музыка и глухие удары пушечной пальбы, изображаемой в балаганах. Большие деревянные сараи без окон, с широкими дверями и наружными лестницами тянулись вдоль Летнего сада. Подле был проложен тротуар из свежих досок, посыпанных песком. Он был затоптан снегом.

В первый балаган крикливо звала яркая большая, грубо намалеванная вывеска, изображавшая витязя на белом коне и перед ним старик в рубище. «Театр № 1 — Малафеева. Песнь о вещем Олеге» — стояло на вывеске.

За первым рядом балаганов волновалось черное море народной толпы. И как блестящие солнца на волнах, горели в нем медные каски солдат кавалергардов, конногвардейцев, кирасир и павловцев, как живые цветы колыхались султаны улан и алые, синие и малиновые верхи казачьих бараньих папах. Там стояли небольшие постройки с балконами и крышами с коньками, украшенными пестрой резьбой, кумачом и лентами. На балконах, над гогочущей толпою, похаживали деды с большими волнистыми бородами из пакли, с длинными усами и кустистыми лохматыми бровями, постукивали палкой по перилам и хриплыми голосами отпускали дешевые шутки в толпу или плясали с появлявшейся из-за алой занавески козою.

Гремели барабаны, выли трубы, играла гармоника, свистели дудки и жестко, на морозе, раздавались выкрики деда.

Тут же, внизу, в полутемных сараях, за длинными столами сидели и ели блины. Оттуда то и дело выскакивала толстая баба и кричала звонким голосом:

— А вот блины! С пылу, с жару, пятачок за пару!

Сквозь толпу шел сбитенщик и нес на животе закутанный холстами громадный чайник, окруженный стаканами, и кричал:

— Кипяток! Сбитенек! Освежись, честной народ!

Ярко в бледном синем небе, над черной толпой, горела гирлянда красных и лиловых воздушных шаров и тихо колыхался над нею громадный красный шар. Свистела у продавца свистулька, приглашая купить надувной шарик из белой резины с намалеванной забавной рожей. Тут же расставили торговцы лотки с черными мочеными дулями, сушеными вишнями и черносливом. Был у них еще и ма-

ленький бочонок с коричневым соком и тяжелые толстые граненые стеклянные рюмки. Под парусиновым навесом торговали горячими сайками, аппетитно уложенными на белом холсте. Над дощатой палаткой было написано: «Горячие берлинские пышки».

В гомоне толпы, среди всплесков короткого смеха, выкриков торговцев, музыки, треска выстрелов у стрельбищ, выделялись отдельные голоса.

— Ах, ну!.. Вот... Уложил!.. Ей-богу, братцы, уложил!..

— Да-а, растянул земляка!.. Эт-то подвел мину, равно как под турецкий пароход...

— Ну, дед!.. Одно слово: масляный дед!.. А коза к ему так и подъезжает... да не очистилось видно.

— Говорит: законная жона ему... это коза-то.

— Скажут тоже!.. Срамники!

Гимназисты в серых шинельках, дворники, горничные, приказчики, чиновники, солдаты, крестьяне пригородных деревень теснились плотными толпами на снегу, и раздавался кругом всего поля веселый залиvistый звон медных колокольчиков и бубенцов наехавших в Петербург чухонцев с маленькими низкими санками.

Еще дальше, вдоль домов площади, высились громадные ледяные горы. Непрерывно скатывались с них санки с визжащими девицами и громко ухающими мужиками.

Мимо этой разнообразной пестрой толпы медленно двигались придворные кареты, запряженные парами прекрасных лошадей, с кучерами и лакеями в красных ливреях, обшитых желтым позументом с черными орлами. Из окон карет выглядывали девичьи лица в безобразных капорах и зеленых пелеринах старомодного фасона. Это возили институток смотреть народное гулянье на балаганах.

Федя скатился с Маховым два раза с гор, ел розовое, малиновое, отзывающее клюквой мороженое у мороженщика, примостившегося подле самых гор со своею кадкой, укутанной красным полотном, слушал деда и уже в сумерках, как было условлено с Танечкой, подошел к крайнему балагану и у той кассы, где стояли офицеры и прилично одетые штатские, взял первое место — в рубль.

Только что кончилось представление и звонили к новому. Федя не без смущения занял номерованное место в первом ряду, на мягком стуле, позади оркестра. Совсем близко была яркая занавесь. Чей-то глаз смотрел через круглую дырочку на Федю... «Может быть, Танечка?» — подумал Федя, и ему стало неловко.

В балагане было холодно. Стыли руки и ноги. В задних

рядах публика топотала по доскам ногами и торопила начинать. Согревшийся в какой-то каморке оркестр вышел и сыграл марш. Взвилась занавесь. Представление началось.

Театр Малафеева щеголял своими постановками. Олег выехал на толстом белом коне с разукрашенным хвостом и гривой, в блестящем панцире и шеломе. Он зычным баритоном, играя черными глазами, вопиял к седому кудеснику:

Скажи мне, кудесник, любимец богов,
Что сбудется в жизни со мною,
И скоро ль, на радость соседей врагов,
Могильной покроюсь землею?

Драматическое представление прерывалось хорами, а во втором действии, где был изображен княжеский терем, и танцами.

Танечка, в высоком белом кокошнике с большими стеклянными жемчугами, с толстыми русыми косами, накрытыми кисеею, в светло-голубом сарафане, с обводом из меха горностая, вышла медленной важной походкой к рампе и, обращаясь к Олегу, но говоря в публику и медленно поднося руку к груди и ко лбу, начала говорить монолог.

У Феде сладко сжималось сердце. «Неужели,— думал он,— с этой царственной девушкой я боролся осенью, неужели это она поцеловала меня, крепко прижавшись плотными ровными зубами к губам!»

Белая, насурьмленная, с румянцем на щеках, с малиновыми, подрисованными сердечком губами, с подсиненными веками и подмазанными ресницами, с блестящими громадными глазами, она казалась Феде дивно прекрасной.

— О, князь! — говорила она,— тяжелое предчувствие томит меня, и страх заглядывает в сердце черным змеем! Мне снился мрачный сон. Напрасно приказал ты отдать коня. Он был твой верный друг. Не раз носил тебя он в сечу со врагами и выручал на поле битвы!..

И это Танечка, сестра горничной Фени, так говорила! Ее страстный голос прерывался, изо рта шел пар и глаза смотрели вверх с мольбою.

Потом она по желанию Олега танцевала русскую вместе с другими девушками. Ласково улыбались ее губы, сверкали белые зубки, и маленькие ножки в розовых чулках и туфлях выглядывали из-под длинного сарафана.

Играл оркестр и хор пел плясовую, приговаривая: «Ой дид ладо! Ой ладо, ладо, ладо!» Вприсядку пустились дружинники вокруг Танечки, а она ходила, пристукивая каблучком и помахивая платочком.

Наверху ревели от восторга и хлопали солдаты и мужики, рядом с Федей какой-то офицер снисходительно аплодировал затынутыми в белые перчатки руками. Танечка стрельнула в его сторону глазами, улыбнулась ему, но увидела Федю и послала и ему ласковую улыбку.

Представление кончилось. Федя пробрался сквозь толпу к небольшой деревянной пристройке балагана, около которой толпились солдаты, гимназисты и мастеровые. Тут было сумрачно, и свет фонарей Яблочкова, большими матовыми шарами висевших подле балагана, почти не достигал сюда. На растоптанном, порыжелом снегу скользили ноги, и пахло дешевым табаком, махоркой и лошадьми. В широкую дверь видна была лестница в уборные артистов.

Федя проскользнул в эту дверь и сейчас же наткнулся на малого в шубе с собачьим воротником и черном картузе.

— Господин! Сюда нельзя. Вам чего нужно? — сказал он, стараясь выпереть Федю обратно.

Ярко горела керосиновая лампа с желтым рефлектором и слепила Феде глаза, пахло смолою, свежими досками и краской. Было очень холодно, во все щели задувало.

— Мне надо видеть Татьяну Ивановну Андрееву... по делу, — сказал Федя.

— Татьяна Иванна, — крикнул малый наверх, — к вам гимназист. Пущать што ль?

— Сейчас сойду, — раздался голос Танечки.

— Ну, обождите, — снисходительно сказал малый.

Танечка в легких туфельках, в костюме царевны, накрашенная, совсем необыкновенная с большими подведенными глазами сбежала к Феде.

— Федор Михайлыч! Вот это мило с вашей стороны. Обождите маленько, я сейчас грим смою и переоденусь. Докатите на вейке меня до дома, я вас чайком побалую... И прощайте. А то холодно страсть... Простудиться эдак можно...

XVI

Памятуя изречение Козьмы Пруtkова, что «не рассчитав свои депансы, не след садиться в дилижансы», Федя проверил содержимое кожаного кошелька: было сорок копеек — два пятиалтынных и гривенник, и, ежели Танечка живет недалеко, — хватит.

Танечка вышла в шапочке и кокетливой кофте на меху. На ней были сырые высокие калоши.

— Что скоро? — сказала она. — Холодно страсть в уборных. Я торопилась. Ну, как играю?.. Неплохо?

— Вас куда, Танечка, отвезти? — спросил Федя, мучимый вопросом, хватит или не хватит денег.

— На Николаевскую, подле Разъезжей.

— Играете, знаете, Танечка, я не ожидал! Вы настоящая, прирожденная артистка!

— Ах! — сказала Танечка, — если бы Ипполит Михайлыч мне это сказали, я бы поверила. А вы... Боюсь, что надсмехаетесь надо мною.

— Нет, Танечка. Ей-богу, правда!

— А жест?.. Мимика? Я стараюсь чувство лицом показать.

— А как танцуете! Где вы учились?

— Танцы что! Мне бы в драматические хотелось выбиться. Ну да... что Бог даст! Офицерá смотрели... Ничего... одобряют. Только веры у меня настоящей к им нет. Они до другого доберутся.

— До чего же?

— Много будете знать, скоро состаритесь.

На Марсовом поле было уже темно и пустынно. Вейки ожидали у балаганов, и Федя счастливо за «рицать» копеек сладил маленькие санки и уселся рядом с Таней.

Он вез ее, как какое-то сокровище, сам не зная, что будет дальше, и об одном мечтал: быть с нею вдвоем. У него стыли ноги и ломило руки, но он пытался держать Танечку за талию, как большие, и смотрел ей в лицо. Близко к его глазам были темные глаза с залитыми жирною тушью ресницами, с несмытою синькой и казались бездонными. Заливался на дуге колокольчик, комья снега летели на грудь и на колени, пахло конским потом, крутила подвязанным коротким хвостом мокрая с кудрявою шерстью финка и бежала рысью, треножа и сбиваясь на галоп.

Город проносился, полный звона колокольцев, диких криков, пьяной ругани и мягкого топота копыт по снегу. В небе сияли голубые звезды, и было на душе у Феди хорошо и тепло.

Танечка жила с подругой в подвальном этаже. В низких маленьких комнатах было жарко. Небольшие окна были завешены. На подоконниках стояли герани и фуксии. В углу комнаты была швейная машинка, посредине стол под висячей лампой и на нем, на розовой скатерти, кипел самовар. В лотне были булки, в стеклянных вазочках масло и варенье. С края стола стояла на подносе бутылка вишневки и рюмки.

Подруга, сухая черноволосая женщина лет тридцати, со

строгим, монашеским плоским лицом и гладкой прической, сидела за самоваром. Сбоку на стуле сидел пожилой бородатый человек с гармоникой. Они ожидали Танечку.

— А, наконец-то! — царевна распрекрасная, Миликтриса Кирбитьевна, пожаловать изволили! И с кавалером! Позвольте познакомиться: меня зовут Зовуткой, а прозывают дудкой, по матушке Степан, а по батюшке Иван.

— Полноте, Степан Иванович, балаганить. Это Федор Михайлыч, знаете, где Феня служит, сын профессора.

— Очень приятно,— осклабился Степан Иванович.

— Это, Федор Михайлыч, подруга моя, Катерина Ивановна. Сердечный человек. Ты, Катюша, нас чаем напоишь? Промерзли мы очень.

— Есть-то не хочешь? — спросила Катерина Ивановна.

— Нет. Я закусила в театральной столовой.

— Как играла сегодня?.. Довольна?..

— Устала очень. Четыре спектакля подряд — утомительно. Но вызывали много. На третьем спектакле цветы поднесли. Я знаю от кого.

— Ну, что же?

— Что же, Катюша. Сдаться надо.

— Эх! — проскрипел бородатый человек и заныл на гармонике.

— Бросьте, Степан Иванович. Сыграйте что-нибудь хорошенькое,— сказала Танечка.

— И то сыграть да спеть. А вы наливки поднесите да кавалера своего угостите. Ишь как прозяб.

В теплой комнате от горячего чая и от сладкой наливки согревались ноги. Танечка, чуть подрисованная, казалась феей, спустившейся в подвал. Катерина Ивановна молчала.

Степан Иванович играл на гармонике и пел:

Сидит Федя у ворот
И сам горько плачет,
Да так горько и рыдает...

Федя не знал, обижаться ему или нет. Ему было неловко, но посмотрит на Танечку, увидит ее ласковую улыбку, блеск ясных глаз из-под наведенных ресниц — и нет уже больше неловкости.

Увидала Таня,
Татьяна Иванна,
Федины слезы,
Подь, Федичка, подь,
Подь, ласковый, подь.

Делала гармоника лихой перехват, и шла дальше песня. Танечкина рука под столом ловила руку Феди и пожимала ее горячими пальцами.

Таня Федю ублажала,
К себе в гости приглашала,
К себе в гости приглашала,
Сладкой водкой угощала,
Пей, Федечка, пей,
Пей, желанный мой, пей.

— Танечка, Танечка,— шептал чуть захмелевший от наливки Федя,— Танечка, любите меня хоть немножко... Устройте так, чтобы нам быть одним. Поцелуйте меня как тогда, помните?

— Глупости это были, Федор Михайлыч, вот что я вам скажу. Учиться вам надо. Служить потом, жену себе хорошую найти, семейное счастье устроить... Я что. Я уже свою карьеру взяла. Коли не выбьюсь в актрисы, и совсем пропадать буду... Моя песня — спетая песня. Вырастете — узнаете.

— Я, Танечка, хочу на военную службу идти.

— Что же, Федор Михайлович! Бог в помощь! Служите царю батюшке хорошо. Много непутевых офицеров, а тоже, посмотришь, и их жизнь несладка. Пожалеть надо. Вот я одного так и пожалела. С того и погибла, бабочка... Ну, да я не жалюсь... Будьте, Федор Михайлыч, честным. Любите солдата. Вот вы так подумайте. Вы меня любите, да?.. Ну вот, и у солдата есть девушка, которую он любит. Пожалейте его иной раз... И еще, Федор Михайлыч, любите Россию... Хорошая она, Россия. Вот я, как первый раз играть стала, режиссер заставил меня историю прочитать, чтобы с пониманием играть. Ах, Федор Михайлыч, как красиво! На Пасху мы Петра Великого ставим. Полтавский бой. Я играть буду Марию Кочубей. Как это все хорошо, честно было!..

— Да, Танечка! Я сам так думал. Лучше России нет ничего и храбрее русского солдата нет и не было.

— Да, Федор Михайлыч.

Горячая рука сжимала его пальцы.

Степан Иванович смешно поводил бровями и пел:

Таня Федю ублажала,
К себе в горенку пушала,
Спи, Федечка, спи,
Спи, желанный мой, спи.

— Полноте глупости петь, Степан Иванович,— недо-
вольным голосом сказала Танечка.— Спели бы что хорошее.
Может, и вместе бы что взяли.

— Что прикажете? — сказал Степан Иванович

— Давайте: «Каз-Булат».

— Принцесса моя, ваш приказ — закон.

Танечка села в угол под икону. Ее лицо стало строгим.
Степан Иванович пел первый голос, она вторила.

Никогда после Федя не слышал такого пения и никогда
так полно и до такой глубины не захватывало его пение, как
эта простая двумя несмелыми голосами спетая песня.

Пели и болтали. Катерина Ивановна достала орехи и на-
сыпала их на тарелку. Грызли орехи и говорили какие-то пу-
стяки. Время шло незаметно. Было восемь часов, когда дверь
отворилась и в комнату, в тяжелом тулупе, вошел дежурный
дворник. Он таинственно подмигнул Танечке и сказал:

— Татьяна Иванна, вас ожидают.. На извозчике...—
Лицо Танечки вспыхнуло, какие-то искры метнулись из глаз.

— Кто?.. опять тот же?

— Да, уж кому же больше... Голубая шапка.

— Скажите: я сейчас.

Танечка металась по комнате.

— Пойдешь, Таня? — спросила Катерина Ивановна.

— Отчего нет?.. Не все одно. Чего жалеть!..— Танечка
подошла к Феде.— Ну, прощайте, Федор Михайлыч. Спаси-
бо, что не побрезговали моим хлебом-солью. И вы, Степан
Иваныч, по поговорке: милые гости, вот ваши шляпы и тро-
сти. Мне переодеться надо, а апартаменты наши знаете —
где гостиная, там и спальня.

— Эх! Татьяна Ивановна! — с укором сказал Степан
Иванович.

— Ничего не эх! Вы позавидуйте мне. Другая не любит.
А я, притом же, люблю!

— Смотри, ночью домой поедешь, чтобы проводил
тебя,— сказала Катерина Ивановна.

— Еще бы! Он-то! Каждый раз!.. На извозчике...

Танечка помогла Феде надеть пальто, чмокнула его в
щеку и, когда он в припадке какой-то чувствительной сла-
бости хотел ей поцеловать руку, она отдернула ее, посмот-
рела на него большими удивленными глазами и сказала: —
Что вы... мне?

И сейчас же засмоялась и запела шепотом:

Что ты, что ты, что ты, что ты!
Я солдат четвертой роты!

У ворот стоял хороший извозчик и в санях, под обшитой широкой полосой меха полностью, сидел молодой офицер с блестящими погонами.

Федя прошел, не обратив на него внимания. Он ничего не понимал. Танечка была так недосыгаемо прекрасна, она так великолепно играла, танцевала и пела, она готовилась стать артисткой, и Феде в голову не пришло что-нибудь худое между Танечкой и молодым офицером, сидевшим на извозчике у ворот.

Он шел, обласканный, счастливый всем этим днем, проведенным на воздухе Царицына Луга и законченным в подвале Катерины Ивановны, казавшимся ему лучше двorca.

Нежный тенor Степана Ивановича еще звучал в его ушах:

Таня Федю ублажала,
Целоваться допускала,
Чмок, Федечка, чмок,
Чмок, желанный мой, чмок.

И слышались ее слова: хорошая она, Россия!

Россия, где родятся, живут, играют, танцуют, поют и любят такие прелестные девушки, как Танечка!... — как не любить такую Россию! Много дней Федя был весь в мечтах о Танечке. Он готов был наделать много глупостей и наделал бы их непременно, если бы не подошла первая неделя великого поста. Федин класс говел на первой неделе, и Федя готовился к исповеди.

Когда он пришел за ширму, в самую его душу заглянули светло-серые глаза отца Михаила и проникновенно прозвучал его голос: «Здесь, чадо, Христос невидимо присутствует между нами. И все содеянное тобою словом, делом или помышлением открой мне!.. Скажите, в чем чувствуете себя особенно грешным!»

Много грехов поименовал и вспомнил Федя, но, когда дошел до седьмой заповеди, запнулся. Разве Танечка против седьмой заповеди!?. Нет... Нет, милая Танечка!.. И он промолчал.

XVII

На второй неделе поста случилось приключение, перевернувшее все Федины понятия и совершенно изменившее весь путь его жизни.

В половине девятого утра Федя закинул за плечи ранец,крытый кожей тюленя, пристегнул ремешки и бодро сбежал по лестнице. Девочки, сопровождаемые Феней, только что ушли в Мариинскую гимназию, Ипполит и Миша еще пили чай в столовой. Федя всегда торопился.

Над Ивановской висел морозный туман. Снег хрустко поскрипывал под ногами. Дворники с больших белых деревянных лопат разбрасывали по тротуарам красно-желтый песок. Редкие пешеходы серыми силуэтами рисовались вдали. В подвале, в мелочной лавке, желтыми огнями горели лампы и из двери сладко пахло свежим печеным хлебом.

Федя хотел уже поворачивать налево в гимназию, когда услышал на Загородном тяжелый мерный скрип тысячи ног и сейчас же из-за угла желтого двухэтажного дома, где помещался трактир «Амстердам», показалась темная лошадь, на ней всадник в пальто с золотыми погонами и маленькой круглой шапочке, надетой набекрень, с перекрещенным на груди башлыком, за ним другой на толстом сером в яблоках коне, дальше стройный ряд музыкантов.

Федя остановился, вытащил из-под пальто серебряные часы на стальной цепочке, в виде удила, посмотрел на них и побежал к Загородному проспекту.

По Загородному сколько хватал глаз, скрываясь в туманной дали, шли солдаты. Они несли на плечах ружья и чуть покачивались, твердо становясь на снег черными блестящими сапогами. Они были громадного роста, все как один черноусые, белые, румяные, с живыми блестящими глазами. Синие петлицы на шинелях, обшитые красным кантом, алые погоны, белые ремни ранцев и поясов, золотые бляхи с орлом — все казалось Феде гармоничным и красивым. Он стоял, стараясь ничего не пропустить. Пронесли на штыке синий зубчатый флажок с красным крестом... на другом была полоса вдоль, там она перекрещивалась белым, там зеленым: все имело какое-то свое, особое значение.

Ехало двое конных офицеров, за ними шли золотым рядом барабанщики и флейтисты, потом опять густая колонна солдат. Светлыми пятнами выделялись по краям офицеры, в серых шинелях с золотыми погонами. Их руки в белых перчатках держали тускло блестящие обнаженные шашки. Сзади колонны, сурово нахмурив брови, шел гигант с густою развевающеюся серою бородою. Вся его грудь была в крестах и медалях, на рукаве шинели были нашиты широкие золотые углы. Синий шнур револьвера чуть колыхался на груди. Он грозно крикнул кому-то вперед: — Лево! правой!.. ать... два!.. Отбей ногу!

И громче раздался тяжелый шаг.

Федя и не заметил, как рядом с ним очутился Леонов. Маленький с небрежно надетым ранцем, он стоял, расставив ноги и раскрыв рот.

— На парад идут,— сказал он.

— На парад? — спросил Федя.

— На высочайший смотр войскам на площади Зимнего дворца,— повторил Леонов.

Леонов всегда все знал... «Сегодня с двух часов на плацу казаки будут учиться,— говорил он,— так я русский и батюку промажу. Если вызовут, скажите — животом болен, вышел» — и он исчезал с большой перемены. Сейчас он всем видом своим показывал Феде, что он будет стоять здесь, пока не пройдет последний солдат, хотя бы пришлось опоздать в гимназию.

— Это семеновцы,— сказал он, сплевывая всегда лежавшие у него в кармане семечки.— А потом егеря пойдут, Александро-Невский батальон, артиллерия... Сегодня первая половина. Первая дивизия, кирасиры и казаки. Я видел вчера из Гатчины шли. Замерзли — страсть. На латах и касках иней насел, тусклые стали, а лица красные, пошли к Конногвардейскому манежу... В конной гвардии стоять.

— А когда парад? — спросил Федя.

— Ровно в одиннадцать.

— Эх, досада... Не посмотришь? — печально сказал Федя.

— Идем... Чего там!

— Ну как! Меня латинист на втором уроке обещал переспросить, вчерашнюю единицу загладить.

— Плюнь, брат, на все и береги свое здоровье. Латинист тебе еще достаточно поперек горла станет, а парад не каждый день. Государя императора увидим.

В это время в голове колонны, за «пятью углами», грянула музыка, шаг стал бодрее, люди казались красивее. Леонов сорвался с места и, размахивая локтями и громяхая в ранце жестяным пеналом, побежал сломя голову догонять музыкантов.

Федя был в нерешительности. Уже мимо него ехали большие зеленые повозки с холщовым навесом и красным крестом, запряженные парами лошадей, а из тумана от деревьев бульвара показался со Звенигородской новый сверкающий ряд музыкантов. На часах было без пяти минут девять. Еще можно было поспеть без замечания. Чувство долга боролось в нем с желанием смотреть новые стройные ряды рослых, красивых людей. Как назло — и тут заиграла музыка...

Мимо на пролетке, запряженной прекрасною, как показалось Феде, лошадию, ехал толстый офицер, с широким, как полный месяц, бабьим румяным лицом, в барашковой шапочке и алых, густо покрытых золотом погонах. Он потрогал рукою в белой перчатке за пояс кучера, и пролетка остановилась. Федя испугался, подумал, не сделал ли он чего-нибудь недозволенного, но вдруг узнал Теплоухова.

Теплоухов ласково улыбался.

— Садись, Кусков,— сказал он.— Хотите, я вас свезу посмотреть парад.

Федя покраснел до ушей, потоптался с ноги на ногу и вскочил в пролетку.

XVIII

В этот день все было так странно и чудесно и так делалось само, что нельзя было и думать о гимназии. Теплоухов подвинулся, давая место Феде.

— Садитесь лучше,— сказал он.— Ничего, один раз уроки пропустите. Зато парад увидите... Государя... Это важнее всякой гимназии.

— Как же вы, Теплоухов, уже офицер? — спросил, смущаясь, как всегда при Теплоухове, Федя.

— Нет... Я не офицер... Я только фельдъегерь.

— Это что же такое?

— Когда выгнали за неуспехи в науках из гимназии меня и Лисенко, да и еще волчьими паспортами снабдили, надо было что-нибудь делать. Мать моя — вдова, просвирня при Владимирском соборе, еле концы с концами сводит,— ну, спасибо, дядя, брандмайор спасской части, меня устроил. Осенью держал я экзамен и выдержал на фельдъегеря.

— А трудно это? Экзамен?

— Ничего не трудно. Географию надо знать, уметь читать и писать на европейских языках настолько, чтобы адреса на конверте разобрать.

— Ну, а теперь довольны местом?

— Не жалуюсь. Жизнь интересная. Кого-кого не видал. Два раза пакеты великому князю главнокомандующему подавал... Ванновскому, военному министру, возил... Немецкого посланника видел... Вот жду, может быть, в Хиву меня отправят с патентами на ордена эмиру... Не жалуюсь. За эти пять месяцев службы я больше узнал, чем за десять лет гимназии.

— А как живете?

— Нескучно!.. Подобралась нас теплая компания. Лисенко устроился в почтовом отделении чиновником, брандмайор здешний, милый человек... По воскресеньям в карты играем, поем. Местный пристав просто виртуоз на скрипке... Танечка Андреева бывает, — и Теплоухов лукаво подмигнул Феде, а Федя, уже красный от мороза, сделался буро-малиновым. — Танцуем... То польку —

«Пристав, дальше от комода,
Пристав, чашки разобьешь»,

то брандмайор такого трепака отхватит, что чертям тошно... Доски трясутся, и весь участок знает: «сам пристав танцует».

Жизнь раскрывалась перед Федею.

Не только серая гимназия была на свете, не только университет. Фельдъегеря, брандмайоры, пристава, почтовые чиновники, все те, о ком презрительно говорили отец и братья, оказывались милыми людьми. Два его товарища, и притом уважаемых им товарища, были с ними. Они не только истязали народ по участкам и били пьяных, они не только клеили марки, они танцевали, пели, играли... Там как своя бывала милая Танечка!.. Как все это было ново и странно!.. Теплоухов как свой у пристава!.. Там Танечка!

— Пристав всего Пушкина наизусть знает. Как начнет «Медного всадника» жарить, — диву даешься, какая память дана человеку, — говорил Теплоухов.

Они обгоняли семеновцев. Рассказ прекратился. Оба восторженно любовались солдатами. И тут у Теплоухова были знакомые. С важным стариком, что шел сзади и кричал: «Левой! Левой!» — Теплоухов раскланялся, и тот улыбнулся ему. «Какой он! Теплоухов! — думал Федя. — Недаром я его всегда так уважал!»

— Да, Кусков, каждому свое. *Suum cui-que* *, как учил и я когда-то. Знаете, я латынь не забыл. В ноябре, в Катеринин день, были именины брандмайорши и так что-то задержались с горячей закуской. Малороссийскую колбасу жарили. Я и говорю Катерине Ивановне, имениннице: — *Quo usque tandem*, Катерина, *patientia nostra abutare* **, а пристав — он поэт у нас, в «Петербургском листке» его стихотворения помещали, — и отвечает мне в рифму: «Подождем,

* Каждому свое.

** Доколе, Катерина, испытывать наше терпение! — переделка начала одной из известных речей Цицерона.

дорогой, мы не на пожаре». Что смеха было! Лисенко погречески переложил. После обеда хором пели:

Bulomai humin eipein *
Humin eipein, humin eipein,
Tres parfenois exeltein,
Exeltein, exeltein,
Kai en te hule,
Kai en te hule!

Классическое образование пригодилося. То-то Кербер порадовался бы — рыжий пес!..

— А Лисенко на почте не скучает?

— Да служба не легкая... Что говорить!.. Как машина, с восьми до четырех в отделении, а вечером дома, разборка непонятных адресов. От почт директора приказ: «Русская почта должна быть лучше английской, ни одно письмо не должно пропасть или не дойти по адресу». Ну, Лисенко каждый вечер и решает ребусы. Что твоя «Нива»...

— Забавно?

— Куды забавней — чудеса в решете, да и только. Пишут: «Угол Атлантического океана и Средиземного моря, матросу 1-й статьи Семену Дубу». Я был у Лисенко. Сейчас на карту. Березина географа вспомнил, как на бильярде в «Амстердам» обыграли. Нашли: Гибралтар, а в Гибралтаре, оказывается, как раз наша эскадра стоит. На крейсере «Андрей Первозванный» и матрос такой есть. Лисенко в Адмиралтейство ходил, узнавал, мы и махнули: «Angleterre. Gibraltar. Escadre russe. Croiseur «Andre». Au matelot Semion Doube» **. — Как же! Заграничная десятикопеечная марка наклеена. У них письмо — святыня... А то... письмо: «Саратов. Маме». Что смеха было, а доставили... Нашли эту самую маму!

— Доставили?... спросил Федя. — Как же нашли?

— По всем отделениям Саратова запросили. Представьте: в четвертое отделение уже давно заходила, так, простоватая старушенция и спрашивала: не поступало ей письмо от Пети из Петербурга? Ну и учинили ей допрос: «А что, ваш Петя не слишком умный?» — «Да так, — говорит, — не дюже умный, однако читать, писать умеет, образованный...» — «А вы его руку знаете?» — Как не знать, загорелая, в моzoлях — он маляром у меня, в учениках». «Нет, — говорят, — а как пишет?» — «Обнакновенно как — караку-

* Вольный перевод: «Я хочу вам рассказать, вам рассказать, три девицы шли гулять, шли гулять, шли они темным лесочком...»

** Англия. Гибралтар. Русская эскадра. Крейсер «Андрей». Матросу Семену Дубу.

лями». Показали ей письмо: «Не это ли?» — «Во, во,— говорит,— евонная это рукопись, он завсегда «ять»-то с крышечкой пишет, я ему показывала, чтобы перекрестил ее, а он все крышечкой». — Лисенко за розыск награду дали к Рождеству — пятнадцать целковых.

— Да будто это так важно, Теплоухов? — сказал Федя.

— А как же! Как же! — даже возмутился всегда спокойный Теплоухов и повернулся лицом к Феде. — Помилуй Бог! Как не важно! Российская Императорская почта! Это почувствовать надо. Императорская! Не фунт изюма! Умри, а письмо доставь... Все одно, как присяга! В этом, Кусков,— все. Мы маленькие люди, мы незаметные люди, а чем меньше ты, тем точнее должна быть работа. И заметьте. Заметьте, не за деньги!.. Какие уж деньги у почтового чиновника!?. Кот наплакал... Колбасой да чаем пустым питаются. А из-за самолюбия... Русская почта... Нельзя... Это понимать надо... Вы знаете, у нас в фельдъегерском, взять, корпусе такие истории помнят. Вез курьер императору Николаю Павловичу пакет из Севастополя во время Крымской войны. Гнал день и ночь и не ел ничего. Пакет во дворец доставил и умер от утомления. И, знаете, я уверен: счастливый умер... Долг — превыше всего... Как бы мелок он ни был... Долг!

Теплоухов сосредоточенно смотрел вдаль. Он молчал некоторое время, молчал и Федя.

— И кто знает,— вдруг сказал Теплоухов.— Что мелко и что крупно... Но исполнение долга: в этом счастье.

Федя опять покраснел. Кольнуло в самое сердце. Его долг — идти в гимназию, а не ехать с Теплоуховым на парад. Его долг — отвечать по латинскому, переводить Саллюстия, а не любоваться войсками. «Но меня соблазнил Теплоухов,— зайцем метнулась лукавая мысль,— это не я, а Теплоухов виноват, что я не исполняю своего долга».

Теплоухов точно угадал его мысли.

— Говорю вам о долге,— сказал он, и, как тесто, расплылось в улыбке его лицо,— а сам вместо того, чтобы везти вас в гимназию, увожу от нее все дальше и дальше... На парад... Знаете, Кусков... Конечно, не гимназия виновата, но сколько неправды там было, а выдавали за правду... Сказать ли?

— Говорите, Теплоухов, я вам верю.

— Братец ваш — Ипполит — с плохим народом связался. Знаю я их всех! Со всеми в одном классе был. И Алабина, и Бродовича, и Ляпкина, и Каплана знаю. Жид на жиде... Ну скажите, зачем они всегда клеветают на войско, на полицию, на чиновника, на Россию? Уж так у нас все

безнадежно плохо, так бездарно; так жалко, что жить не стоит. А дай жидам власть: и берега кисельные станут, и реки молочные потекут. Правда на земле станет... Послушать их — в полиции бьют и запарывают людей.

— А не бьют?

— Да, никогда, Кусков!

— Ну, а пьяных разве не бьют... Я слышал.

— Слышал? А от кого слышали? От них... От первых учеников слышали. Было бы, лгали подонки, а то лгут те, что лучшими себя считают. Бродович-то, миллионер, редактор, а Абрамка всегда что-нибудь гадкое скажет.

— Я слышал, пьяных бьют,— несмело повторил Федя.

— Пьяным уши трут, чтобы очухались, не умерли. Ну, толкнет иногда городской... Так и пьяного знать надо. Что он тоже не ругает городского-то? Не дерется?.. Не ангелы люди-то. Эх, Кусков,— жизнь не книжка, а они хотят по книжке ее сделать. Присмотритесь, Кусков, что они делают, эти великие умы, а что мы творим, маленькие люди. Бойтесь жида. На то пришел он, чтобы все разрушить, что создает русский гений... И... ну разве это не гений?.. Разве не красота!.. Да оглянитесь!.. Глядите же!..

XIX

С площади, из-под арки с чугунной колесницей славы, из широких ворот, украшенных заиндевевшими черными щитами, мечами и шлемами, неслись дружные резкие ответы войск. Кто-то объезжал полки и здоровался с ними.

По тротуарам тянулся народ, пропуская входившие на площадь войска. Едва выехали на площадь, Федя понял всю силу восклицания Теплоухова.

Несказанная была красота.

Красота севера... Красота Петербурга... Большой мечты сурового Царя, воплотившейся на низких болотных кочках, среди ельника и вереска.

Из-за высоких зданий штаба округа, из-за домов Мойки, бледно-пестрыми акварельными пятнами протянувшихся вдаль, из-за клубов белого дыма, валившего из сотен труб и по-зимнему, густо, четко, ложившегося длинными хвостами на зеленоватое небо, подымалось солнце и выглядывало робко из-за колесницы славы на арке Главного штаба.

В улыбчивой нарядности солнца, в его блеске на ледяных сосульках, свешивавшихся с чугунных коней, с труб и крыш, была весна. И по-весеннему молодо сверкало небо.

Внизу, в снежных туманах, в серой неприглядности разбитого, растоптанного снега еще была зима... Был мороз. Стыли ноги и руки, больно щипало за уши и странно было, что не грело солнце, озарявшее высокую колонну и ангела с крестом на ней.

Весь осиянный, темно-красный, суровый дворец сверкал многочисленными окнами, колоннами и балюстрадами балконов, и четко ложились тени от выступов подъездов, от фонарей, от тумб на тротуаре, от труб на крыше.

Торжественна была площадь, замкнутая величественными, громадными зданиями, и не понимал, но чувствовал Федя тот стиль, о котором ему говорила мама. Он знал площадь. Она ему была родная... Он не понимал, но чувствовал всю ее красоту. И крутое крыльцо Эрмитажа с гигантами из серого блестящего камня, поддерживающими тяжелый навес и розовый куб архива напротив, и строгие, высокие здания штабов... Всегда внушала эта площадь Феде какой-то страх и уважение. Точно таила в себе она что-то страшное в прошлом и грозила еще более страшным в будущем.

Здесь всегда было тихо. Торжественно молчаливы были часовые у дворца, и городовые и околоточные были особенно суровы. Страх и почтительность всегда внушала площадь Феде. Казалось: надо снять шапку перед дворцом или поклониться седому старику в высокой и медвежьей шапке и черной шинели с широкою перевязью, что стоит у решетки колонны.

Сейчас площадь была полна войсками. Глаза разбегались от этой массы людей, то замирающих в больших четырехугольниках, то вдруг копошащихся, обчищающих сапоги, шинели, пляшущих на месте, чтобы согреть застывшие ноги.

— «Вот они — войска! — думал Федя. — Вот та армия, о которой с благоговением говорит мама... Вот оно, то победоносное, христолубивое, православное воинство, о котором торжественно возглашает столько раз во время службы дьякон».

И, как мотылек о стекло, билось радостною тревогою сердце. Глаза смотрели, хотели все видеть, унести в памяти, насытить ум красотой, запечатлеть величие картины и все рассказать маме... Только она во всем их доме поймет его. Она, няня Клуша и Феня... Но не мог он все охватить и примечать. Видел кусочки, замечал мелочи, обрывки, лоскутки...

Давила торжественность обстановки. Толстый, важный, красный генерал с седыми усами с подусками, надуваясь, кричал: «Смирна!»...

«Кому кричит? Что надо делать? Не касается ли это и

его, Федя? Как хорошо, что Теплоухов сам его поставил и сдал на попечение околоточному, с которым поздоровался «за руку». Околоточный «друг» Теплоухова и он, если нужно, защитит Федю».

«Какие красивые серые лошади под трубачами в красных черкесках... Должно быть, арабские... Ножки тоненькие, стройные... Странно смотреть, вот-вот сломятся. Внизу у копыта прилип снег, а выше копыто влажное. Там снег тает — теплое копыто, живое... Одно темно-серое и ножка темная до колена, как серебро в черни. Другое розовато-желтое и ножка белая... Серебряная... На груди ремни с набором: шипечки и сердца. Под гривой, когда она трясет головой — корона выжжена на шерсти... Почему корона? Спросить бы!.. А глаза какие! Темные, выпуклые, точно... нет и сравнить ни с чем нельзя. Такие красивые, живые, умные»...

Федя стоит близко к ним, и в них отразился маленький гимназистик с красным лицом и побелевшими ушами.

«Это лошадь меня видит. Что она думает? Откуда она? Такая прекрасная. Задумчивая... Как ее зовут?.. Спросить бы?»

Но спросить не смел...

Вдруг попала в угол зрения Федя группа офицеров. Их было пять... или шесть. Они курили и смеялись чему-то, что рассказывал бледный, тонкий, с маленькими русыми усами.

«Бросили папиросы. Разбежались... Что они? Испугались чего-то? Как мальчишки... Смешные... Кричат: «Смир-рна!» Весь громадный полк насторожился».

— «Р-равняйся!..»

«Все повернули головы направо. Напряженно смотрят, ерзают вперед, назад... штыки убрали. Офицер что-то машет рукою».

— «Смир-рна»...

«Стоят, не шелохнутся. Дышат или нет? Дышат. Ведь не могут же так долго не дышать. Чуть пар идет. Какое красивое лицо у этого солдата, что напротив, да и у того, у них у всех одинаковые лица. Какие серьезные. Я бы рассмеялся... А Липочка... фыркнула бы... Она не может, такая смешливая. Ей палец покажи — смеется».

«На пле-е-чо!»

«Ловко!.. Ружье, должно быть, тяжелое, а они — раз-два — и готово. И какой красивый шорох рук, когда упали на место».

«А собака! Собака!.. Господи... Как же!.. Вот маме расскажу... Не поверит. Пришла и легла против строя. И никто не прогонит. Должно быть, их собака... Полковая... Лежит...

пасть разинула. Дышит, язык высунула. Точно дело делала! Пришла отдыхать!.. Ах! Вот смешная!»

«А там музыка играет»...

«Это «наши» семеновцы входят»... Федя узнал их.

«Кирасиры слезли с лошадей и опять садятся. Тяжело как... Ну, да... А латы-то!»

Давно побелело ухо. Зажглось полымем, а потом точно отмерло. Костяшки пальцев болят. Да разве чувствует это Федя? Из обрывков, из лоскутков, из отдельных сцен вдруг склеилась большая, большая картина, стало понятно что-то великое, страшное... Он-то вот маленький... жил... жил ... и умрет. Как умер Andre... как умерла бабушка... А она... Армия-то, не умрет... Она жила тогда, когда он еще и не родился, и папы и дедушки не было на свете, а она тогда была... И теперь она стоит, и будет стоять всегда.

И вдруг Федя понял... Когда учил — не понимал, а теперь понял.

Да...

Вот оно что!.. Она и Россия!..

XX

Перед масленицей на русском уроке проходили «периоды»... Глазов задал выучить наизусть «Чуден Днепр» Гоголя и «Воспоминание о торжестве 30-го августа 1834 года» Жуковского, как образцы периодической речи.

«Так ведь там все это написано, — подумал теперь Федя. — Только мы тогда ничего не поняли»... Там, на берегу Невы, подымается скала дикая и безобразная и на той скале всадник, столь же почти огромный, как сама она; и этот всадник, достигнув высоты, оседлал могучего коня своего на краю стремнины. И на этой скале написано *Петр* и рядом с ним *Екатерина*; и в виду этой скалы воздвигнута ныне другая, несравненно огромное, но уже не дикая, из безобразных камней набросанная громада, а стройная, величественная, искусством округленная колонна; и ей подножием служат бронзовые трофеи войны и мира, и на высоте ее уже не человек скоропреходящий, а вечный сияющий ангел и под крестом сего ангела издыхает то чудовище, которое там, на скале, полураздавленное, извивается под копытами конскими...»

Федя поднял глаза. «Да, все так, как написано!» Против него над войсками возвышалась Александровская колонна. Памятник Отечественной войны. С той стороны, откуда

смотрел Федя, длинная полоса снега примерзла к красноватому граниту, а с боков золотом горело солнце. Сверкал в небесной синеве крест и в солнечных лучах сиял возносящийся ангел.

«Вот оно что!» Федя точно рос в эти минуты, стоя в напряженной тишине ожидания государя. Словно кто листал перед ним книгу его судьбы и уже ясно он видел то, что ему надо делать. Не маленький гимназистик, удравший от уроков и отразившийся в умных глазах серой лошади, стоял на площади, а стоял юноша, вдруг познавший, кто он.

— Да ведь я... Русский!

И Боже! Как хорошо стало у него на сердце. Какая-то музыка звучала внутри его, а память повторяла заученные слова: «И между сими двумя монументами, вокруг которых поднимаются здания великолепные, и Нева кипит всемирною торговлею — одним мановением царским сдвинута была стотысячная армия, и в этой стотысячной армии под одними орлами и русский и поляк, ливонец и финн, татарин и калмык, черкес и боец закавказский; и эта армия прошла от Торнео до Арарата, от Парижа до Адрианополя и громкому «ура» ей отвечали пушки с кораблей Чесмы и Наварина...

— Не вся ли это Россия, созданная веками, бедствиями, победою!? Россия, прежде безобразная скала, набросанная медленным временем, мало-помалу, под громом древних междоусобий, под шумом половецких набегов, под гнетом татарского ига, в боях литовских, сплоченная самодержавием, слитая воедино и обтесанная рукою Петра и ныне стройная, единственная в свете своею огромностью колонна? И ангел, венчающий колонну сию, не то ли он знаменует, что дни боевого создания для нас миновались, что все для могущества сделано, что завоевательный меч в ножнах и не иначе выйдет из них, как только для сохранения; что наступило время создания мирного; что Россия, все свое взявшая, извне безопасная, врагу недоступная или погибельная, не страх, а страж породнившейся с нею Европы, вступила ныне в новый великий период бытия своего, в период развития внутреннего, твердой законности, безмятежного приобретения всех сокровищ общежития; что, опираясь всем западом на просвещенную Европу, всем югом на богатую Азию, всем севером и востоком на два океана, богатая и добрым народом и землею для тройного народонаселения, и всеми дарами природы для животворной промышленности, она, как удобренное поле, копит брошенную в недра ее жизнь, и готова произрастить богатую жатву гражданского благоденствия; вверенная самодержавию, коим некогда была создана и уп-

рочена ее сила и коего символ ныне воздвигнут перед нею царем ее в лице сего крестоносного ангела, а имя его: Божия Правда...

— Мы учили, как образец периода... Наизусть... Как славно я все помню... Период? Разве в этом дело? В периоде? В красоте оборота?.. Да ведь суть-то в том, что это: Божия Правда!.. Божия правда сейчас передо мною... Я вижу ее... Ах, как тихо стало!

После криков команды, звуков музыки входивших и уstraивавшихся войск, шороха и гомона тысяч оправлявшихся и чистящихся людей наступила отчетливая тишина. Феде показалось, что он сейчас лишится сознания от какого-то небывалого волнения, что нахлынуло на него, опустошило сердце, захватило грудь. У него потемнело на минуту в глазах. Но сейчас же все прояснело. Все стало снова блестящим и красивым в лучах поднявшегося над площадью солнца. Перед Федей выступали четкие, ровные серые квадраты с алыми полосками погон и белыми черточками ранцевых широких ремней, ружья, поднятые в плечо и горящие, как алмазы, миллионами маленьких искорок на штыках... Справа была колонна всадников на легких гнедых лошадях. Они были одеты в красные черкески с серебром, и тонкие пашки горели на солнце в их руках. Сзади пехоты теснились темные массы кавалерии, затененные домами Главного штаба. Тускло мерцали золотые латы и каски и недвижно висели пестрые флюгера на красных, желтых и синих пиках.

Величавая картина развернулась перед Федей. Синее небо, и на нем струи белого дыма из труб. Там налетал холодный ветер с Невы, рвал клубы и разметывал их в бесконечной голубизне.

Под небом бело-розовые здания, в окнах люди... Маленькие, как букашки, они заняли окна. Стены домов заиндевели и кажутся воздушными и легкими. Мягкими пропорциями уходят они к Невскому. Крышечка плоским треугольником, под нею колонны, балконы, балюстрады и опять ровные, длинные, стройные окна. И снова плоский треугольник и колонны... Строго... красиво...

Под ними внизу людские лица. Все розово от человеческих лиц. Легкий пар клубится перед ними, фарфоровыми, чуть тусклыми...

Свет идет от глаз и тонет в легком морозном пару. Сквозь него темнеют брови, усы, бороды.

Люди! — как любил в эту минуту людей Федя.

Они стояли вытянувшись, и напряжение было в телах. Федя понимал, что и в иных, как в нем, что-то горит. У каж-

дого, как и у него, на секунду потемнело в глазах, поднялось что-то к сердцу и опустошило грудь. И они, как он, унеслись куда-то.

Тело напряжилось... Тело исчезло в этом напряжении, и бессмертная душа смотрела из очей. Оттого и блистали глаза.

Душа, которая была в Andre и не умерла, а только ушла из тела.

Душа, которая была раньше в тех солдатах, что составляли эти полки прежде, была в них при Петре, Елизавете, Екатерине, Павле, Александре I, Николае I, Александре II.

Эти солдаты умерли... убиты... Но души их живы. Не они ли носятся в небесной синеве, не они ли летят с обрывками дыма? Не они ли зажгли это внутреннее волнение и шепчут... и шепчут, что это: Божия Правда!..

Федя не слышал команды. Несколько мгновений он ничего не слышал. Точно наглухо заложило ему уши.

Он видел лишь, как дрогнул крайний полк, руки с ружьями вынеслись вперед и ремни винтовок закрыли лица солдат.

Кругом в народе стали снимать шапки. Снял свою старенькую фуражку и Федя и повернул голову туда, куда все смотрели.

Федя увидел императора.

XXI

Он его сразу узнал. Не потому, что видел его портрет в гимназии и в магазинах, а потому, что он был особенный. И, если бы Федя нигде не видал портреты государя, он узнал бы его по самой его осанке.

Государь ехал на большом тяжелом караковом коне, легко несшем его грузное тело.

Федя видел маленькую черную барашковую шапку с серебряной звездой, широкую спину в сером пальто без складок и наискось на ней золотую португую. Он рассмотрел караульный вальтрап седла и медные шишечки на ремнях подхвостника. Федя заметил, что те серые лошади, которыми он любовался под трубачами-конвойцами, шли за государевым конем. Это было радостно. Точно они уже были знакомые и унесли в своих чудных глазах частицу самого Феде.

Потом пестрая свита заслонила государя от Феде, и тогда Федя стал снова слышать.

Он услышал резкие звуки труб, надоедно, крикливо взывавших о чем-то к небу. В этих пронзительных, режущих тонах было что-то древнее, говорившее о средневековье, даже как будто об Азии.

Но это продолжалось недолго. Внезапно трубы стихли. Федя услышал ровный голос государя, но слов не разобрал, дружно крикнули казаки, и далекое загорелось у Миллионной улицы «ура!» казаков конвоя.

Затрещали барабаны, и взвыли пехотные горны.

Чьи-то молодые, свежие голоса радостно и бодро сказали: — Здравия желаем, Ваше Императорское Величество...

И сейчас же заиграли музыканты гимн и загремело ликующее молодое «ура» юнкеров.

Волны народного гимна плыли и неслись по площади. Они ударялись о стены Зимнего дворца, точно поднимались к небу, и звучали все шире и шире, захватывая площадь.

Федя не помнил себя. Обмершие ноги застыли и стали как колоды, руки были в крови — кожа полопалась от холода, уши обмерзли — он ничего не чувствовал.

Вся душа его слилась со звуками гимна, все невидимые, неизученные и неизвестные физиологами и анатомами струны его тела пели этот гимн и кричали «ура» с войсками.

Ура! — загоралось все громче и громче. Точно пороховая нить бежала по люстре от свечи к свече и вспыхивали желтые огоньки — гремели ответы навстречу государю и новое могучее «ура» рвущимися волнами примыкало к прежнему, и площадь, минуту тому назад тихая и молчаливая, гремела сплошным ревом людских голосов.

— Здравия желаем, Ваше Императорское Величество-о-о! Ура!..

— Здорово, семеновцы!

— Здравия желаем...

— И ура! Ура!

Не было слышно слов, нельзя было разобрать гимна — вся площадь стонала громовым ураганным криком, в который входили мощные звуки русского гимна.

Федя восторженными глазами следил за государем. Он видел его на фоне заиндевелых сучьев Александровского сада, и этот суровый силуэт, среди снегов, инея и серых рядов солдатских, под бледным небом севера — сказал его сердцу яснее всех уроков гимназии:

Северный монарх... Монарх народа, семь месяцев в году засыпанного снегом... Монарх народа, сумевшего в этих тяжелых условиях завоевать себе первое место в мире... Монарх народа-гения...

Серые солдаты — его народ, его армия.

Холод и снег — его страна.

Труд и лишения — их удел.

Вот она: Божия Правда...

Как? — Федя не заметил. Но площадь точно раздалась, стала шире и больше. Против ворот дворца вокруг оказалось свободное место, усыпанное красным песком, и совсем недалеко от Феди стал государь. За ним два трубача в алых черкесках на серых лошадях — знакомые Феде лошади.

«И собака.. Ах нахалка!... Та же собака!... Желтая, не то гончая, не то пинчер, а, в общем, дворняжка, со стоячими ушами и рубленным хвостом, пришла и легла прямо против государя!»

«И никто не прогонит. И государь ничего... Он, верно, любит животных. Он добрый»...

У колонны стали музыканты. «Сколько их!? Наверно, больше тысячи».

От Миллионной красным полымем колыхнулись ряды кавказских казаков. Опять заиграли четыре трубы, резко, властно, все одну и ту же трескучую фразу и, Боже! как легко выступали гневные лошади с длинными тонкими ушами! Из серых ноздрей шел пар, и они надвигались сплошной массой в две шеренги прямо к государю.

«Как пляшет лошадь под офицером! Он весь в серебре. Темный башлык, как крылья, реет за плечами. Ах! Какая она... На дыбы становится, прыдет! А он хоть бы что! Вот молодец! Наверно, горец.. Хаджи Мурат... или Хазбулат? Или Казбич и это лошадь Казбича?»

Быстро прошли казаки.

Вдруг затрещали барабаны и оборвались. Плавнов вступила музыка. «Как идут!»

Федя застыл от восторга.

Ноги трещат по снегу, перемешанному с песком, а кажется, что они не касаются земли. Вот так же было и в балете, когда танцевали девушки.

А лица!?

Федя смотрел и не верил. Да ведь это шли такие же, как он, Федя... Юные, молодые. Значит, и он может. Стоит пойти в корпус, в училище. Да, конечно, так... Да ведь... Или он обознался? Ну, конечно, это Баум, товарищ Andre, которого выгнали из гимназии за то, что он назвал жидом и побил Ляпкина, лучшего ученика класса.

«Ах, какой он хорошенький!»

— Спасибо, господа!

«Это государь сказал им... Юнкерам... И если бы Федя, как Баум, был в их рядах, государь это сказал бы ему!..

«Вот хорошо-то!»

И все было теперь ясно!

Гремела музыка. Полки за полками густыми колоннами шла пехота, штыки были подняты кверху и торчали у самого уха, и весело кричали в ответ на похвалу государя солдаты:

— Рады стараться, Ваше Императорское величество-о-о!

Тихо гремели пушки, банник в банник равнялись они и точно плыли по снегу, наклеенные на одну бумажную полосу.

За ними шла кавалерия.

Сверкали латы, громадные гнедые лошади бежали рысью по снегу, и тряслись на красных вальтрапах рослые люди. Флюгера реяли на пиках, и звенели тяжелые ножны палашей.

Вихрем неслись казаки, и их лошади точно пролетали по воздуху, не касаясь земли.

Когда стихла последняя музыка и промчалась карьером лихая Донская батарея, государь проехал во дворец, исчезла свита и по затоптанному рыхлому снегу площади черными пятнами разошелся народ. Федя почувствовал и голод, и усталость, и то, что он совсем замерз.

Он побежал по площади, чтобы согреть застывшие ноги.

XXIII

Лицо Феди покраснелось, волосы выбились из-под фуражки, ноги горели. Ручки и карандаши звенели в железном пенале. Он перебежал площадь, срезая к Невскому, чтобы догнать уходивших казаков с синими вальтрапами. Федя запыхался, надо было перевести дыхание, он оглянулся кругом и вдруг у Александровского сада увидел маму.

Она тихо шла в своей старой черной шляпке и салопчике на беличьем меху, крытом черным сукном. Мама, милая, любимая, родная!

«Откуда она шла? Неужели и она смотрела парад... Ах, как это хорошо!»

Федя в два прыжка догнал ее.

— Мамочка!

Варвара Сергеевна не удивилась, что ее сын не в гимназии, а у площади.

— Федя,— сказала она.— Видал? Понял?

Они пошли рядом по Гороховой. Федя рассказывал матери все, как было... Как стоял против него государев трубач и какой умный глаз был у его лошади.

— Наверно, арабская лошадь у него, мама. А почему, мама, у нее под гривой выжжена на шерсти корона?

— Это тавро, Федя. Это лошадь Государственного Стре-

лецкого завода. У лошадей государственных заводов под гривой всегда таврится корона.

Мама все знала.

Мама сказала, что собака, так нахально лежавшая перед строем,— полковая собака.

— Наши солдаты любят животных, и при каждой роте пригрется своя собака, которая всюду за нею ходит,— рассказывала мама.

Мама сказала, что государь был в мундире лейб-гвардии Семеновского полка, что императрица смотрела с балкона, что наследник ехал верхом в атаманском мундире и что в свите государя ехало больше сорока человек.

Мама все знала. Откуда она знала? Ипполит считал маму необразованной, потому что она не была ни в гимназии, ни на курсах, а мама знала, какие были полки и когда какой основан, и мама говорила, что армия — украшение нации и лучшие люди России собраны под знаменами.

— А что, мама, изображено на знамени?

— Крест или икона, государственный герб — двуглавый орел и вензель государев.

— Что же это значит?

— Это символы наших чаяний и упований. Это лозунги, и во имя их мы должны трудиться, бороться и побеждать. Вера православная, Россия и государь...

— Мама, ты хотела бы, чтобы я был военным?

Варвара Сергеевна промолчала.

Это была ее заветная мечта. Но Михаил Павлович презирал военную службу, и она не могла настоять на своем. Да и жалко было отдавать сыновей в корпус, отпускать из дома. Мечтала дать им свое, домашнее, воспитание.

— Мама, я видел сегодня Баума. Он в Павловском училище. Счастливеец! Такой красивый... Молодчик... А помнишь: Andre рассказывал всю историю, как его выгнали из гимназии и директор сказал классу, что он негодный мальчик, что он пропадет, что у него скверные замашки... Мама, ты знаешь, я твердо решил...

Он нагнулся к матери, и она заметила его белые отмороженные уши.

— Ах, Федя, смотри, ты уши отморозил.

— Я и не заметил.

— Очень больно было?

— Говорю, мама,— не заметил. Не до ушей было... Я понял все... Понял правду Божию.

— Домой придем, я тебе гусиным жиром намажу. Ах, ты, бедный мой!

— Мама, — строго сказал Федя, — говорю тебе, — уши — это пустяки. Я понял правду Божию... Как у Жуковского. Помнишь перед Масленицей мы учили периоды и там — про Александровскую колонну: в самодержавной России — правда Божия. Тогда учил и ругался, ничего не понимал. Сегодня смотрел парад и все вспомнил и понял: Россия, вера, царь — вот где правда Божия... Ты понимаешь, я все, все увидел. Небо... дым из труб.. колонна, ангел на ней... Было холодно, холодно.. А тут уходить не хочется... Ждал чего-то.. Лошадь серая.. Должно быть, арабская. Потом стало тихо — и я понял. Ах, мама, я не могу сказать, что такое. Но ты понимаешь... Были и умерли... Андре умер... Убили Александра II, государя... Так нет же, не умер, не убили... Ты понимаешь? Это очень трудно объяснить. Но они живы. И потом... государь едет... Ура, гимн и трубы конвоя... Ты понимаешь?

Она все понимала. Она понимала больше, чем понимал он. Она взяла его под руку, прижала его локоть к себе, ласково, любовно посмотрела в его пунцовое от мороза лицо и подумала:

«Мой Федя... Ты мой, единственный... Моя душа в тебе... Да благословит господь твой подвиг, твой труд... А я тебя благословляю на него».

И когда сворачивали они на Загородный и шли мимо Московской части, где у ворот ходил в сером бушлате с синими погонами и в медной каске brave пожарный солдат, между ними все было решено и условлено.

Федя бросил гимназию и поступал в кадетский корпус.

Она все брала на себя. И сцены, воркотню и «бенефисы» Михаила Павловича, и переговоры с дядей Володи, который должен был подготовить Федю к экзамену в корпус, и разговоры с директором корпуса.

Домой они входили как два заговорщика. Дамка кинулась им навстречу и не знала, кого приветствовать первым. Она кидалась на грудь то к Варваре Сергеевне, то к Феде и не давала им раздеваться. Маркиз де Карабас, задрав султаном хвост, терся у ног Феде. Гостиная была прорезана косыми лучами мартовского солнца, и пунцовый амариллис, гордость Варвары Сергеевны, как огонь, горел в его лучах среди зелени растений.

Иною казалась Феде знакомая с детства квартира. Он уже мысленно расставался с нею. И все будничные, привешенные предметы: вышитая подушка на диване, с оборванной кистью, часы с рыцарем и дамой, длинный рыжий рояль, ковер с большими цветами, который Федя с Мишей

в детстве называли Америкой и где разыгрывались под креслами и столом самые необычные приключения,— стали значительными и дорогими.

За одно это утро он вырос. Из мальчика стал юношей... Стал смотреть вдаль и стал думать, что и как он будет делать, когда вырастет.

И не о себе была его дума. Он думал, как служить России, как стать таким прекрасным, честным и бравым солдатом, каким казались ему все солдаты, виденные им на параде.

Вдвоем с матерью он завтракал и пил чай. Все дети были еще в гимназиях. Варвара Сергеевна любовно смотрела на сына. Она видела его в своих мечтах офицером, таким молодчиком, каких она только что видала, видела его, как поведет он ее в церковь и она с гордостью скажет: «Мой сын... офицер».

И уже не скрывала она сама от себя, что он и правда «мамин любимчик».



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Прошло пять лет. Федя блестяще, вторым учеником и вице-унтер-офицером, окончил корпус, поступил в военное училище и перешел в старший класс. Он старший портупей-юнкер и взводный 1-го взвода государственной роты. Он — «трынчик».

Из длинного, немного сутуловатого гимназиста, ходившего, неуклюже расставляя носки и опустив голову, мечтательного и ласкового, с непокорными длинными вихрами волос, упрямыми золотистыми завитками сбившихся на лоб, с румяными щеками и пухлыми губами, он обратился в стройного высокого юношу. Голова его всегда поднята кверху, гордо глядит стальной взгляд, в котором сквозит воля, и только в улыбке видна та мечтательная нега, которая делает его похожим на мать. Он ловок, развязен и смел в движениях, но застенчив в разговоре. Он лучший фронтовик, солдатфон и служака, любимец ротного командира и друг фельдфебеля.

Его горизонт — рота. Мечты о хорошей «вакации», то есть о выпуске в офицеры в хороший полк со славными боевыми традициями и со стоянкой в большом городе, о «лакировочках», об эполетах, о том, чтобы служить чисто, без арестов, лишних дежурств и замечаний. Он не курит, потому

что ротный командир сказал, что нехорошо курить, и мама не хотела, чтобы он курил. Он не пьет, потому что от водки пахнет, а если это заметят, посадят в карцер, он не знает женщин, потому что не ищет их и ему некогда ими заниматься.

Ему двадцать лет. Над верхней губою его отчетливо, темною тенью пробились усы, и щеки приняли матовый оттенок спелого персика. Он хорош собой, и начальство наряжает его во все караулы во дворце и при высочайших особах. Он краса Государевой роты.

— Портупей-юнкер Кусков, покажите прием!

— Кусков, займитесь с младшим классом сборкой и разборкой винтовки.

— Кусков, покажите, как надо лазить по канату... Кусков, покажите приседание. Кусков, научите юнкера одеваться.

И Федя, всегда веселый, охотно кидался исполнять приказание. Он любим и уважаем товарищами и младшим классом. Он «цукает» молодежь, но его цуканье никогда не переходит в издевательство, и он сам так ловок и опрятен, что его приказания приятно исполнить.

За окном ротного помещения ноябрьская ночь еще в полной силе. Густой туман с сильным морозом гнездится на училищном дворе, стелется по каналу и между высоких голых деревьев черного Петровского парка. Пусто на улицах. Зимняя ночная тишина царит над городом. Мороз глядится в длинные ряды училищных окон и рисует на них затейливые узоры. Завешенные прямыми, плоскими белыми шторами окна длинным рядом уходят в сумрачный угол, где слабо мерцает лампада перед образом архангела Михаила, покровителя роты.

Широкий громадный зал разделен арками на четыре покая. Арки идут по длине и поперек. Вдоль внутренней арки, на три шага отступая от окон, стоят койки. На них, закутавшись в серые одеяла, спят юнкера. Над койками железные пруты с овальными красными табличками с написанными белыми буквами номерами и фамилиями. У спящего на правом фланге юнкера, с головою укутавшегося одеялом, табличка золотая, и на ней красными буквами изображено: «Фельдфебель Купонский».

В казарме холодно. Ритмично колеблется мерное дыхание сотни человек. Раздается короткий храп, стон, тяжелый вздох. Рядом со спальней, в длинной умывальной комнате, где по одну сторону устроен умывальник с медными сосками, а по другую стоят в деревянной стойке винтовки, у не-

большого столика, на котором тускло догорает лампа под синим фарфоровым колпаком, сидит на табурете дежурный по роте. Он в бескозырке и в шинели, подтянутой ремнем со штыком, читает книгу и с трудом борется со сном. Два дневальных сидят в помещении на своих аккуратно покрытых койках и клуют носами.

Самое тяжелое — предутреннее время.

Федя спит на правом фланге, голова к голове с фельдфебелем. Он хорошо угрелся под одеялом и крепко спит.

Коротко и резко пробил в соседнем коридоре повестку барабанщик и слышно, как он тяжелыми шагами пошел дальше по коридору. И опять — глухо, откуда-то издали донеслась короткая дробь. Он пробил повестку на церковной площадке, между второю и третью ротами.

Федя вздрогнул и проснулся. Он вздохнул. Через десять минут «зоря», нужно вставать, а спать так хочется... Нужно быть образцом для своего взвода, показать пример «молодежи». Уже заскрипела постель под фельдфебелем, и Купонский со вздохом садится на койку и надевает носки.

Федя вскочил, продрал глаза, растер их пальцами, чтобы лучше прогнать сон, быстро оделся и пошел в умывалку. Дела много и лучше все сделать на свободе, пока помещения не наполнились юнкерами. В комнате для чистки, где тускло горела лампа и лежали на скамейках щетки и помазки, а в углу стояло черное ведро с сапожной смазкой, фельдфебель, хмурая пушистые брови и поставив ногу на скамью, ожесточенно начищал голенища. Федя смазал сапоги, взял «гербовку» и стал тереть пуговицы у погон и бляху на ремне.

В коридоре, за цейхгаузом, снова раздались мерные тяжелые шаги и резко, оглушительно ударили на барабана пехотную трескучую зорю.

— Та-тарата-та-та, та-та-та татарата, выбивал барабанщик, осыпаемый проклятьями просыпавшихся юнкеров.

Дежурный поднялся с табурета, потянулся, вытащил штык из ножен и пошел, постукивая штыком по железу коек еще не проснувшихся юнкеров.

Дневальные зычно орали:

— Встаа-вать... Вставать, государева рота!

— Царева рота, вставать!

Отовсюду поднимались с подушек белые фигуры. Коротко, под гребенку стриженные головы недовольно морщились, и казавшийся минуту тому назад пустым и молчаливым зал наполнялся шумом и движением.

У умывальников толпились очереди. Юнкер Пермикин, рослый, черный, раздевшись до пояса, подставлял свой смут-

лый торс под ледяные струи воды, растирался, и, ухал и взвизгивал нечеловеческим голосом. Белокурый, розовый Вислентьев никак не мог расстаться с постелью и то открывал, то закрывал страдающие от истомного желания спать глаза.

— Вставайте, Вислентьев,— крикнул ему мимоходом фельдфебель, уже одетый, чистый, аккуратный и бодрый, проходивший по роте,— а то без отпуска вас оставляю.

Лицо Вислентьева стало несчастным, и он наконец решился оторваться от подушки.

II

Федин день был наполнен. Юнкера только встали и оделись, а уже кричит от своей конторки фельдфебель: «Господа, попрошу строиться!»

Федя выбегает к окну и звонко командует: «1-й взвод, строиться».

Начинается осмотр бушлатов, сапог, пуговиц, крючков: все ли аккуратно надето, пригнано. Когда Федя окончил свой взвод, раздалась команда фельдфебеля: «Смирно!»

В умывалке твердые, короткие, знакомые шаги ротного командира и четкий рапорт дежурного портупей-юнкера:

— Ваше высокоблагородие, в роте его величества юнкеров сто четыре, в лазарете пять, налицо девяносто девять. Все обстоит благополучно.

— Здравствуйте, Комаровский,— окидывая острым взглядом портупей-юнкера от руки, приложенной к бескозырке, до тщательно составленных ног, говорит ротный.

— Здравия желаю, господин капитан!

Ротный здоровается с фельдфебелем, называя его по имени и отчеству: «Здравствуйте, Иван Федорович», и идет вдоль роты.

Он смотрит пронизательными желтыми глазами на юнкеров, и они провожают его глазами. Каждый думает, все ли у него в порядке.

— Кусков,— строго оборачивается ротный и останавливается против рыжего, рыжеусого нескладного юнкера.

Федя срывается с правого фланга взвода и мягко, на носках, подбегает в ротному и вытягивается. Вся фигура его, стройная, подавшись вперед, выражает строевую исполнительность.

— Кусков, обратите внимание на князя Акацатова. Посмотрите, как он стоит! Шею на воротник. Опустите правое

плечо. Совсем кривуля какая-то! Занимайтесь с ним полчаса после переключки фронтом и гимнастикой.

— Слушаюсь, господин капитан.

При свете ламп ротный шел дальше вдоль роты, сопровождаемый фельдфебелем. Он заметил у кого-то нечищенные сапоги и нарядил на два дневальства, нашел оторванный крючок и оставил на воскресенье без отпуска.

Дойдя до левого фланга, он еще раз осмотрел нахмуренным, довольным взглядом юнкеров, стоявших в образцовой классической стойке, и уже ласково сказал:

— Фельдфебель! ведите роту!

Купонский вышел перед фронт и скомандовал:

— Ррота, на пр-р-р-а-а-в-во! шагом — марш!

Тишина фронта нарушилась двумя четкими стуками: р-раз-два.

Чуть покачнулись ровные стриженные головы, вытянулись левые ноги, отбили по полу — и раз-раз, раз, звучно стуча по залу, рота стала выходить из помещения.

В коридоре, за арками, строилась 2-я рота.

Чей-то зычный бас из-за колонны заревел по адресу проходивших:

— У-у! Жеребцы-ы!

«Жеребцы» не остались в долгу.

Из строя несколько человек ответили:

— Извозчики-и!

По лестнице, тускло освещенной керосиновыми лампами, спустились и прошли в столовую, где стояли длинные столы со скамьями. Толстые белые кружки и горячие большие французские вкусно пахнущие булки уже ожидали юнкеров.

Служители в белых рубахах разливали из медных чайников горячий, медовый сбитень с чаем.

Задумываться, тосковать Феде не приходилось. От чая надо было спешить на лекции, которые начинались в восемь часов. На дворе еще стояла зимняя ночь, город спал, а в ярко освещенных лампами классах, за черными столами сидели юнкера и, нагнувшись, тянули штрихи ситуационного черчения или слушали вдохновенную лекцию молодого капитана генерального штаба Николая Петровича Михневича, с указкой в руке повествовавшего у большого разрисованного акварелью плана о сражении у Верта-Фрошвейлера, о победе германцев над французами и о том, как на другой день соприкосновение между армиями было потеряно. Михневич приносил юнкерам прекрасные гравюры с картин Невилля и Детайля, говорил о подвигах, о славе, о чести и о красоте смерти за Родину. Его сменял профессор фортифика-

кации. В классе наступала тишина, все сидели, уткнувшись в большие тетради, а профессор, засучив рукава своего сюртука, становился у доски и чертил какой-нибудь полигональный фронт. В классе был слышен короткий стук и скрип мела да напряженно сопели юнкера.

Перед обедом, когда в классе становилось холодно и на замороженных стеклах появлялись желтые лучи низкого зимнего солнца, приходил веселый рыжий полковник Барановский, рассказывал об атомах, о теории Менделеева, писал загадочные формулы, и все сводилось к изготовлению пороха, пироксилина и нитроглицерина.

— Холодно,— говорил он, похаживая между столов.— От того холодно, что голодно. В брюхе пусто. Не происходит химического сгорания веществ. Пообедаете — заработают в желудке кислоты и согреетесь...

В столовой у накрытых столов пели хором молитву и садились по команде. Все начальство являлось к обеду. Генерал-лейтенант Рыкачев, суровый, прямой, в длинном сюртуке с Георгиевским крестом, появлялся из маленькой комнаты, где стояло учебное оружие, весь батальон вскакивал как один человек. Дежурный по столовой шел с рапортом, и дружно, так, что долго по углам звенело эхо, отвечал батальон: «Здравия желаем, ваше превосходительство!»

Ротный шарил глазами по столам, и слышались его замечания:

— Александров, рыбу ножом не режут. Будете офицером, попадете в приличное общество, может быть, удостоитесь приглашения ко двору, и вдруг рыбу — ножом!

— Гаврилов, после занятий постричься. Ишь, какие вихры отпустили. Вы не студент.

От обеда уходили поодиночке. У дверей столовой стоял начальник училища, и юнкера шаркали ногою и кланялись.

После обеда на лекции мозги работали туго. Изящный капитан Коленкин, мягко позванивая длинными шпорами на маленьких сапогах, ходил по классу и рассказывал об устройстве оружия, о муфтах, затворах, трубах, винтах и прорыве газов.

С лекций возвращались в половине второго и шумно передевались. Складывали маленькие сапоги и длинные шаровары, надевали высокие сапоги, бескозырки, ремни с желтым кожаным подсумком и разбирали винтовки.

На дворе было пятнадцать градусов мороза. Рота выбежала на занесенный снегом плац в одних мундирах. Щипал мороз уши, стыла ладонь от холодного затылка приклада, и то и дело раздавалась команда:

— Рота, бе-е-гом — марш!

Часто бил барабан, скрипел под носками снег, паром дыхания окутывалась рота, и слышался подсчет: «раз, два, три, четыре, ать, два, ать, два».

Лица становились пунцовыми.

Ротный командовал — «Ша-а-гом — марш!» Твердо били ногою юнкера, но ротный был недоволен, он поглаживал рыжие бакенбарды и протяжно говорил:

— Но-оги нету! На носок больше! Прямее ногу. Отбить шаг! Барабанщик, ударь! Гонять буду!.. Ноги нету!

Когда час подходил к концу, уже не было холодно, бурно носилась кровь под тонким сукном мундира и бессилен был мороз.

С громом «ура», врассыпную, на перегонки, через плац бежала в подъезд рота, а из другого подъезда выходила другая рота на утопанный плац.

В помещении протирали винтовки, отогревали руки и уши и строились на «ружейные приемы». Стояли навтыжку, держа «на плечо». По фронту медленно шагал штабс-капитан Герцык, и слышались скучные поправки:

— Разверните приклад... Чуть поверните... Возьмите больше в плечо... Не заваливайте плечи. Поднимите правое ухо...

В конце часа медленно бил барабан редкий шаг и по одному проходили юнкера с ружьями на плече весь длинный коридор, тянули носок, били подошвой по полу, а подле бежал штабс-капитан и кричал:

— Тверже ногу!.. На весь след, не подсекайте, проносите плавно... Когда нога сзади, носок кверху... Теперь тяните носок!

Ковалась та удивительная выправка, какой не было нигде на свете, усыплялся мятежный дух молодости, дисциплинировалась воля, погасали бурные желания, и тело покоилось духу.

Создавалась русская пехота.

Только внизу, в обширной «чайной», где на артельных началах торговали юнкера сладкими пирожками, булками и чаем, где за маленькими столиками шумно сходились они из всех рот, они забывали муштру и говорили все, что хотели.

Но никогда здесь не было ученого или тем более политического спора.

Со смехом рассказывали прятные анекдоты, бог знает когда зародившиеся и из века в век повторяемые все с одними и теми же вариантами, мечтали о выпуске, о том, как сами

будут заказывать себе обмундирование, разбирали поставщиков: шапочников, сапожников, оружейников, портных. Порой говорили о театре, о литературе, о прочтенном или слышанном. Хвастались, как удалось поклониться свояченице батальонного командира, балетной танцовщице.

— Иду, а она, значит, с лестницы спускается. В белой шапочке и шубке на белом меху. Прямо снегурка.

— Хорошенькая?

— Прелесть... Глазки синие. Я ей козыряю, во как! Она головкой кивнула и вся розовая стала.

— Да ты что?.. Знаком?

— Ну что знаком? Разве мы не одного батальона?

— Нахал ты, Петька.

— Фельдфебель наш за нею ухаживает. В воскресенье отпуск до поздних часов брал, чтобы из балета ее проводить.

— Что же «кораблик»-то смотрит?

— Батальонный? Он и рад. Ничего Купонскому не очистится. В сухую выйдет. Жениться не может, а ему все покойнее — защитник есть. Места-то глухие.

За другим столиком Федя и толстый Бойсман ухаживали за хорошеньким, изящным, как девушка, юнкером третьей роты Старцевым.

— Старцев, мазочка, помпони! Скушайте пирожное, — приставал потный прыщавый Бойсман с масленистым лицом и щурил свиньи глазки.

Старцев ломался, выгибал мизинный палец, доставая с тарелки печенье, и картавил.

— Чем вы теперь увлечены, Старцев? — спросил Федя.

— Я? — Старцев сделал наивно круглые глаза. — Поэзией Мюссе.. Как это к'расиво: *Les chants desesperes sont les chants les plus beaux, et j'en sais les meilleurs, qui sont de purs sanglots* *.

— Пишете сами что-нибудь?

— Да. На се'гом фоне Пете'губ'гского зимнего неба, Нева и к'гепость. Идет юнке'г, и незнакомка в вуали ему делает знак... И только. Но се'гдце юнке'га погибло и он кончает с собою.

— Ах, какая тема! — сказал Федя.

— До ужаса сентиментально, — заметил Бойсман.

— Я начну: «Се'гое небо, се'гые звезды, се'гые думы, се'гые песни...

— Мазочка! Да разве звезды бывают серыми?

* Самые красивые песни — песни отчаяния. И я знаю лучшие из них — они сплошное рыдание.

— Кусков, я просил вас меня так не называть! — сказал, капризно надувая губы, Старцев.

— Но вы помпоть... на цыпочках! — сказал Федя.

— Оставьте, Кусков! Это вам не к лицу!

Федя покраснел. Его влекло к Старцеву то, что Старцев напоминал ему семью. С ним уходила прочь однообразная обыденщина училищной жизни, они уносились в какие-то красивые мечты стихов. Старцев напоминал ему Ипполита и Лизу вместе, но Ипполита и Лизу младше его, которых он не боялся и кому мог даже покровительствовать. И не столько тянуло Федю к Старцеву, что Старцев был хорошенький и чистый, как девушка, что он носил на пальцах кольца, имел длинные холеные ногти и незаметно влек к себе своим женским грудным контральто и манерами, напоминавшими манеры Лизы, сколько то, что Старцев был из культурной семьи, говорил по-французски, по-немецки и по-английски и бывал в хорошем обществе. Он казался Феде человеком другого мира, высшей культуры. Он не был груб, как было грубо большинство юнкеров, не щеголял сквернословием и, когда кто-нибудь при нем говорил худое слово, Старцев краснел, как институтка.

Бойсман иными глазами смотрел на Старцева. Он стремился видеть в нем не юношу, но женщину. Ему доставляло удовольствие раздражить Старцева, заставить его кокетничать по-женски, и тогда его масляные глаза блестели. И неприятно было это и Старцеву, и Феде.

— Кто теперь играет на французском театре? Кого стоит смотреть? — спросил Федя, желая переменить разговор.

— Б'гендо, — сказал Старцев и закатил глаза. — Это удивительная а'гтистка!

— Сами вы, Старцев, Б'гендо! — передразнил его Бойсман.

Эти часы отдыха в чайной были редки и кратковременны. В пять часов Федя бежал в роту. Надо было подзубрить к репетиции, а в шесть идти в класс.

Два раза в неделю, по вторникам и по пятницам, были репетиции из пройденных предметов. Юнкера были разбиты на партии, и их спрашивали поголовно всех. Приходилось заниматься, чтобы не портить полуугодового балла и связанного с ним старшинства.

В девятом часу шли ужинать и пить чай, а без четверти девять гремел в коридоре барабан или трубил повестку горнист: роты строились на перекличку.

В этот час тускло горели приспущенные лампы. В роте кое-где на шкапиках между постелями светились свечи. Кто

читал, кто писал, кто при свете свечи набивал папиросы или чистил винтовку.

Фельдфебель сидел в углу у своей конторки и важно, чуть в нос, разговаривал с двумя юнкерами младшего курса, просившими его заступничества о сложении наказания.

— Господа! сами виноваты,— говорил он, рисуясь своею властью.— Не могу я беспокоить ротного командира такими пустяками. Что делать, посидите воскресенье.

— Господин фельдфебель, мы бы и посидели, да это воскресенье Катеринин день — у меня мать именинница.

— У меня сестра.

— Вы можете спросить портупей-юнкера Кускова. Мы не нарочно. Так, просто невнимание, прослушали команду.

— Нельзя, господа... Ну, мы после поговорим.

Фельдфебель поднялся с табуретки, на которой сидел перед просителями, и через их головы сказал подходившему к нему дежурному:

— Кругликов, строй роту на поверку.

— Так как же, господин фельдфебель?

Купонский поморщился и сказал:

— Да ладно!.. скажу, Бог с вами. Вряд ли что из этого только выйдет.

Рота строилась. Федя ровнял свой первый взвод.

Купонский с длинным списком в руке начал поверку юнкеров.

— Абрамов! — вызывал он.

— Я! — глухо ответил из рядов смуглый черноглазый юнкер.

— Александров...

— Я-о!

— Абхази...

— Я-п!

— Акацатов, Бабков.

— Я-я-ай.

— Господа, попрошу без шалостей,— строго сказал Купонский, и продолжал переключку: — Кононов, Кругликов, Фуфаевский... Шлиппе, Языков...— Все были налицо. Несколько раз крики «я» прерывались суровыми ответами взводных: «болен», «в лазарете», «спит — дневальным ночью», «дежурный по кухне», «артельщик»...

— На завтра,— читал по записке фельдфебель,— дежурный по роте портупей-юнкер Кусков, дневальными... Господа, сегодня его превосходительство начальник училища при обходе ротного помещения нашел окурки на подоконнике. Я не желаю знать, кто позволил себе курить в роте. Мне это

безразлично, но я указываю на то, что это недостойно юнкера. Начальник училища хотел арестовать взводного того взвода, где лежал окуроч. Вы подвели бы своего товарища... Я прошу, господа, беречь честь роты... Во время вечернего отдыха, при обходе моем роты, я видел юнкеров Гребина и Мазуровского спящими на койках, в сапогах. Неужели так трудно снять сапоги? Портупей-юнкер Кононов, наложите на них по два дневальства не в очередь.

— Слушаюсь, господин фельдфебель,— отвечал взводный.

— В воскресенье,— продолжал тем же ровным голосом фельдфебель,— по случаю храмового праздника, в Екатерининском женском институте вечером будет бал. На бал приглашено сто юнкеров нашего училища. Начальник училища приказал от роты его Величества назначить тридцать прекрасно танцующих юнкеров. Белые перчатки иметь обязательно. Прошу желающих, после молитвы, записаться у меня. Про-та, на-лево! Петь молитву!..

Как любил Федя эти сладкие минуты вечерней молитвы в роте! Все забывалось. Лекции, ответ на репетиции, мороз на ученье, «помпон» Старцев с его картавым голосом. В сумраке залы блистала лампада и мягко намечался архангел с огненным мечом. Перед Федей, все понижаясь, в строгом ранжире уходили к образу круглые, гладко остриженные черные, темные и русые головы и алели под ними погоны и петлицы бушлатов. Чистые молодые голоса сразу, музыкально, брали: «Отче наш». Хоровая молитва захватывала и уносила с собою душу. «Да придет Царствие Твое»,— повторял Федя слова молитвы. И смутно прекрасное царство рисовалось ему. Было оно и земное, и небесное вместе. Мама, Танечка, Лиза, Старцев играли в нем какую-то чудную роль... Но говорила молитва: «да будет воля твоя» — и Федя смиренно склонялся перед волею господина своего... «Что хочешь возьми — отдам»... говорил он. А молитва опережала его мысли — «Не введи нас во искушение»... Старцев, мазочка... ох! искушение, искушение! «Прости мя, господи, грешного!»

— Спаси, Господи, люди Твоя,— все повышая голоса, пели юнкера, и в душе у Феде рождались новые величавые думы.

— Побе-еды благоверному императору нашему Александру Александровичу, на сопротивные даруй и Твое-е сохраний, крестом твоим жительство.

Каждый день пели эту молитву, и каждый день одна и та же мысль приходила Феде в голову: «Пока будет эта

молитва, пока будет эта вера, сохранится крестом и наше жительство, наша Россия»...

После переклички, до половины одиннадцатого, все разбредались. В ярко освещенном длинном, идущем вдоль роты, коридоре ходили, делали гимнастику и ружейные приемы те, кому что-нибудь не удавалось. Подле шинельной собрались певчие и оттуда неслась залихватская песня. Ее прерывали рассказы и громкий смех.

Федю тянуло туда, но, исполняя приказ ротного, он брал винтовку, надевал ремень и фуражку и звал Акацатова: «Князь, пожалуйста сюда».

Он становился против Акацатова и говорил:

— Неужели не можете? Принесите стакан, полный воды.

Федя ставил на голову стакан, брал винтовку «на плечо» и начинал маршировать, твердо отбивая ногою шаг. Ни одна капля не пролилась из стакана.

— Фокус! — говорил Акацатов, безнадежно глядя на Федю. — Я не могу.

— Ну, сделайте так, — и Федя брал «на караул» и при втором приеме заставлял винтовку быстро перевернуться около оси и стать как раз вовремя на место.

— Фокус! — еще печальнее говорил Акацатов.

— Э, погодите и вы будете такие же фокусы делать. Не боги горшки лепят. Ну, станьте смирно... Так... Каблуки сожмите теснее, левый носок чуть поверните и немного назад. Колени свободно... Вот, уже стойка лучше, уверяю вас — лучше. Шею на воротник, подбородок на себя... Хорошо!.. Право хорошо... Три пальца на погонном ремне... прямые. Не заваливайте при этом правого плеча. Отлично, князь. Все образуется... У вас будет великолепная стойка!

Когда в одиннадцатом часу Федя, разложив по правилам одежду и белье на табурете, ложился на соломенный тюфяк и подкладывал уютнее подушку, — он только собирался продумать все, что было днем, как сладкая истома прохватывала тело, медленно согревались застывшие ноги, сумрак надвигался на голову и он не успевал пожалеть себя, что в шесть часов ему надо опять вставать, как уходила в темноту вся рота, не видно было умывавшегося за аркой юнкера, кто-то командовал «На пле-е-чо!», улыбался кокетливой улыбкой Старцев и говорил «Б'гендо, Б'гендо»... «Как это, — думал Федя, — он сказал: „les chants desesperes“...» и вдруг проваливался в небытие, из которого его пробуждали печальные звуки пехотного горна. Горнист трубил повестку перед зарею.

Было очень холодно, сумрачно и неудобно в помещении государевой роты.

По средам и субботам Федя ходил в отпуск. По средам до 11 часов, а по субботам с ночевкой.

Федя крепко любил семью. Ему доставляло удовольствие дышать воздухом их маленькой чистой квартиры, видеть рояль, бронзовые часы в гостиной, гладить ласково визжавшую старую Дамку и вспоминать Маркиза де Карабаса, оклеветавшего два года назад.

Когда на дребезжащий на пружине звонок в прихожей раздавались шаркающие торопливые шаги матери, сердце его билось и он испытывал сладкий восторг ожидания.

Старилась мама! Становилась будто ниже ростом, больше морщин прорезали ясный лоб, и уже не румянцем, но пятнами были покрыты щеки. Но, казалось, с еще большею любовью смотрели на него серо-голубые глаза.

— Экий какой! — говорила она, маленькой рукою с четко проступавшими синими жилами хлопая его по рукаву шинели. — Да ты никак еще вырос... Солдат! настоящий солдат! гвардеец!.. Дай нашивочки твои посмотреть!.. Молодчина ты у меня. Устал, поди-ка? Знаю: не скажешь, не сознаешься. Замерз? Ишь — шинелька-то ветром подбита... Пешком шел?

— Пешком, мамочка, — снимая ремень со штыком, — говорил Федя и чувствовал, как сразу его окутывала родная атмосфера.

— Знаю... Не на что... Ну, на конке поехал бы. И то, на имперьяле холодно, а внутрь нельзя, не пускают...

— Дома что?

— По-старому. Сейчас обедать будем. А то, хочешь, чайку согрею? Я живо... На плите.

— Нет, мама, я сыт...

Квартира была в том же доме, но этажом выше и на две комнаты меньше. Федя, когда ночевал, спал в гостиной на диване, к которому приставляли кресло.

Mademoiselle Suzanne ушла в дом престарелых женщин кастеляншей. Лиза уехала учительницей в деревню. Превратившаяся квартира стала велика.

В отпуску у Феди своего угла не было. Он бросил книги, перевязанные ремнем, в гостиную под лампу и сел в кресло. Мать стоя любовалась им.

— Похудел ты у меня, Федя. Учиться будешь здесь?

— Да, во вторник репетиция по механике. Хочу подтвердить формулы.

— Ко всенощной пойдешь?

— Пойдем, мамочка. И к обедне завтра пойдем. Дома никого нет что ли? Тихо как.

— Липочка еще из комитета не пришла.

— Устает?

— Страшно! Позеленела вся. Ипполит у себя, Миша тоже дома.

В гостиную вошла няня Клуша.

— Здравствуй, Федор Михайлыч. Дай полюбоваться на тебя. Ишь, воин царев! Унтер-офицером уже! Радоваться на тебя надо!

За обедом было по-прежнему тяжело. Эти полчаса, что они сидели за столом, Федя чувствовал себя не в семье, а в каком-то враждебном стане.

Михаил Павлович сидел в голове стола и презрительно косился на погоны Фединоного мундира.

— Солдат!.. Солдат!,— иногда ворчал он вполголоса, ни к кому не обращаясь.— Тыфу!.. дожил.

Ипполит в студенческом форменном сюртуке, по правую руку отца, ел мало, молча и торопливо. По левую руку Михаила Павловича была тетя Катя. Она стала еще скрытнее и молчаливее. Седые косицы ее висели над белою старою шеей. Рядом с Ипполитом сидела Липочка. У нее было бледное усталое лицо, и она уже не смеялась всему. Рядом с нею Миша. Федя подле тети Кати, рядом с матерью. Варвара Сергеевна незаметно подкладывала Феде лучшие куски, но Михаил Павлович видел это и ворчал:

— Кричали женщины ура и в воздух чепчики бросали! Обаяние военного мундира... От времен Марса и до времен Маркса... Интеллигентная семья... Я, профессор, мечтавший о вечном мире, о разоружении народов, и сын — солдат. Ерунда! Ерунда!..

Варвара Сергеевна умоляющими глазами смотрела на мужа.

Липочка вдруг вступилась за брата. Она говорила порывисто, злобно, и краска заливала ее бледные щеки пятнами, как у матери.

— Ты бы, папа, лучше молчал. Пусть хотя один из нашей семьи выбьется на дорогу и не будет висеть у тебя на шее.

— Ты что понимаешь! — фыркнул Михаил Павлович.

— Я понимаю все! Где моя молодость?.. Радости жизни? Счастье? Для чего я училась? Для чего была на курсах? Очень нужна я, ученая женщина? Часами в комнате за цифрами и так... на всю жизнь... А вы... вечный мир... счастье народов!.. Идеалисты!.. Маниловы!..

— Ты погоди! — спокойно сказал Михаил Павлович. — Нет, киселя не надо... — отмахнулся он от тарелки. — Миша, принеси папиросы.

Он сел боком, закурил толстую папиросу и начал:

— Мои идеи — святые идеи. Надо, чтобы народы, составляющие одну семью, и жили одною семьею, человечеством, признавая над собою один общий авторитет.

— Кто же этот авторитет? — холодно сказала Липочка.

— Лучшие люди всего мира собираются где-то и создают какое-то верховное судилище, которому обязываются повиноваться все нации.

— Где-то, какое-то... Кто же эти таинственные кто-то? — раздраженно сказала Липочка.

— Люди, подобные Льву Толстому, Карлу Марксу, Кропоткину, из умерших — Вольтеру, Руссо, Сократу, Христу... — нудно говорил Михаил Павлович.

— Михаил Павлович, — умоляющим голосом сказала Варвара Сергеевна.

— Э, матушка! Попов здесь нет, а дети побольше нас с тобой понимают.

— Кто же станет их слушаться? — спросила Липочка.

— Кто? А пусть никто. Плевать!.. Плевать, что никто... Но надо, понимаешь, чистые идеи бросать в мир... и они сами... сами... Сократ не был воителем. Его осудили несправедливо. Он принял смерть, чтобы показать пример, и мы его чтим... Христос пошел на муки. Как Бог он мог сойти со креста и чудом поразить народ. И пали бы ниц все члены синедриона, судьи, архиепископы и цари и Христос был бы во всей славе своей... И вот — принял страшные муки во имя идеи... Так и эти люди — эта надстройка над нациями будет давать идеи и в конце концов овладеет умами народов и подчинит их себе.

— Ты веришь в это, папа? — насмешливо спросил Ипполит.

— Верю? Гм... Надо верить!

— Но прошли тысячелетия и умирали Сократ, Христос и Будда, а народы гибнут все так же в братоубийственных войнах и ничто их не остановит.

— Да, пока есть... Федя...

— Оставим Федю в покое, — примирительно сказал Ипполит. — Не он создавал этот проклятый порядок и не он, так кто-нибудь другой все равно пошел бы поддерживать и отстаивать его. Это, папа, утопия!

— Молод ты отца учить, — недовольно сказал Михаил Павлович и замолчал, попыхивая папиросой.

— Ну, если так рассуждать, то лучше и не поднимать разговора.

— Тьфу!.. Ты не понимаешь... Думаешь, мне легко его видеть... Мой ведь сын!

Михаил Павлович поднялся из-за стола и вышел.

Федя молчал.

IV

После всенощной Федя прошел к Ипполиту. Ипполит, одетый в новый сюртук с блестящими пуговицами, собирал на столе какие-то записки. Он вздрогнул от стука двери и быстро обернулся.

— А, это ты,— сказал он.— Что тебе? В механике что ли помочь?

— Нет, Ипполит... я так... только поговорить хотел.

— Ну что? Замучили себя ученьями? Ишь худой какой, и даже зимою загорел.

В отношениях между братьями была прикрытая наружно грубостью нежность. Федя не понимал Ипполита. Он чувствовал, что они по-разному смотрят на свой долг, но авторитет Ипполита всегда стоял у него так высоко, что осудить его он не мог.

«Быть может,— думал он,— мы стремимся к одной цели, но только идем разными путями. Не может Ипполит не любить Россию, не может жидов предпочитать русским».

— Ипполит,— сказал Федя,— отец меня очень презирает? Он не любит меня?

— Он никого, Федя, не любит. Отец несчастный, замученный интеллигент. Были и у него порывы, но порывы шестидесятых годов. Крепко сидит в нем маниловщина всеобщего братства, которое как-то само делается путем сеяния либеральных идей. А сам... со своими страстишками справиться не может. С клубом, с картами. Отец замучился и нас замучил. На что стала похожа Липочка? Миша в шестнадцать лет издерганный неврастеник. Лизу выжил в деревню, и все это искренно желая всем нам добра.

— Но меня он ненавидит за то, что я пошел на военную службу.

— Ненавидит?.. Нет... это сильно сказано. Он не понимает тебя. Суди сам: быть антимилицаристом и иметь сына юнкера, да еще и портупей-юнкера — плохая вывеска.

— Ипполит!.. А ты... Ты тоже осуждаешь меня?

— Нет... мне тебя жаль, Федя.

— Жаль?

— Да. Ведь, поди, тяжело все это? Казарменная жизнь? Грубая пища, окрики начальства, отдавание чести?..

— Тяжело?.. Нет, Ипполит. Это не то. У нас все это как-то скрашено... Я не сумею объяснить как... Не знаю, поймешь ли?

— Попробую понять.

— У нас все это скрашено любовью... Понимаешь, в Евангелии сказано: «Научитесь от Меня... Ибо Мое благо и бремя легко есть».

Ипполит поморщился.

— Опять евангелие,— брезгливо сказал он,— нельзя ли без него? Ведь не монахи же вы?

— Мы не монахи, Ипполит. Но мы любим свое дело. Для меня... для большинства... пожалуй, для всех нас рота, наш батальон, училище, армия, Россия — святыня, и мы готовы все отдать за них.

— Это так кажется, Федя, потому что вы еще дети и игра в солдатики вас забавляет. Но тебе уже двадцать лет. Полюбишь какую-нибудь девушку, а жениться нельзя.

— Да, до двадцати трех лет жениться нельзя, а потом до двадцати семи нужен реверс, пять тысяч... Да зачем мне любить?.. Для чего жениться?.. Мне и так хорошо.

— Не в том дело... Жениться тебе рано, положим. Я это сказал к тому, чтобы показать тебе, что у тебя отнята свободная воля.

— Да... воли нет. Но как я могу полюбить какую-нибудь девушку, когда мое сердце уже отдано России? И быть рабом ее, отдать ей свою волю — это счастье.

Ипполит пожал плечами. Наступило долгое молчание.

— Ипполит,— сказал Федя,— скажи мне, почему, когда мы были в гимназии, мы люто ее ненавидели. «Чтобы она провалилась. Хотя бы сгорела гимназия». Мы ненавидели науку, которую там преподавали... Ирсе, Митька, рыжий Цербер — адский пес, козел, батька — вот как мы называли своих учителей. Я ненавидел науки. Даже к таким предметам, как история и русский язык, я был холоден... В корпусе... напротив... Гимназию я и сейчас вспоминаю с отвращением. Темно-коричневая снаружи, она мне кажется темною и внутри... Напротив, корпус — светлый-светлый. Я с удовольствием ношу наш корпусной жетон, погон в венке из дубов и лавров. А училище!.. В нем, правда, очень тяжело. Недаром нас называют дисциплинарным батальоном. За всякую провинность наказание... А я?.. Мне оно бесконечно дорого. Ты знаешь, как я люблю наш дом... Я с тоскою иду в вос-

кресенье из отпуска, но увижу ряды ярко освещенных окон, дежурного офицера, поднимусь в роту — засветится в мерцании лампадки наш образ — и так хорошо станет на душе!

— Я не знаю... Почему ты не любишь гимназию? Я ее, положим, тоже не жалую. Может быть, потому что в корпусе и училище науки легче, интереснее. Преподаватели читают более популярно.

— Нет, Ипполит. Этого нельзя сказать. Не всегда так. В гимназии по русскому у нас был Алексей Александрович Глазов: он чудно учил. Его уроки были — наслаждение... Совсем не то в корпусе — там был плохой учитель... А Глазова я не любил, а Владимира Сергеевича очень люблю. И батюшка... такого батюшки, как наш отец Михаил, в корпусе нет. Я отца Михаила обожал, но в гимназии я боялся это сказать, а в корпусе и в училище мы все такие. И в гимназии, и в корпусе начальство учит нас быть русскими, но в гимназии мы стыдимся России, а в корпусе мы гордимся ею.

— Ну, вероятно, это потому, что в корпусе однороднее состав. Нет третьего сословия, сословия озлобленного, забитого нуждою, затурканного.

— Нет, Ипполит. И корпус и особенно училище все — сословны. В корпусе были сыновья купцов, сын виноторговца сидел рядом со мною, много было детей мелких чиновников. В училище есть дети крестьян и простых казаков. Ты знаешь, Ипполит, я думал не раз об этом. И мне кажется, что в этой ненависти и презрении к России виноваты... Я боюсь тебе это сказать...

Федя замолк.

— Ну, кто? — спросил Ипполит.

— Жида! — крикнул Федя.

Ипполит вспыхнул.

— Никогда, Федя, не называй так евреев. Это их оскорбляет!

— Но Достоевский... — начал Федя.

Ипполит перебил его.

— Ты с ума, Федя, сошел! — воскликнул он. — Вот то, чего я так боялся. Натравливание одной народности на другую, создание ура-патриотов, развитие погромной жажды — вот она, русская школа Ванновского и Александра III.

— Нет, Ипполит, нет, — горячо заговорил Федя. — Никто мне ничего про евреев не говорил. Боже сохрани!.. Это я сам. Передумывал, переживал гимназическое прошлое и понял. Бывало, как только зашевелится в сердце горячая вера в Бога, подступят к глазам слезы при чтении «Тараса

Бульбы» — Канторович, Бродский, Слонович жестко, грубо высмеивают в нас это движение. Точно высекут по самому сердцу. Они везде первые ученики. Ты помнишь, как мы ненавидели фискалов, как мы горою стояли друг за друга. А вспомни историю Аронсона. Весь класс решил не отвечать латинисту. Аронсон сказал: «Это глупо, я буду отвечать». И ответил, и сорвал себе пятерку, потопив класс. Если бы это сделал Волошин, первый ученик, его избили бы, его уничтожили бы презрением, а перед Аронсоном смолчали. Весь класс покорился жиденышу... Мы смеялись над жидами. Мы им складывали полы мундира и показывали свиное ухо, мы издевались над ними. Но это они незаметно внушали нам нелюбовь к гимназии, к науке, к России, к Богу!..

— Федя, если бы тебе не было двадцать лет и ты не был бы портупей-юнкер роты Его Величества,— чуть заметная ирония прозвучала в этих словах Ипполита,— я бы сказал тебе, как говорил, когда ты был маленьким: «Ты глуп, Федя»,— или сказал бы, как Липочка: «Сядь в калошу». Но в твои годы, мне кажется, ты должен с корнем вырвать это страшное заблуждение. Евреи — сильная и талантливая раса. Они не только в классе, они и в жизни первые. Великий учитель политической жизни народов, указавший путь раскрепощения бедноты,— Карл Маркс — еврей. Спенсер — еврей, и если хочешь, а по-нашему так и есть, Христос, великий учитель, преподававший самое высокое учение,— еврей.

— Он Бог.

— Оставим это, Федя. Это мировой спор, и мы не будем разбираться в тонкостях вероучений. Я — юрист, ты — воин. Это дело богословов... В искусстве, на сцене — везде евреи занимают первое место.

— Почему?

— Это сложный вопрос. Может быть, потому, что они — древнейшая раса, что они в чистоте сохранили культуру многих веков. Но нельзя отрицать, что они душевно тоньше нас и потому, естественно, покоряют и поучают нас.

— Ипполит,— сказал в волнении Федя.— Ипполит!.. мне страшно за тебя... Ты во власти их!.. Они погубят тебя!..

Ипполит засмеялся. Нехорошим показался смех его Феде.

— Смешной ты, Федя. Помнишь Бродовичей? Разве не хорошо тебе бывало у Абрама? Ты играл его игрушками, восторгался его паровою машиною, тебе давали спирт, чтобы ты пускал ее в ход. А разве не нежна и не ласкова была к тебе Соня? А что ты был для нее — мальчишка!

— Это правда. И Соня, и Абрам дали мне много ласки...— Федя задумался.— А знаешь,— быстро сказал он.— А счастья не давали... Играю в игрушки Абрама и чувствую: не то, не то!..

— Слышал ты что-нибудь худое от Абрама или Сони про Россию? Газета Бродовича — одна из лучших русских газет. Нужно быть справедливым. Слушай, Федя, по воскресеньям у Бродовичей собирается молодежь. Не для карт или выпивки, как у русских. Иногда танцуют, но редко. Больше музицируют и говорят. Я хотел бы, чтобы ты пошел в будущее воскресенье. Я переговорю с Абрамом. Я уверен, они будут рады принять тебя. Там бывает человек тридцать — сорок молодежи. Читают рефераты, молодые поэты декламируют свои стихи. Там ты услышишь Надсона, Минского, Фруга, Фофанова — весь новый Парнас бывает у Бродовичей. Присмотришься: ни сплетен, ни злобы, ни клеветы друг на друга; тихая беседа, порой шумные споры, доходящие даже до крика, но никогда никаких оскорблений. А там — почти наполовину евреи. Посмотри их сам и скажи: прав ли ты, делая вывод, что в корпусе тебе было лучше, лишь потому что там не было евреев. Помни, Федя, евреи тоже люди и во многих отношениях лучшие, чем мы... Уже хотя бы потому, что они не носят национальных шор. Так пойдешь со мной?

— Пойду.

— Ну вот и отлично, Федя. А теперь — до свидания. Я тороплюсь.

— Куда?

— К Бродовичам.

Федя сделал движение вперед, точно хотел удержать брата. Он и сам не понимал, почему он сделал это движение. Ипполит улыбнулся тонко с чуть заметным презрением, но была и нежность в его улыбке.

За эту нежность Федя не заметил презрения.

V

По гостиной широкими шагами ходила Липочка. На ее щеках то вспыхивал, то погасал румянец.

На диване была постлана постель для Феди, положены подушки, простыни и одеяло, придвинуто кресло.

— Ты спать пришел? — спросила Липочка.

— Нет. Еще рано.

Липочка остановилась у рояля. Она заломила руки так, что хрустнули кости пальцев, и с тоскою в голосе сказала:

— Ах, какая скука!.. Как все надоело!.. Надоело! Для чего быть образованной, кончать гимназию, курсы... Все ни к чему...

— Тебе очень трудно в комитете?

— Трудно... нет. Это не то слово. А нудно. У меня такое чувство, что я в каменном мешке ворочаюсь. Понимаешь: дают ведомости... Ну хотя бы об урожае. Из волостей. И я знаю: они неверны... Так себе составлены. Мне Лиза писала, как их составляют. Темная деревня и в ней два светила... Два труженика: волостной старшина и писарь. И вот они присылают нам ведомость. В ней сотни граф и вопросов. На них ответы... И, Боже мой, какие вопросы и какие ответы!.. Мы, барышни, их разбираем, суммируем, а профессора, как мой папа, с важным видом строят на этом великие выводы.

Федя заметил, что Липочка не называла больше отца — папа, как делала раньше.

— Ты понимаешь,— продолжала Липочка,— у меня чувство, как на каторжных работах. В Англии, говорят, самым тяжелым преступникам дают бессмысленную работу и, понимаешь, тяжесть наказания в ее ненужности. Носить тяжести вверх и сносить их вниз. Или качать воду, которая льется обратно в тот же бассейн. Вот так и мы с нашими ведомостями. Понимаешь, мне начинает казаться, что мы достигли какого-то необыкновенного благополучия и уже не знаем, что делать, с жиру бесимся... А Лиза пишет из деревни... Там так много настоящего дела.

— Может быть, Липочка, было бы лучше и тебе поехать в деревню.

— Ах, не могу я!.. Как же можно маму бросить?.. Ты бываешь здесь редко. При тебе отец сдерживается. Смешно!.. Он точно боится тебя! А без тебя! Бенефис каждый день. Ипполита он не трогает: к нему он проникнут уважением. С медалью кончил. Миша встанет и уйдет. Тетя Катя молчит, как каменная. И вот все на меня и на маму. Зачем я некрасивая, зачем замуж не выхожу. А как выйдешь замуж, когда никто у нас не бывает и мы нигде не бываем? Была я два раза у Бродовичей, по воскресеньям. Один раз танцевали, другой читали. Все нарядные! Шелк, кружева по последней моде. Соня красавица! Если бы она мне не посылала кавалеров, я бы просидела весь вечер не танцуя. А мне противно... Понимаешь, у меня чулки фельдикосовые, старые башмаки, платье еще то, что на выпуск шили, причесывалась сама. Один стыд и унижение.

— А у подруг по комитету бываешь?

— Они такие же, как я. Все беднота собралась. Когда профессор наш на праздник подарил нам коробку конфет, так они руки ему готовы были целовать. Всю неделю только и разговора было, что об этом... Бедность съела гордость.

— Скажи, Липочка, а меня отец очень ненавидит?

— Нет, не то... Ненавидит?.. Зачем?.. Но, понимаешь, с тех пор, как его уволили со службы и он потерял лекции, он стал либералом. Водится с Фалицким и ему подобными. Шумит, кричит в клубе — франкмасона, вольтерьянца какого-то разыгрывает. Он антимилитарист, хотел писать обращение ко всем народам о разоружении — и вдруг сын у него — портупей-юнкер... Ах, Федя, понимаешь, он меня... на улицу гнал. Говорил, что это такое служение народу... Что они — несчастные, и им руки целовать надо. Вышла эта... «Надежда Николаевна» Гаршина — меня заставлял читать. «Учись,— говорит,— вот кому подражать надо! Э, да ты некрасивая». А разве я виновата, Федя? И разве уж я такая некрасивая? Это работа, недоедание, недосыпание, скука, тоска, плохое платье меня такую сделали. В двадцать два года я молодости не видала!

Федя молчал. Липочка металась по комнате.

— Замуж? Да, иногда так хочется, чтобы кто-нибудь после был... Хороший... кто понимал бы меня, заботился обо мне... Дети были бы... А как я их-то брошу? Отца с матерью? Ведь я им нужна... И подумаешь — дети. Дети, как мы, будут — разойдутся, оставят на старости лет. Нет уж, где уж нам уж выйти замуж. Мама слепнет. Жаль смотреть на нее. Сидит, старушка, целыми ночами, чулки отцу и нам штопает. Разве можно не помочь? Ну и я сяду. Отец? Долго он продержится? И сейчас чуть много выпьет и раскиснет. Прибирать за ним надо. Феню отпустили. Няня — какая помощница! Все в богадельню хотим устроить, да вакансии нет. Вот, Федя, понимаешь, как окунешься во все это, ум за разум зайдет... А там — шумят!

— Где там?

— У Бродовичей.

— Расскажи мне, Липочка, как там? Ипполит хочет, чтобы я в будущее воскресенье к ним пошел.

— Пойди. Как там? Хорошо. Только вот, как я понимаю, глупо очень. Равноправие женщины. Женщины должны идти в университеты, быть докторами, адвокатами. Государством должны управлять выборные от народа. Ну и женщины тоже. Ну, а кто же будет штопать чулки? Сидеть у домашнего очага... Эх, Федя, понимаешь, там тоже толчение воды в ступе, как у меня в статистике. И ничего они не по-

нимают. Был там студент один... Из народа... Вышел он, говорит: «Позвольте, коллеги, все это хорошо, а только вы не знаете, что значит убрать урожай и создать этот урожай. Тут не до книжки и не до служения друг другу». Как напустились! Один земец, член управы, прямо кричал на него: «Вы,— говорит,— коллега, не знаете народа. Вы не понимаете его. Это оттого, что у него земли мало». И пошел! Нужны машины, паровые плуги, травооборот или севооборот. Тот студент руками развел: «Ну, коли,— говорит,— вы лучше меня знаете — вам и книги в руки!»...

— А ты сказала, Липочка, что там хорошо.

— Там бывает много молодежи. Со всего света. Были какие-то американцы. Не то квакеры, не то Бог их знает кто. Японцы были, китаец. И все объединены одним. Мир — человечество. Гуманность. «Не делай другому того, чего ты не хотел бы, чтобы сделали тебе». Они как будто христиане, а Христа отрицают. Евангелием пользуются, но считают, что они выше евангелия, что евангелие устарело.

— Но там, мне говорил Ипполит, половина жида.

— Да. Большинство. Ляпкин, Алабин и Бродович на первом месте. Послушаешь их: хорошо. Все: «коллега, коллега», как будто ласково. Друг другу помогают. Я знаю, что Белову нечем было заплатить за университет — они заплатили. Штейн заболела тифом — они ей возили белые булки, свежую икру и дорогие вина... Иванов в тюрьму попал — они за него хлопотали. Понимаешь, ничего худого не скажешь! Хорошие люди. А только — выйдешь оттуда и вздохнешь полную грудью. Там все так напряженно. Точно струна протянута сквозь все тело или вытянувшись на цыпочках ходишь. Они едят, пьют, шумят, смотрят — и все это не по-нашему. Иногда жутко станет. Посмотрела за ужином. Горят на столе высокие канделябры, блестит хрусталь, серебро, остатки дорогих блюд, накурено. Синий дым волнами ходит, по стенам висят картины, темный лак отсвечивает от них. Кругом, как в тумане, в волнах табачного дыма колеблются розовыми пятнами лица гостей. Черные, лохматые затылки, толстые горбатые носы, пухлые губы... Все говорят одновременно. Кое-кто расстегнулся. Вот вспыхнет, думаю, песня, скажет кто-нибудь острое слово, покатится смех... Нет, все споры, все о том, что нужно сделать для блага народа. И не знаю почему, мне вспомнились «Бесы» Достоевского... Петр Верховенский, Ставрогин, Лямшин, и стало жутко. После ужина Ляпкин сел за рояль. У него длинные волосы по плечи. Стал импровизировать, а Соня вышла в древнееврейском костюме и танцевала с серебряным блюдом танец Саломеи.

И музыка, и танец были странны. Мне чудилось, что кровью невинного Иоанна пахнет... И когда я вышла... Увидела звездное небо, гололедкой покрытые улицы, темные, чуть клубящиеся паром воды канала — я вздохнула полною грудью. Точно с того света вернулась.

— А Ипполит?

— Он весь их. Увлечен Юлией Сторе.

— Кто это?

— Не знаю. Она всегда молчит. Оба раза, что я была там, она сидела в темном углу и не сказала ни слова. Только улыбалась.

— Она красивая?

— Не знаю... Всегда она как-то особенно одета. В ее светлых, пепельно-русых волосах сверкают камни. На шее нитки жемчугов. Ее называют — воплощенная идея. И говорят: «Идея наша так же прекрасна, как Юлия».

Дверь из столовой открылась, и в гостиную тихими шаркающими шагами, с вязальными спицами, клубком и начатым чулком, вошла Варвара Сергеевна.

— Я не помешаю вам? — сказала она. — Уж очень мне хотелось, Федечка, еще перед сном на тебя полюбоваться.

— Странная ты, мама, — сказал Федя. — Как мало я тебе даю. Ушел из дома. Ничем пока помочь не могу, а ты...

— Молчи, Федя! Ты великое дело делаешь. Ты себя отдал на служение Царю и Родине... И радуюсь я, что и моя кровь послужит на счастье России.

— Мама, — сказал Федя, — сыграй нам вальс Годфрея, помнишь, как ты Андре играла.

— И, батюшка, что вспомнил. Где теперь? Пальцы запухли, и глаза нот не видят. Где мне теперь играть? Старуха стала. Вот чулки Мише связать хочу. А ты расскажи, как ты живешь.

— Да что же рассказывать, мама? День да ночь — сутки прочь.

Но Федя стал рассказывать, как обучал он князя Акацтова, как хорошо маршировала их рота при 15 градусах мороза на дворе в одних мундирах, и жалонер Серегин отморозил нос, как ныне поехали танцевать в Екатерининский институт.

— Что же ты не поехал?

— Что ты, мамочка! Да разве я променяю тебя на бал в институте?

— И все-таки поехал бы!... А потом мне рассказал бы. Мы бы с Липочкой послушали. И тебе, и нам радость была бы. Радостей-то мало у Липочки. Вот она и послушала бы тебя.

Тихо светила керосиновая лампа под бумажным абажуром на столе, подле дивана с постелью; старая Дамка лежала клубком в ногах у Варвары Сергеевны, а Федя все рассказывал про свою незатейливую юнкерскую жизнь.

— Ишь греет мне ноги, старая, — улыбнулась, кивая на Дамку, Варвара Сергеевна. — Ну говори, говори, Федя, люблю, когда ты говоришь.

VI

Ипполит кончил гимназию первым, с золотой медалью. Он не пошел, как собирался раньше, на естественный факультет, бросил мечты стать путешественником, но, увлеченный Бродовичем, пошел на юридический и занялся изучением социологии, рабочим вопросом в Англии, Америке и Германии. Он готовил себя к общественной деятельности.

Абрам кончил университет. Он не пошел на государственную службу. Быть судебным следователем или записаться в адвокатуру и стать помощником присяжного поверенного казалось ему мелким. Газета и театр увлекали его. Он собирался заменить отца, расширившего дело. Бродович купил типографию, завел свою словолитню и внимательно присматривался к новому делу только что открытой цинкографии. Он подумывал ахнуть еженедельное иллюстрированное приложение к газете, на злобу дня, и хотел из сына сделать редактора своего приложения. Капиталы его росли.

Ипполит часто бывал у Бродовичей. Их жизнь, богатая, с широким размахом, с громадными планами, где сотнями тысяч швыряли так же легко, как копейками, увлекала его. Она так мало походила на их домашнее мещанство, придавленное нуждою жизни.

Они, дворяне Кусковы, проживали остатки. Они были обломками чего-то красивого, но как будто ненужного. Они казались Ипполиту хламом, как черепки разбитой вазы или засохший стебель цветка. Они уже не умели творить. После освобождения крестьян они были, как растение, вырванное с корнем и посаженное в тесный горшок. Такими были они на службе ненужными чиновниками ненужных учреждений. Дуба не вырастишь в горшке. И тянулись хилые цветы, вырастали порою причудливыми орхидеями, чаровали талантом Чайковского, Апухтина, Майкова, Фета, но силы завоевать себе право жизни не было. Вместо грозных рыцарей со статусом верности Императору выросли рыцари двадцатого числа, погрязшие в картах.

Ипполит не понимал. Он дворянин без двора и, чтобы выбиться в люди, а не топтаться на месте, как его отец, нужна какая-то другая работа, а не двадцатое число. И он приглядывался к людям, ковавшим деньги, строившим себе дворцы и державшим сотни рабочих на крепостном положении.

Стать капиталистом, заводчиком, хозяином предприятия, как отец Бродовича, Герман Самуилович, он не мог. Он не мог быть эксплуататором, а он понимал, что у Германа Самуиловича работа идет хорошо, потому что он выжимает из служащих все соки.

Липочка говорила правду: Бродович заплатил за студента Белова за учение. Соня возила больной Штейн свежую икру и марсалу, но Ипполит знал, что он же платил офицеру Николаеву за его новеллы и ежедневное обозрение Петербурга по полторы копейки за строчку. Абрам громил на вечеринках фабрикантов и требовал восьмичасового рабочего дня, а наборщики у Германа Самуиловича работали 12 часов в сутки и метранпаж приходил в 4 часа дня и уходил в 6 часов утра.

Ипполит на все это не был способен. Он искал другого. Он жаждал общественной деятельности, которая вырвала бы его из круга чиновников и дала бы ему возможность независимого творчества. Он не хотел идти торными, прямыми дорогами службы в министерстве, суде, профессуры, или иной государственной службы, он хотел искать новых путей, прорубать, может быть, полные терний просеки, но такие, которые вели бы его на простор власти. Он был первым учеником в гимназии, и первым он хотел быть и в жизни. Прямые пути не давали первенства уму. Ничтожество со связями было выше «первого ученика». Протекции у него не было. Отец был на дурном счету, дядя Володя зачислен полковником. Они были неудачниками. Ипполит понял, что у него нет данных, чтобы выдвинуться на поприще государственном. Спина не была достаточно гибка, льстить он не умел. Да и на что мог он рассчитывать, если пойдет на службу? К концу жизни будет директором департамента, прокурором, председателем судебной палаты, профессором... сенатором.

Малым это казалось ему. Он жаждал власти, богатства, самостоятельности. Бродовичи соблазняли его. Они ни от кого не зависели, смеялись над правительством. Ипполит хотел победы — для победы нужна была борьба. На службе была служба, но борьбы не было, и Ипполита потянуло туда, где при победе можно было мечтать о чем угодно.

Может быть, сам он и не додумался бы ни до чего. Тол-

кнула на эти мечты его Соня, которая познакомила его с Юлией Сторе.

Юлия увлекла Ипполита. Он не влюбился в нее — это было бы слишком просто — он был ею увлечен. Он не понимал ее. Юлия была загадкой. Если бы Ипполит, как Федя, верил в демонов, в таинственные силы — он бы счел Юлию за существо потустороннего мира. Он был материалистом, хотел подойти к Юлии просто и не мог.

Кто она?.. Соня сказала на его вопрос, что она дочь армейского подполковника, пьяницы, давно бросила отца, живет самостоятельно.

Юлия прекрасно одевалась. Она появлялась в театре в лучшем обществе, в ложе бельэтажа, с обнаженными, покатыми плечами, классической красоты шеей и мраморным холодным лицом. Зеленые глаза ее никогда не смеялись. Пепельно-русые волосы были нежны и густы. Прически оригинальны. Странной формы обручи были на кистях прекрасных рук. Точно браслеты, взятые из раскопок, зеленые змеи, цепочки невиданной формы из ржавой, древней меди.

Ипполит видел ее на скачках в Царском, на музыке в Павловске, среди нарядного изысканного общества. У нее было много знакомых, но она как-то умела сделать так, что никто долго подле нее не оставался.

Где она жила? Ипполит не знал. Пытался несколько раз проводить от Сони. Но она всегда молча садилась на извозчика, застегивала полость и говорила: «Прямо»...

Когда Ипполит оставался с ней, говорил он. Она молчала. И если он умолкал, то разговор прерывался... Она смотрела прямо в глаза Ипполиту, и тайна светилась в ее глазах. Так смотрит на человека кошка. Внимательно, строго, не мигая. Не вздохнет, не повернет головы, точно глубина не души, а целых тысячелетий душ глядится из зеленых глаз.

— Вы меня слушаете? — робко спросит Ипполит.

— Конечно, да,— скажет Юлия.

— Что же вы думаете об этом?

— Я думаю,— скажет Юлия и замолчит. И опять говорит Ипполит.

Ипполит мечтал о ней, но мечтал не так, как мечтают о женщинах. Ни невестой, ни женою, ни любовницей она не представлялась ему. Друг? Нет, и не дружба... Товарищ?.. Да, именно товарищ в каком-то грандиозном, но страшном предприятии.

«С такими,— думал Ипполит,— убивают. Что же, и я

убью... С такими можно добиться славы и власти... И добьюсь!..»

Иногда ревнивые подозрения заползали в душу Ипполита.

«Откуда у нее бриллианты, жемчуг, откуда платья, возможность так жить, как живет она? Уж не на содержании ли она? Не просто ли хитрая кокетка, и я, как мальчишка, у ее ног?»

Однажды Ипполит не выдержал и обратился к Соне:

— Соня,— сказал он.— Соня, откуда у Юлии средства? Кто она? Кто ее содержит?

Соня внимательно посмотрела в лицо Ипполиту и медленно закурила папиросу.

— Глупо,— сказала она, окутываясь голубым дымком.— До чертиков глупо. Вы ревнуете... Все вы слизняки какие-то, грязные людишки. Вы не можете смотреть на женщину и видеть в ней человека, а не самку. Юлию содержим мы.

— Кто?

— Мы... Наша партия. Юлия — воплощение нашей идеи... Неужели вы думали, что наше дело делают прокишшие на сходках студенты и стриженные курсистки с пальцами, перепачканными гектографическими чернилами, способные только печатать глупые прокламашки? Это шпанка, навоз, который мы бросаем, чтобы удобрить почву.

— Но все-таки?.. Кто — Юлия?

— Говорю вам — идея. Воплощение нашей власти.

— Какой власти? Мы решили: все для народа. Наделить крестьян землею, создать рабочие университеты, дать образование народу и путем общей дружной работы идти по путям, завещанным нам великой французской революцией.

— Это решили вы... Русские студенты-революционеры, способные лишь на одиночное заключение. Мы решили иное.

Соня затанула папиросой и, не выпуская дыма изо рта, внимательно смотрела на Ипполита, точно решала, на что он способен.

Ипполит думал: «Что же я? — тоже шпанка — стадо овец, уготованное на стрижку и заклание?»

Соня угадала его мысли. Она быстро, красивым движением губ, выпустила дым изо рта и рассмеялась.

— Вы думаете, кто вы такой? Шпанка или герой?.. Ну, не совсем-таки герой, а поговорить с вами можно. Юлия заинтересована вами.

— Юлия заинтересована мною? — почти привскочил с места Ипполит.

- Ну да... Вы уже подумали черт знает что!
- Нет, я, право, ничего не подумал... Что же Юлия?
- Возьмем раньше идею...

Соня бросила папироску в пепельницу и затаилась новой. Она не спускала глаз с Ипполита. Говорила медленно, с большими промежутками; цедила слова сквозь зубы и за каждым словом следила: что Ипполит?

- Ассири-вавилония,— сказала она.

Наступило долгое молчание.

— Что Ассири-вавилония? — спросил Ипполит, не выдержав молчания.

— Вы знаете, при последних раскопках в Вавилоне нашли электрические провода. Есть основание думать, что в те отдаленные времена электричество было так же известно, как теперь. Впрочем... К черту — Ассири-вавилонию... Вы согласны?..

- К черту... Я вас не понимаю.

- Персия...

Она опять замолчала.

- Ну что же Персия?

- К черту Персию...

— К черту и Персию, — воскликнул нетерпеливо Ипполит.

- Вы сговорчивы.

- Да говорите же дальше...

- Извольте: Македония...

- Ну, Македония...

- Рим...

- Что же Рим?

— Ничего: все монархии... Монархии... мировые монархии.

- Я ничего не понимаю...

— Попробуйте понять... Монархии, а не республики... Аристократия, а не демократия.

- Народ?

— Шпанка... — презрительно сказала Соня и кольцами, прокалывая их маленьким язычком, стала пускать дым.

- Я вас не понимаю...

- Вижу... Вы мечтаете о республике...

- Но как же великая французская...

Соня не дала ему договорить.

— Вздор... вздор, — сказала она, — глупый, детский лепет... Новая монархия... И опять мировая, и опять сильная и монархия...

- Ну, кто же?

— Я вам нравлюсь?.. Ну, сознайтесь... Вы подавлены мною. Умрете за меня?.. Офицер Николаев маме руки целует. За две копейки за строчку... Вас помани деньгами, властью, красотою, тайной, и вы уже бежите... Деньги все... С деньгами все можно. Где же ваше гордое: «все мое, сказал булат»?.. Перековали булат на стальные перья и крики команды заменили речами... Ну!.. ваш брат Федя сказал как-то: «Бог, отечество, государь»... А вы... Ну, так идите к нам... Мы вам дали Бога. Наше отечество — мир... И царя дадим.

Соня пытливо смотрела на Ипполита. Что он? Возмутится?.. Нет. Он был спокоен. Бога он давно оставил; отечество не признавал, государя — презирал.

— Ну, слушайте... Хотите Юлию, как друга, как товарища... как любовницу? — едва слышно проговорила Соня.

— Соня!..

— Ни родства — поняли? Ни свойства, ни семьи, ни веры, ни родины... Можете?.. Одна идея.

— Вы меня знаете, — вставая, сказал Ипполит.

— Знаю. Но достаточно ли вы сильны?

— Я... Вы знаете мои давнишние желания. Я всегда хотел войти в партию...

— Хорошо... Будете слушаться Юлии?

— Соня!

— Клянись...

Соня встала. Подняла руки, и просторные рукава платья мягко обнажили ее красивые локти. Аромат восточных духов шел от нее.

— В чем мне клясться?

— Клянись: повиноваться Юлии... Она все знает. Она гениальна... Что?.. Вы боитесь?.. Она... демон?.. Да? Боитесь?

— Нет, я не боюсь...

— Ну, так клянись исполнить все, что она прикажет. И вы в партии... Вы знаете меня, ее — довольно... Пойдете с нами — все будет: богатство, почести... любовь... Ну, клянись!

— Клянусь, — смущенно улыбаясь, сказал Ипполит.

Ему все казалось шуткой. Но когда выходил, точно какие-то путы связывали его ноги, мысль была несвободна, и странно тяжело было на сердце.

Наружно ничто не изменилось. Так же молчала Юлия и Соня по-прежнему была ласкова с Ипполитом, но Ипполиту казалось, что какая-то страшная тайна связывает их троих и будет день, когда эта тайна позовет его за собой.

Когда Ипполит с Федей пришли в девятом часу к Бродовичам, гостиная уже была полна молодежью.

За концертным роялем с поднятой крышечкой, на круглом стуле, сидел Ляпкин, в черном сюртуке. Длинные волосы мягкими пушистыми прядями висели почти до плеч. Ляпкин небрежно наигрывал на рояле какие-то вариации. Ипполит подошел к Соне. Она молча пожала ему руку. В это время Ляпкин оборвал игру и сказал приятным, мягким баритоном:

— Это Бах. Удивительная музыка. Я совершенно им поглощен... Никогда раньше не подозревал, что он писал такие вещи. Вы этого нигде не найдете! Какая красота! Тоже Бах.

— Вы не помните симфонии Рубинштейна? — спросила Соня.

— Эту? — Ляпкин начал играть.

— Да, эту. Помните, в последнем московском концерте он начал ею.

Ляпкин обернулся.

— А вы слыхали его вариации на его же «Ночь»? Это только что написано. Не знаю, есть ли в продаже?

Соня гибким жестом указала вошедшим Ипполиту и Феде на диван. Они сели рядом.

В юнкерском мундире с галуном, белыми армейскими петлицами и тремя нашивками на красных, обшитых золотом погонах, в черном ремне с золотой бляхой с пылающей гранатой, со штыком, в смазанных сапогах, от которых пахло тем особым, солдатским, русским запахом, который так нравился Варваре Сергеевне, Федя чувствовал себя неуютно. Погоны, штык в черных лакированных ножнах с медным шариком и высокие сапоги казались здесь неуместными, почти неприличными. Он был здесь единственным военным. Ему пришла в голову странная мысль: «Нужна ли армия всем этим молодым людям, собравшимся у Бродовичей?»

Молодые люди были хорошо, по моде, одеты. Изящные визитки, вычурные галстуки, длинные черные сюртуки, студенческие сюртуки и мундиры бутылочного «гвардейского» сукна виднелись кругом. Абрам в модной светло-серой расстегнутой тужурке, с белым пикейным жилетом с золотыми пуговицами и толстою золотую цепью, казался старше и полнее. Дамы и барышни по-вечернему, в блузках, застегнутых сзади, с пышными пухами на плечах, в корсетах и длинных прямых юбках. Две барышни были стриженные, бледные, в простых беленьких с прошивками шерстяных блузках. На-

искось от Феди сидела хорошенькая рыжеватая полная блондинка. Она внимательно смотрела прямо в глаза Феде. Лукаво-добродушная усмешка легла ямками на ее розовые щеки. Почему-то она сразу понравилась Феде.

— Мне кажется, эту вещь Главач дирижировал этим летом в Павловске? — сказала Соня, когда Ляпкин кончил играть.

— Не может быть, Софья Германовна. Эта вещь написана несколько дней назад, — вставая и небрежным движением откидывая назад волосы, сказал Ляпкин. — Мне ее Антон Григорьевич дал в рукописи.

— Ляпкин, — поворачиваясь к музыканту, сказала блондинка, разглядывавшая Федю, — вы читали последние музыкальные очерки Кюи?

— Ляпкин пожал плечами.

— Неистовый Цезарь! — сказал он. — Он и Стасов с Бородиным и Мусоргским хотят весь мир перевернуть. Могушие кучкисты!

— А что же, — сказал из угла гостиной Алабин. — Быть может, кучкисты и правы. Все должно совершенствоваться, совершенствуется, идет вперед и музыка.

— Вагнер пытался сказать новое слово, — снисходительно сказал Ляпкин. — Успеха у нас не имел. Мы, славяне, воспитаны на итальянской мелодии и *bel-canto* * и нас речитативами и короткими музыкальными фразами не поймаете. Им никогда не дойти до изящества Чайковского и Рубинштейна.

— Вы не сыграете нам еще что-нибудь? — сказала мать Сони.

— Простите, Фанни Михайловна, я эти дни мало упражнялся. И нет ничего. Если позволите, следующий вечер я весь посвящу Листу. Я его особенно люблю. И по мне: это король фортепьяно.

— Как вам понравился наш новый рояль? — жеманно улыбаясь, спросила Фанни Михайловна. За эти пять лет она постарела, но, выкрашенная в рыжий цвет, набеленная и подрумяненная, с подведенными глазами, она не казалась старой.

— Ну еще бы! Беккер! Старый славный Беккер. Великолепен. На нем удивительно приятно играть.

— Соня, — обратилась блондинка, — познакомь меня с господином юнкером.

— Это Федя, брат Ипполита, Федор Михайлович Кусков, а это моя подруга Любовь Павловна Буренко.

* певучести мелодии.

Федя встал и щелкнул каблуками. Румянец залил его загорелые щеки, едва покрытые нежным пухом.

Любовь Павловна протянула ему руку и сказала:

— Садитесь поближе. Я дочь военного и вам со мной будет легче. Вы сын профессора Кускова?

— Да,— сказал Федя.

— Я когда-то изучала его записки по статистике.

— Вы на курсах?

— Я медичка,— сказала Любовь Павловна.— Не смотрите на меня с ужасом.

— Я... нет... что вы,— смущенно сказал Федя.

— Думаете: «анатомирую трупы»... Да? Нет, просто люблю человечество, народ и хочу ему помочь. Внести свет и здоровье в его темную хату... А!.. сейчас Канторович будет стихи читать.

В зале задвигали стульями, усаживаясь и поворачиваясь к углу, где стоял ломберный стол с двумя свечами, графином с водой и стаканом. К нему подошла молодая еврейка с матово-бледным лицом.

— Если бы она не была еврейкой,— сказала Любовь Павловна,— и такой типичной еврейкой, она могла бы быть на Императорской сцене. У нее читка лучше, чем у Савиной, а надрыва больше, чем у Стрепетовой. Вы савинист или стрепетист?.. ш-ш... начинается... После!

— «Мечты королевы», стихотворение Надсона,— сказала музыкальным голосом, наполнившим весь зал, Канторович и начала читать.

— Федя,— сказал Ипполит, едва кончилось чтение.— Надсон тоже был юнкером твоего училища, но он не отзывался о нем так восторженно, как ты. Училище томило его и, может быть, оно виновато в том, что он страдает неизлечимой легочной болезнью.

Федя прослушал замечание Ипполита о болезни и о том, что Надсон не любил училище. Он запомнил лишь: Надсон — поэт, юнкер их училища. Федя преисполнился гордости за училище.

Аплодисменты в зале не смолкали, и Канторович снова вышла к столу.

— «Не говорите мне: он умер»

истерично выкрикнула она, высоко заломив руки.

— «Он живет!

Пусть жертвенник разбит! — огонь еще пылает.

Пусть роза сорвана — она еще цветет.

Пусть арфа сломана — аккорд еще рыдает.»

Гром рукоплесканий покрыл ее слова. Канторович печально склонила голову и не кланяясь прошла на свое место.

К столу шатающейся походкой, повиливая бедрами, вышел Алабин, тщательно расправил сзади фалды сюртука, уселся на стул, положив на стол руки, и обвел жирной головкой всю публику. Масленные глаза его засверкали за золотым пенсне.

— Великая французская революция и ее принципы,— сказал он и сделал длинную паузу.

Все сидели молча, устремив глаза на Алабина. Яркое горел крупный бриллиант на его толстом коротком пальце.

— Великая французская революция совершилась сто лет тому назад и как бы ярким факелом темную ночь народов осветили ее искрометные лозунги: свобода, равенство, братство. С этими кровью гильотин и огнем пожаров начертанными, священными для человечества словами французский народ прошел всю Европу, и звуки марсельезы потрясли затхлые подполья благословеннейшей Москвы и будили новые мысли в темном сознании народа-раба,— начал Алабин сильным звучным голосом.

— Свобода, равенство, братство,— продолжал он после короткой паузы,— эти три великих слова начертаны на каждом республиканском здании современной Франции. Но нигде в мире нет ни свободы, ни равенства, ни братства и меньше всего эти принципы привились к самому французскому народу. Стоит прочесть цикл романов Золя, этого великого натуралиста, и познакомиться с его почтенною семьею Ругонов, чтобы понять, что та же средневековая темнота рабства, подчинение бедного богатому, то же издевательство сильного над слабым царит во Франции теперь, как было и до французской революции. Быть может, лишь сняты пестрые наряды шутов и удалены красота и блеск королевского времени. Теперешние шуты и рабы ползают в лохмотьях.

— Там, где начертано слово: равенство, сидят жирные чиновники, обкрадывающие народ, надменные кюрэ, играющие на темноте человеческой души, или слащавые аббе Мурэ.

— О братстве говорить не приходится. Значит, великая французская революция прошла понапрасну и кровь королей, Дантонов и Робеспьеров, кровь Шарлотты Кордэ пролита без пользы? Я нарочно просил нашу талантливую, прекрасную, совершеннейшую артистку Ребекку Абрамовну прочесть только что слышанное нами и покрытое громом аплодисментов стихотворение нашего молодого поэта:

«Пусть арфа сломана — аккорд еще рыдает».

— Пусть в стране, первую провозгласившею права человека, поруганы эти права. Мощным колокольным звоном пронеслись они по всему миру, громкими пушечными выстрелами раздались они, разбудили совесть людскую, и она уже больше не заснет никогда!..

VIII

Федя сидел, смотрел и слушал. Его сердце билось. Невольно вставали сравнения, и на первый взгляд эти сравнения были не в пользу училища, не в пользу того, что он так беззаветно любил.

Два дня тому назад, в четверг, в малом учебном зале был домашний музыкальный вечер юнкеров.

Юнкер Байков декламировал новые стихи К.Р. из военной жизни.

«Гой, Измайловцы лихие!
Скоро ль вас увижу я,
Стосковалась по России,
И по вас душа моя!»...

Свежим запахом красносельских полей, ароматом кашки и дудок, покрывших луга у Никулино и «Скачек», веяло от стихов, и были просты и понятны картины.

Играл юнкерский оркестр, пели певчие. За душу берущие русские песни неслись по залу. С замиранием сердца слушал Федя «Эй, ухнем». Таяли, примиряясь, становясь чуть слышными, звуки большого юнкерского хора. Пели «Вниз по матушке по Волге», пели славный кадетский гимн:

«Дружным, кадеты, строем сомкнитесь,
Смело грянем песню свою...»

Последним вышел юнкер 2-й роты Скородинников и прекрасным баритоном пел смешные куплеты. Оканчивались они припевом:

«Графинчик, мерзавчик, зачем ты пустой?»

Зал с некрашеными дощатыми полами был черен от юнкерских бушлатов. Кроме юнкеров было несколько ротных офицеров. По стенам тускло горели лампы и тонули в сумраке портреты государей. Окна без занавесей глядели черными стеклами на темный двор. Тогда все казалось иным. Было светло и хорошо. На узкой скамейке без спинки рядом с Федей сидел «помпонь» Старцев. Хорошая песня краслась

в душу и звенела родными струнами. Все говорило о России, о ее славе, о ее быте.

Поздняя осень, грачи улетели!

Начальными аккордами порхали сдержанные голоса, и Федя видел: позднюю осень, черные поля, жнивье и узкую полоску несжатой нивы, тоску наводящую своею печальною заброшенностью.

Русь со всем ее укладом, с водкой и закуской, с печальным бытом и громкими победами стояла перед ним, и в бедном зале с круглыми пирамидами старинных ружей она не казалась плохой...

Здесь...

«Самая печальная страна в мире» — вспоминались ему слова Ипполита.

Ярко, многими свечами горела наверху золотая люстра, и радугой отсвечивали граненые подвески. На рояле, на большом круглом столе, на косом столике, на маленьком золотом среди цветов, возвышались стройные, витые из бронзы, мраморные и гранитные колонны. На них горели большие керосиновые лампы. Шелковые красные, палевые, светлые, разрисованные акварелью, голубые, причудливой формы абажуры светились волшебными цветами и создавали углы и пятна света. Там было светло, как днем, ярко блистали среди цветов лица молодежи и казались свежими и прекрасными. В другом углу все было в красных полутонах, дальше в синеватом сумраке низко, задумчиво склонились красивые девичьи головки...

Все было богато и роскошно. Нежные, зеленые, смеющиеся пейзажи Волкова сверкали золотом тяжелых рам, и гляделись из них «лужайки парка», «прудки» вся тонкая прелесть лета. В углу со стены важно глядел старик в плюшевом средневековом кафтане и маленькой черной шапочке — под Рембрандта, а кто знает, быть может, и настоящий Рембрандт. На полу ковры и коврики, звериные шкуры, небрежно брошенные, дорогие.

И ни слова о России. «Мечты Королевы», музыка Баха, странная, глубокая, вдумчивая мелодия вводили в новый мир, и казался он шире, необъятнее, важнее и значительнее России. Точно потухли, потускнели краски русской природы, осталась черная необозримая равнина полей и стая ворон над нею. Поле, усеянное обнаженными мертвыми телами, и священник в черной ризе, с кадилом, рядом солдатик в старом мундире, как на картине Верещагина.

Ни одного примера из Русской истории, ни одного имени

русского не было здесь произнесено. Никому не нужная, на задворках Европы, где-то между старым хламом, рядом с пыльным Китаем, стояла Россия, лишняя, тормоз в могучем стремлении человечества к прогрессу.

Жутко стало Феде. Оглянулся кругом. Нерусские лица везде. Мерно, четко говорил Алабин. Без акцента, русским точным языком. Но вдруг проскочило: «ему пришлось отлучиться на пару дней», и пахнуло жидом... Внимательно слушает Абрам. Его курчавая голова наклонена, длинное лицо задумчиво, и красиво опущены ресницами его голубые глаза. А тень от свечки удлинила ему нос, дала два незаметных штриха, и глядится с тени страшное хищное лицо.

У рояля, опершись спиной, стоит Соня. Безжизненно упали тонкие белые руки, в золотых тяжелых браслетах, серовато-голубая нежная материя длинными складками окутала стройную фигуру. Но широкие ее бедра, длинная тонкая талия и гордый профиль чеканной головы с длинным носом и раздутыми ноздрями, поднятый кверху, кричат: «еврейка, еврейка, красивая еврейка!»

Они богаты. У них бронза и золото, ковры и лампы, а дома зеленая Липочка ходит, заломлены в отчаянии руки и в 22 года изжила волю к жизни. Бедная мама сидит под лампой с бумажным абажуром, квадратом распялены тонкие стальные спицы и она быстро вяжет чулок... Лиза сидит где-то в деревне, в школе. Еще не пришел этот новый золотой двадцатый век, прочно сидит тяжелый император с добрыми синими глазами и с русской мужицкой бородою, а уже все лучшее у них.

Что им Россия?!?

Кончил Алабин. Соня начала играть на арфе.

По гостиней неслись меланхолические звуки. Но не русские были эти звуки. Звучала в них старина далекого Востока, поднимались мутные образы Сафо, точно миражами плыли картины Семирадского, синее море, розовые горы, синие тени от ненаших деревьев, плющ, виноград, смоковница, апельсины, девушки в длинных одеждах и полуобнаженные юноши...

Федя чувствовал на себе чей-то взгляд сзади. Он точно сверлил его затылок.

Федя вздрогнул и оглянулся.

IX

В углу, у двери, в тени от портьер, в глубоком кресле сидела молодая женщина. Ее глаза поразили Федю. Большие, светлые, чуть раскосые, длинные, точно нечелове-

ские, они глядели с какою-то неуловимой усмешкой. Густые волосы блестящею пепельно-серой волною поднимались над узким лбом. Лицо удлинненное, овальное, большие бледные губы протягивались под носом и упрямый подбородок был не женски жесток.

Она была в бальном открытом платье из блестящего черного шелка с палетками и кружевами. Яркая, как кровь, роза трепетала с левой стороны ее груди.

Федя не слышал, когда она вошла. Быть может, она была и раньше?

Федя нагнулся к Буренко и спросил: «Кто это сидит в углу?»

— Вы не знаете? — сказала Любовь Павловна. — Это Юлия Сторе. Как вы ее находите?

— То есть? — спросил он. — Я не понимаю вас.

— Считаете вы ее красивой?

— Да... Нет...

— Ну, конечно, — сказала Любовь Павловна. — Этого ответа и надо было ожидать. И никто не поймет! Разобрать порознь: волосы, глаза, губы, рот, щеки, рост — красавица, а вместе: какая-то обреченность в ней... И знаете: страшная она женщина. Бойтесь ее. Ваш брат, кажется, увлечен ею... Какая-то в ней тайна. А я не люблю ничего таинственного.

Буренко нервически засмеялась и продолжала:

— Говорят, что в ней какие-то особые флюиды, что она ясновидящая, что она может предсказывать будущее. В прошлом году она подошла ко мне и сказала: «С той дамой, что так весело говорит с вашим братом, сегодня ночью случится что-то ужасное, хуже смерти». — Почему? — спросила я. «Я вижу темную мглу кругом ее лица». И представьте, когда та дама возвращалась домой, ее на лестнице подстерегла соперница и облила серной кислотой. Она страшно мучилась два месяца и умерла уродом. Без глаз, с черным лицом. Другой раз один молодой полковник спросил ее, какова будет его судьба. «О, — сказала она ему, смеясь, — у вас вся голова в золотых лучах, какая-то радость вас ожидает». Через два дня совершенно неожиданно он получил полк...

— Занятно, — сказал Федя. — Как же это так она?

— Занятно-то занятно, но и страшно. Вы знаете, она захочет — и вы с этого стула не сойдете, как бы ни хотели. Она жуткая. Притом она состоит в политической партии. Она нарочно так одевается, чтобы...

Едва Любовь Павловна произнесла эти слова, как Юлия медленно поднялась с кресла и ленивой кошачьей походкой прошла мимо нее, чуть ответив кивком головы на поклон

Любови Павловны. Какой-то студент, сидевший на маленьком золотом стулике перед Федей, точно сорвался, уступая ей место. Она величественно, как королева, наклонила голову и медленно опустилась на стул.

Спина ее была обнажена. Перед Федей была белая как мрамор, чистая, без единого пятнышка, женская спина, прекрасные покатые плечи и тонкая шея, на которую от поднятых волос сбегали нежные золотистые завитки.

Эта спина томила Федю. Он не мог встать и уйти. Ему было совестно смотреть на нее, но он не мог оторвать от нее глаз. Он испытывал то же чувство, что испытал раз на даче, кадетом, когда забрался в кусты и подглядывал купающихся женщин. Было до боли стыдно и жутко и было томительно сладко. Кровь то заливала его лицо, глаза плохо видели и в ушах звенело, то отливала от головы и вязло что-то на зубах.

Он вынул часы. Было одиннадцать. Надо было непременно встать и уйти. Иначе он опоздает из отпуска и ему «влетит». Но встать он не мог. Белая спина, окаймленная черными кружевами, его приковывала к месту и он не мог встать. Любовь Павловна что-то говорила ему, он не слышал ее слов.

— Сейчас читать будет Корольковская,— сказала Любовь Павловна.

— А! — точно очнулся от сна Федя.— Что читать? Кто?

— Стихи. Это восходящее светило. В провинции она имела колоссальный успех и сразу получила приглашение сюда. Савина стареет. Она займет ее место.

«Савина стареет,— подумал Федя...— Корольковская будет читать стихи. Вот кончит и уйду. Я еще поспею. Отсюда прямо на набережную. Но сегодня дежурный поручик Крат... Ужасно. Надо идти. Что же меня держит? Почему я не встану и не пойду?»

«Скажи мне: ты любил на Родине твоей?

Признайся, что она была меня милей.

Прекраснее»...— Она была прекрасна!

— Любила ли она, как я, тебя так страстно!» —

читала у столика Корольковская.

Федя не слышал ее голоса. Спина Юлии смущала его. Снова, тихонько, из-под полы мундира он достал часы. Надеялся, что ошибся. Может быть, ему показалось, что так поздно. Часы показывали двадцать минут двенадцатого.

— Мне пора. Прощайте,— вялым голосом проговорил он Любови Павловне.

— Идите, идите,— прошептала Любовь Павловна.—

Еще опоздаете. Я знаю, как строго. Знаете что, не прощайтесь. Уходите так *à l'anglaise* * — это здесь можно. Все так.

Маленькая теплая ручка Любови Павловны крепко пожала его руку и точно придала ему силы.

Он встал. Юлия повернула к нему голову. Ее глаза смотрели насмешливо. Федя чуть не остался. Краснея от смущения, скрипя смазанными сапогами и оставляя за собою солдатский запах сапожной смазки, он прошел через гостиную и прихожую. С трудом среди груды пальто отыскал свою шинель. Башлык был смят и наполовину выдернут из-под погона. Зеркало было завалено доверху шапками. Дома его всегда опраивала мама, любовно осматривая, все ли у него в порядке. Здесь никого не было. Он расправил как мог башлык и заложил концы за ремень. «Неважно», — подумал он.

Он открыл дверь и побежал вниз по мраморной лестнице, усталой ковром.

Ночной морозный воздух освежил его. Он шел то шагом, то бежал, легко, на носках, проносясь мимо удивленных пешеходов. У него не было денег на извозчика.

Когда он входил в училище, часы под площадкой показывали пять минут первого.

«Опоздал!» — подумал Федя, и душа его упала. Он огляделся в зеркало. Да, неважно. Смятый башлык подогнулся, концы торчали неаккуратно из-под низа ремня.

Поручик Крат в пальто и барашковой шапке, с револьвером и шнуром, дремал на соломенном диване перед конторкой с юнкерскими билетами. При звуке шагов Феди он поднял толстое, красное, опухшее лицо, обросшее молодой бородкой, и внимательно осмотрел юнкера.

— Господин поручик, портупей-юнкер роты Его Величества Кусков является из отпуска до поздних часов, — сказал Федя, вытягиваясь у конторки и держа правую руку у края барашковой шапки, а левой подавая маленький розовый билет.

— До двенадцати? — спросил грубым голосом Крат.

— Так точно, господин поручик.

— Пять минут первого, — сказал поручик. Федя промолчал.

— Явитесь завтра к капитану Никонову, доложите, что опоздали и... и... и, — заикнулся Крат, — весьма неопрятно одеты-с! Ступайте!

Федя четко повернулся кругом и, ступая с носка, вышел из дежурной комнаты.

* по-английски.

В голове у него шумело. Он был голоден. Чая у Бродовичей он не пил, постеснялся пройти в столовую, а до ужина не дождался. Мысли неслись разорванными клочками точно тучи после грозы.

Он медленно разделся, расправил и сложил по форме башлык и уложил его под матрац, снес шинель в шинельную, почистил и сложил мундир и новые шаровары, уложил их в конторку, перекрестился на образ, кротко мигавший огнем лампадки за вторым взводом, и лег под одеяло.

Ноги были холодные, щеки горели. Подумал: «Завтра в шесть часов утра вставать. Пять часов сна. Являться к Никонову. Арест или без отпуска. Срам... Старший портупей-юнкер!» Не сладкой показалась ему жизнь, и он тяжело вздохнул и открыл глаза.

В пустом сумраке тонули ряды кроватей со спящими юнкерами. Разнообразный храп сливался в какую-то скучную мелодию. Тоскливо, как тень шатаясь, ходил по длинному коврику дневальный; широко раскрытые глаза его были полны сном.

«Поручик Крат
Твердил стократ,
Что он совсем
Аристократ.
А между тем
Известно нам,
Что он мужик
И хам.

— вспомнил Федя юнкерскую шутку на грубого Крата.— «Бог с ним со всем! Не это важно. А что же? Что?»... Встала большая зала с открытым роялем, цветные яркие блики ламп, услышал довольные, сытые голоса и поплыла перед глазами спина Юлии, ослепительно белая, полная жуткого соблазна. Потянулся в постели. Стало страшно... Но вдаль в углах ротного помещения вспорхнули тихие голоса: «только не сжата полоска одна,— мрачные думы наводит она!..» — «Эй, ухнем... эй, ухнем!» — отдалось из другого угла. Ожили старые стены. Вступили в бой какие-то светлые духи с духами тьмы, прельщавшими Федю роскошью и сладкой рафинированной жизнью новой аристократии.

...Les chants désespérés sont les chants les plus beaux... Стройно пел юнкерский хор старую кадетскую песню:

Все мы готовим себя на служенье
Славной отчизне, отчизне родной!

И блекли краски, погасали огни душевной залы, лица румяной черноволосой молодежи тускнели. Жидом рисовался Абрам и жидовкой Соня. Зеленым блеском вспыхнули глаза Юлии на мертвенно-бледном лице. «Ведьма,— подумал Федя.— Ведьма!»... «Точно на шабаше побывал. А ведь ничего худого там не было... ничего. Тонко, изящно, красиво... Только Россия была там позабита, с несжатыми полосками, с горем крестьянским, с удакою песнею волжского бурлака... Там была — Европа... Там были «мечты королевы», великая французская революция — свобода, равенство, братство. Подняли штору, открыли форточку, сказали: хочешь?.. Все твое. Отрекись от Христа и Родины; прыгай... Золото, бронза, большой бриллиант на пальце Алабина сверкает от пламени свечи, звенит чужими звуками арфа и таинственная Юлия с ослепительной спиной... Хочешь?.. Что тебе Россия? Нищая... Иди с нами... И Ипполит там»...

«Бьет барабан... Ноги нету! Гонять буду! Ать-два... ать-два», точно хлещет под самую душу, подсчитывает штабс-капитан Герцык,— «Подтяните приклад! ать-два!»

...«*Les chants desesperes sont les chants les plus beaux... les plus beaux... beaux*» *...

«Долг мой,— говорил Суворов,— Бог... Государь... Отечество... *Les plus beaux... beaux*... Мазочка Старцев... хороший он... помпон... Поручик Крат твердил стократ... Мама! Помолись за меня!»..

Серым туманом заволокло койки соседей. Не видно спящего рядом правофлангового гиганта Башилова... Темно... ничего... Сон...

...До барабанной повестки...

Х

Юлия сидела у Сони.

— Надоело все,— сказала она, бросая третью папиросу в японскую пепельницу с обезьяной, сидящей на краю медного чана.

Она молчала уже четверть часа и курила папиросу за папиросой.

— Действовать надо.

— Что комитет? — спросила Соня.

— Было общее собрание. Выступали Бледный и Герасим.

* Песни отчаяния — самые прекрасные песни.

— Ну... Что надумал Бледный?

— На самого — невозможно. Да и вряд ли правильно. Тогда пятерых повесили, а впечатления никакого. Людей, Соня, нет. Все тряпки. Нытики... Ваши хороши. Но уж слишком экспансивны и опять впечатление не то... Народ не понимает.

— Из крестьян, из рабочих?

— Дело деликатное. Пока его обучишь — передумает. Опять — он зол, пока голоден, а дашь деньги, накормишь — он и не хочет... Прямо отчаяние берет.

— Возьми Ипполита.

— Ну?.. Разве годится?

— Слушай, Юлия, Ипполит в тебя влюблен давно, безумно и безнадежно... Еще гимназистом.

— Ни к чему это, Соня. Такие еще хуже. Он в тюрьме даст сгноить себя, на виселицу с улыбкой пойдет. А вот стать на пути и ловко, отчетливо, убить, а потом скрыться — этого не могут. Попадутся... А там сейчас раскаяние. Исповедь — и всех выдаст. Особенно если жандармский ротмистр попадется опытный, сумеет душу раскрыть.

— Ну, Ипполит не выдаст!

— Все они, Кусковы, неврастеники. Вспомни Andre. Спутался с гувернанткой. Кажется, невелика беда. Влюблен в тебя, ухаживал за кузиной, заблудился между трех сосен, и сейчас: отравление, смерть. Боюсь я и путать Ипполита... Скверно, Соня... Народ благоденствует, серебро и золото ходит по рукам, необыкновенное доверие к правительству. Армия — кремь. Вчера посмотрела на их Федю. Рыцарь! Раскормленный, тренированный рыцарь и в глазах: преданность престолу.

— Вчера его, кажется, пошатнуло. Видала, как уходил. Крался, шатало... Сапоги к полу липли.

— А пахнет как! И не стесняется. Считает, должно быть, шиком. Нет, Соня, таких не свернешь. Он один у них такой, в мать...

— Что же все-таки решили?

— Террор.

— Террор?

— Окончательно и бесповоротно. С прессой сговорились. Убийства будут замолчаны, казни выделены и раздуты... В пределах цензуры, конечно.

— Кого же в первую голову?

— Кого попало. Всех, кто служит проклятому царизму. Хотим начать с Победоносцева, а там губернаторов, командующих войсками, министров, просто генералов. Все равно. Чтобы неповадно было.

— Нужно, Юлия, лучших.
— Знаю: не учи. Но лучших-то труднее. Боимся озлобить народ.

— А... клевета?..

Юлия ничего не сказала и снова закурила папиросу.

— Вот таких бы, как я,— шурясь, пуская дым вверх и глядя, как он тает в воздухе у смеющейся синим морем картины, сказала Юлия.— Я в расчете не ошибусь. Думала часто, почему не попробовать. В отдаленном кабинете, разморив ласками, опутав волосами, прижав губы к его губам, устремив взор в глаза жертвы, тихо и верно вонзить лезвие в замирающее негой сердце. А потом спокойно выйти и исчезнуть... И что ужасно! Одной нельзя. Нужны сообщники, чтобы свели, чтобы познакомили, чтобы привезли и увезли, а тогда — есть нить и найдут. Ни на кого положиться нельзя. Все они — предатели. Труссы... Не думай — смерть меня не страшит. Я давно себя на нее осудила. Какую — моя судьба, как говорит мне Герасим. Но хочется-то мне не одного, а многих, многих... Войти в историю мстительницей. Я не Шарлоттой Кордэ хочу быть, но Немезидой карающей. Ах... скучно... Так... ты говоришь... Ипполит... Ну, что же, давай его... Попробуем... Снабди его литературой... Обо мне пока не говори. Сама позову, когда надо будет. Скучно... Учить придется всему... Он, поди, и револьвера никогда в руках не держал. Сам бояться будет, как бы раньше времени не выстрелил.

— Попробуй.

— Да, что же делать? Возьмем про запас... Вчера смотрела сзади на Федю. Какое светлое сияние кругом его головы и какое ровное. Этот не пропадет. Светлые духи оберегают его. Я наслала на него волну флюидов и чуть-чуть рассеяла, но самые пустяки.

— Ты веришь в свою таинственную силу?

— Как не верить в то, чем обладаешь. Я могу, Соня, сделать худое человеку... Как?.. сама не понимаю. Трудно все это объяснить... Вот в евангелии про Христа пишут: он сказал, чувствую, что ко мне кто-то прикоснулся, потому что ушла из меня сила. Я думаю, Соня, что Христос был сильный магнетизмом человек. Гувернантка Кусковых mademoiselle Suzanne, она тоже обладала какою-то силою и, сама не понимая ее, тратила на пустяки и так расстроила себя и Andre, что он покончил с собою, а она потеряла свою силу. Я...

— Ты сознательно пользуешься своею силою?

— Да, более или менее. Ты видала фокусников-магнети-

зеров? Вот у меня что-то вроде этого. Я чувствую людей. Я вчера чувствовала, что Федя торопится уйти, смотрит на часы, сидит, как на иголках, и я приковала его к стулу... Но тут... Он оказался сильнее меня и ушел. Ну я ему это еще попомню, — чуть улыбаясь, сказала Юлия.

— А что Бледный?

— Сохнет от злобы... Ну этот свое покажет. Отличный стрелок, гимнаст... Спокойный. Лицо, как у трансформатора, загримуется под кого угодно. Мы в клубе — я, еще один и они — играли в карты с жандармом, который в прошлом году у него обыск делал. Бровью не повел. А посмотрела бы, какое лицо сделал? Лет на десять старше. Как брюзжал, как комично меня ревновал. И свое дело сделали. Предупредили товарищей об обыске.

— Интересная, Юлия, твоя работа.

— Интересная... Да, если хочешь. А знаешь, и у них много женщин работает. Мне кажется порою, что узнали, кто я, и за мною следят. Страшно боюсь поддаться этому чувству. Тот, кто подумал это — пропал.

В дверь будуара постучали.

— Ну прощай, Соня... Хорошо, готовь Ипполита. Я уйду через спальню.

Юлия вздохнула и вышла из будуара.

Соня дождалась, пока не рассеялся дым ее папиросы, и тогда сказала: «Войдите».

Вошел лакей и подал ей на подносе карточку. Она лениво, двумя пальцами, взяла ее, посмотрела издали и положила на стол.

— Просите.

Звения шпорами, ласково улыбаясь и сгибаясь перетянутой синим сюртуком талией, с большою коробкою конфет в руках вошел жандармский полковник.

Соня порывисто встала ему навстречу.

— А, Мечислав Иосифович, как я рада вас видеть. Что давно у нас не были?

Полковник, как гончая, понюхал воздух, быстро глазами подсчитал тонкие окурки папирос в пепельнице, разочарованно вздохнул и сказал:

— Занят был, Софья Германовна. Дел теперь очень много.

— Но, кажется, все тихо. Папа даже жаловался на днях. Нечего писать. Газета бледна становится. Хотя бы вы нам что-нибудь дали.

— Тишина обманчива, Софья Германовна. В этой тишине опытный слух угадывает далекие громы. Блестят зарницы, Софья Германовна... И может налететь гроза. Хороший

хозяин укутывает дорогие цветы от дождя и ветра. Так-то, Софья Германовна... Герману Самуиловичу надо писать о воспитании молодежи... Да-с... Шатаются умы, Софья Германовна. Позапрошрое воскресенье имел удовольствие слушать вашу игру на арфе. Между прочим, одно очарование. Кюнэ — Вальтер и вы — больше нет никого. В Михайловском театре mademoiselle Brendo еще на сезон оставили.

— Вальбель и Андрие остаются?

— Обязательно. Андрие царский подарок получит. Чистое искусство достойно поощрения.

Полковник прошелся по комнате.

— Крепкими духами душитесь, Софья Германовна. Духи Востока?

— Моя смесь.

— Да-с, мне говорили... Слыхал... Каждая хорошенькая женщина должна иметь свои духи. Она должна определить свой собственный запах и подыскать, какому цветку отвечает этот запах. И им душиться.

— Красота — это искусство,— сказала Соня.

— Творение Божие — женская красота,— сказал полковник и как бы машинально разорыл окурки в пепельнице с обезьяной.— Славная обезьянка. Японцы-мастера лепят из бронзы этикие забавные фигурки. Вы извольте взглянуть: мина какая у нее серьезная.

Полковник говорил про обезьяну, а сам глазами ощупывал окурки и будто сличал гильзы и что-то вспоминал.

Соня подумала: «Юлия права. За ней следят. Надо предупредить».

— Что вы не сядете, Мечислав Иосифович?

— Прощения прошу. Я только на минуту. Засвидетельствовать уважение вашему таланту и преподнести вам это создание Кочкурова. Пропаганда русского кондитерского искусства, Софья Германовна. Мне как славянину обидно видеть засилие Крафтов — «Kraft der Kraft *» — как удачно вышло: Борманов, Ландринов, Берренов, Балле и прочих — над русскими талантами Иванова, Кузнецова и Кочкурова. Я, работая с пропагандистами, сам научился пропаганде. Примите мое скромное подношение, как прокламацию своего рода.

И полковник, снова склонившись в поклоне, быстро вынул окурки Юлии из пепельницы.

«Да, за Юлией следят,— уверенно подумала Соня.— Скажу ей, чтобы была настороже с Мечиславом Иосифовичем».

* Сила — силы. Игра слов. Крафт — петербургский фабрикант шоколада.

На Рождество Варвара Сергеевна устраивала елку. Это не было большое дерево от пола до потолка, как бывало раньше, когда дети были маленькие, а их достатки были не так плохи, но была это маленькая елочка, аршина полтора вышиною, купленная ею на Чернышевой площади за семь гривен.

Варвара Сергеевна поставила елку на столе в гостиной и вместе с Липочкой убирала ее старыми елочными украшениями. Только свечи и искусственный снег были куплены новые.

— Какая ты, мама, хитрая, — сказала Липочка, вынимая из шляпной картонки бонбоньерки и металлические подсвечники. — Ты сохраняла все бонбоньерки, что мы дарили тебе на елках. Тут вся история нашего детства.

Варвара Сергеевна грустно улыбнулась.

— Горько мне, Липочка, что уже не можем мы с отцом побаловать вас новыми бонбоньерками и подарками, и сладко, что хоть эти остались.

— Смотри, мама, комод. Этот комод мне подарила тетя Лени, когда мне было восемь лет. Я отдала его потом тебе. А это тебе Andre подарил.

— Да... Не увидит Andre и этой елки.

— А помнишь, мама, как мы вместе клеивали золотом и серебром орехи? Мы покупали листовое золото и серебро тетрадками. Оно было положено между тонкой-тонкой бумагой... И долго у нас пальцы были золотые и серебряные. И бонбоньерки мы сами клеили. Этот куб склеил Федя. Помнишь, мама?

— Ты помнишь елки?

— Почти все!.. Я помню, как мы звали детей дворника, приходил Федосьин жених, Федя, Танечка — она тогда совсем молоденькая была. Ты, мама, играла на рояле. Мы танцевали. Andre, Ипполит и Лиза важничали, а я танцевала польку с Федей или Танечкой. Ты знаешь, мама, Танечка худо кончила. Она в таком доме... Жаль ее. Она сердечная была.

— И не соберешь никого теперь. Феничка с мужем пропали совсем. Не заходят к нам.

— Игнат, мама, как женился, и двух лет не прошло, спился. По участкам ночевал.

— Бедная Федя!.. Приглашать чужих детей нам теперь не по карману.

— И скучно. Скучные мы, мама, стали.

— Ну кто придет? Дядя Володя, тетя Лени — только и остались. Фалицкий... Павел Семенович умер, царство ему небесное. Да и своих только половина осталась. Andre... Бедный Andre. Порадуется с небес на елочку, побудет с нами. Лиза давно что-то не пишет. Здорова ли? Отдалась народу... Тяжело ей, бедной.

— А тоже, я думаю, мама, она сегодня детям какую ни на есть елку устроит. Ей, мама, потому плохо, что она хорошенькая. Туда такой, как я, идти лучше было бы. Становой, пишет, проходу не дает, земский начальник чуть с ним на дуэли не дрался из-за нее, старшины сын ей голову кружит. Пишет: славный парень.

— Мужик, — сказала брезгливо Варвара Сергеевна.

— Мама, был бы хороший человек... Какие и мы-то теперь дворяне!

— Вот Федя придет, — вздохнула Варвара Сергеевна. — Он любит елку. Оценит наши труды.

Насыпали на тарелки орехи кедровые, волошские и фундуки, клали изюм, пряники, мармелад и пастилки: по две розовой — клюквенной — и по одной белой — яблочной. Для папы, для мамы, тете Кате, няне Клуше, детям, mademoiselle Suzanne, кухарке Аннушке, дяде и тете — всем... по обычаю.

Обеда не было. Ко всенощной пошли голодные. Михаил Павлович ворчал, Ипполит не пошел в церковь и говорил, что глупые обряды вырывают его из колеи жизни. Федя должен был прийти из училища после всенощной.

Обедали, вернувшись из церкви после звезды, молча. Подавали взвар из сухих фруктов и кутью из риса, которые любил Михаил Павлович. Он выпил порядочно водки и отошел.

Едва встали из-за стола, пришли дядя Володя и тетя Лени, за ними Фалицкий и только зажгли елку, пришел румяный от мороза, с блестящими глазами Федя. Все огоньки елки отразились в его больших серых глазах. Он, стыдливо прячась от других, сунул матери в руку небольшой сверток.

— Это тебе, мамочка, моя экономия...

В свертке были хорошие английские духи. Федя не ездил ни на извозчике, ни на конке, то тщательно копил деньги маме на подарок.

— Покажи, мама, покажи, — говорила Липочка. — Ишь Федька какой, всех нас переплюнул. Ты прости, мамочка, что я не купила тебе ничего.

— Ну что ты, Липочка, милая. Какие между нами подарки. И Федя-то напрасно тратился. Я тебя побранить,

Федя, должна,— говорила Варвара Сергеевна. Но до слез была тронута лаской сына.

Дядя Володя подарил Феде «Историю Отечественной войны» Богдановича. Именно то, что так хотел иметь Федя. С приходом Феи стало веселее.

Они сидели вдоль стен гостиной и молча любовались на елку, отражавшуюся маленькими огоньками в зеркале. У дверей стояла, подперши рукою подбородок, няня Клуша в пестром турецком платке на плечах и Аннушка. Варвара Сергеевна и тетя Лени уселись на диване, к ним прижалась Липочка. В углу уже был расставлен карточный стол. На стульях в неудобных позах сидели Михаил Павлович, Фалицкий и дядя Володя.

Ипполит встал и стал ходить взад и вперед по комнате. Его темная фигура то заслоняла елку от зеркала, то открывала.

— Сыграй, мама, нам что-нибудь,— сказал он.

— Что ты...— замахала руками Варвара Сергеевна.— Куда мне. Пальцы одеревенели совсем. Да и не расставляю их. Ишь, как заплыли.

Ипполит прошелся раза два по комнате и сказал, как бы про себя:

— Елка!.. Глупый обычай!.. Сколько лесов истребляют, рубя молодые деревья ради идиотского обычая. Постоит, надымит, начадит... И к чему? Христос родился! Ну и пусть! Мало ли детей родится?.. Всем елки зажигать?!

— Много ты понимаешь,— сказал, возвышая голос, Михаил Павлович.

— Я?.. Слава Богу, не меньше твоего,— сказал Ипполит, останавливаясь против отца и принимая вызов.

— Оставь, Михаил Павлович,— воскликнула Варвара Сергеевна.— Ипполит! Стыдно! Будет! Святой, хороший обычай! Он собрал нас всех... Знаю, и Лиза вспомнит нас в своем захолустье, и Andre у Господа подумает о нас! Бог теперь с нами! Мир на земле, в человеческих благоволениях. А елки? Господь даст, вырастут новые. Господь давал — подаст и еще, не оскудеет земля русская елками-то. Эва! Нашел что жалеть! Мало что ли добра этого у нас!

— Брось, мама. Сентиментальным бредом маниловщины веет от твоих слов. Мы не дети, и твои сказки не обманут больше нас.

— Как ты говоришь матери! — сказал Михаил Павлович. Его лицо налилось кровью.— Как ты смеешь так говорить!

Весь хмель выпитой водки бросился ему в голову.

— Говорю, как надо,— хмуро сказал Ипполит.

— Ты с ума сошел!.. Щенок!

— Папа!.. Не забывайтесь! Я, хотя и сын ваш, а ругаться не позволю! Сам так отвечу, что страшно станет,— мрачно сказал Ипполит и в наступившей тишине вышел в прихожую, надел пальто, калоши и хлопнул дверью, уходя.

— Каков!.. Полюбуйся, матушка. Каков нигилист... А?..

— Ну что, Михаил Павлович,— примирительно заговорил дядя Володя.— Молодая кровь играет. Дети никогда не понимали отцов. У них свое, и им не до нашего. Давайте засядем. Карты ждут.

— Брось, Михаил Павлович,— сказал и Фалицкий, поддвигая к карточному столу стул и садясь.— Плюнь на все и береги свое здоровье. Тебе волноваться вредно. Того и гляди кондрашка хватит. Ишь, какой красный стал!

— Дурак!.. Дурак...— восклицал Михаил Павлович.— Пакостник... ничего святого... Вот оно, Иван Сигизмундович, новое поколение! Строители будущей России!

— Ну оставь... Было и прошло. Магдалина Карловна, вам сдавать. Начинаем.

Догорали, тихо потрескивая, свечи на елке. Сильнее становился запах хвои и парафина. Он сладким ароматом далекого детства входил в самую душу Феди, и сердце сжималось жалостью.

Липочка жалась к побледневшей Варваре Сергеевне, застывшей, с глазами, устремленными на образ.

Миша в углу ворчал:

— Ипполит прав. Папа не имел права ругаться.

Suzanne, черная и худая, сидела в кресле за елкой, и глаза ее набухли слезами. Длинный красный нос наливался кровью. В наступившей зловещей тишине слышались хмурые голоса:

— Пас.

— Хожу с червей.

— Пас...

Праздник был сорван. Бились, метались и дрожали людские сердца, которым так хотелось мира и тишины...

...И хоть призрака былого счастья.

XII

Раннею весною Ипполит совершенно неожиданно получил выгодное предложение репетировать с двумя юношами в еврейском семействе, в большом приволжском губернском городе. Ему устроила это Соня.

Он быстро собрался. С отцом, сестрою и братьями простился сухо, как чужой. Ничего никому не сказал, торопливо пожал всем руки, но вернулся с лестницы, подошел к Варваре Сергеевне и сказал с угрюмою лаской:

— Мама, если ты что-нибудь про меня услышишь, знай, что правильно я делаю... Может быть, будут худо говорить, осуждать, а ты знай, что так было надо... Потому что...

— Почему, Ипполит? — с тревогой сказала Варвара Сергеевна.

— Тебе, мама, не понять. Да это я так. Ничего особенного.

Ипполит уже снова схватил чемоданчик и быстро вышел в прихожую.

— Прощай, мама, — крикнул он и ушел.

Варвара Сергеевна долго смотрела на него с площадки лестницы, шептала молитвы и крестила мелким крестом постаревшей, дрожащей рукой.

Когда Ипполит спустился на два этажа, она пошла торопливыми шагами в кабинет Михаила Павловича, встала у окна и следила, как он вышел и пошел по двору. Крестила его в окно, шептала молитвы, жаждала, чтобы он оглянулся. Но он не оглянулся.

Слова Ипполита озаботили ее. Сама простая, не любила она никакой таинственности и загадок. «Может быть, потому так сказал, — думала она, — что никогда он у меня никуда не выезжал. Первое его далекое путешествие. Что же худого его может там ожидать? Что к жидам нанялся?.. Нет, не таков Ипполит, чтобы это беспокоило его... Да и жида разве не люди?.. Господи! Помогите ему! Сохраните его от всякого прельщения дьявольского. Спаси и сохрани!».

Ипполит знал, что он едет вовсе не для уроков. Партия приняла его своим членом, и это наполняло сердце Ипполита гордостью. Ему казалось, что он и ростом стал выше, он не горбился, поднял голову, походка была легкой. Он член партии! Он даже не знал как следует, какие цели преследует партия. Ну, конечно: хорошие, гуманные, либеральные...

Соня, прощаясь с ним, сказала, что он должен беспрекословно повиноваться Юлии.

Ипполита возили к Бледному. По намекам Ипполит знал, что Бледный — террорист, вождь боевой дружины, и этот визит еще более поднял Ипполита в его личном мнении. Значит, и он... и он в боевой дружине. Музыка слов самого названия пленяла его.

Он ожидал увидеть худое, загорелое лицо изголодавшегося рабочего, мрачный взгляд темных глаз, оборванный костюм, лохмотья, рисовал себе встречу в какой-нибудь норе, где-нибудь у Вяземской лавры, или в глухом переулке, на окраине города.

Абрам привез его на своем рысак к Европейской гостинице.

— Мистер Джанкинс у себя? — спросил он у важного швейцара, стоящего за прилавком, за которым висели ключи. Швейцар посмотрел на ключи и сказал:

— У себя-с! Мальчик, проводи.

Мальчик в ливрее побежал впереди по мягким коврам и постучал у большого номера.

— *Comme in **, — раздался голос по-английски.

Седой бритый англичанин встретил их. Абрам обратился к нему по-английски и просил сказать, что господин Бродович желал бы видеть господина Джанкинса по делу о поставке типографских машин.

Когда седой англичанин вышел, Абрам сказал Ипполиту: «Это его секретарь. Он не говорит по-русски».

Бледный принял их сейчас же. Высокий, отлично сложенный, мускулистый человек, прекрасно одетый, в домашнем пиджаке, встретил их на середине богато обставленного номера. Лицо у него было розовое, бритое, и трудно было сказать, сколько ему лет. Он был очень моложав и выглядел моложе Абрама.

— Вот товарищ, — сказал Абрам, — я привел нашего нового коллегу, готового вступить в боевую дружину.

Упорный стальной взгляд серых глаз Бледного устремился на Ипполита. Ипполит не выдержал его и опустил глаза.

— Сядем, товарищи... Курите!... — сказал Бледный, протягивая коробку с папиросами.

Он говорил на прекрасном русском языке. Ипполит сейчас же почувствовал, что Бледный — русский, хорошо образованный и воспитанный человек.

Бледный говорил Ипполиту то, что он не раз слышал от Сони: о необходимости низвержения императорской власти в России. Он говорил, что убийство императора Александра II не дало желаемых результатов, покушение Шевырева и Ульянова на императора Александра III кончилось неудачей и разочаровало революционеров. Партия пришла к мысли, что прежде всего необходимо лишить правительство силы, вырвать у него из рук аппарат власти.

* Войдите...

— Пока в России сидит император,— четко и ясно говорил Бледный,— пока безотказно и точно работает аппарат самодержавной власти, мы ничего не можем достигнуть. Император Николай Павлович сказал, что Россия управляется столоначальниками и ротными командирами. Нам надо сделать своими столоначальников и ротных командиров, а все, что выше их, обезличить и застрашать. Вы поступите в группу товарища Юлии. Уверяю вас, что при некоторой ловкости, уме и умении держать язык за зубами — это даже и не так опасно. Наши сановники любят бравировать храбростью, притом три четверти их слишком легко ловятся на хорошенькое личико и готовы идти на свидание хоть к самому черту на рога. Что же... очень рад... Очень рад...

Он осторожно расспросил Ипполита о его детстве, о семейных отношениях. И было видно, что он обо всем уже был отлично осведомлен и теперь только проверял то, что слышал, и хотел получить какие-то добавочные штрихи.

— Шефкелю, к кому вы едете, и его сыновьям вы можете вполне доверять. Они — наши. Там, где вам предстоит работать, в группе Юлии, будет много наших. Они вам помогут, когда будет нужно... И, конечно, товарищ, осторожность прежде всего! Помните: молчание — золото... От времен декабристов нас губил наш длинный язык... Ну-с, желаю вам полного успеха!

Бледный еще раз пыливо окинул с головы до ног Ипполита, протянул ему большую, породистую холеную руку, и Ипполит с Абрамом пошли из номера.

Ипполит шел домой как на крыльях. Точно его произвели в первый чин или навесили на него орден. Он значительно поглядывал по сторонам. Будто спрашивал встречающих: «Знаете, кто я? Член боевой дружины! Член боевой дружины! Вот оно что!».

Жалел, что нет здесь Лизы и не перед кем ему похвастаться данным ему поручением.

Но нет-нет холодком пробегала по его телу жуткая, противная мысль, что, может быть, ему придется кого-то убить... Но он гнал ее от себя... «Бог даст,— думал он,— и без этого обойдется... Кто-нибудь другой, а не я!».

Но холодок все веял где-то в большой глубине, точно открылся там сквознячок, и оттуда задувало противным ледяным ветром.

XIII

Вторую неделю Ипполит у Шефкелей, и все было спокойнo. Он успокаивался, внутренне согревался и, оставаясь

гордым своим высоким назначением, не думал о том, что ему придется действовать.

По настоянию хозяина он изящно, по моде, оделся в темно-серый костюм и мягкую шляпу. По утрам он ходил на Волгу купаться со своими питомцами, потом в городском саду, под липой, занимался заучиванием неправильных глаголов или заставлял их читать вслух по-русски, выправляя им язык, сильно отзывавший жаргоном. По вечерам гулял по саду или по московской улице.

В субботу, когда весь город трепетал от колокольных звуков, в церквах пели «Хвалите», золотистая пыль стояла по улицам, пронизанная солнечными лучами, и лавки со стуком и грохотом запирали оконными ставнями, Ипполит после хорошей прогулки на лодке, загорелый, пыльный и усталый, возвращался домой.

Его удивило, что на окне его комнаты была опущена штора, а само окно закрыто. Ипполит помнил, что оставил окно открытым, штора была поднята. Никто, даже прислуга, в его комнату без него не входил.

Он поспешил к себе. Со света ему показалось в комнате совсем темно. Блестела металлическая крышка на чернильнице, на которую упал луч света сквозь щелку в портьере.

Ипполит подошел к столу и сейчас же остановился. Кто-то следил за ним от книжного шкафа. Ипполит вздрогнул и быстро обернулся. У книжного шкафа стояла Юлия.

Она была в изящном сером, дорожном костюме *tailleur*, в большой серой бархатной шляпе с широкими полями и длинными коричнево-серыми, пушистыми страусовыми перьями.

— Не пугайтесь,— сказала она.— Я не призрак... Не ожидали?

— Юлия!.. Нет... Я не испугался...— голос Ипполита дрожал. Он был сильно смущен и не знал, что делать.

— Ну... здравствуйте... Вот вы как живете? Очень мило...

Она подошла к Ипполиту. Они поздоровались. Юлия села за письменный стол.

— Садитесь... Я к вам по делу... Когда-то вы говорили мне, что любите меня...

— Юлия!

— Я все помню... Вы говорили, что нет такой жертвы, какую вы не были бы способны принести для меня... Помните: вы молили только о том, чтобы я была ласкова с вами... Мечтали ли вы когда-нибудь, что я приду к вам вечером, одна... Останусь с вами в ночной тиши, и мы будем тихо-тихо говорить вдвоем...

— Юлия!.. Что это значит? Я не понимаю вас... Я не верю своим ушам... Юлия... вы?..

Ипполит бросился к Юлии и стал на колени у ее ног. Он хотел охватить ее талию, но она мягко отстранила его.

— Погодите... Прежде о деле.

— О деле,— вяло повторил Ипполит.

— Вы помните, что клялись Соне всем пожертвовать для блага народа, для общего блага.

— Я не отрекаюсь от клятвы.

Юлия мягко прикоснулась рукою к длинным волосам Ипполита.

— Милый юноша! Бойтесь ли вы смерти?

— Я ничего не боюсь,— кинул Ипполит.

— А сила? Сила мужская, сила воли, готовность на подвиг есть ли у вас?

— Юлия, не томите меня. Я у ног ваших. Я раб ваш... Говорите! Приказывайте!

— О! Не так... Раб? Нет, Ипполит. Не раб, а господин... И исполнитель моих желаний.

Юлия нагнулась и поцеловала Ипполита в лоб. От нее нежно и томительно пахло духами. Раскосые, длинные, загадочные глаза светлыми зрачками впивались в душу Ипполита, и он чувствовал себя парализованным.

— Ну, довольно...— сказала Юлия, поднимаясь со стула и отходя в глубь комнаты. Встаньте и слушайте меня.

— Приказывайте,— вставая, сказал Ипполит.

— Это не я приказываю вам, но те, кто послал меня к вам ободрить вас и помочь вам.

— Кто? — тихо, но твердо спросил Ипполит.

Юлия не ответила.

— Вы знаете здешнего губернатора? — спросила она.

— Да... Но я с ним не знаком.

— В лицо его твердо знаете?

— Да.

— Не спутаете ни с кем другим?

— Нет.

Голос Ипполита дрогнул. Юлия заметила, как побледнело его лицо.

— Милый... Не надо волноваться,— сказала она.

Ипполит тяжело вздохнул и бессильно опустился в большое кресло. Юлия опять подошла к нему, села на ручку кресла, мягко, кошачьим движением, обняла Ипполита за плечи и прижалась к нему.

— Ипполит!.. Есть миги... И стоит за них умереть! Сегодня... Сумерки и тишина... Завтра — подвиг... Послезав-

ра — смерть... А кто знает? Шаг за шагом идем мы вперед...
Помните, у Абрама читали стихи:

Что мне она? Не жена, не любовница?
И не родная мне дочь,—
Так отчего ж ее доля суровая
Спать не дает мне всю ночь!..

Мы с вами счастливее тех... Мы насладимся радостями жизни в последний раз и потом смело пойдем на подвиг... Подайте мне мой несессер.

Ипполит принес ее красивый кожаный мешок, брошенный на кровати. Юлия медленно раскрыла его и вынула из него тяжелый, короткий револьвер. Ипполиту показалось, что дуло блеснуло каким-то страшным, точно живым огнем.

— Так отчего ж ее доля суровая
Спать не дает мне всю ночь!

тихо повторила Юлия.

— Ипполит, завтра царский день, и в городском саду гулянье, фейерверк и музыка до поздней ночи. Губернатор будет на гулянье. Вы подадите ему мою записку и вызовете его в глухую аллею, в другой стороне от Волги. Там есть калитка. Вы скажете, что я французенка, а вы мой брат. Да все равно... в записке написано все, что надо. Я на гулянье сумею обратить на себя его внимание... У калитки будет готов экипаж с одним из наших. Все дело в смелости. Когда он заговорит со мною, стреляйте в упор, в голову... Если схватят... скажете — заступились за честь сестры... Поняли?

— Юлия!..— голос Ипполита дрожал.— Юлия!

— Ну — что?

— Нет... Ничего... Это я так... Вы говорите — стрелять в голову? Из этого револьвера?

— Да... В висок... Вот заграничные паспорта. Деньги... Все готово... Нас отвезут за две станции, мы захватим скорый поезд, в лесу переоденемся, там нас ждут. Платье сожгут. И за границу... До лучших дней, до полной победы!!!

— Стрелять?.. Мне... В губернатора?.. В губернатора?..

— Ну да... Да что с вами?

— Со мной... Ничего... Я готов... Конечно, я готов. Я даже горжусь этим. Но я слышал... Мне говорили... Он гуманный человек, либеральных понятий... Его рабочие любят... Крестьяне хвалили... У него дочь барышня... Она обожает отца... Сын — мальчик, паж.

— Ну так что же?.. Не все ли равно?..

— Нет, я так... Убить, значит, его... Дочь... Сын паж...
— Бросьте! Не думайте об этом. Это подробности. Это вас не касается, вы сделаете свое дело. Свой долг. Долг!
— Но все это так неожиданно!
— Ипполит! Не будьте тряпкой! Я с вами... Я ваша! Не думайте о завтрашнем дне. Я с вами... И сегодня я вся, вся ваша!

Юлия порывисто подошла к Ипполиту, обняла его, прижалась лицом к его груди и заглянула ему в глаза.

— Ипполит! Вы не думали, что я такая?.. Вы никого не целовали раньше? Целуйте меня... Так! Крепче... Горячее!.. О... Что со мною. Вот так, так!.. Ах! Хорошо... О, да вы сильный... Тише, тише... Не мните костюма... Постойте... Я шляпу сниму... Уколетесь о булавку... Да погодите!.. Я сама!.. Закройте дверь... Так... Сегодня... Завтра подвиг... Вас не будут!.. А сегодня — я ваша!..

Туман плыл перед глазами Ипполита, перед ним промелькнули душистые прозрачные кружева и обнаженное плечо. Бешеная страсть охватила. Как сквозь сон слышал он короткий смешок Юлии и между поцелуями ее быстрые слова:

— Ты не думал, что я такая?.. Не думал?.. Не мечтал... Помни: сегодня ты юноша, мальчик... Завтра — ты муж, обязаный на подвиг... Мы теперь связаны. Ты должен... Ты не думал... что я такая?..

XIV

Представление на открытой сцене окончилось. В круглой ротонде заиграли музыканты пехотного полка. В саду над рекой готовился фейерверк, и народ густыми толпами шел к реке.

Моложавый генерал в длинном белом кителе с Георгиевским крестом в петлице в сопровождении штатского в изящном чесучовом костюме шел по боковой аллее, направляясь к выходу.

— Ты говоришь, Александр Николаевич,— сказал генерал,— не знаешь ее.

— Уверю тебя, ваше превосходительство, она первый раз в N-ске.

— Надо полицмейстера спросить.

— Избави Бог, ваше превосходительство. Спугнешь. Мы ее и так получим.

— Почему ты думаешь?

— А костюм? Шляпа?.. Этот юноша при ней... Едва ли не кот по манерам. Хочешь, я его залучу. Мы его напоим, и он нам все выболтает. По-моему, просто кокотка на вакации.

— Mais elle est superbe... И, знаешь, в ней что-то такое... манящее... А? Tu comprends? *

— Поужинать, во всяком случае, можно.

— Tu penses? **

— Ей-богу. Только деньгами пахнет.

— А не скандалом? Боже сохрани! Губернатор и вдруг... И так много лишнего болтают. Пойдут всякие истории... Еще теперь этот Мечислав Иосифович приехал... Везде шныряет... Все заговор какой-то ищет. Все вздор! Не правда ли... Tu penses? А?

— Ну, Мечислав Иосифович сам насчет клубнички не дурак...

— Какая тут, Александр Николаевич, клубничка... Все всем известно... Наши дамы... Ты знаешь, как я не люблю этих сложных интриг, разыгрывания романов, где не знаешь, близка развязка или нет. В Петербурге это как-то чувствуешь, а тут... Черт его знает что!.. Все помешаны на платонической любви... а на свиданье без панталон ходят.

— Шутник, ваше превосходительство.

— Постой... Это ее спутник. А красив?.. А?.. Адонис совсем...

Ипполит с запиской в руках подходил к генералу. Присутствие штатского спутника его смутило. Но сейчас же подумал: «Прочтет записку, останется один». Тяжелый револьвер в кармане стеснял его и дулом неприятно холодил ногу.

— Mon general, — начал он, — та soeur...*** — и протянул записку.

— Что? — хмуря брови, спросил генерал, — прошение?.. В канцелярию.

Ипполит молчал.

— Прочти. Sa commence a etre amusant ****, — сказал Александр Николаевич.

— Мы пока простимся. Ты отправляйся и, кстати, забери с собою Мечислава Иосифовича. Он мне сейчас совсем не нужен...

Генерал изящным длинным ногтем вскрыл конверт и, на-

* Но она великолепна... Ты понимаешь?..

** Ты думаешь?..

*** Генерал... моя сестра...

**** Это становится забавным...

кинув на нос пенсне и подойдя к фонарю, начал читать. Он самодовольно усмехнулся и сказал: «Она права. Мы старые петербургские знакомые. Как я забыл!..»

— До свидания,— сказал Александр Николаевич и тихонько шепнул: — Ни пуха, ни пера.

— В беседке говорите, молодой человек... Я сам найду... Благодарю вас... Провожать меня не надо... Я знаю... знаю...

Штатский отошел, свернул в боковую дорожку... Пора... Юлия ждет... Ипполит неловко сунул руку в карман, прикоснулся к ручке револьвера и сейчас же выдернул руку, точно револьверная ручка обожгла его каленым железом.

— Я побегу предупредить, что вы идете,— сказал Ипполит и скрылся в кустах.

Юлия ждала его за павильоном.

— Ну... я не слыхала выстрела,— холодно сказала она... — Не нашел?

— Он идет сюда.

— Почему не стрелял?..— настойчиво спросила Юлия.

— Юлия!..

— Почему не стрелял?.. А!.. Подлец!.. Мною воспользовался и размяк... слабая душонка! — дрожащим от ненависти голосом прошептала Юлия.

— Юлия... нервы... это минута... Пройдет... Он ничего не подозревает.

— Нервы!.. Девчонка!.. Дурак!.. Давай револьвер,— почти крикнула Юлия и схватила Ипполита за руку.

Ипполит неловко подал револьвер. Юлия спрятала его под мантилью.

— Застрелите меня...— бормотал Ипполит.— Я виноват... Но не могу в безоружного!.. Гадко!..

— Тебя самого бы стоило!.. Негодный мальчишка... Сопляк...— ругалась Юлия, быстро идя по дорожке.— Оставайтесь у павильона... О, гадость... И этого не умеют,— гневно прошептала она и вышла на освещенную луною аллею, по которой, беззаботно насвистывая, шел генерал.

Юлия решительно направилась ему навстречу. Ипполит видел, как она подала генералу руку, нагнулась к его уху, должно быть что-то шептала, взяла его под руку и опять заговорила ему на ухо. Генерал остановился, отшатнулся от нее, и в ту же секунду подле самого виска генерала метнулось яркое пламя, осветило зеленовато-бледное лицо с черными круглыми глазами, раздался выстрел такой громкий, что Ипполиту он показался громче пушечного. Ипполит бросился бежать и в несколько прыжков был у калитки.

Большой вороной рысак, запряженный в полуколяску,

ожидал у калитки. Яркая луна синеватыми бликами лежала на его крупе и вдоль гладкой шеи. Блестели колеса и крылья, крытые черной лакированной кожей.

— А Юлия? — спросил кучер, натягивая вожжи.

— Сейчас... она... сейчас, — побелевшими, сухими губами пролепетал Ипполит.

XV

В саду над рекою лопались и вспыхивали, пламеня длинными хвостами, ракеты, рассыпались белыми, зелеными и красными огнями римские свечи. Слышен был треск фейерверка и гоготание толпы.

На глухой улице у калитки было тихо. Пахло белой акацией и водяною сыростью и казалось, что тут какой-то другой мир. Обрывками доносилась музыка. Играли польку, какую обыкновенно играют в цирках во время представления гимнастов. Ипполиту эта полька напоминала трапецию, людей, затянутых в трико с блестящими блестками у бедер, качающихся под самой крышей цирка. Смолкнет музыка. Наступит напряженная тишина, раздастся взволнованный голос: — «Prêts?» — и в ответ решительный отклик: — «Allez!» *

Музыка смолкла. Зловещая роковая тишина нависла над парком... И потом вдруг раздалась крики, гомон и топот толпы... Перестали лететь ракеты, и только заревом отражался в небе, освещая дальний берег реки, белый бенгальский огонь.

— Поймали, — проговорил кучер, трогая лошадь. — Надо утекать.

— Нет... Я не знаю... Как же... Я пойду узнать, в чем дело, — нерешительно бормотал Ипполит.

— Смотрите не попадитесь... Ваше дело... Помните: в 4 часа поезд... Я еду... Все кончено. Эх... Не сносила буйной головушки товарищ Юлия!

Лошадь влегла в хомут, напряглась и легко и плавно побежала по пыльной дороге. Покачнулась коляска, скрипнула, треснули колеса о попавшийся камень... Исчезла в лунной серебристой пыли, как сонное видение.

Точно что толкнуло Ипполита... Он шел назад, к беседке, по той самой аллее, где встретил генерала. Никого... В соседней аллее проходили какие-то взволнованные люди.

* Готово?.. Пускай...

Они спешили к выходу. У выхода черным морем волновалась толпа.

— Прямо в висок,— сказал кто-то.

— Убит?

— На месте. Даже следы ожога на волосах.

— Несчастный.

— А славный был человек... Доходчивый... До простого народа доступный.

— Лучше некуда... Ласковый... Бедняга! Слуга царев и погиб на своем посту!

— А ее схватили?

— Сейчас же... За нею давно следили. Было застрелиться хотела, да не дали. Поволокли в участок.

— И чего ей надо?

— Ты думаешь политическое убийство?

— Несомненно.

Ипполит шел, слушал, и внутренняя дрожь трясла его. О Юлии как-то не думал. Во вчерашнюю сумбурную ночь, когда лежал он с нею в постели, в нем произошел перелом и надрыв. Вся страстная, рабская, готовая на все любовь точно ушла из него. Богиня спустилась на землю и перестала быть богиней. Таинственная Юлия перестала быть таинственной. В ушах звучали слова: «Ты не думал, что я такая?.. Да... Не думал...»

Он проснулся часа в четыре утра. Он плохо спал. Косые лучи солнца чертили рисунок оконного переплета и древесных ветвей на белой, в маленьких сборках шторе. В комнате был утренний полумрак. Было душно. Непривычен был запах духов.

Рядом с его головою в копне пепельно-русых волос покоилось на подушке лицо Юлии. Оно было бледно, и голубые жилы на лбу резко выступали на белой коже. От длинных ресниц падали темные тени, мертвенно и недвижно.

Ипполит внимательно рассматривал Юлию. Он была, видимо, не молода... Морщинки лежали на лбу и у висков. Лицо было печально и сурово.

Юлия лежала тихо, точно мертвая. Невольно думал Ипполит, что смерть ходит за всеми нами. Сегодня губернатор, он, Юлия — все обречены. И было страшно. Быть в боевой дружине казалось ужасным... Хотелось быть героем, но убивать безоружного в западне было противно... Умереть был готов. Убивать не смел... Боялся... И когда вчера Юлия говорила ему, что надо убить генерала, он вдруг почувствовал, что никогда на это не решится. Но сказать об этом Юлии не мог. И ложь легла между ними. Он ненавидел за эту ложь

и себя, и Юлию. Слишком велика была плата за миг любви. Слишком короток был этот миг.

Юлия проснулась. На глазах у Ипполита совершался утренний туалет женщины.

Юлия была высока ростом, у нее были длинные стройные ноги, полные, гибкие бедра, но Ипполит уже ничего не видел. Он с тоскою смотрел, как она двигалась по комнате, приводя свои волосы в порядок, мылась; терлась, шнуровала высокие ботинки, надевала юбки. Она была озабочена и не замечала Ипполита. Тайнственные силы предвидения покинули ее. Ее движения были вялы. Лицо озабочено.

Неловко одевался Ипполит, стесняясь присутствием Юлии. Было стыдно перед прислугой и Шефкелями. Он казался себе физически ужасным. Зеркало отразило побледневшее лицо с синяками под глазами и покрасневший нос.

Они обменивались пустыми, ненужными словами.

После обеда Юлия стала серьезна. Она заперлась с Ипполитом у него в комнате, достала из мешочка маленький, аккуратно увязанный в клеенку сверток и, подавая его Ипполиту, сказала:

— Я оставляю это у Шефкеля... Это очень важно... Если это попадет в чужие руки — вся партия будет поймана... Мы не знаем, что будет... Удастся ли бежать, как мы полагаем... Мало ли что может случиться. Так вот, если бы я была схвачена, а тебе удалось бы уйти... Возьми сверток... До 1-го июня сохрани, а 1-го июня Бледный вернется в Петербург... Ему передай лично. У тебя могут быть обыски. К Бродовичам нельзя. Отдай своему брату Феде... Соня говорила: у него не тронут... Храни у него... Передай сам... Впрочем... Будем надеяться — я смогу сама... Но если что случится — сейчас же возьми у Шефкеля. К нему кинутся первому... Ипполит... К Феде. У юнкера не догадаются.

— Да,— кисло сказал Ипполит.— К Феде... Хорошо.

— И, пожалуйста, милый, не трусь!

— Юлия... А собственно за что?.. Почему? — начал было Ипполит, но не закончил.

— Милый мой... Запомни одно... Постановление комитета для нас — закон. Партийная дисциплина выше всего.

И Юлия снова тихим вкрадчивым шепотом говорила Ипполиту, как он должен подойти к губернатору и убить. Она вынула из барабана патроны и заставляла Ипполита взводить и спускать курок себе в висок. Становилась рядом с ним и изображала губернатора. И чем больше она это делала, тем более убеждался Ипполит, что он никогда не решится.

Что будет дальше, он не думал.— «Как-нибудь образуется. А может, и смогу! Как-нибудь...»

Теперь все кончено. Юлия схвачена... Ипполит шел по улицам и чувствовал, как опять открылся тот же сквознячок и гадким холодком пробежал по его телу. «А что, если выдаст?». Мучительно хотелось жить и быть свободным. Чувствовал себя одиноким и покинутым. От семьи он давно оторвался... «Разве они поймут все это?» — думал он о матери, братьях и сестре. Его переживания казались ему необычайно сложными и тонкими, и он думал, что он один сделал великое и глубокое открытие о женщинах, о любви, о разочаровании. Сони теперь боялся. Он понимал, что то, что случилось, навсегда лишило его того богатого мира, в котором жили Бродовичи.

Теперь ему надо куда-то бежать. Соня, Абрам, все, все будут его презирать, и ему нельзя их видеть. Липкий страх окутывал его. Боялся партийной мести за неисполнение приказа. Он слышал не раз, что такое партийная дисциплина.

Он подлежал ответу за то, что убил не он, рядовой дружинник, а Юлия, драгоценный работник партии. Он оглядывался на прошлое и думал: «Когда же я попал в партию? В какую партию?.. Каковы ее цели?.. Когда? Когда?.. Тогда, когда ходил к Бродовичам и изучал с Абрамом социальные вопросы и Абрам переводил ему Каутского и Маркса? Тогда, когда Соня протянула к нему белые, душистые руки и сказала: «Клянитесь!». Или тогда, когда он млея перед Юлией, допытывал ее, а она загадочно молчала.

Юлия была его. Он обладал ею. Их судьба неразрывно и крепко связала...

Как хотелось жить! Как хотелось, чтобы ничего этого не было. Опять сидеть у Бродовичей в углу, на почетном кресле, знать, что он «свой», слушать игру на арфе, споры о вечном мире на земле, о счастье народов, о благословенном труде, о правде, о свободе, о братстве, о равенстве!

Между ними легли труп убитого Юлией генерала и схваченная Юлия.

Все пропало... И все-таки мир казался прекрасным. Вспоминал о Лизе. «К ней, к ней, в деревню! У ней и оправдание, и смысл, и цель жизни!».

Ипполит вмешался в толпу, с толпой вышел из ворот сада и быстро пошел по деревянному тротуару к дому Шефкеля. План созрел в его голове. Прийти домой, переодеться в старое студенческое платье, забрать свои вещи, запрятать маленький пакет Юлии в свой чемодан и с ночным поездом ехать в Петербург. Шефкель знает, в чем дело. Он поможет

ему. В Петербурге отдать пакет Феде, прожить до 1-го июня, снести пакет Бледному и в тот же день, никому не говоря, уехать к Лизе. С Лизой он обсудит, что ему делать. Никто так не поймет его, как Лиза.

Кто-то быстро догонял его. Деревянная панель скрипела под торопливыми шагами. Ипполит прибавил ходу, прибавил и тот. Ипполит побежал, незнакомец погнался за ним. Цепкие пальцы схватили Ипполита за пальто, потом за руку. Ипполит остановился. Перед ним был почтенный, лет пятидесяти, человек, маленький, сухонький, жилистый, в чесучовой крылатке и белых брюках, в белой фуражке, какие носили дворяне в губернии. Какой-нибудь чиновник или мелкий помещик. Он страшно запыхался от бега.

— Пойдите, молодой человек, — задыхаясь проговорил он. — Так нельзя!..

— Что вам угодно? — дрожа от страха, сказал Ипполит.

— Вы были с этой мерзавкой, которая убила нашего отца-кормильца... нашего достойного губернатора.

— Вы с ума сошли.

— Вы были... Я вас видел.

— Оставьте меня! Как вы смеете! — вырываясь, крикнул Ипполит.

Сухонький старичок еще крепче перехватил его обеими руками за рукав и закричал жалко и протяжно, точно собака завывала: «городо-во-о-ой!»...

Ипполит выпростал широкое пальто и, оставив его в руках у старика, как заяц, широкими скачками припустил бежать.

Отбежав два квартала и убедившись, что за ним нет погони, он тихонько прокрался к дому Шефкеля, прошел в свою комнату, переоделся, забрал маленький рыжий чемодан, сверток Юлии и в два часа ночи уже садился в душный вагон третьего класса поезда, идущего на Петербург.

Лицо его было бледно, устало, какие-то складки протянулись от носа к подбородку, но он был спокоен. Он знал, что Шефкель его не выдаст, а подозревать его, студента Кускова, было не в чем.

XVI

Весною старший курс училища, где был Федя, жил в лагере напряженной жизнью. Приближался день выпуска в офицеры, куколка становилась бабочкой. Молодые головы задумывались: где служить? В каком городе вить себе гнез-

до, быть может, на всю жизнь. В училище прислали литографированный список полков и батарей, в которых были вакансии, с обозначением вакансии и места стоянки. Список был составлен по старшинству частей, сначала гвардия, потом гренадеры, стрелки, линейная пехота в порядке номеров дивизии, линейные батальоны, артиллерия, казачьи части. Разбивать вакансии предстояло по старшинству баллов. Первому по списку предоставлялся выбор из двухсот с лишним частей, местечек и городов, последнему оставалось два-три десятка. Юнкера ценили части по их старым традициям, по связям, по родству, по месту стоянки. Гвардия, гренадеры, старинные полки с двухвековой славою, гарнизоны Петербурга, Москвы, Киева, Харькова, Воронежа, Крыма и Кавказа больше всего интересовали юнкеров. Польское захолустье, из-за отношения поляков к русским, из-за постоянного напряжения ожидания войны с Австрией и Германией, о которой знали, что она непременно будет,— стояло в конце юнкерских желаний.

Последним ученикам, лентяям, не способным ни к науке, ни к фронту, доставались Гуры Кальварии, Муравьевские штабы, Красники и Замостьи в Польше, Игдыри на Кавказе, Копалы, Каркаралински и Джаркенты в Туркестане, Камень-Рыболовы, Никольски-Уссурийски, Адеми и Барабаши в Уссурийском крае — тоскливая жизнь без права перевода в другое место раньше пяти лет, без права отпуска домой в течение трех лет. Скрашивались тяжелые условия правом жениться без реверса и зачетом четырех дней службы за пять.

Федя был шестым учеником и после фельдфебелей и старшего портупей-юнкера, училищного знаменщика, имел право выбрать вакансию. Перед ним развертывался длинный список, начинающийся гвардейскими полками и гренадерами Москвы и Кавказа. Федя с матерью уже давно наметил стоянку и полк и много раз мечтал о нем. Федя отказался от гвардии: дорого. Без помощи из дома, на одно жалованье, прожить невозможно, а семья помогать ему не могла. Федя видел, что подходят дни, когда ему придется помогать семье. И было решено, что он выйдет в Петербург, в 145-й пехотный Новочеркасский полк, стоявший на Охте и прозванный юнкерами «Охтенскими кирасирами». Три года Федя прослужит в строю, не бросая учебников, а потом поступит в Николаевскую Академию Генерального штаба.

Жизнь намечалась Феде ясной и трудовой вблизи от матери, сестры и братьев, с тихою радостью по субботам приезжать домой, по-прежнему ходить с матерью в церковь, слу-

шать ее рассказы о прошлом. От семьи он не оторвался, и семья была все для него.

Он был счастлив. Серые глаза его блестели на загоревшем от солнца, ветра и дождей лице. Ему казалось, что он крепко и навсегда полюбил хорошую девушку: Любовь Павловну Буренко. Он виделся с нею раза два зимою, танцевал на вечере и весною несколько раз был в Павловске на музыке, что дало повод Белову написать на него и на Любовь Павловну стихи, торжественно ей поднесенные, а ею, с лукавой усмешкой, переданные Феде.

— Вы мне обещали свиданье,

говорилось в этих стихах.

И я, чтобы к вам поспешить,
Осьмнадцать вокабул латинских,
Был должен совсем не учить.

И вот прихожу на свиданье...
Уж вижу скамейку вдали,
Где вы обещали признание
И сладкие песни любви.

И вижу, что Павловский юнкер
Пред вами во фронте стоит,
А вы! О коварная! — тот же!
Лукавый, насмешливый вид.

В смущеньи и страхе я обмер,
И вымолвить слова не мог,
И слышал я только ваш хохот
Да запах казенных сапог.

Назавтра вокабул латинских
Ответить совсем я не мог,
Мне слышался только ваш хохот
Да запах казенных сапог...

Федя прочел стихи, улыбнулся и тихо сказал Любови Павловне изречение Perrin:

Oh! le bon temps pour la galanterie
Qu' était le temps de la chevalerie! *

И Федя хотел отдаться этому сладкому чувству ухаживания, встреч на музыке, прогулок по аллеям парка, разговоров в полголоса, полной значения недоговоренности и трепетного ожидания следующего праздника и новой встречи,

* О, прекрасное время ухаживания.
Время рыцарей.

светлой улыбки милого лица и радостного рукопожатия...

Петербургская весна протекала бурно. То косил холодными ледяными струями дождь, холод томил в бараках и нигде было согреться, то блистало на бледном небе солнце, задумчиво бродили разорванные розовые облака, складывались в тучи, громоздили замки. Вдруг появится на небосклоне голова турка с длинной трубкой, потянется трубка к Лабораторной роще, повалит из нее сероватый дым и уже не трубка она, и турок не турок, а идет по небу трехмачтовый корабль, и ветер рвет его паруса... Вдруг показалась громадная бело-розовая болонка, она стоит на задних лапах и голова ее у самого солнца, а ноги тянутся за горизонт к деревне Арапаккози... Но и болонка исчезла. Она сложилась в большую тучу, посерела, надулась... Налетел с поля сырой ветер. Пахнуло дождем и по всем линейкам лагеря звонко стали кричать дневальные под пестрыми грибами:

— Дежурные, д-д-днев-альные, надеть шинели в рука-ва-а-а...
Государева рота только что вернулась с ротного ученья.

Длинными цепями атаковала она Царский валик и теперь шла широкой колонной. Издали был слышен тяжелый, мерный, отбитый по земле шаг. Юнкера стройно по голосам пели:

Мы долго молча отступаа-ли,
Досадно было,— боя ждали,
Ворчали — ста-ри-ки!..

У самого училищного оврага раздалась команда:

— По баракам!.. Ура!

Юнкера сорвали винтовки «к ноге» и с громким «ура!» врассыпную ринулись в овраг. Овраг на мгновение наполнился белыми рубахами. Кто-то упал и покатился вниз... Прыгали через нарытые учебные окопы и белыми волнами взмывали к кегельбану, перелезали через его стенки и, раскрасневшиеся, потные, с бескозырками, сбитыми на затылки, с серыми скатками с ярконачищенными красной меди котелками, толпились у дверей правофлангового, белого с красными разводами, барака.

— Иванов-то, господа! Кверху тормашками... потеха!.. И в самую глину!.. Теперь до вечера не отчистится! — кричал кто-то, захлебываясь от смеха.

— Да знай Государеву роту! Л-лихо взяли овраг.

В бараке ставили винтовки в пирамиды, снимали скатки и патронташи и отдувались.

— Господа, кто в чайную, кто на ужин! — кричал дежурный.

— Фанагорийский полк в чайную! — ревел здоровый Бабкин, облюбовавший себе вакансию в Фанагорийский гренадерский полк.

— Постой, попадешь ли еще. Рано пташечка запела, — сказал ему Федя.

— Кусков, решились?.. Окончательно... На Охту... Почему не в гвардию? — обернулся к Феде Бабкин.

Сквозь шум веселых голосов, сквозь ликование молодых сердец, радующихся жизни, здоровым крепким ногам, сильным рукам, свежим чистым мыслям, раздался голос дежурного.

— Портупей-юнкер Кусков на среднюю линейку, брат-студент спрашивает.

Тяжелое предчувствие, не случилось ли чего с матерью, тоскою сжало сердце Феде. Ипполит еще ни разу не был в училище. Федя кинул на бегу фельдфебелю:

— Иван Федорович, если к ужину запоздаю, пусть отделенный ведет!

Надев бескозырку и накинув на плечи шинель, Федя побежал по узкой аллее боковой линейки, обсаженной молодыми березками, мимо барака 3-й роты, вниз в балку, на шоссе, носившее название — «средней линейки».

XVII

Ипполит, бледный, осунувшийся, в старой студенческой фуражке и черном пальто с порыжевшими петлями, быстро пошел навстречу Феде.

— Насилу дождался... Долго же вас манежили, — сказал он, неловко протягивая руку брату. Дома братья не здоровались, и теперь им казалось странным давать друг другу руку.

— Дома что?.. Мама? — тревожно спросил Федя.

— Дома все благополучно... Конечно, без дачи нынешний год маме и Липочке тяжело. У вас благодать... Березкой как сильно пахнет... У нас духота. Двор асфальтом вздумали заливать. Не продохнешь!.. Вот что, Федя...

— Что, Ипполит?

— Видишь ли... Ты можешь меня и многих спасти... Да... Я понимаю... Тебе, может, неприятно... Мы разных убеждений, сильно разошлись... Но ведь и мы не зла желаем... И кто прав?.. — несвязно стал говорить Ипполит.

— В чем дело?..— взглядываясь в брата, сказал Федя.

— Да, как тебе сказать... Пройдемся...

Они пошли по шоссе. По одну сторону, в густых зарослях желтой акации, за молодыми тополями, сиренью и березами, стояли бревенчатые офицерские бараки, по другую круто поднимался берег оврага и наверху белелись длинные бараки юнкеров. Шоссе спускалось с белыми перилами, за мостом, наверху, тянулся вдоль оврага серый бревенчатый барак. Перед ним, на поле, стояли пушки.

— Тебе можно ходить сюда? — спросил Ипполит, поглядывая на пушки.

— Можно. Отчего же? Это Константиновское училище, а дальше Артиллерийское. Мы ходим друг к другу в гости.

Горнист вышел на шоссе и резко проиграл сигнал. Ипполит вздрогнул.

— Это что же?

— Это на ужин.

— Так иди же.

— Нет, я не пойду. Мне не хочется. И ужин неважный. Пустые щи и каша. Я хорошо поел за обедом.

— А тебе за то не попадет?

— Ничего. Я заявил фельдфебелю.

— Как все строго!.. Да, вот... Федя... Дело вот в чем... Видишь ли, я попал в партию...

— Это где Бродовичи? — быстро спросил Федя.

— Это безразлично, Федя. В нашем деле лучше фамилий не называть. И у меня есть некоторые документы... Так... пустяки... маленький сверток... Но многие могут пострадать. Бросить нельзя. Я должен передать их через несколько дней одному человеку... Ты знаешь... Юлия арестована. В Петропавловской крепости. У Бродович был обыск. Ничего, конечно, не нашли. Я на очереди... Вот я и хотел просить тебя... Всего до 1-го июня... Если бы со мною что-нибудь случилось... Ты отвези сверточек в Европейскую гостиницу. Спроси там Джанкинса... Скажи — от Юлии. Запомни. Ему отдать... Вот и все... Джанкинс. Будешь помнить?

— Ипполит! — воскликнул Федя... — Зачем?.. Зачем все это?..

— Невелика услуга,— сказал Ипполит, раздражаясь. Он смотрел вниз. Углы губ его дрожали. «Как он постарел!» — подумал Федя. «Какой несчастный... Ах, зачем, зачем он это сделал!».

Они дошли до моста и повернули обратно. Шли молча, оба глядели в землю. Печаль лежала в их сердцах... Федя

вспоминал, как ходил он к Ипполиту и просил помочь ему по латыни или по математике. Ипполит откладывал в сторону свою тетрадь и говорил усталым голосом, ласково:

— Ну, в чем же дело? Чего ты там не понимаешь? Это же так просто...

Ипполит всегда рисовался Феде каким-то высоким, чистым, благородным, человеком прекрасных побуждений, образцом для всех. Любил он «платонически»... Когда ухаживал за Лизой, они всегда говорили об «умных» вещах, об искусстве, о литературе. Его последняя симпатия была таинственная Юлия, тоже умная, не похожая на женщину, и вряд ли Ипполит шутил с нею и ухаживал за нею так, как Федя ухаживал за Буренко... Ипполит был много выше Феди, и Федя не мог не повиноваться ему и не мог открыто осудить его.

— Ты ничем не рискуешь,— сказал раздраженно Ипполит.— Если бы я тебя просил о чем-нибудь серьезном, а то так... спрятать. Все равно, не ты, так другой это сделает.

— Да... да... это так. Но Ипполит... Ты знаешь, что для меня Россия...

— Ах, глупости! Ну, при чем это?.. Россия от этого не пострадает. Но ты выручишь меня и спасешь маму от лишнего потрясения.

— Мама знает?

— Ну, конечно же нет... Этого не доставало!..

— Хорошо,— со вздохом сказал Федя.— Давай. Я спрячу... 1-го июня в Европейской гостинице мистеру Джанкинсу?

— Да.

Федя взял сверток и понес его в барак.

— Подожди меня, Ипполит, я сейчас вернусь.

По боковой дорожке вверх, поодиночке и группами шли юнкера, возвращавшиеся от ужина. Федя прошел к своей койке, открыл ключом шкапик и спрятал сверток за шаровары и мундир.

Ипполит, ожидая его, ходил взад и вперед по мосту. Над широким озером, расстилавшимся черною гладью за оврагом, какой-то оркестр играл ту самую польку, что играли тогда...

Как давно все это, казалось, было, а было всего три дня тому назад. Точно вечность прошла с тех пор. Вся жизнь перевернулась. Гимназия, университет ушли в бесконечную даль. Целые века прошли после вечера, когда пахло тополями, сиренью и речною густою сыростью, взлетали к темному небу ракеты и вспыхивали цветными огнями римские свечи,

а музыка играла цирковую польку и вдруг оборвалась. Это было тогда... Когда-то очень давно. В далеком тумане осталась Юлия и темное и стыдное воспоминание горячего тела и мучительных ласк. Почему он теперь на каком-то нелепом мосту? Тянется в гору серое шоссе, мимо идут толпами юноши в белых рубашках, с любопытством смотрят на него и весело разговаривают. Рвется вдаль к небу песня и тонет широкими мощными вскриками в надвигающихся серых тучах.

«Справа повзводно — сидеть молодцами,
Не горячить лошадей...»

«Не горячить лошадей»... повторил Ипполит. «Как все это странно? Иная какая-то жизнь. И какая дикая! Не горячить лошадей. При чем тут лошади?.. Свобода, равенство, братство. Общая дружная семья народов и эти серые пушки, мрачно глядящие в черную зловещую даль... Кто прав? Они... или «они»? Что лучше?.. Не горячить лошадей?.. или подойти, взять под руку, как Юлия, дышать в ухо горячим дыханием страсти... и выстрелить?.. Я знаю: она сказала «по приговору центрального комитета партии Народной Воли»... Народная Воля... А эти юнкера?.. Федя?.. Не народ?.. Знаю я, что они хотят?.. Не горячить лошадей»...

Федя спускался к Ипполиту. Теперь, когда все было сделано, отношения между братьями стали ровнее. Не стало раздражения, вернулась былая, детская нежность, которая всегда сквозила в словах Ипполита, даже и тогда, когда он говорил: «Федя, ты дурак!»... Хотелось побыть подольше вместе.

— Ипполит, пойдем наверх,— сказал бодрым голосом Федя,— сейчас перекличка и зоря, а после еще походим. Поговорим. Твой поезд в 10 часов...

Федя провел Ипполита к кегельбану и там оставил его... Ипполит видел, как на первой линейке длинной серой линией строились юнкера. Фельдфебеля громко выкликали фамилии, дежурный офицер вышел на середину.

У маленькой будки, где ходил часовой, выстроился караул. Горнист стал на правом фланге. Левее пела певучую песню кавалерийская труба, горнист отбивал короткие ноты, и все эти юноши стояли молча, напряженно вытянувшись. И с ними — Федя. Сняли фуражки.

«Отче наш!»

На востоке прояснело и было бледно-зеленоватое весеннее небо. В него вонзились белой линией палатки Главного лагеря. Оттуда невнятно плыли волны тысяч мужских голосов.

«Отче наш» возносилось от лагеря к небу, таяло в темной голубизне востока, упиралось в косматые тучи на западе. Все казалось Ипполиту непонятным и нелепым. Грозно было небо. Не людьми, а странно стихийною силою казались длинные серые шеренги, откуда могуче раздавался гимн. И уже не смеялся над ним, не ненавидел его Ипполит. Он был подавлен им.

...«Нами правит Александр III с его незабвенным родителем и венценосными предками, — думал чужими, но привычными словами Ипполит. — Нас бьют по морде царские урядники и околоточные. Россия это стадо ста пятидесяти миллионов рабов. Нас ссылают в глухие тундры Акатуя и Зерентуя, нас гноят в бастionaх Петропавловска и Шлиссельбурга. А мы пишем верноподданнические адреса и украшаем наши дома флагами в табельные дни тезоименитства и поем „Боже царя храни!“»

Но уже в мыслях была какая-то невязка. Закрадывалось сомнение: кто прав? Они ли, маленькая кучка эмигрантов и людей, скрывшихся в подполье с евреями-вожаками, или эти мощные массы молодежи, поющей стройными голосами гимн? Эти юноши и с ними милый, дорогой Федя!?

Когда Федя подошел к Ипполиту, они стали ходить по тропинке вдоль оврага. Они говорили про дом, про мать, как тяжело теперь ей и Липочке, как проклято сложилась их жизнь и как было бы славно, если бы Липочка могла выйти замуж за хорошего человека. Федя рассказывал про Любовь Павловну, какая она хорошая, образованная и милая и совсем не «синий чулок». Из глубины детства вставали какие-то теплые образы, и слова были покойные, добрые, ласковые, не колючие...

На передней линейке пели юнкера и нежный тенор заводил просто. За душу брали звуки его сильного красивого голоса:

Засвисталы-ы коза-ченьки,
В поход с полуночи,
Заплакала Марусенька,
Свои ясны очи!..

«Странная, странная жизнь, — думал Ипполит, спускаясь к пустынной военной платформе, горевшей линией огней. — А им, верно, кажется такою же странною наша жизнь с разговорами, с убийствами, и страхом обыска и ареста... И почему? Почему?.. Мы, даже родные братья, не можем ни столковаться, ни понять друг друга?»

Ипполит вернулся домой уже ночью. Беспокойство снова овладело им. Страх серым вертким зайцем завозился в сердце. Ипполит боялся обыска, ареста, суда... Больше всего боялся грубости жандармов. Прежде чем позвонить, он подозрительно осмотрел дверь и прислушался. Обыденна и скучна при свете белой ночи была большая дверь, обитая черной клеенкой с торчащим кое-где из нее волосом, и медная, так надоевшая дощечка: «профессор Михаил Павлович Кусков». Стало обидно за отца. Всюду и везде тыкал он свое профессорство, хотя давно перестал читать лекции.

Все было тихо. Но подозрительной казалась самая тишина. Точно уже там никто не жил. Лестница была пустая. Жильцы с квартир съехали на дачу. В соседнем флигеле кто-то, при открытых окнах, заиграл на рояле и сочные, полные, дерзкие звуки брызнули и побежали по двору, по лестнице, гулко отдаваясь о серые, пыльные камни.

Ипполит позвонил.

Сейчас же раздались шаги матери. Она сняла крюк, не спрашивая, кто звонит. «Вот так же,— подумал Ипполит,— мама снимет крюк и тогда, когда придут жандармы».

— А здравствуй... Где шатался? Чаю хочешь? — спросила Варвара Сергеевна.

— Нет, спасибо!

— Да пил ли?

В столовой стоял потухший самовар. Горела лампа и под нею, заткнув руками уши, чтобы ей не мешали, Липочка читала какую-то потрепанную, взятую из библиотеки, книгу. При входе брата она не шелохнулась, не подняла на него глаз.

Варвара Сергеевна потрогала самовар.

— Еще теплый. Я налью.

— Ну налей.

— Рассказывай, где был? — подавая сыну стакан с темным чаем, спросила Варвара Сергеевна.

— Где был, там нет,— ответил Ипполит, усмехаясь. Он никогда не говорил матери, где он бывает. Он видел в этом свободу, раскрепощение личности и никогда не думал о том, как это было горько, обидно, оскорбительно и скучно матери, жившей только интересами детей. Но на этот раз ему стало стыдно. Он знал, как мать любила Федю.

— Был у Феди,— коротко бросил он.

— У Феди! — воскликнула Варвара Сергеевна.— Не случилось ли что? Что же ты мне ничего не сказал? Я ему, голубчику, собрала бы чего. Конфет или фиников бы посла-

ла. Все ему краше стало бы жить. Что же ты, сколько лет думал, думал и надумал?

— Так,— сказал Ипполит.

— Что же он?

— Ничего... Загорелый, бодрый. А лоб наискось белый, даже смешно смотреть, точно накрашен. И все они там такие. Тяжело ему там, думаю. Я бы не мог.

Ипполит вспомнил про тюрьму, каторгу и вздохнул.

— Ну, он-то как?

— Ничего, веселый.

— А что тяжело?

— Да, мама, сама посуди, все с людьми. В батальоне-то их четыреста с лишним человек, и ни минуты нельзя побыть одному. Я думаю, это тяжелее одиночного заключения. Трудно с людьми.

— Зачем трудно? Если люди хорошие, так даже и совсем легко. С людьми трудно, это ты верно говоришь, а только и без людей, Ипполит, не проживешь.

Ипполит промолчал и подвинул матери пустой стакан, чтобы она налила еще.

— Люди-то,— подавая стакан, сказала Варвара Сергеевна,— люди-то по образу и подобию божьему созданы. В них божество. С людьми хорошо должно быть.

— Ах, мама,— поморщился Ипполит.— Ты знаешь, что для меня эти библейские бредни не указ.

Варвара Сергеевна вздохнула и пожевала губами.

— Жаль мне, Ипполит, тебя,— тихо сказала она.

Ипполит вздрогнул и быстро спросил:

— Почему жаль?

— Да вот, что неверующим ты вырос.

— Ну, мама. Библия, какая же это вера! Сказка о том, что Бог шесть дней творил землю, а потом опочил от дел своих. Это теперь, когда наука точно установила эпохи мироздания и все формации.

— Так-то так... А все, Ипполит, проживешь с мое, заглянет к тебе в душу холод отчаяния, и поймешь, что сказка у вас в науке, а там — правда.

— Правда в том, что Бог вылепил из глины человека и вдохнул в него душу,— сказал презрительно Ипполит.

— Оставь, Ипполит,— отрываясь от книги, сказала Липочка и посмотрела на брата выпуклыми близорукими глазами.

Ипполит замолчал. «Липочка права,— подумал он.— Об этом спорить не стоит. Их не переубедишь. У них свое, у нас свое...»

— Мама, когда папа из клуба возвращается? — сказал он.

— Когда в час, когда в половину второго.

— А кто ему отворяет двери?

— Да я. Кому же больше. Аннушка умается за день, спит, хоть из пушек пали, не проснется. Раньше тетя Катя отворяла. А теперь ей все неможется. Лежит, не встает.

«Значит,— подумал Ипполит,— и жандармам мать откроеет. То-то испугается».

— Мама, ты знаешь, у Бродовичей был обыск.

— Да, дожили! Допрыгались. Слыхать, ничего не нашли... Не нравятся мне, Ипполит, Бродовичи. И газета их, последнее время, какая-то стала... Все мутят, все мутят. И было бы правду писали, а то и неправда все. Что я при императоре Николае Павловиче не жила что ли? Не знаю, как тогда было?

— А как?

— Да хорошо, Ипполит! Красиво и благородно.

— Что людей запарывали насмерть розгами, что забивали солдат — это хорошо?

— Хороших, Ипполит, не запарывали,— робко проговорила Варвара Сергеевна.— Одного запорют, а миллионы благоденствуют... Жили-то, слава тебе Господи! Тишина какая была, как все по-хорошему было!.. Бывало...

Варвара Сергеевна испуганно остановилась. Она слишком хорошо знала, что в ее доме, при муже и при детях она не смела вспоминать красивую сказку своего детства, когда жила она во дворце у великого князя, часто видала императора, ездившего верхом по парку, и была влюблена в него чистою духовною любовью. Ей казалось, что тогда иное было солнце, иначе цвели сирени и черемуха садов и сильнее благоухали летом липы парков. Крепче любили мужчины, и благородством дышала их любовь, а женщины были стыдливее и чище. Век «ее императора» рисовался ей рыцарским веком любви, поэзии и красоты, и не могла она согласиться, что это был век произвола, тирании, насилия и грубости нравов.

— А что, мама, если к нам пожалуют синие архангелы? — сказал Ипполит.

— Кто? — спросила, не поняв, Варвара Сергеевна.

— Жандармы.

— Что же,— вздыхая сказала Варвара Сергеевна.— Разве у тебя есть что запрещенное?

— Нет... Ну, так придут... вот как пришли к Бродовичам.

— Ну что же. Милости просим. Это их долг. Надо все

показать им по чистой совести. Ведь ты не против Царя? У тебя ничего в мыслях-то худого нет,— уже с тревогой говорила Варвара Сергеевна.— Ты ведь не... нигилист же, Ипполит?.. Ты честный человек?

— Честный я или нет, мама, человек,— вставая сказал Ипполит,— это тебе не понять. Что по-твоему честно, по-моему не честно, и наоборот. Запарывать людей на барабанах по-моему гадко, подло и гнусно... А по-твоему: убить тирана было гадко и достойно виселицы.

— Господи!.. Господи!.. Что ты мелешь такое, Ипполит. Право емеля-пустомеля. Как и язык-то поворачивается такое сказать!..

— Так вот, мама... Покойной ночи! Пойду лягу спать. На свежем воздухе растомило меня. Если пожалуют, знайте: у меня ничего запрещенного нет. Даже «Что делать?» Лизе подарил.

XIX

Ипполит прошел в свою комнату. Он не лег спать. Не до сна ему было. Он подошел к окну и поднял штору. Тучи просыпались небольшим дождем, и при бледном свете майской ночи мокрый двор был отчетливо виден. Стояли громадные котлы для асфальта, валялись вывороченные камни мостовой и узкая шла по обнаженному песку дорожка тротуара. Пустой дом глядел на двор то черными, то занавешенными окнами и точно берег в себе какую-то тайну. Ипполит ощущал запахи мастики, замазки и масляной краски пустых квартир, точно видел паркетные полы, закапанные известкой, и стены с ободранными обоями. Везде шел летний ремонт. Квартиры замазывали свои зимние грехи, клопов и прусаков на кухне и запах скверного пива и табака в комнатах. Железная темно-коричневая крыша блестела от дождя и казалась вишневой. Над нею уже покрывалось желтизной белесое небо и неслись, точно дым, обрывки туч.

Белая ночь томила. Мертвецами стояли дом и двор при белом свете новой зари, светлый и без теней. Знакомо скрипнула железная калитка ворот. Ипполит вздрогнул, но сейчас же услышал нервные, шаркающие шаги отца. Михаил Павлович торопливо шагал по панели в черной «николаевской» шинели и в фуражке. Он шел опустив голову, и Ипполиту казалось, что он слышит, как бормочет про себя отец: «Дурак!.. Дурак!», вспоминая о проигрыше.

Раздался дребезжащий звонок. Мать пошла из своей

комнаты отворять дверь. Ни слова привета, никакого вопроса. Они молча разошлись по комнатам.

«Вот так же,— думал Ипполит,— заскрипит калитка, останется надолго открытой и, звеня шпорами и стуча тяжелыми сапогами, войдут во двор „они“. Сколько их будет? Человек шесть?.. Офицер, вахмистр и четыре солдата. И станут рыть, заглядывать под матрацы, под кровати, лазить на печки... Ляпкин рассказывал, что, когда у курсистки Канторович был обыск, она успела положить какую-то записку в рот. Офицер заметил, полез пальцами ей в рот, открыл и вынул полуразжеванную записку. Канторович говорила, что пальцы офицера пахли духами. Ее чуть тут же не стошнило».

Страх побежал по жилам Ипполита. «Найти ничего не найдут, но будут спрашивать, и что он ответит?» «Вы были в Н-ске в день убийства губернатора?». «Вы ведь условились с господином Шефкелем, что будете репетировать с его сыновьями все лето, до осени?» «Почему же вы уехали в ночь убийства генерала Латышева?» «Кто ночевал у вас накануне?» «В каких отношениях вы были с Юлией Сторе?»...

«Юлия!.. Конечно, она не выдаст! Но выдадут факты. Постель, подушка, простыни, зеркало, умывальник — все кричит теперь о их свидании. Какой-нибудь длинный волос, приставший к креслу, волос ее особенного золотисто-пепельного цвета!.. «Почему вы вырывались, когда вас остановил старичок в чесунчовом пиджаке?» «Зачем оставили в его руках пальто?.. Это ваше пальто?..»

Как он был глуп, что не замел следов этой ночи. Вспомнил сцену в парке. «Дурак!.. Дурак!..» — как презирала его Юлия за то, что он не убил губернатора. Было установлено: один из трех. Жребий пал на него. Он был им самый ненужный, самый молодой... Вся его жизнь впереди. И... — висилица или вечная каторга. «Но за что? Что я сделал? Разве хотел?.. Я так мало знал их тайные планы. Помню, Соня говорила: «Надо изменить тактику и навести террор на правительственных чиновников. Надо убивать, убивать и убивать»... А зачем? Все было неясно. Но он пошел убивать. Неприятная тяжесть револьвера в левой штанине и холод его стального дула на ноге еще и сейчас ощущались им. «Они не могут этого знать», — подумал он про жандармов. «Ночевал с Юлией? Что же тут такого? Он не знал, кто она?». В мыслях сам с собою мог оправдаться, но уже чувствовал, что на допросе будет волноваться, трястись и ничего путного не скажет, запутает и себя и других. Пойдут гонять вопросами. «Зачем были в училище?» «Почему вдруг вспомнили о брате, о котором никогда не думали раньше?» Сделают

обыск у Феди. Что в том свертке, который он ему передал? Он даже не посмотрел. Что-то тяжелое?».

Снова заскрипели ворота. «Отворяют целиком, настезь... Ну, конечно... карета...»

Но в ворота въехала не карета, а тяжелая ломовая лошадь тащила телегу с высокою койкой, наполненной кусками асфальта. Мастеровые шли за нею. Солнце уже кралось сквозь тучи и блестело на крыше, отражаясь о мокрое железо. Кошка ползла вдоль желоба, виляла длинным хвостом и казалась тонкой и длинной.

Ночь прошла. Но могли прийти и днем. У Канторович обыскивали днем.

День Ипполит протомился. Ходил по улицам, сидел в Летнем саду. После обеда, когда Михаил Павлович ушел в клуб, Ипполит вдруг спросил у матери:

— Мама, ты была знакома с жандармами?

— Бог миловал. Да ведь люди они, Ипполит. Если ты за собою ничего худого не знаешь, что тебе волноваться?

— Ты, значит, их не знаешь?

— Да, Ипполит, не знаю. Я и видала-то их только когда к театру подъезжала: верхами стоят, за порядком наблюдают.

— Ах, нет, мама. Это не те... А политические?

— Не знаю, Ипполит, сколько слыхала, и они люди, да еще обязанные быть вежливыми.

«Вежливые жандармы»... а как же Ляпкин говорил: «Нас били по морде царские урядники и околоточные, нашу Россию обращали в стадо ста пятидесяти миллионов рабов». А я для них один из этих рабов.

— Мама. Что Лиза? — спросил вдруг Ипполит.

— Давно не писала. Вот и недалеко от нас, а в такую глушь забралась, что не доберешься. А как хотелось ей у себя в Раздольном Логе устроиться!

— Мама, что, если я к ней поеду?

— Что же... Только где она тебя устроит? Ты ведь, Ипполит, балованный у меня. А там — либо на сеновале, либо у мужиков. Сможешь ли ты это?

— Правда, мама, я поеду. Пусть у меня нервы успокоятся. Нервы у меня расходились, разыгрались, подлые.

— Ах, понимаю я тебя, Ипполит!.. Как не расшататься здоровью!.. Гадко летом в городе, душно, тяжело, воздух нехороший. Вот и Липочку хорошо бы в деревню! Ты разузнай там, у Лизы. Может быть, можно как-нибудь недорого чистую светелочку снять, да молочком, да свежим воздухом питаться. Совсем зеленая она у меня!

Ипполит ободрился. «Там,— думал он,— найдут не скоро, там и Лиза поможет. Она красивая, да и за словом в карман не полезет».

Ипполит написал Феде письмо.

«Уезжаю,— писал он,— к Лизе в деревню. Очень прошу 1-го июня исполнить мою просьбу. Сам не смогу. Твой брат Ипполит».

Сборы были недолгие. Ипполит выехал с вечерним поездом и в 4 часа утра был на небольшой станции Варшавской железной дороги.

Косые лучи солнца пробивались сквозь рощу молодых берез. Они стояли точно в золотой раме, блестящие, росяными слезами заплаканные. Сквозь промежутки между булыжниками станционного двора из сырой черной земли торчали мохнатые одуванчики, и сладко пахло землею и утром. В дворике подле водокачки звонко пел петух. Птицы радостно чирикали и пели коротенькие песни в ветвях высокого кустарника... Тысячи бриллиантов сверкали в траве.

Такого утра Ипполит не видал. Он никогда не вставал так рано. Утро, умытое росой, казалось ему удивительно красивым. «Самая печальная страна в мире» показала ему свое лицо и заставила его призадуматься.

Три двухколесные карафашки стояли у станции, и сонные белоголовые мальчишки кинулись к Ипполиту с предложением услуг. За рубль пятнадцать копеек — «да пятачок накинете, потому, вижу, барин хороший» — парнишка с голубыми глазами взялся отвезти Ипполита в Выползово, где учительствовала Лиза.

До Выползово было двадцать две версты. Дорога с прибитою росой тяжелою пылью извивалась среди полей ржи, вытянувшей первую трубку, между золотом курослепа лугов, входила в рощи осин, где было сыро и где трепетали круглые зеленые листья. Пахло мокрым мохом и болотом, звонко куковала кукушка да высоко в небе каркал ворон.

Никого не попадалось навстречу. Поля, принявшие зерно, выбрасывали зелень яровых на черную пахоть. Работа человека была кончена. Солнце да росы сменили человека, и деревня справляла майские праздники, вода по вечерам нарядные хороводы и заливаясь гармоникой.

Где-то за лесом пастух играл нескладно и невесело на жалейке и коровы погромыхивали по роще колокольцами.

Было свежо и радостно. Близость свидания с красивой Лизой, которую Ипполит не видал два года, сладко волновала его... Какие-то смутные надежды шевелились в душе. Здесь, среди этого простого и ясного мира, все, что было еще

недавно с Ипполитом, казалось только странным и далеким сном.

И, подъезжая к Выползово, Ипполит подумал успокоенно:

«Авось все обойдется...»

XX

Лиза уже два года учительствовала в Выползово. Она окончила с медалью педагогические курсы и могла получить хорошее место в Петербурге или Москве. Но хотела она служить народу. Хотела поселиться в глуши, в деревне, быть окруженной подлинною черноземною Русью. Давнишнею мечтою было устроиться подле Раздольного Лога, но там вакансии не было, и она взяла Выползово, где только что открылась новая земская школа. Воспитанная на Успенском и Златовратском, увлеченная духом народничества, она преклонялась перед мужиком, верила в его природный ум и считала целью жизни — посвятить себя народу. Широкие планы работ были в ее голове. Воскресные чтения для взрослых, может быть, даже воскресная школа, развитие темного деревенского люда. Хотелось подготовить их для свободной жизни, внушить им понятие правды, добра и любви. Она знала, что ее путь — долгий и тернистый. Но мечтала она о подвиге, о страдании. Хотелось ей, хотя бы в старости, увидеть красные флаги революции над своею школою и быть тесно спаянной с народом крепким и святым словом: «товарищ!»...

Партийная работа и нелегальщина ее не увлекли. Здоровым умом она поняла, что партии заблудились в лозунгах, что у них неясные цели, а их вожди нечестны, лукавы и честолюбивы. Она увидала, что кружковщина поразительно бездарна. Бесцветны, вялы и глупы были листки и брошюры, и мертвою скукою веяло от прокламаций.

Лиза не поклонилась вождям из эмиграции и подполья. Она ждала вождей из народа, она верила, что русский народ сам, без еврейской указки, скажет свое слово. Ему она покорится. А школа ускорит процесс народного развития. И это будет уже ее работа, ее заслуга!..

Школа, куда поступила Лиза, была хорошая. Она стояла на отшибе, в полуверсте от села, на опушке старого леса. Здание школы, крытое железом, с широкими окнами светлого просторного класса, сенями, маленькой комнатой и кухней сторожа и уютной светелкой с окном на село для учи-

тельницы было только что отстроено земством. При школе был двор, сарай для дров и огород, все обведенное еще незаконченным забором. Школа была богато обставлена. Были черные парты на шестьдесят учеников, две черные доски, кафедра для учительницы, шкаф для учебных пособий, по стенам висели новые, пахнущие лаком карты земных полушарий, материков, изображения явлений природы и типов человека. Однако карты Российской империи не было, а портреты Государя и Императрицы были небольшого размера и скромно висели в уголке. Школьный образ был маленький и лубочный, за двадцать копеек купленный на рынке. Это не смутило Лизу. Она увидела в этом, что попечители школы не узкие люди, не «ура-патриоты», чего она так боялась, и мешать ей не будут.

В школе пахло свежим деревом. Всюду сквозь тесовые щели проступала золотистая смола, стружки на двор не были убраны, в углу лежали бревна, привезенные для устройства гимнастики.

Свою светелку украсила Лиза с южною кокетливостью. Она повесила на окно розовые бриз-бизы с кружевами и серую полотняную штору, застлала шотландским пледом свою скромную железную девичью постель, подстелила пестрый коврик. На висячей этажерке разложила книги и среди них гордо поставила «Что делать?» Чернышевского, сочинения Писарева, Добролюбова, Герцена, Успенского, Златовратского и Михайловского. Над постелью повесила портрет графа Льва Толстого. Старую фамильную икону Николая Чудотворца, в почерневшем чеканном серебре, благословение на труд Варвары Сергеевны, Лиза постыдилась повесить. Она положила ее, завернув в салфетку, в ночной столик. На письменном столе разложила бумаги и тетрадки, а в углу развесила платья, накрыв их темным коленкором... Уютная и кокетливая вышла комнатка.

Покончив с убранством, Лиза уселась в кресло и задумалась. Сторож на крыльце наставлял самовар и тяпкой коллел лучину. На комод, накрытый вышитым грубым полотенцем, были приготовлены сахар, мед, баранки, баночка малинового варенья, жестянка с печеньем... Хорошо и тихо было у Лизы на сердце.

Одна... Одна-одинешенька справляет новоселье... Она достала томик Герцена... Одна с любимым автором...

В окно светило сентябрьское солнце. В золоте осеннего наряда стояли березы. Густо чернел сосновый лес, точно грозился чем-то. Песчаный холм был покрыт бледными цветами ромашки и внизу дозревали низкие коричневые овсы. Вдоль

дороги, в жирных глубоких колеях, блестели лужи. В полуверсте, на краю села, дымила кузня. Черный дым стлался низко и лип к темным огородам с рыжей капустой и всклокоченными неопрятными грядами картофеля.

Печаль надвигающейся северной осени ощущалась во всем. Она нравилась Лизе. Она как-то подчеркивала ее подвиг и отвечала ее тихим суровым мыслям об одиночестве. «Так,— думала она,— должны чувствовать себя миссионеры среди дикарей. Да разве и она не миссионер в этой деревне? — только проповедь ее выше проповеди Христа! Она несет культуру и свободу»...

Но недолго продолжалось одиночество Лизы. И в деревне оказались обязательства, и в деревне считались визитами не хуже, чем в городе. Земский начальник, молодой человек, с кудрявой бородкой и светлыми глазами, устроивший Лизе это место и покровительствовавший ей, говорун, с напускною грубоватостью, считавший себя глубоким знатоком народа и собиравший словарь местных народных слов, вскоре заехал к новой учительнице посмотреть, как она устроилась.

Он одобрил ее комнату. Снисходительно покосился на розовые брыз-бизы на окне и на сделанный Лизой большой макартовый букет из сухого камыша с коричневыми метелками, побитой морозом рябины, листьев клена и веток сосны и ели с шишками, стоявший в глиняной вазе в углу, улыбнулся на графа Толстого и, не найдя образа, успокоился.

Лиза угощала его чаем с пряниками собственного изготовления.

— Ну, вот, Лизавета Иванна, и прекрасно, прекрасно устроились,— говорил он, стараясь не шарить глазами по стройной фигуре учительницы и невольно засматриваясь на ее темные красивые глаза.— Через недельку и начнем, благословясь... Бог в помощь. Да...

Он слегка акал, немного окал, стараясь подражать народному говору, и растягивал слова, любясь собою и слушая себя.

— Да... Я приехал, чтобы на-а-ставить вас, Лизавета Иванна. Что город — то норы, что деревня — то обычаи. И в чужой монастырь, знаете, со своим уставом лезть не приходится. Все это прекрасно. Лев Толстой, Герцен и Чернышевский, Златовратский и Успенский — все говорит о правильном направлении ваших мыслей, но с волками жить — по-волчьи выть, и вам придется поучиться этому искусству. Вы меня знаете, Лизавета Иванна. Вы мне понравились вашими взглядами еще тогда, когда мы встречались у Бродовичей, но, милая Лизавета Иванна, вы жизни не знаете, а разговоры — одно, жизнь — другое...

Он отхлебнул чая из стакана, поданного ему Лизой, и продолжал:

— Кроме Герцена, Чернышевского и других есть у нас министерская программа и ба-асни Крылова, прежде всего. Вам надо сделать визиты власть предержащим и, если вы хотите быть полезной нашему общему делу, вам надо стать политиком.

— Научите меня, Сергей Сергеевич, что мне нужно делать,— с кроткою покорностью сказала Лиза.

— Охотно, Лизавета Иванна. За этим я к вам и поспешил, как только мне сказали, что вы приехали. У вас еще никого не было?

— Никого. Вы первый...

— Ну вот. А я вот достаточно осведомлен о вас. Знаю, что образа вы не повесили, а храните в ночном столике с туфлями и башмаками, что бриз-бизы огненного цвета... ну, не совсем огненного, положим,— быстро кинув взгляд на окно, сказал земский,— что вы самая красивая девушка в уезде и пели дивным голосом малороссийские песни. Да-с, и многое еще другое я знаю.

Лиза сделала большие глаза.

— Да-с. Деревня пуста и слепа, но это только кажется так, на деле — она глядит тысячью глаз за каждым новым обывателем. И вам надо создать себе здесь друзей. Если вы хотите работать в нашем либеральном духе, вам надо все-таки бывать у всенощной и у обедни и ставить в праздники свечи. Вам придется отслужить молебен перед началом занятий. Усыпить, так сказать, ту стоголовую гидру, которая следит за вами. И хорошо, если вы извлечете из ночного столика образ и поставите его на время молебна на подобающее место...

— Слушаю-с,— сказала Лиза и вздохнула.

— Плетью обуха не перешибешь, Лизавета Иванна. Надо затупить обух и тогда... Вы должны сделать визит батюшке. Отец Павел человек хороший, народ не слишком обирает, служит благолепно, преисполнен христианских добродетелей, не доносчик и не враг просвещения, но крепко верит, что Господь шесть дней творил небо и землю и что Иона три дня пребывал в чреве китовом, и с сего вам его не сбить. Спорить бесполезно. В засухи служить молебны в поле и ходить с кадилом и хоругвями по полям с верою... Матушка его и совсем приятный человек. С отцом дьяконом столкнетесь. Он из наших. Хотя и кончил семинарию, но звонко поет *gaudeamus* * и про богослужение как-то сказал мне:

* «Будем веселы» — начало студенческой песни.

«феатральное представление, но народу необходимое»... Ну-с, дальше исправник.

— Я должна поехать к исправнику? — испуганно спросила Лиза.

— И сделать визиты не только ему — премилый, между прочим, человек, с места влюбится в вас, будет называть «деточкой», но не бойтесь, обладает супругою весьма строгою, а потому огласки боится... Да-с, не только исправнику, но и становому приставу и даже уряднику. Уряднику прежде всего. Нельзя... Власть предержащая... А потом старосте — ибо от него для вас все: и дрова, и сторож, и прокормление. Поладите со старостой, и все хорошо будет. Попросите у старосты земских лошадок и съездите к старшине и писарю, а когда будете в городе, загляните и распишитесь у председателя земской управы и у местного благочинного, и да благо вам будет и долголетни будете на земле.

— Господи, Сергей Сергеевич,— воскликнула Лиза,— а я-то думала, что наша профессия либеральная, свободная, чуждая условностей чиновничьего, бюрократического мира.

— Свободные профессии те, которые нам нужны. Вот сапожник, да — свободен... ибо без него не обойдешься, да и то промысловое свидетельство выбирать обязан и уряднику должен даром ставить подметки. А образование, оно правительству не нужно. Оно только терпимо, а потому приходится и кланяться... Да, как говорит народ — поклон спины не гнет. Спина не дуга, согнетесь и выпрямитесь,— вас не убьет, а прибудет. Еще выше потом сделается.

— Я думала иначе,— опутив голову, сказала Лиза.— Я думала... я внесу свет... воскресные чтения... Полная самостоятельность...

— Все устроим, милая Лизавета Иванна, даже и с волшебным фонарем пустим, дайте только время привыкнуть к вам, приглядеться.

— Я уже обдумала и программу. Подготовила чтения. Сама работала... Самостоятельно.

Земский насторожился.

— Ну? — сказал он.

— Я переработала «Что делать?» Чернышевского для деревни. Я мечтаю о создании деревенского кооператива, об укреплении общины и о доведении ее до идеала коммуны. Там у меня и от Герцена, и от Кропоткина взято, помните, как вы говорили у Бродовичей... Я думала готовить детей к мысли о братстве, создать из школы единую семью, руководимую идеею правды и любви!

Земский поник головою и точно завял.

— Увидите... Увидите, Лизавета Иванна,— заговорил он, торопливо перебивая ее,— жизнь сама укажет. В прошлом году в Понашборе учителю запретили читать «Тараса Бульбу».

— Почему?.. Кто мог запретить?.. «Тараса Бульбу»?..

— Я запретил.

— Почему?

— Там евреев называют «жидами»... Вы понимаете, как надо быть осторожным. Ни вправо, ни влево. Мы между Сциллой и Харибдой. Между интеллигенцией и полицией, понимаете. Я думаю, вашу переделку читать не придется... Преждевременно.

— Что же можно читать?

Земский задумался. Он допил свой чай, посмотрел на розовые бриз-бизы и сказал:

— Читайте «Недоросля» Фонвизина и... можно, осторожно, из-под полы, так сказать, Толстого... Я вам пришло книжечки «Посредника»...

XXI

Лиза сделала визиты, как указал ей земский, и ей не замедлили с ответом. Первым пришел староста. Он был в высоких сапогах, в серой свитке и в меховой, по-зимнему, шапке.

Лиза встретила его на дворе. Он хозяйственно постукивал по бревнам палкою и говорил:

— Здря валяются. А между прочим матерьял хороший... Я вам, барышня, плотника пошлю, собачью конуру устроим. Собака надобна вам зимою. А то как бы лихие люди не обидели. Пахомыч! — крикнул он сторожу, который стоял тут же.— Ты Жучка никому не отдал?

— Кому же его отдашь? — мрачно сказал Пахомыч.

— Вот конуру построим, барышне приведешь. Сторожа надо.

В комнате Лизы староста снял шапку, поискал глазами образ, но, не найдя его, недовольно крикнул и ткнул пальцем в портрет Толстого.

— Это что же? Отец что ль твой?

— Это — Лев Толстой.

— Ну не очень толстой-то. Поштенный мужик! Дядя что ль? Аль покровитель?

— Нет, это писатель.

— Гм,— недовольно буркнул староста.— Вы меня не

учите, барышня. Писатель! Я сам это тоже понимаю... Пахомыч!.. Стружки приберешь — топить ими будешь... Ну, давай Бог! Учи детей уму-разуму. Я тоже когда-то учил славно: аз-буки-веди-глаголь-добро-есть. Како мыслете, люди?.. Так учить будешь?

— Нет, я по звуковому методу.

— Ну, твое дело. Тебе с горы виднее. Отчего диплому не повесила?

— Какую диплому?

— А вот в рамке. С орлом и медалями. Где кончила и сколько по какому предмету получила. Оно как-то бы сурезнее вышло. У Среднелукской учительши висит, в золоте вся... Народ одобряет... И учит славно. Детей не бьет... А когда надо поучить — поучит... Диплома все обозначает.

— Хорошо... Я повешу,— покорно сказала Лиза.

Как-то приехал со вскрытия мертвого тела на собственной тройке коренастых сытых лошадей местной, улучшенной породы исправник. Он был слегка навеселе. Он закусывал с доктором в придорожном трактире.

Седоусый, высокий, стройный, моложавый, он долго держал Лизину руку в своей горячей руке, умильно смотрел ей в глаза и говорил:

— Деточка!.. Вот оно, какая учительница у нас! Ну фу ты, ну ты! Это и не в учительницы идти. По убеждению что ли пошли? Народ просвещать? Напоретесь. Пока его просветишь, века пройдут. Ему нос сморкать да умываться надо раньше научиться, а то...

Исправник прошелся по комнате и остро заглянул на полку с книгами.

— Либерального мышления,— сказал он, глядя Лизе прямо в глаза.— Я не препятствую и доносить не буду. Сами скоро поймете, что все это глупо. Очень глупо написано... Его этим не проймешь! Ему вот дай так, чтобы на брюхе целыми днями лежать, а хлеб сам бы родился. А этим... Это, деточка, юность... Как это говорится: «облетели цветы, догорели огни» — я любил это когда-то стихи, и деточек, как вы, любил... и красота жизни была... Нонче... одно знаю: вскрытия, пьяные драки, поджоги да отравы. Еще вот — воровать научились. Бывало, лет десять тому назад, никто и дверей не запирали. Оброни кошелек на дороге, через неделю придти — тут же и лежит, никто не тронет. Разве что повиднее куда положат. Я так думаю, деточка, не от просвещения ли это идет? Раньше все Бога боялись, а теперь вы, поди, и в Бога не веруете?.. А народ без Бога — стадо... Ну поживете, увидите.

Исправник отказался от чая и уехал.

Были батюшка с матушкой. С батюшкой условились насчет молебна и воскресных чтений, с матушкой переговорили о семенах для огорода весной и об устройстве парников при школе. Последним, уже во время уроков, пришел урядник. Он показался Лизе строгим и важным.

— Я человек, можно сказать, образованный,— сказал он ей.— На Кавказе служимши, многому научен.

Он пошел в класс, где были дети старшего класса, и сказал: «Продолжайте, сделайте милость, а мы послушаем». Лиза рассказывала о шарообразности земли. Урядник сел на задней парте, подпершись локтями, и мрачно засопел. По окончании класса он попросил Лизу в ее комнату. Он был красен, смущен и имел строгий начальнический вид.

— Вы это, Лизавета Ивановна, напрасно,— сказал он.— Такой рассказ! Рази можно такое детям рассказывать? Оборони Господь! Чтобы земля и, значит,— шар.

— А как же иначе?

— По писанию надо. Как Господь творил!

— Да если Господь сотворил ее шарообразной?

— Что вы, Лизавета Ивановна! Это, можно сказать, совсем противоестественно... Шар!.. Что же, Господь ее, по-вашему, как клетку какую катал из теста? Побойтесь вы Бога, Лизавета Ивановна!

— Я уже не знаю, как он творил? — сказала со скукою Лиза.

— Вот то-то... Не знаю... Писание надо читать. Читамши писание — то видно. Сказано прямо: «и создал Бог твердь». Твердь. Это понимать надо. А вы куда!.. Шар!.. Твердь и шар — это разные обстоятельства. На Кавказ-то ездимши, полсвета обогнул. Кабы по-вашему, по шару-то ехал, так под горку бы надоть, а я напротив. Чем дальше — гористей становилось.

— Спросите у батюшки, какая земля и верно я учу или нет.

— Спросить спрошу, а только сказано: твердь — ну, какой же это шар?.. Так учить, дети совсем оглушают, я и то замечаю, не всегда почтительны к старшим. Опять молитву после учения без внимания Васька Спицын читал. Вот это главное. А то — шар!.. Прости, Господи, придумаете тоже, на шару жить, ведь, поди, скатились бы люди-то.

Урядник ушел недовольный и обещал на досуге заглядывать.

Но, главное разочарование были не эти знакомства, визиты и тупые разговоры, показывавшие бесконечную темно-

ту и уозость интересов, и не скабрезные анекдоты, которые ей приходилось слушать на вечеринках у батюшки и у старосты, а сами крестьянские дети, которых она прежде идеализировала. Приглядываясь к ним, Лиза забывала Успенского и Златовратского, сомневалась в пользе школы и не знала, как ей повернуть не школу, но весь деревенский быт.

XXII

Дети были бесстыдны и неопрятны. Исправник был прав. Их надо было раньше научить сморкаться, но как это сделать, когда у них нет носовых платков? В перемены между уроками они, мальчики и девочки, пакостили ее двор. Лиза не знала, как научить их стыду.

Они охотно учились всему практическому и здесь поражали ее своими способностями. Все жаждали скорее научиться читать и писать, чтобы читать хорошие книжки, но как только научались, разочаровывались. Большинству книги казались скучными. К истории были глухи, прошлое их не интересовало. Жадно слушали о крепостном праве и как били и мучили их родителей. Любили читать про казни, про пытки, про разбойников и скучали над описаниями подвигов труда и терпения. Заучивали непонятные слова и употребляли их некстати. Ругались между собою страшною бранью, и остановить их было нельзя: «Тяťка с мамкой так ругались». Лиза не могла даже объяснить им всю гнусность такой ругани: многого сама не понимала. Во многом они были учнее ее и смеялись над нею.

— Ты, барышня!.. табе где! Не понимаешь,— говорил ей карапуз лет двенадцати.— С мое пожила бы, так поняла бы больше. Ты, чай, и лошадь не запряжешь, а я лето ездил на станцию, когда руñ, когда и всю трешницу привозил.

Ее авторитет был ничтожен. Она, по сравнению с ними, знала так мало, и это они учили ее, а не она их. Вся премудрость, вынесенная из гимназии и педагогических курсов, лекции Острогорского, познание мужика, вынесенное из чтения Тургенева, Григоровича, Писемского, Успенского и Златовратского, оказывались интеллигентской белибердой. Деревня прочно стояла со своими законами и, прежде всего, деревня умела жить и умирать, а Лиза этого не умела. В деревне умели из ничего делать все, в деревне умели жить, питаясь кое-как, вопреки гигиене и оставаться здоровыми и крепкими, в деревне знали, что нужно делать на крестинах, как принять ребенка, как венчать, как напутствовать уми-

рающего... Деревня тонко разбиралась в родстве и свойстве. Деревня, не зная арифметики, безошибочно считала свои доходы и расходы. Мальчишки, не знавшие счета до ста, не имевшие понятия о сложении и умножении, бойко считали двугривенные и пятиалтынные и складывали и вычитали их без правил арифметики... Деревня не знала геометрии, но десятины и поля были отмерены без осечки, и какой-нибудь Гришка или Мишка без всякого признака межи указывал Лизе, где кончалось тяткино поле и начинались поля какого-нибудь Макеича. У ее светлоголовой рати оказывалось столько дел и обязанностей, что Лизе совестно было задавать уроки, и она удивлялась, что гнало их в класс. Она пришла учить, а ей пришлось самой учиться тяжелой школе жизни, которую они знали, а она не знала.

Они видали, как бьют, потрошат и свежуют скотину, и не боялись ни смерти, ни убийства. Они говядину называли убоиной, и это слово их не страшило. Поедая мясо, они не фарисействовали, не притворялись, что не знают, откуда оно взялось. Они ели бычка «Ваську», корову «Машку», и Лизе казалось, что по нужде они могли бы съесть и мальчика Ваську и девочку Машку. Для них не было тайн природы. Они подглядывали акт зарождения человека и они видали, как рождаются дети. Поэзии любви они не знали... Девчонки пятнадцати и шестнадцати лет ходили беременные и делали сами выкидыши. Это ни во что не считалось. Парни любили весною с девками, как любит молодая скотина. Девки шли в город и приносили оттуда дурные болезни, и целые семьи были заражены.

В школу ходили дети с подозрительною сыпью. Но что могла сделать Лиза?

Сначала она думала: надо скорей самой опроститься, стать такими, как они. Так учил и Толстой. Она мыла полы, стирала белье. Силы уходили, красота пропадала, наступали болезни. Она поняла, что для того, чтобы делать это, надо такую родиться. И растерялась она перед силой деревни. Нищая, грязная, убогая, дикая — она была сильнее Лизы со всем ее образованием и культурой. Деревня приходила к ней помыть полы, деревня тащила ей от нищеты своей яйца, крупу, муку, пекла ей хлеб, чинила изъязны ее хозяйства. Лиза покорно сложила руки. Она только недоумевала. Во имя чего делает это деревня? Во имя Христа, что ли?

«Я паразит деревни», — с ужасом думала она и чувствовала, что деревня смотрит на нее как на паразита, как на нечто лишнее, напрасно к ней приставленное, ненужное, но жалеет ее.

Любить деревня не умела, и Лизе казалось, деревня никого и не любила, но умела деревня жалеть и творила много добра «ради Христа».

Христос и Бог у деревни были свои. Христос не был философом с высоким учением, но был Бог, и его слова были истиною. Их не понимали, их постоянно перевирали, но принимали нищих во имя Господа и жадно слушали рассказы о чудесах. И чудеса были самые необычайные. Готовы были принять Христа во образе странника и слушали рассказы странников и странниц о каких-то чудесных странах. Сказка прочно жила в деревне — и география Лизы казалась слишком пресной.

«Что делать? Что делать?» — думала Лиза и убеждалась, что прав был исправник: — книги ее богов оказались просто глупыми книжками и надо было что-то другое, а что? — Лиза не знала.

Лиза замечала со страхом, что теряет веру в просвещение, становится чиновницей и живет двадцатым числом. Она уже не священнодействовала на уроке, но отбывала часы, заставляя читать и писать. Не жаждала вопросов детворы, но боялась их. По вечерам сидела с головною болью над тетрадками учеников и читала, читала. Но и чтение не давало успокоения. Бродовичи осторожно снабжали ее брошюрами партии, нелегальной литературой. Она читала и падала духом. Так все было дико и далеко от жизни!..

С декабря начались воскресные чтения. Одно воскресение читал батюшка, другое она. Батюшка читал нудно и скучно, толковал по-своему священное писание, по библии рассказывал, как был устроен храм Соломонов, сыпал дикими названиями камней и украшений, так уверенно говорил о страшном суде и загробной жизни, точно он сам умирал и побывал на том свете. Школа была полна. После чтения пели хором: «Отче наш», «Верую», «Спаси, Господи, люди твоя», «Богородице», гимн, иногда пели русские песни. Батюшка особенно любил «Вниз по матушке по Волге» и про жука, где хор подражал жужжанию и все повторял: «Зум-зум-зум-зум, зум-зум-зум-зум»... Расходились довольные. Почти не ругались.

Лиза прекрасно читала. Как артистка. Он прочла «Полтаву» Пушкина. Слушали со скукою, прочитала в несколько раз «Князя Серебряного» — слушали, интересовались, вздыхали, но были разочарованы.

— Что же, Лизавета Ивановна, — сказал ей один хороший, крепкий мужик, — хорошо, а только не поучительно и видишь, что все нарочно придумано.

Читать «Что делать?» она и не пыталась. Понимала, что выйдет глупо. Исправник был прав, что не боялся ее либеральной библиотеки.

Пробовала петь. Не понравились ее песни.

— Хорошо, складно,— говорили ей про малороссийские песни,— а только не по-нашему. Лучше «Тигренка» спойте или «Коробейники».

И пришлось Лизе с ее высокими порывами опуститься до безграмотного песенника с «Ухарем-купцом», «Московским пожаром» и «Черною шалью».

Не она завоевала деревню, а деревня ее покоряла.

От Сони, с которой она переписывалась, она получила совет выбрать несколько более смысленных парней и развивать их отдельно. Она остановилась на сыне старосты Егоре. Он был грамотен, развит, ему шел двадцать первый год, он готовился тянуть жребий и, боясь солдатчины, не прочь был учиться.

Лиза начала по вечерам заниматься с ним, читала ему, заставляла его читать, проходила арифметику. Егор уже свободно справлялся с десятичными дробями.

Он был красив, ладен, молодецват, ловок, уверен в своих движениях, хорошо играл на гармонике, считался деревенским сердцеедом. Но Лиза видела топорные черты его лица, слышала крепкий мужицкий запах коровьего масла от волос, махорки и пота от грязного тела... Как ни гнала от себя она это чувство — прогнать не могла: Егор был «мужик», она — «барышня»...

С осени Лиза с ужасом заметила, что Егор влюблен.

XXIII

Она хотела жить с народом, всю себя отдать деревне и сгореть на этом служении. Казалось бы, что лучше? Выйти замуж за крестьянина и создать культурную крестьянскую семью.

Лиза знала, что Егор спит и видит — повенчаться с нею. Знала, что уже бранился он из-за нее с родителями. Им была нужна в дом не белоручка-барышня, а хорошая, сильная работница. Но Лиза знала, что Егор, если захочет, сломит и родительскую волю.

Она боялась предложения Егора. Знала, что откажет. Не потому откажет, что страшно было идти в крестьянскую семью, где ее поедом ели бы свекор со свекровью, братья и сестры мужа, где на ней вымещали бы всю злобу на то, что

она дворянка. Это все она снесла бы, если бы по-настоящему любила. Но откажет потому, что она любила Егора, как любит барышня ловкого мужика, как учительница смышленного ученика. Стать его женою, испытать на себе все подробности крестьянской свадьбы с брачным ложем на широкой кровати за занавеской, в общей избе, попасть в его сильные, черные от работы руки — она не могла. Волосы шевелились от ужаса при одной мысли об этом.

«Что же, — холодея от ужаса, думала Лиза, — ужели сия и алая кровь?.. Ужели белая кость не сказка и я, образованная, умная, не могу побороть чувства физического отвращения к мужику. Ужели мы разная порода людей и не можем стать мужем и женой? Если так, к чему стремление к равенству и братству, когда нельзя достигнуть равенства даже в браке!..»

О Егоре думала: «Ниже он ее? — нет, выше... Выше и ростом, и крепостью сложения, и силою, да, пожалуй, выше и практическим умом. Он — все может»... На днях пришел, увидел, что у нее цветы прямо на подоконнике стоят, покачал головою: «Эх, неладно поставили, Лизавета Ивановна, — грязнить будет». И на другой день принес сделанный им ящик с деревянной резной решеткой. На решетке красивый стильный узор, сочетание колец и палочек — прямо хоть зарисовывай.

— Где взяли узор? — спросила Лиза.

— Сам придумал, — ответил Егор, ухмыляясь.

Она любила слушать его, как он говорит, как он рассказывает про город, куда ходил зимою с обозом, как любовно говорит о земле, где прикупить, где прирезать. Она любила его серые глаза в сумраке темных длинных ресниц, иконописную красоту тонкого носа и строгого овала лица с маленькими усами и нежной бородкой, но быть его... Ни за что!

В ожидании солдатчины Егор был скромен. Он приходил на урок, читал, рассказывал, показывал тетрадки, куда списывал заданное из книг. Держал себя как мужик перед барышней.

Накануне дня, когда его должны были везти в волость, под вечер он зашел к Лизе.

— Пришел проститься, Лизавета Ивановна, — сказал Егор, — потому, как ежели, оборони Бог, под красную шапку... Увидимся, нет ли...

— Что же, Егор, — сказала Лиза. — Служба теперь короткая. И не увидите, как домой вернетесь. Только не испортились бы там, в солдатах... Худого не делайте братьям.

— Обороны Бог, Лизавета Ивановна,— тихо сказал Егор. Он топтался на месте, не присаживаясь.

— Садитесь, Егор. Побеседуем с вами... Вы хотели книжки отобрать,— нерешительно сказала Лиза.

— Сесть оно можно... А только разрешите, Лизавета Ивановна, по душам поговорить... Конечно, я понимаю... вы не думайте... Как я, в сам деле, мужик есть серый, а вы дворянка... Но и мужик может в люди выдти. К примеру взять: рассказывали вы про Ломоносова — у царицы бывал, архангельский мужик, между прочим... Или по нынешним временам Скобелев, народный герой. Свиты его величества генерал, а, между прочим, дедушка простой солдат... Про Суворина или Менделеева — говорили и правильно, Лизавета Ивановна,— звание это ничто. Сословия — это дошло от старого, дикого времени. Люди равны... Я и слова ваши запомнил.

Холодели руки у Лизы. Она догадалась, куда гнет Егор, о чем будет речь. Как ему возразить, когда он говорит ее подлинными словами?

— К чему вы это, Егор? — сказала Лиза.

— Полюбились вы мне, Лизавета Ивановна... Или не видите?.. Раньше и себе признаться боялся. Имею понятие — не простого сословия вы, не мужичка... Ну — только просветили вы меня... И осмелел я... Разрешите сватов засылать и, чтобы по окончании службы,— под венец... А до той поры — обручение, кольцами обменимся и — жених да невеста.

Наступило долгое и тяжелое молчание. Егор сопел, ерошил густые волосы. Лиза то краснела, то бледнела. Наконец опустила голову и покачала ею отрицательно.

— Почему, позвольте полюбопытствовать...— спросил Егор.

— Не могу...— прошептала Лиза, и опять было тихо в избе... Оба молчали.

— Чтобы выйти за кого-нибудь замуж,— наконец тихо, раздельно начала Лиза,— надо любить, сильно любить...

— А вы? Значит, не любите? — едко спросил Егор.

— Нет, Егор,— сказала Лиза, наружно спокойно. А внутри ходуном ходило сердце и дрожали ноги.

— Почему, дозвольтe узнать? — устремляя колючий взгляд на Лизу, сказал Егор.

— Так... Я не могу вам этого объяснить,— едва слышно сказала Лиза.

— Кажется, рылом вышел. Девушки очень даже обожают. Почему же с вашей стороны ноль внимания и фунт презрения? — поднимаясь со стула, сказал Егор.

— Это неправда, Егор... Я вас очень люблю... Но не так, как надо любить мужа.

— Что ж, Лизавета Ивановна, привыкнете, полюбите. Девушки всегда так первый раз, потому им страшно, а потом очень даже одобряют!..

— Что вы говорите! — хмуря брови и бледнея, проговорила Лиза. — Вы не понимаете, что вы говорите.

— Прощенья просим, коли что не так сказал, а только разрешите надеяться?

— Нет, Егор... Не сердитесь... Правда — не могу... Никогда! — тоже вставая, задуманным голосом прошептала Лиза.

— Никогда? — переспросил со злобою Егор.

— Не сердитесь... Не хочу вас обманывать... Не могу. Во мне нет этого... Никогда...

— Ну, прощайте!

Егор порывисто схватил со стола шапку и шатаясь, как пьяный, вышел.

XXIV

Лиза сидела в углу и печальными, широко раскрытыми глазами смотрела на портрет Льва Толстого. Беспокойно металась за окном голая рябина. Лес шумел, как море. Капли холодного осеннего дождя били в окошко и слезами текли по стеклу, сливаясь в плоские потоки. Плакала природа, умирая в осенней стуже и сырости.

«Надо вторые рамы вставлять» — подумала Лиза и поехала не от холода, а от душевной пустоты. Точно пришел Егор и своим глупым предложением до дна выпил, расплескал без остатка все, чем была полна ее душа, в чем была ее вера, на чем строила она свою жизнь.

«Учитель!» — с тоскою подумала Лиза. Острыми глазами смотрел на нее с портрета великий философ. «Учитель!.. Ты учил так просто и сам подавал пример той простой жизни, какой учил... И мы, юноши и девушки, верили тебе и шли за тобою... Толстой пашет!.. Толстой шьет сапоги! Опрошение... Непротивление злу... в чем моя вера... Из прекрасных хором Ясной Поляны, из уюта стародворянского гнезда, от культурных друзей, музыки и чтения ты шел росистым утром в поле, ступал старыми босыми ногами по жирной теплеющей под солнцем земле и налегал на плуг, вдыхая радость утра и физического труда... В своей теплой комнате садился ты на низенький чурбан сапожника и бе-

гала рука с драпвою, пришивая подметки... Старый барин-эстет, ты баловался трудом, как баловались твои предки с хороводами, песнями и пляской в девичьих... А мы верили! Мы видели в тебе творца новой жизни и шли в народ, не зная народа, искали тяжелого труда, непривычного нам, не зная, что труд не только наслаждение... Труд в деревне не только улыбающиеся березки, но вьюги и ветер с метелью. Да, я говорила Егору... Повторяла чужие, повторяла свои слова: сословия — пережиток старого дикого времени. Люди равны. ...И вот... сама... не могу... Егор красивый, способный... с ним так радостно и хорошо было заниматься, и когда приходил он ко мне, приятным казался запах мужика: махорки, дегтя, кожи и овчины, который он вносил с собою, и радовалась, когда смеялся он веселым смехом, обнажая крепкие желтые зубы, а от дыхания его пахло купоросом... Но... войти к нему женою, спать на гряде тряпья, на крестьянских пуховиках, на красных ситцевых подушках, в душной избе, среди кур и уток, и сузить жизнь до интересов мужицкого двора — нет, не могу!.. Но и ты не мог!.. И ты не покинул ни барских хором Ясной Поляны, ни привычного «господского» быта?».

— «Ужели не сказка — голубая и красная кровь, ужели предрассудки дворянства так сильны во мне и не могу я до конца опроститься?».

Метнула темными с поволокой скорби глазами на окно, где висели розовые с кружевом бриз-бизы, цвели пестрая фуксия, герань и настурция, стояли тщательно сохраненные цветы, и подумала: «Не могу без этого... Без красоты не могу... Не могу не ходить к священнику, чтобы играть на фортепьяно и петь песни и романсы. Нужна мне книга, как хлеб... Люблю печальною ночью мечтать над стихами Мюссе или Бодлера, люблю неразгаданные тайны Поэ, люблю чистую красоту Тургенева. Мне фантазия их дороже жизни».

Год тому назад, когда она не знала жизни, мечтательною горожанкою приехала в Выползова и расставляла с Пахомычем бедные безделушки и сувениры детства, — она ухватилась бы за это предложение. Она считала бы честью стать женою мужика. Это было бы полным выполнением романтического бреда, который владел ею под влиянием народнической литературы. Как гордилась бы она этим перед Ипполитом и Липочкой!.. Пришла и стала женою мужика!

Теперь она знала деревню. Сладких снов у нее не было. Она знала о забытых насмерть беременных женщинах, она знала, что дурная болезнь гуляет по селу. Матушка ей говорила: «у Костиных не берите молока — заразиться можно...

Гниет, Елизавета Ивановна, народ, заживо гниет». Деревня жила не скрываясь, и каждую зиму рожали девушки с точностью племенного скота, и валялись по укромным оврагам синие трупики. Урядник только рукою махал. По праздникам пила и гуляла деревня, и в Троицу четверо суток, днем и ночью, стоном стонали улицы и не переставая пилила гармоника. Побои и увечья заканчивали гульбу. Девки после праздников ходили с синяками и пухлыми от разгула лицами. Были молодайки о пропитых мужьями деньгах... Лиза видела летом, как беременные бабы, нагнувшись, жали рожь до обмороков, рожали в поле, подавали тяжелые снопы на возы, на которых, посмеиваясь стояли мужики. Лиза знала, что каторжно тяжелая работа крестьянина, но самый каторжный труд навален им на женщину.

О! Не труда она боялась. Боялась грубости, против которой восставала вся душа ее, все ее воспитание. Дурной запах ее коробил, скверные слова возмущали, она стремилась поднять деревню до себя, отучить от этого, а деревня этим предложением Егора втягивала ее в себя, засасывала, как засасывает болото доверчивого путника.

Учительницей она могла бороться и надеяться на какую-то победу над деревнею. Женою крестьянина она отдавалась деревне без остатка и погибала в ее страшном быте.

Ненавидящая армию и солдатчину Лиза мечтала, чтобы Егор вынул жребий и ушел подальше. К весне ей обещали место в Раздольном Лого.

Смеркалось. Сумерки крались в горницу. С сумерками входили в душу Лизы тоска и непреодолимый страх.

XXV

Лиза всегда считала жребий справедливым установлением. Если нельзя без проклятой военной службы, где спаивают и убивают в людях душу, то пусть беспристрастный жребий решает, кому идти.

Но когда она узнала, что здоровый, рослый и богатый Егор, имевший трех братьев, вытянул «счастливый» жребий и освобожден от службы совсем, а маленький Мухин, несуразный, неуклюжий, опора больной матери, и Волков, больной дурною болезнью, взяты, она возмутилась.

И в первый раз она подумала, что идеальные законы, придуманные в городах, во имя справедливости, могут быть самыми несправедливыми законами.

Целую неделю деревня гуляла и пьянствовала по случаю

отправки жеребьевых. Срамная ругань не смолкала. Одни с горя, другие на радостях. Плаксивая песня:

Последний нонешний денечек,
Гуляю с вами я, друзья,—

перевранная, опошленная, с похабными вставками заводилась то тут, то там.

Пил на радостях и Егор. С пьяными Мухиным и Волковым он шатался под окнами школы и, если замечал Лизу, ругался последними словами и делал непотребства под ее окном...

Он грозился избить ее, сжечь школу...

На другой день являлся с повинной, плакал и просил прощения.

— Я что же...— говорил он, распуская мокрые губы.— Мужик... Темнота... Меня простить надо... Все через любовь мою к вам, Лизавета Ивановна, происходит! Позабыть, вишь, не могу, выкинуть с сердца нету силы. Кабы не были вы барышня, знал бы, что делать!.. А так — пропадай моя телега, все четыре колеса, догорай моя лампада, догорю с тобой и я!..

Был он Лизе противен. В каждом слове его чувствовала она ту мужицкую ложь и хитрость, которые отталкивали ее больше всего.

Из города он приехал остриженный парикмахером, сзади коротко, а спереди вихрами торчали вьющиеся волосы. Что-то пошлое наложила на его строгое красивое лицо эта прическа. В городе он стал помадиться и душиться скверными духами, и Лизу тошнило от этого запаха. Она видела его пьяным, с мокрыми распутившимися губами, с вывертом шатающегося тела, в расстегнутом платье разнузданного и гадкого, и едва могла переносить его у себя.

До предложения Егор был скромн, застенчив и ласков. Он называл Лизу «барышня» или «Лизавета Ивановна» и в слова эти вкладывал много уважения.

Он и теперь называл ее по-прежнему, но была какая-то презрительная ирония в этих словах. Точно «барышня» — стало чем-то гадким, едва терпимым.

Из города он привез какие-то новые понятия и вместе с кабаком усвоил развязную смелость. Лиза боялась его. Когда вечером на настойчивый стук Лиза отворяла дверь и входил Егор, она бледнела и шибко колотилось в ее груди сердце. Холодели руки и ноги... Он входил, садился без приглашения на что попало, на стул, на ее постель, на кресло, и уставлялся на нее красивыми серыми глазами с поволокой.

Молчал...

— Егор,— говорила Лиза дрожащим голосом,— зачем вы ходите? И вам, и мне тяжело. Что скажут?.. Учиться вы не учитесь, книг не читаете. Сидите... молчите...

— Не могу не ходить,— хрипло отзывался Егор.— Приворожили вы меня.

— Егор, между нами все сказано... Что делать, быть может, я переоценила свои силы. Не мешайте мне служить!

— Лизавета Ивановна, ужели же и одного ласкового слова мне не найдется?

Маленькие молоточки отбивали в голове Лизы мучительную дробь и слова стыли на языке.

— Ужли же я до такой степени противен вам?.. Мужик!

— Нет, нет, Егор. Что вы... Я вам говорила и сейчас не отрекаюсь: люди равны. Нет больших и нет малых. Скажем так: вы были бы богатый, знатный, я бедная крестьянка — все равно не пошла бы за вас.

— Но почему... Доказать это надо!..

И начиналась сказка про белого бычка. Не могла она сказать, что он противен ей физически, что после того, как она видала его пьяным, ей тошно его прикосновение, что мутит ее от запаха его духов и, когда он уйдет, она будет, несмотря на холод, открывать форточку, проветривать комнату и одеяло, на котором он сидел.

Егор сложил из газетной бумаги козью ножку, засыпал табаком, сплюнул на пол и закурил.

Он сидел согнувшись, опершись локтями на колени, а подбородком на ладони, и снизу вверх смотрел на Лизу. Было в его взгляде что-то жуткое. Не любовь, а насмешка, почти ненависть горела в серых глазах Егора.

— Конечно, Лизавета Ивановна... Не пара я вам. Смотрю я на вас. Ручки маленькие, где же вам крестьянским делом заниматься! Понимаю сам — невозможно это... Так, может, я бы королевой вас сделал!.. Вы смотрите, что я надумал. У нас четверка лошадей. В хозяйстве свободно с одной парой обойтись можно. Взял бы я пару, выправил свидетельство в Питер, купил бы пролетку и сани, и поехали бы с вами в Питер. Сказывают, два, а то и три целковых выработать можно за день-то. Вы бы своего дела не бросили, городскую учительницей заделались... Ну разве не ладно?

Что могла она сказать? С силою влюбленного, с упорством русского мужика валил он препятствия и одного желал: обладать ею.

Что ему нужно? Трактиры, портьерные и дворы для извозчиков. Своя кругленькая лошадка, чистая пролетка с вер-

хом. Комната с ситцевыми занавесками, канарейка в клетке, высокая постель и она, его королева!.. Не житье, а малина!

Лиза с тоскою думала о таком существовании, и девичья горенка казалась ей дворцом, в ее одиночестве с любимыми поэтами.

— Что же? Или я худо придумал? Неладно что ль?

— Оставьте меня, Егор... Мне нездоровится сегодня. Как я могу все это понять? Я никогда не думала об этом!..

Он долго сидел, курил, сплевывал на пол. Наконец — уходил...

Проклятая бедность! Бросила бы все и уехала от этой непрощеной любви!.. Но едва сводила она концы с концами, и не было у ней ни одного свободного рубля, чтобы доехать до города. А что там?.. Сознаться, что не выдержала деревни и через год бежала от подвига, куда шла на всю жизнь.

Егор пропадал на неделю, на две, потом появлялся хмельной, среди ватаги молодцев. Скрипела гармоника, и пьяные голоса ревели:

Ух, у меня милашка есть,
Стыд до городу провесть,
Ноги тонки, да нос большой,
Слюна тянется вожжой!

По белому снегу перед школой шатались пьяные люди, ругались скверными словами, грозили все разнести. Лиза пряталась у Пахомыча и дрожала всем телом, прислушиваясь, не станут ли ломиться в школу.

Что могла она делать? Кому жаловаться, где искать защиты? Кто мог запретить им ругаться и петь под ее окнами? К кому пойти?.. Опускались руки, когда думала она, что и батюшка, и урядник, и староста с ними, а не с нею, и она одна, как белая ворона среди стаи черных.

Жуткая медленно шествовала длинная зима.

XXVI

Весною Лиза много работала в школьном огороде. От непривычки сгибаться часами над землею она уставала, и, когда ложилась вечером в постель, сладко кружилась голова, стлался перед глазами туман, духовито пахло в окно березовыми почками и сырою землею и чуткий сон колыбели волшебными грезами.

Скрипели колеса карафашки по песку и сквозь грезы Лиза слышала, как фыркала усталая лошадь, остановивша-

яся у школы, кто-то спрыгнул с тележки и мальчишеский голос произнес:

— А пятак-то прибавить обещались! Ну, спасибо... Тут и учительша живет.

И эти слова, и эти звуки неясным, мутным полусном-полюявью вошли в ее сознание. Несколько мгновений она не разбирала, спит еще или проснулась.

Оторвалась от сна. Подняла голову. Встала, подошла к окну... Заглянула в щелку за занавеску.

В розовом сиянии майского утра стоял Ипполит. Исхудалый, мучимый какою-то заботой, но какой родной, какой свой, какой любимый!

И какой нужный!

— Ипполит,— крикнула Лиза,— подожди минуту на крыльце, я сейчас оденусь и выйду.

Как все это хорошо! И утро, и тележка с мальчиком, и Ипполит! У нее есть защитник. С Ипполитом она уедет в Раздольный Лог, с ним она придумает, что делать, с ним она может говорить на одном языке!

Через полчаса в чисто прибранной комнате Лизы они пили чай. Окно было открыто. Звонко перекликались воробы на зеленеющих кустах, и солнце проливало золотые лучи на опущенную штору. Разговор прыгал, как горный ручей по камням, и срывался с темы. Два года не видались, за два года выросли, возмужали, переменились. У обоих были на сердце болячки, но днем не говорили о них. Берегли их до ночной тишины.

Только когда затихла природа и красное солнце спустилось за лес в туманную дымку, они уселись рядом на постели Лизы и Ипполит взял в свою руку маленькую огрубелую ручку Лизы и стал говорить.

Это была его исповедь. Он говорил то тихо, то голос его срывался, креп, он вставал, ходил взад и вперед по комнате, останавливался у окна и бросал слова жалобы и печали, слова возмущения в прохладный воздух ночи.

Они были одни. Пахомыч приготовил в своей каморке ночлег для Ипполита, а сам ушел спать в сарай. Никого кругом не было. Замирала в отдалении деревня и недалекий тихо шептал лес.

— Ну так вот, ты понимаешь,— говорил Ипполит звучным баритоном, таким новым для Лизы,— я почувствовал, что я попал в партию. Прямо — ни Юлия, ни Соня мне ничего не говорили. Но я чувствовал, что мне доверяли, мне поручали кое-какую переписку. Я помогал Ляпкину на гектографе, иногда печатали в типографии Бродовичей. Там,

среди рабочих, было много своих... Я словно вырос в своих глазах. Что надо делать, мы не знали. Мы знали одно, Лиза, что так продолжаться не может. Нужна перемена и, конечно, республика... Пора положить конец административно-полицейскому произволу... На вечерах у Бродовичей много и хорошо говорили Ляпкин и Алабин. Они развивали нас, показывали нам, что такое правовое государство, и доказывали, что Россия — страна самого мрачного, самого жестокого произвола. И было решено... Не у нас, нас мало во что посвящали, а за границей, в центральном комитете, было решено ступить на путь активной борьбы с правительством.

Ипполит закурил папиросу, стал у окна, чтобы дым не беспокоил Лизу, и, тонкий, и стройный, четко рисовался на побледневшем небе. Чуть вспыхивала красным огоньком папираса.

— Весною получаю приглашение в Н-ск заниматься с двумя молодыми людьми,— продолжал Ипполит.— Условия выгодные. Они евреи, по фамилии Шефкели. И поручение от Сони, сейчас по приезде узнать все про губернатора. Как живет, где бывает, как охраняется... Узнал... Губернатор, еще молодой генерал, вдовец, у него дочь, барышня лет семнадцати, и сын, паж, пятнадцати. Губернатор либерал, очень доступный человек, преисполнен самых лучших намерений, во всем идет навстречу земству. Любим крестьянами и вообще низшим классом. Никак не охраняется. Любитель пожуировать, немножко Дон-Жуан. Не пропускает ни одной приезжей актрисы. Человек смелый... Я обо всем, как было условлено, написал Соне... Не прошло и недели, как-то вечером возвращаюсь к себе... У меня Юлия.

Ипполит замаялся и прервал рассказ.

— Что же Юлия? — быстро спросила Лиза, внимательно следившая за рассказом.

— Все ли говорить?

— Говори все!..— сказала Лиза.

— Она приехала с приказом от комитета... Нас трое — она, я и еще один член партии, которого я не знал,— назначены убить губернатора.

— Нет!..— воскликнула Лиза.— Только не это!.. Только не это!.. Ипполит!.. Ты не убил? Ты не способен на убийство... Да, я знаю... Я читала в газетах... она, но не ты!?. Ипполит, на твоих руках нет крови? Ну, говори!.. Говори скорее, Ипполит... Да или нет?..

— И да... и нет.

— О! — простонала Лиза и закрыла лицо руками.— Ну, дальше, потом?

— Юлия учила меня, как действовать револьвером, она дала мне тяжелый бульдог. Мы пошли... Я должен бы выманить губернатора в темную аллею, под предлогом свидания с Юлией, и тем застрелить. Третий член партии ожидал нас у задней калитки с лошадьёю, чтобы увезти после убийства.

— Убийства...— прошептала Лиза.— Потом... дальше?.. Ну, говори же!

— Было гулянье в городском саду: Играла музыка, жгли фейерверк. Губернатор сам вошел с каким-то штатским в темную аллею. Я подошел к нему. Подал записку Юлии... Сказал, что я ее брат и что она просит его пройти к павильону. Генерал отослал штатского, подошел к фонарю, стал читать записку... Было удобно... Я опустил руку в карман... взялся за револьвер...

— Ну... потом... Ипполит... Ипполит! Как жаль, что нет Бога!.. Знаешь бога Саваофа, которого рисуют в облаках с седою бородою и строгим лицом!.. Как нужен Иисус Христос с мягкой бородкой и добрыми глазами!.. И дух святой в виде голубка в золотом сиянии... Если бы были они — этот ужас не был бы возможен. Убийство бы не было... Ну, потом... Говори скорее!..

— Я не мог...— едва слышно сказал Ипполит.

— Милый Ипполит! Как я понимаю тебя! Не мог... И я бы не могла!.. Ты... не палач... ты не убийца. Недавно... точно предчувствие: перечитала Тургенева «Казнь Тропмана». Какой ужас!.. Какое отвращение. Ну, хорошо, мы их обвиняем... а сами... сами!.. Разве это не казнь? Писать, кричать против смертной казни, а самим... Из-за угла, заманив женщиной... Предать, обмануть и убить... Все подлости вместе... Значит — она!?.

— Да... Я сказал, что не могу. Она отняла револьвер. Я думал, что она меня убьет, так была она раздражена... Но она пошла и я видел, как она застрелила.

— Она арестована?

— Да.

— Что ее ожидает?

— Ах, не спрашивай!..

В комнате Лизы стало тихо. Слышно было только, как тяжело дышал Ипполит, стоя у окна. Лиза сидела неподвижно на постели, опустив голову на руки.

— Что делать? — нерешительно сказал Ипполит.— Если желать блага народу, надо идти по этому пути. Другого нет.

Лиза порывисто встала.

— Нет... — кинула она. — Неправда... Есть другие пути. Ты сказал: административно-полицейский произвол... Идите в полицию. И сами в жизни устраните произвол... Я познакомилась с исправником Матафановым. По службе... Станьте вы исправниками... становыми... Нет!.. Вы не можете этого!.. Кишка у вас тонкая, как говорит народ, — не выдержите. Помню, праздник у Матафановых, много гостей... Именины его жены. И вдруг приехал стражник... Нашли мертвое тело. Собрался в пять минут. Револьвер, шашка, подали его тройку. Ночь. Осень. Ветер, снег с дождем, грязь непролазная, так страшно в лесу, а он поскакал... И дня не проходит: то пьяная драка, то воровство, то поджог, то конокрада поймали и убили... «Верите ли, — говорил он мне, — заснешь, и во сне видишь, что воров и убийц допрашиваешь, сам их жаргоном говорить начинаешь»... Нет, вы на это не пойдете. Критиковать, осуждать вы можете!.. А сами работать, как они!.. Вы их убивать будете... Да... Так решили?.. Слыхла я...

— Да... всю администрацию...

— Хорошо... А кто же на их место? Чтобы охранить слобых? Вы пойдете?.. Ты пойдешь, Ипполит, сказать по уезду со становыми, разбирать тяжбы, писать протоколы, стращать и мирить...

Лиза опустила голову и замолчала, точно обдумывая что-то.

— Нет, Ипполит, — тихо продолжала она. — Думаю о Бродовичах и какой мрак на душе у меня. Умереть лучше, чтобы не видеть этого обмана. Жизни лживой не знать... Уйти от нее... Во что мы верили? Помнишь, в гимназии... на курсах... Мы говорили... Народ... Вот он народ... Скоро два года я живу среди этого народа. Страшно, Ипполит! Вот соберется класс, шумит, верещит детскими голосами, синие глазки, как васильки, рожицы умильные... А прислушаешься к словам!.. Какая брань... Какие рассказы. «Тяťка мамку прибил пьяный, однова глаза не вышиб, мамка плачет»... Что же, жаль мамку-то? — «Так ей, суке, и надо, она с телегинским парнем ночь ночевала...» Это дети!.. У меня сторож, Пахомыч, чудный набожный старик, бережет меня, как родную, а что в его голове? Рассказывал один раз мне, как лет двадцать тому назад он чуть купца не убил, позарившись на его золото. «Уже топор взял, чтобы по виску тяпнуть, да лампадка треснула и купец проснулся». Спрашиваю: а теперь могли бы? «Кто ее знат-то... Ежли много золота, и теперь не устоишь. Враг-то силен?». Знаем мы деревню? Ведь ее перевернуть — это надо целые века перевернуть от самого

татарского ига, если не раньше! В глубине она нетронутая, как нива непаханая... Нет, Ипполит, не убийствами губернаторов ее поднимешь, а работой внутри. Не о президенте думать надо, а о том, чтобы царю помогать. Вот какие слова, Ипполит, я научилась в деревне говорить... Что же... Осудишь?

— Как я могу осудить... Сам слепой, могу ли вести хромого?

— Жутко жить, Ипполит. Ночью проснешься. Стоит тишина страшная. Луна висит мертвецом. Ледяным узором покрыты окна, и чудится: кто-то есть за окном. В страхе бросишься к окну. Все бело в поле. Лежат снеговые сугробы. В саван оделась земля. Деревни не видно за снегами. Нигде ни огонька. Собаки не лают. И лес стоит сторожкий, нацелившийся на деревню, как живой... Крик в лесу. Послышалось так или действительно кто крикнул. О Боже! Как страшно! Не убили ли кого!? В Бога уверуешь! Вы, в городе, не знаете этого. У вас дворник в тулупе спит у железных ворот, городской в черной шинели стоит на перекрестке и греется у костра. Нет... Где вам!.. Вам за толстыми дверями, за железными крюками и цепочками не понять, что такое страх... Тут только и слышишь: все мы под Богом ходим, а нутка вынь из них Бога-то...

— Тяжело, Лиза?

— Завтра все расскажу... Может быть, Бог прислал мне тебя, Ипполит... Тот самый Бог, который шесть дней творил, а потом почил от дел своих, и в которого мы решили не верить... Боюсь, Ипполит, что мы не взрослые, а дети, и тебе, и мне, не поверившим старым людям, придется пробиваться в жизни своим страшным опытом.

Лиза протянула Ипполиту обе руки и ласково посмотрела на него.

— Ну, ступай спать... Поздно... Как хорошо, что не ты убил!.. И скажу тебе... новыми словами. От меня ты их не слыхал... Боюсь и сама, что скажу, и веры-то настоящей не будет в них. Ну... Храни тебя Бог! — торжественно сказала Лиза.

Сияли ее глаза. Крепко пожала руки Ипполита. Вздрыгнула. Почудились шаги и шепот за окном. Будто два чело века говорили.

— Что это? — вскрикнула Лиза и схватилась за сердце. — Неужели кто-нибудь подслушивал нас!..

Прошло несколько долгих секунд... Нет... Тихо. В ленивой истоме мерещилась ночь.

— Ну, ступай... До завтра!..

Прошло минут десять. Лиза все еще не ложилась. Тревога не покидала ее. Из головы не уходила мысль, что кто-то мог их подслушать. Чтоб успокоить себя, Лиза накинула старенький оренбургский платок и, зябко пожимая плечами, вышла на крыльцо.

Белая ночь жадно приникла к лугам. В серебряном тумане, как в молочном облаке, утонула деревня. Темные, дощатые крыши стояли, как лодки на воде. Не лаяли собаки. Северная собака не любит лаять по ночам. Она лежит, угревшись, у конуры и будто и сама боится призрачного мерцания близко сменяющихся кровавых зорь.

За лесом золотилось небо, загоралась долгая утренняя заря, и ярко, в бледной синеве над деревьями, горела одинокая звезда.

Лиза тихо спустилась с крыльца и остановилась, вглядываясь перед собой. Две четкие фигуры поднялись с бревен, и сильные руки схватили Лизу поперек.

— Держи, Гриша,— услышала она знакомый голос. Запах винного перегара обдал ее.

— Егор! — слабо вскрикнула Лиза, стараясь вырваться.

— Кому Егор, а кому Егор Емельяныч. Был Егор, пока вы с братцем вашим губернаторов не убивали, а теперича крышка! — прошептал в ухо Егор.

— Что вы делать хотите со мною?

— Молчите уж. Вы в моей полной волюшке... Будете кричать, сопротивляться, по начальству предоставим. Вот, мол, какая учительница у нас. В Н-ске губернатора кто убил? Ееный братец, и она с ним в заговоре. Супротивники, значит, существующего порядка. Нам очень хорошо известно, что за это полагается.

Хмельной Гриша, восемнадцатилетний парень, сосед Егора, учившийся у Лизы пению, скрутив ей руки на спину, слегка подталкивал ее и заставлял идти перед собою.

— Куды весть-то, Егорка? — весело спросил он.

— Веди покелева в лес. Надоть допрос исделать. Все по форме, как полагается.

— Егор! — сказала Лиза. — Вы ничего не сделаете мне худого! Вы же любите меня!.. Вы говорили мне, что любите.

— Говорил... Мужичья любовь, барышня, не книжки читать. Мне подавай полагемое. Мы знаем, чем девка побаловать может. Вот оно самое и подай. Читамши книжки с вами прозрел... Смелость надобна... Вы губернаторов убиваете, так теперь что мне церемониться. Либо к допросу и на каторгу, либо побеседуем по-мужичьему.

По ногам хлестала мокрая трава. Чулки и башмаки промокли, и мокрая болталась юбка, мешая идти.

Пусто было в голове у Лизы. Она шла, спотыкаясь о кочки, и не было мыслей. Кричать, звать, молить о помощи?.. Кто услышит... Кто придет?.. Ипполит?..

— Егор, ну, милый... Поглядите.. Пусть будет по-хорошему.

— Что, полюбили что ли? — усмехнулся Егор. — Кобеля почувяла, сука!..

— Егор, по-вашему будет. Так лучше... Я обещаю вам... Мы обсудим...

— А Гришке что же достанется? — захохотал ей в самое ухо Гриша. — По договору Гришке половина. Он раз. И Гриша раз. Вторым номером.

— Егор!.. Что же это?.. Не звери же вы... В Христа веруете.

— Ничего, барышня. С эстого не умирают. И даже по закону доказать нельзя насилие или добрая воля. Не вы ли учили, что ни Христа, ни таинства брака нет, а есть только желание и любовь... Слушамши вашу науку, и надумал я, что и вы не такая недотрога.

— Егор!

— Звали Егором, а теперь вам поклониться придется, потому распрекрасные ваши дела нам до точности известны.

Мягкий мох холодил поверженное на зеленую сырую постель тело. Жалко белели, извиваясь, беспомощные, обнаженные ноги. В груди спирало от близкого зловонного дыхания...

Лиза крикнула.

Эхо отдало ее крик, пугливо сорвалась в вершине ели какая-то птичка и затрепетала, запутавшись со сна крылами в густых ветвях. Точно темный ящик надвинулся на Лизу и поглотил ее без остатка. Мелькнула над самыми глазами мягкая, мокрая от росы курчавая борода Егора, показались мокрые, толстые, растянутые губы, и все покрылось мутной вуалью небытия...

.....

Ипполит, уже снявший тужурку, услышал далекий крик в лесу, и подошел к раскрытому окну.

Исповедь облегчила ему душу. Он чувствовал себя легко и прекрасно. Он понял, что в Лизе он нашел и верного друга, и покойную пристань. Он вдохнул полною грудью могучую сырость полей и улыбнулся.

«Крик в лесу,— подумал он.— Лиза говорила: крик в

лесу. Послышалось так или действительно кто крикнул? О Боже! Как страшно. Не убили ли кого! В Бога уверуешь!».

Ипполит истомно потянулся.

«Мало ли кто крикнул. А может, и не кричал никто. Дремлет тихий лес, и уже золотом покрылись зеленые вершины елей. Восходит солнце! Встает заря новой жизни. Спи, милая Лиза, мой нежный друг детства... *Cousinage, dangereux voisinage...*

Кузинство — большое свинство... Ах, Федя! По-свински я поступил с тобою!..

Ипполит сел на постель Пахомыча и стянул с себя сапоги и штаны.

«Славно! — подумал он. — Какая тишина, какой благодатный воздух тянет с душистых полей... Как хорошо!.. Вот он, где настоящий покой... Деревня!..»

XXVIII

Эти дни Федя жил в каком-то сумбуре сложных противоречий. Сверток Ипполита, запрятанный в глубине шкапика, его мучил. Он, рыцарь своей дамы сердца — России, верноподданный Его Величества и портупей-юнкер Государевой роты, становится участником какого-то гнусного преступления. Он не боялся, что будет осмотр столиков и у него откроют этот сверток. Это было бы лучше. Промолчать и не выдать — это было бы геройство, понести за это кару — было бы заслуженным наказанием, и сверток помимо него попал бы куда следует.

Но самый сверток выдал бы, а выдал сверток — выдал и Федя, а выдать он не мог. Он был солдат, едва не офицер, а офицер — рыцарь, а не предатель и не доносчик. И, значит, надо сделать, как просил Ипполит: сберечь сверток до 1-го июня, когда Ипполит его обещал взять.

Душа Феи металась, переходя от суровой решимости — пойти и раскрыть все — к трусливому выжиданию, как решит судьба.

В то же время, помимо Феиной воли, он был полон радостным ожиданием разборки вакансий, охватившим весь батальон. Не мечтать о производстве, не примеривать мысленно алые эполеты с цифрой 37, не грезить об Охте и о поездках по субботам к матери, о свиданиях с Буренко было невозможно. Эти весенние дни все юнкера жили такими мечтами.

Федя мысленно так сроднился с Новочеркасским полком,

так был уверен, что в него попадет, что уже присматривал себе на Охте квартиру. Почему бы ему не устроиться там с мамой? Там лучше воздух, чем в городе, и мама, и Липочка отдохнули бы у него... Жалованье, правда, маленькое... Сорок восемь рублей всего... Да еще вычеты... Но все-таки жить можно... Федя видел тихие вечера над Охтой, ужение рыбы. Можно и на лодке кататься...

Вдруг врезывалась в мечты мысль о свертке, данном Ипполитом.

«Ах, какая гадость!»...

«Но если никто не узнает?.. А почему могут узнать?.. Мне, собственно, какое дело! Ипполит правду сказал: не я, так другой... Я должен донести по начальству... выдать... А как же Новочеркасский полк?.. Охота, ужение рыбы... мама... Боже мой!.. Боже мой... Доносить гадко... Юнкер не доносчик...»

До разборки вакансий, назначенной на 4-е июня, оставалась одна неделя.

«Что же? придет Ипполит — отдам ему свертки и конечно... Не может же Ипполит что-нибудь худое замышлять... Да, идем разными путями... Ах, Ипполит! Ипполит!..»

В воскресенье Федя был в отпуску, у матери. Мать сказала ему, что Ипполит уехал к Лизе и оставил ему записку. Федя прочел записку.

«Что же, снесу свертки сам, если так надо!» — подумал Федя.

Летом в городской квартире было неуютно. В день его приезда, в субботу утром, околела Дамка, прожившая членом семьи семнадцать лет, и Варвара Сергеевна плакала. Тятя Катя ходила мрачная и каркала, как ворона: «Ох, не к добру, что собака умерла... Старый друг покинул наш дом».

— Полно, тетя,— раздражительно кричала Липочка.— Дамка прожила дольше собачьего века, последнее время и нам была в тягость, и сама только спала да шаталась, как тень. Не раздражай ты-то хоть маму.

Мама была, как всегда, ласкова, но Федя видел что бегают ее мысли и не о веселом они.

Вечером сидели в гостиной вчетвером. Тетя Катя на стуле под часами, Липочка у окна, при свете зари, читала книгу, мама вязала чулок и временами тяжело вздыхала. Федя сидел подле нее, начал было строить планы будущего своего офицерства, как у него будет денщик, как ему будут отдавать честь, как он постарается стать батальонным адъютантом или жалонерным офицером и тогда будет иметь лошадь и носить шпоры, но осекся и примолк. Не отвечали эти мечты

настроению дома. Точно какая-то тяжелая туча нависла над ними, готовая разразиться ливнем несчастий. Уже ударила первая молния и далекий прогремел гром... Вот-вот хлынут ручьи, полетят под ураганом листья, станут гнуться и скрипеть деревья, черно будет небо и безулыбочка земля.

И точно отвечая мыслям Феди, заговорила печально, будто читая по книге, Липочка:

— Опавшие листья... Мама... под гнетом судьбы мы, как слабое дерево под ударами урагана. Скрипим, перемогаемся, а буря все сильнее и сильнее, срывает листы и кружит и уносит их... Мне вспомнилась та давняя заутреня, когда папа пришел в нашу спальню и подарил мне и Лизе сережки. Мне бирюзовые, Лизе гранатовые. Федя нес образ Воскресения Христова и мы, по-детски, верили в Господа Бога... И под эту верою наша семья стояла, как чистая, белая, радостная березка под солнцем... Мы забыли Бога... Нам казалось ниже нашего достоинства верить и молиться. И налетел ветер... Зашумела буря... Умер внезапно Andre... Ушла mademoiselle Suzanne, окошел твой, Федя, Маркиз Карабас, помнишь, как ты плакал и не мог помириться, что дворник отнес его на помойную яму... Уснули твои птички, мама... Точно ветер сдувал листы и ломал ветви... Все разъехались... Знаешь, Федя, теперь иной раз сядем за стол: папа, мама, тятя Катя и я... И так скучно... Никто у нас не бывает, и мы ни к кому не ходим. Дорого, средств не хватает... Опавшие листья мы, и род наш, как засыхающее дерево, обреченное на смерть... Стоит оно среди поля, молодое, а голое. Уже нет в нем соков и облетел его зеленый наряд...

— Стыдно, Липочка,— сказала Варвара Сергеевна,— полно Бога гневить. Грех такие слова говорить потому, что старая собака умерла. Всему живущему от Господа положение предел и время.

— Да, мама... Я не потому так говорю, что околела Дамка, а потому, что мне в этой тихой гостиной, в нашей квартире на Ивановской, где я прожила все двадцать три года своей жизни, стало вдруг страшно.

— И неправда, Липочка. Ты родилась на девятой Рождественской, на Песках. А пока не родился Федя, мы жили на Кабинетской, а потом на Большой Московской и только после рождения Миши поселились здесь. Здесь домохозяин хороший, не набавляет нам, иногда и не заплатишь— потерпит. И все-то ты, Липочка, врешь!

— Мама, милая мама. Ты не поняла меня. Неужели не понимаешь моего настроения? Мне вдруг показалось, что мы обречены на гибель, что у нас нет силы жить... Что не креп-

нет, а распадается наш дом, что мы не почки новой листвы, не завязи молодого цвета, а — опавшие листья. И мне кажется, что не мы одни так, а все, все обедненное дворянство... Интеллигенция... Я слышу от подруг... Ольшевские, Заботины... всюду оскудение... смерть... и... опавшие листья.

— Э, Липочка, неправда! Тьфу!.. Может, и я виновата, что слезы лью из-за собаки... Ну, что ж, Бог простит!.. Ведь она почти ровесница тебе, Федя, была. А как любила тебя! Мне казалось, она понимала, что суббота, что ты приедешь, и точно хотела тебя дожидаться, все старалась вылезть из-под дивана, куда забилась, и слабо повизгивала... Нет, Липочка... Была зима, но за зимою идет весна, за нею лето и осень... И осенью роняет яблоня тяжелый плод и откуда-то вдруг взявшиеся снуют с тихим писком и гоготанием большие выводки цыплят, гусей и уток. Вспархивают стада куропаток, бежит за матерью жеребенок и звонко ржет, мычат в коровнике телята, играют на дворе с матерью щенята, тянут ее молодыми зубами за уши и пытаются укусить ее в самую морду. А она лежит себе на спине, притворно огрызается и виляет хвостом, ласково щуря глаза. Бедная моя Липочка, ты не жила в деревне и потому ты не видала этой страшной производительной силы земли. Откуда все это взялось! Скрипят тяжелые возы, покрытые золотом снопов, ядреный запах фруктов разлит повсюду и как из рога изобилия сыплет земля животных, птиц, плоды, овощи и хлеб... На смену опавшим листьям появятся новые весною и завершит свой шумный, вечный праздник земля тихим сном, а не смертью, под пеленою зимы до новой весны!

— Не понимаешь ты меня, мама. Да все это так... Но вот тут стоит засохшее дерево и последние листья падают с него. Вот лежит твоя милая Дамка... И страшно то, что у засохшего дерева не появится новая листва. У нас, мама, другой собаки не будет. Ты понимаешь, мы прошли... и ушли... Andyre, Suzanne, я, Лиза, Ипполит, Миша — мы не будем участвовать в жизненном празднике весеннего обновления... Деревня — да... Но город, мама, умрет. Город, мама, создал какую-то искусственную жизнь, и земля не вынесет ее и выбросит город из себя...

Долго сидели они в гостиной и говорили волнующе печально. И со смутным, тяжелым предчувствием возвращался Федя в барак. И барак показался ему хмурым и скучным.

А в понедельник вечером ему подали телеграмму от Липочки:

«Лиза скоропостижно скончалась. Мама уехала хоронить, вернется в среду».

Точно что-то оборвалось в сердце Феде и, если бы не постоянная сутолока училищной жизни, где стрельба сменялась учениями роты и батальона, где тосковать не давали, Федя совсем пал бы духом.

Он написал Липочке, прося сообщить ему, как, почему умерла Лиза.

В пятницу вечером пришел ответ. Липочка писала сухо, протоколно. Была недоговоренность в ее письме.

...«В воскресенье утром Ипполит приехал к Лизе. Он провел у ней весь день, ночевал в школе, в помещении сторожа. Утром в понедельник Лизу нашли висящей на веревке в лесу, в полуверсте от школы. Никакой записки, ничего при ней не было. Уездная полиция арестовала Ипполита. Мама приехала в отчаянии, совсем седая. Ее согнуло горе... Я уверена: Ипполит невиновен».

Какой это был удар для Феде.

Он встал в субботу утром с головною болью и нехотя спустился в столовую. Моросил мелкий дождь, плыли глинистые дороги училищного лагеря, и узкой вереницей поднимались из столовой юнкера по уложенной кирпичами тропинке. Впереди было ротное ученье по грязи и под дождем. После обеда Федя должен был ехать в отпуск, чтобы отвезти этот проклятый сверток.

В бараке от сырости был полумрак. Станным показалось Феде, что юнкера не разбирали винтовки и не надевали скатов с котелками.

— Почему, Иван Федорович, не строятся? — спросил он у входившего в барак с озабоченным лицом фельдфебеля.

— Учение отменено. Во всем батальоне обыск, — кинул фельдфебель, и сейчас же звонко закричал:

— Прошу разойтись по койкам и никуда не отлучаться.

В барак входили командир роты и младшие офицеры: штабс-капитан Герцык и поручик Михайлов.

XXIX

Обыски шли, как их называли в училище — «осмотры столиков» производились раза два-три в год. Больше смотрели, опрятно ли держит свое имущество юнкер, не держит ли хлеба вместе с сапогами, аккуратно ли и по форме сложен парадный мундир, но между прочим смотрели, нет ли запрещенной литературы, сочинений Герцена, Писарева или порнографических карточек. И то, и другое иногда попадалось и часто, странным образом, совмещалось у одного и

того же юнкера, показывая происхождение из того же источника. Как будто тот, кто хотел развратить душу юнкера, развращал одновременно и его тело.

Осмотры производились поверхностно. Начальство было уверено в юнкерах и не допускало мысли возможности проникновения пропаганды. Внутренняя дисциплина была слишком сильна, отпуски ограничены, форма обязывала быть осторожным, да и наказание не соответствовало вине.

За хранение запрещенных книг, за пустую прокламацию, случайно полученную и хранимую из озорства — перевод в третий разряд, то есть помещение в хвост списка и лишение года старшинства при производстве.

Федя стоял у своего шкапчика и мучался: что делать? Подойти и все рассказать... Добить Ипполита, уже обвиняемого в страшном преступлении, находящегося в несчастье.

Федя не сомневался, что Ипполит не виноват.

«Опавшие листья,— вспоминал он.— Опавшие листья... И Лиза... и Ипполит... и я...»

Ему было жаль Ипполита... Из жалости к нему хотелось спасти его, пожертвовав собою.

Осмотр начался с левого фланга. Офицеры разошлись по взводам, фельдфебелю поручили осмотр четвертого взвода, сам Семен Иванович, командир роты, осматривал первый.

— Кусков, пожалуйста сюда,— мягким баритоном позвал Семен Иванович.

Кусков подбежал на носках по узкому проходу у окон и стал навтыяжку.

— Помогите мне осматривать,— сказал ротный.

— Слушаюсь, господин капитан,— четко ответил Кусков.

На чисто застланные серыми одеялами с лиловыми полосами по краям койки вываливалось содержимое шкапиков. В беспорядке раскидывались коробки с папиросами, машинки для набивания табаку, маленькие подсвечники, свечи, жестянки с монпансье, ружейная принадлежность, мыльницы, зубные щетки, книжки, тетради, мундиры, шаровары, сапожная вакса, сапоги, портянки...

Все обыденное, одинаковое у Сергеева, как у Ценина, у Абрамова, как у Байкова.

— Это кто же такая? — спрашивал у Байкова ротный с чуть заметной улыбкой на полных щеках, где росла рыжеватая борода, разглядывая кабинетную карточку подвитой женщины, с маслеными, подмазанными глазами, в одних панталонах и рубашке.

— Сестра, господин капитан,— смущенно пробормотал Байков.

— Не завидую ни вам, ни вашей сестре. Посоветуйте ей сниматься в более приличном костюме.

У Ценина отобрали французский роман, у Бардова нашли тетрадку стихов.

— Это вы занимаетесь? — спросил ротный.

Бардов, юнкер младшего курса, молчал, переминаясь с ноги на ногу.

— Сегодня я в корпус тихонько иду,
Вдруг дрожки меня обгоняют.
На дрожках на самом виду
Красавица мирно сияет...—

прочел вполголоса Семен Иванович.

— Ну-с, вы писали?

— Я,— еле слышно выговорил Бардов.

— Советую бросить упражнения. Стих не соответствует звучности вашей фамилии. У вас нет таланта.

— Не писать? — краснея до слез, сказал Бардов.

— Не стоит. Надсон у нас был — в ваши годы уже владел стихом. Вы никогда не овладеете.

Старобельского оставили на неделю без отпуска за хранение хлеба вместе с сапогами.

— Откуда это у вас? — хмуря брови спросил Семен Иванович, доставая большую краюху черного хлеба.

— У служителя покупаю.

— Неужели вам мало того, что дают за столом?

— Люблю ночью пожевать.

Обыск медленно подходил к правому флангу, где у стены был шкафчик фельдфебеля и против него Федин.

Федя вынул из кармана ключ и, звеня кольцами, стал вставлять его в замок. Руки у него дрожали, и ключ не попадал в отверстие.

Семен Иванович кончил осмотр соседнего шкафчика. Он подошел к Феде.

— Ну что же, Кусков,— сказал он, беря за подбородок покрасневшего до слез Федю.— Неужели мне лучшему портупей-юнкеру не доверять? Слыхал о несчастьи, постигшем вашу семью. Искренно сожалею. Бог даст, правда выяснится. Ступайте с Богом, Кусков. Вас и фельдфебеля я осматривать не буду.

Осмотр был окончен.

Во второй роте у одного юнкера нашли стихотворения Рылеева и воззвание к солдатам от рабочих, в третьей роте один из юнкеров хранил литографированные сочинения графа Льва Толстого на политические темы, обоих перевели в

третий разряд. Один из восьмого стал для разборки вакансии двести четырнадцатым, другой с пятидесятого съехал на двести пятнадцатого.

Улыбнулись хорошие стоянки.

XXX

Федя поехал в отпуск. Под шинелью, надетой внакидку, у него был Ипполитов сверток. Ему показалось, что швейцар в Европейской гостинице подозрительно посмотрел на него, когда он спросил мистера Джанкинса.

Мальчик повел его по лестнице. Ноги прилипали у Феде к красному ковру. Мальчик постучал.

— Mister Джанкинс?

Мрачный господин, черный, в очках, посмотрел с недоумением на юнкера в солдатской шинели, в мундире и с топором, торчащим на поясе.

— No...

— Mister Джанкинс? — снова сказал Федя, более настойчиво, чувствуя, что еще миг, и он не выдержит, бросит пакет и убежит.

Черный господин поднялся и прошел в соседнюю комнату. Там послышался английский говор. Прошло с полминуты.

В номер, в сопровождении черного, вышел красивый, бритый молодой человек.

— От Юлии Сторе? — неясно выговаривая слова, как природный англичанин, сказал он. Федя молча протянул сверток. Англичанин взял его. Ни рукопожатия, ни поклона. Стальные глаза сверлящим взглядом окинули Феде с головы до ног, мистер Джанкинс повернулся и ушел к себе в номер. Черный вопросительно смотрел на Феде. Федя помялся на месте и не кланяясь вышел из комнаты. Ноги были как пудовые. Лицо пылало, из-под алого околыша бескозырки на лоб медленно текли капли пота. Он повернул не в ту сторону и заблудился бы в коридорах, если бы его не встретил лакей.

— Вам кого? — спросил он, нагло осматривая Феде.

— Я ищу выхода,— сказал Федя.

— Выход назад. Вам надо обратно идти.

Все казалось Феде насторожившимся. Нарядная дама на лестнице посмотрела на него в лорнет и как-то странно улыбнулась; швейцар строго взглянул поверх очков и не шевельнулся. Двери были открыты. На улице сладко пахло земля-

никой. У Михайловского сквера застыли большие темно-зеленые конки. Кучера спали на ступеньках площадок. Три лихача у подъезда гостиницы похаживали подле своих рысаков. Феде казалось, что они долго провожали его глазами. На углу Невского стоял городской в длинном коломнянковом кителе, и Федя подумал, что он сейчас подойдет и схватит его. Никогда, с тех пор, как он ушел в корпус, городские ему не были неприятны, а теперь он проходил мимо и чувствовал, как жуть пронизывала его от затылка до пяток. Он часто оглядывался: слышались догоняющие шаги... Никого не было. Белые блистали на солнце плиты широкого тротуара, легкий ветерок крутил пыль по пустынной мостовой.

На Невском стало спокойнее. Шли прохожие, в их череду незаметно вошел и слился с нею Федя.

Безрадостный, шел он домой. Еще со двора увидел в окне мать, она ожидала его.

— Наконец-то! — сказала Варвара Сергеевна. — Заждалась я тебя, Федя. Жарища сегодня какая, а вас в шинели да в мундире отпускают... Ну как?

И в вопросе матери чудилось подозрение.

— Ничего, мама, — сдавленным голосом, через силу сказал Федя. — Я что! У нас, кажется, очень плохо...

Варвара Сергеевна безотрадно махнула рукой.

— Не жить мне теперь, — сказала она. — Одно кончилось. Отец был у следователя — никаких улик против Ипполита нет. Его уже освободили бы, да наговорил на него мужик из Выползова. Теперь его обвиняют в политическом преступлении. Он будто был пособником убийства губернатора в N-ске. Прямо страшно становится. Не довели жида его до хорошего... У Бродовича вчера опять был обыск. Все какие-то документы разыскивают. Хотят весь заговор раскрыть. Жандармский полковник, что за Соней ухаживал, проговорился, будто Сторе передала Ипполиту все это... Вот я и боюсь... его бы, голубчика, пытать не стали бы. Сказывают, в доме предварительного заключения накормят селедкой, а воды пить не дают, пока не скажет, что надо.

— Мама! Я думаю, неправда это, — воскликнул Федя.

— Неправда, Федя! Сама знаю, что неправда, и дядя Володя успокаивал, а все подумаю об Ипполите, и страшно. Он у нас такой балованный! И что им, жидам этим самым, надо! Они все сухи из воды вышли. Бродович писал в газете обиженные статьи, как, дескать, могли его заподозрить. Он-де белее снега, а чует мое сердце, что они и Сторе эту самую толкнули на преступление, и Ипполита запутали.

Томительно прошел обед. Ели молча. Михаил Павлович был мрачнее ночи и сейчас после обеда уехал в летнюю «Благородку», Липочка ушла к подруге, тетя Катя прошла к себе.

Варвара Сергеевна с Федей сходили ко всеобщей в Сергиевское подворье на Кабинетской. Обоим хотелось молиться, но не могли молиться. По-летнему, как будто небрежно, служил иеромонах, и пели только трое, медленно, заунывно, плохими голосами. Молящихся почти не было. С тоскою наблюдал Федя, что мама больше сидела на стуле. Видно, стоять не было сил. Из-под черной шляпки седеющие выбивались волосы, и согнулась она как-то, стала ниже. Уже не гордился Федя своею мамой,стройной и красивой, но жалел ее и боялся за нее.

Вернулись и пили чай вдвоем. В углу сидела няня Клупа, глядела жалостными глазами на Федю и вздыхала.

После чая прошли в гостиную. Варвара Сергеевна принесла вышиванье, она теперь вышивала гладью по полотну замысловатые узоры, которые сама же рисовала. Хотела зажечь лампу, сняла колпак и стекло, да жаль стало керосина. Светлые сумерки были в гостиной, и закатный отблеск падал через пальмы и фикусы, стоявшие на полу у окон.

Варвара Сергеевна долго смотрела внимательными глазами в глаза Федеи.

— Ты да Липочка только и остались у меня,— сказала она.— Миша совсем отбился. Новая фантазия у него. Хочет простым рабочим, слесарем по металлу быть. И заниматься перестал. Живет у товарища под Лугой, а кто его товарищ Бог один знает, может тоже жид. Писала ему несколько раз. На два письма совсем не ответил, а на третье... Да лучше бы тоже не отвечал.

— Что же он, мама, написал? — спросил Федя.

— Да все то же... «Мы люди не только разных поколений, но и разных полюсов. Переписываться, чтоб обмениваться поклонами, недостойно образованного человека, а писать, что думаю, вы не поймете. Я нашел новых людей, свободных, как ветер, буйных как буря, сильных, как гром. В неизвестную даль хочу я с товарищами Гришей и Алексеем пуститься, искать счастья среди природы и народа...» И еще что-то в этом роде. Такого тумана напустил, что и не понять. Послала я ему письмо заказным. Увещевала его. Вернули с отметкой — выбыл неизвестно куда. Я встретила Лисенку, просила его справиться. Он такой милый, простой, пожалел меня, написал на почту, и узнала я, что мой Миша с двумя босяками ушел не то на Волгу, не то на Черное море... Ну, что я могу делать?..

Она замолкла и долго сидела, глядя прямо в глаза Феде. Последние лучи солнца скользнули через крышу, синие сумерки за клубились по углам, сквозь стекла с неспущенными занавесками стало виднее бледное небо, тихое, без ночной глубины, без ярких звезд. Пробили часы с рыцарем и дамой — берегла их Варвара Сергеевна в приданое Липочке — половина десятого, пробили десять, а мать и сын молчали. И точно в этом молчании общались их души. Чужало материнское сердце Варвары Сергеевны, что мятется и бьется дух ее милого Феде, что и у него на душе сумерки и тоска.

— Федя,— наконец сказала Варвара Сергеевна,— скажи мне, что у тебя на сердце? Чувствую, что и тебе не по себе; не случилось ли чего худого? Не попал ли на замечание начальства?

Не сразу ответил Федя. Колыхнуло сердце волнением и боялся, что не справится с голосом, что не сможет говорить спокойно, так, как надо говорить с любимой матерью.

— Нет, мама,— наконец вымолвил он,— начальство ко мне относится хорошо, слишком хорошо, но я... Я сам... я так презираю тебя... А между тем суди меня сама, что я мог сделать!.. Без вины, а виноват тяжко, и не сносить мне моей вины, не искупить ее ничем!..

XXXI

Близко придвинулись серо-синие мамыны глаза. Такие милые, дорогие такие любимые! Им лгать нельзя. И нельзя им сказать про Ипполита. Нельзя в источенное ранами сердце нанести новую рану. Недостойно мужчины. А надо сказать, потому что только она может ему вернуть душевное спокойствие, может снова дать мир и покой возмущенному сердцу и научить — что делать. И знает, и чувствует, что приветно открыто ее материнское сердце, готово принять еще новые страшные раны, лишь бы ими облегчить сыновнюю тоску.

Сбивчиво, путаясь говорит Федя. Замаскировать старается Ипполита, напускает тумана, но чувствует, что видит его милая мама все сквозь туман своими ясновидящими глазами.

— Видишь, мама... Тут такое положение. И так нечестно и этак нечестно... И нет середины. Приходит ко мне человек... Несчастный, жалкий... А ты понимаешь, мама... Это был мой товарищ... Нет больше... друг... которого я очень уважал, очень высоко ставил... И вот у него какие-то вещи,

документы... Я не знаю что, но что-нибудь нехорошее, и просит спрятать... Потому что у него обыск и тогда и он, и многие пострадают... Просит на несколько дней... Пока не удастся их куда-то передать... Надо было отказать, прогнать... А он такой жалкий... точно и ростом стал ниже... просит меня... Ну... я взял... Что делать, мама?... Выдать нельзя... Нечестно... Офицер... солдат... не доносчик...

— Нельзя выдать! — глухо говорит Варвара Сергеевна и опускает печальные глаза. Видны морщинистые веки и поредели пушистые ресницы, болезненные мешки и желтизна под глазами.

— Сегодня... у нас осмотр столиков...— говорит Федя и умолкает.

— Ну?..

— Я думаю: пускай найдут... Я все равно не выдам... Пусть меня накажут... в солдаты... в Сибирь... Мне это легче будет. Ну, виноват — виноват... Капитан Никонов дошел до меня и говорит: «У вас, Кусков, лучшего портупей-юнкера, я осматривать не буду». Тайна осталась со мной. Я сегодня отдал, куда надо... Перед людьми я чист. Никто не знает... Но, мама, как могу я теперь спокойно жить, когда я знаю, что и кто я такое!.. Вот, мама... И вся моя правда!..

Встала мама... Не глядит на Федю. Ходит по гостиной взад и вперед. Шатается, как тень, тихо шмыгает старыми туфлями по паркетному полу... То утонет в сизых сумерках у печки с часами, то станет ясной у темного рояля. Подошла к пустой клетке, что стояла на окне, пожевала ртом, поджала нижнюю тонкую губу... Сморщился подбородок, и жалким, старушечьим стало милое лицо.

И видит Федя, что мама все поняла и знает, что это Ипполит просил его Федю.

Остановилась... хотела сказать что-то и пошла снова. Нагнулась у печки, там все еще лежала подушка-матрасик ее Дамки, подняла подушку, посмотрела на нее и переложила к дивану, где всегда по ночам спала Дамка.

И опять ходит.

Наконец подошла к Феде, остановилась против него и тихо спросила:

— Федя, если бы нашли у тебя?.. Что с тобою сделали... самое малое... принимая во внимание, что ты такой был хороший?

— Перевели бы в третий разряд по поведению, разжаловали бы в рядовые юнкера...— сказал Федя и встал перед матерью.

И снова ходит мама.

— Ты каким вынимаешь вакансию? — говорит мама от часов, и голос ее, как тихий шелест темного кряжистого дуба от налетевшего ночного ветерка.

— Шестым, мама.

— А у последнего какой номер?

— Двести пятнадцатый, мама.

— Что же достанется ему?

— Сколько слышал и знаю по разговорам между юнкерами, остаются Джаркент, Копал, Петропавловск, Камень-Рыболов, Якутск, Барабаш, Адеми: все линейные батальоны, мама.

Ничего не ответила мама. Подошла тихо, как дух, и опустилась в кресло. Стал на колени перед нею Федя и уткнулся лицом в ее колени, как делал это, когда был совсем маленьким. Нежная, мягкая рука тихо гладит его по коротко стриженной круглой голове, и кажется Феде, что горячие капли падают на его затылок.

— Мама,— говорит он, подымая голову.— Но ведь это разлука?

— Да, Федя.

— А тебе не тяжело будет?

— Очень тяжело, Федя.

— Но как же?

— Федя, и я виновата... Виновата за всех. И пойми: тяжело глазам — не видеть тебя, тяжело ушам — не слышать твоего милого голоса, тяжело рукам — не ласкать твоих родных волосиков... Но, милый Федя, родной мой мальчик, как легко душе сознавать, что ты искупил свою невольную вину, что ты чистый, прекрасный... Такой... каким был всегда.

И опять молчит. Тверже гладит мягкая рука по волосам, треплет крепкую, загорелую шею, отбивается от его поцелуев.

Смеется тихо мама.

Часы бьют двенадцать. Скоро придет Липочка. Она не должна ничего знать.

— И Бог, милый Федя, не оставит тебя там,— как-то торжественно говорит мама.— И там... люди живут... Хороших людей ты найдешь там... С линейными батальонами Скобелев и Кауфман завоевали Туркестан, линейные батальоны ходили с Муравьевым к устью Амура — они честные стражи границ великой Российской Империи... Как буду я гордиться тобою! Как буду счастлива получать твои письма! Ты будешь мне часто писать?

— С каждою почтою, мама...

Не гаснут сумерки, не приходит темнота. Напротив, слов-

но яснее становится бледный свет белой ночи и в тишину ее врываются новые звуки. Скрипит на железных петлях калитка, и чьи-то торопливые шаги стучат по двору. Верно Липочка спешит домой. Прогремели по улице дрожки, и стих их грохот, завернули на Кабинетскую. А шаги уже поднимаются по лестнице... Спешат... Сейчас позвонит Липочка.

— Я открою, мама,— говорит Федя.

— Открой, Федя. Устала, верно, бедная Липочка. Спать хочет... Да и ты ложись... Я тебе сейчас на диване постелю.

И только теперь заметили они, что забыли постлать Феде постель.

XXXII

Весь юнкерский батальон был собран в столовой. Под ее обширными навесами, за длинными столами, на скамьях сидели юнкера старшего курса. У них были списки вакансий, и они карандашами отмечали по мере того, как разбирались вакансии. Начальник училища и офицеры вызывали по очереди юнкеров. Младший курс толпился подле столовой на дорожках, под высокими кустами разросшихся, цветущих желтых акаций. Июньское утро было ясно. С военного поля доносились кавалерийские сигналы, треск барабанного боя да резко щелкали выстрелы на стрельбище у Кавелахтских валов.

— Фельдфебель Дальгрэн,— мягким баритоном вызвал батальонный командир.

Дальгрэн, светловолосый, розовый финляндец, с умными глазами навывкате, с загорелыми, усеянными веснушками щеками и белыми усами, маленький, крепкий, сбитый, ладный, ловко подошел к столу и отчетливо сказал:

— Лейб-гвардии в Егерский полк.

«Уплыла единственная егерская вакансия» — подумал знаменщик, портупей-юнкер Комаровский и стал шарить по списку и думать, брать ли Волынский — в Варшаву, или Павловский.

— Вы, Кусков, не думали в Волынский? — шепнул он сидевшему рядом с ним Феде.

— Нет,— коротко ответил Федя, занятый своими мыслями.

— Как вы мне посоветуете: Павловский или Волынский?

— Берите, куда хотите.

— В Павловском уже больно каски хороши.

— Фельдфебель Купонский,— бесстрастно проговорил батальонный.

Рослый, молодцеватый Купонский вытянулся и с места заявил:

— Лейб-гвардии в Московский.

Фельдфебель третьей роты приземистый Николаев заявил о своем желании быть переведенным в Михайловское артиллерийское училище, фельдфебель второй роты казак Земсков выпускался в комплект донских казачьих полков, лист с вакансиями весь был на выбор для Комаровского и Феде.

— Старший портупей-юнкер Комаровский!

— Лейб-гвардии...— запинаясь и краснея проговорил красивый Комаровский, он только что гадал по бумажкам, куда выйти. Вышло: в Павловский... Он покраснел еще больше и мучительно выкрикнул: Волынский полк.

— Старший портупей-юнкер Кусков,— медленно произнес батальонный, выжидая, пока адъютант запишет Комаровского.

Тихо, но отчетливо выговорил Федя:

— В 7-й Туркестанский линейный батальон.

Стало тихо. Кто-то сзади ахнул. Несколько юнкеров приподнялись, чтобы лучше видеть отчаянного портупей-юнкера, пренебрегшего сотнею блестящих стоянок, чтобы ехать в Джаркент, ни на какой карте не обозначенный, да еще в линейный батальон. Стоило кончать шестым военное училище, когда для этого было достаточно пройти «Сморгонскую академию», как презрительно называли юнкера С.-Петербургское пехотное окружное училище, намекая на известный промысел Сморгони — дрессировать для ярмарки медведей...

Начальник училища нахмурился.

— Куда? — переспросил он.

— В 7-й линейный Туркестанский батальон.

— За чембарами погнался,— прошептал кто-то в толпе юнкеров.

— Позвольте, ваше превосходительство,— сказал Семен Иванович, обращаясь к начальнику училища,— приостановить на минуту разборку вакансий. Я поговорю с ним. Неделю тому назад он говорил мне, что выходит в Новочеркасский полк.

— Да, да, поговорите, пожалуйста. Такому молодцу надо идти в гвардию. Помилуйте, перед ним — московская, гренадерская, павловская, финляндская, две стрелковых вакансий и вся варшавская гвардия... Это какая-то дурь.

— Кусков, пожалуйста сюда! — позвал Федю Никонов.

Ротный взял Федю под руку и повел его к лазарету. Там, по широкой дорожке садика, он стал ходить с ним взад и вперед.

— Что с вами, Кусков? Я не понимаю, что случилось. Вы знаете, куда вы выходите? — говорил Семен Иванович.

— Так точно, господин капитан, — сказал Федя.

— Батальон стоит на китайской границе, едва ли не в самом Китае. Быть может, даже в Кульдже. Я даже не знаю, стоит ли он вместе или поротно. Сопьетесь там... Глушь... Дыра... Пустыня, по дорожнику 1096 верст от ближайшей станции. Что вы там будете делать?.. Ну, желаете идти в Туркестан, идите в Ташкент, все на железной дороге. Хотя и там пьянство, игра в «мяу» и бог знает что. Почитайте Щедрина! Нет, нет, Кусков, вы, краса училища и Государевой роты, должны служить в гвардии, а не на краю света. Туда кандидатов достаточно. Ведь это все равно, что добровольно сослать себя в ссылку в места весьма отдаленные.

— Мое решение твердо, господин капитан.

— Что же, слава Пржевальского влечет вас? Тогда кончите сперва академию. Путешествовать, не зная ничего, не умея сделать астрономического определения места, бесполезно... — говорил капитан, сердясь на своего любимца.

— Господин капитан, — твердо сказал Федя, — разрешите мне идти туда, куда я хочу. Я такой зарок дал. Это мое право.

— Ну, идите... идите. Куда хотите... Но я не понимаю.

Капитан резко повернулся и пошел, блестя на солнце белым длиннополым кителем, обратно в столовую.

— Старший портупей-юнкер Лебединский, — вызвал батальонный.

— Лейб-гвардии в Финляндский полк...

Разборка вакансии шла дальше, не нарушаемая никакими неожиданностями. Листы списков у юнкеров покрывались черными полосами зачеркнутых вакансий и последние ученики торопливо соображали, что взять. Ушли все петербургские, московские, варшавские, киевские вакансии, быстро были разобраны Кавказ и Крым, стали чаще слышаться наименования полков с крупными номерами, глухие стоянки Польши.

— В 65-й лейб Бородинский полк...

— В Тарутинский.

— В Устюжский.

— Ну, как ты здороваться будешь, чучело, — шептали товарищи, — здорово, устюжстцы. Не выговоришь натошак.

Вызывали уже третьеразрядных... Тот, у кого нашли

Рылеева, ухитрился заполучить вакансию в резервный батальон в Самару, юнкеров пугало слово: резервный. Владелец литографированных сочинений Толстого ухватил себе Красноярскую конную казачью сотню и успокоился на желтых лампадах и высокой казачьей папахе.

Оба получили лучшие стоянки, чем Федя, шестой ученик, ничем не запятнанный, числящийся в первом разряде по поведению.

Когда по окончании разборки шумливо расходились по баракам юнкера, помпон Старцев догнал Федю.

— Кусков, как я вас понимаю! — говорил он, по-женски ласкаясь к Феде. — *Les chants desesperes sont les chants les plus beaux* *. Я так и г'исую себе. Пустыня, тиг'гы, одиночество, и вы со своими высокими мыслями. Вег'ьте мне, что в одиночестве вы найдете счастье. Вы уйдете от пошлости миг'а... От людской мег'зости!

Федя невольно поежился. Дело было сделано... И, когда красота решения превратилась в действительность, ему стало страшно. Он смотрел на Старцева, загоревшего и огрубевшего в лагере. Помпон не казался увлекательно красивым. И Федя думал: «Да легко все это говорить про другого, а пошел бы ты сам испытать эти *chants desesperes*? Небось будешь стараться попасть в Преображенский или Измайловский, чтобы ломаться по петербургским гостиним». И первый раз Федя почувствовал отвращение к людям и испытал жуткий страх сознания, что другой никогда тебя не поймет. «Недаром, — подумал он, — и пословица говорит: чужую беду водой разведу, своей ума не найду!».

XXXIII

Жизнь в кипении занятий и заботах о постройке обмундирования неслась быстро. Малиновые, бараньей кожи, чембары и белая с назатыльником фуражка несколько успокоили Федю. От них веяло чем-то экзотическим, азиатским. Они напоминали картины Верещагина, так страстно любимые Федей, искренно считавшим Верещагина величайшим в мире художником.

Дома его баловали. Дядя Володя подарил ему целую библиотеку о Средней Азии. Тут были и сочинения Пржевальского, и описания походов на Хиву Бековича-Черкасского и войны в Туркестане Черняева, Кауфмана и Скобелева,

* Песни отчаяния — самые прекрасные песни...

и описания Бухары и Хивы. Но больше всего его тронула мама. Федя знал, что она едва сводила концы с концами, что столовое серебро давно заложено и квитанции на него переписывались, обедали на старой скатерти, чай пили на клеенке, няню Клушу устроили в богадельню, мама носила третий год одно платье и все ту же черную косынку, и вдруг она, за несколько дней до производства, подарила Феде прекрасное дуствольное ружье двенадцатого калибра со стволами Франкотта, центрального боя, с красивыми крытыми коричневым лаком курками, и с резьбой у замков, изображавшей лисиц, зайцев и оленя.

— Мама! Да что же ты!.. Да как же это можно!... Мама... Нет... откуда?.. Ведь это, поди, поболее ста рублей стоит!

Варвара Сергеевна не скрывала. У нее были еще старые брошки. Она берегла их для Липочки и вот, вместе с Липочкой, они решили продать эти ненужные им брошки и подарить Феде хорошее ружье.

— Мы хотим,— говорила Липочка, сидя рядом с матерью,— чтобы ты, Федя, всегда нас помнил... Мне не нужно... Замуж я никогда не выйду. Нарядиться мне не к лицу... Я, милый Федя, примирилась с тем, что я опавший листок. Мне ничего не нужно!

Странно было слышать это Феде. Он вспоминал, как еще так недавно сестра говорила ему нетерпеливо:

— «Сядь в калошу!»

Впрочем, это «так недавно» было так давно, давно, когда живы были Андре и Лиза, когда не томился в заключении Ипполит и весь их дом кипел жизнью детей. Тогда громко лаяла, виляя хвостом, Дамка, и спал у подушки на его постели серый, полосатый Маркиз де Карабас.

И Феде нечего было ответить ей. Все ушло, и судьба, правда, разметала их всех, как опавшие листья.

Были тяжелые большие маневры. Двенадцать дней колесил по окрестностям Красного Села их батальон. Юнкера обливались потом на жарких солнечных лучах, мокли под дождями, дрожали холодными, серыми ночами на голой земле, в маленьких палатках *tente abris*, под шинелями. Исхудали, почернели... Пять юнкеров захворали дизентерией и были увезены в госпиталь. Плечи были растерты в кровь вещевыми мешками, ноги раздулись и саднили от тяжелых, никогда не просыхавших сбитых сапог, а сами юнкера казались подурневшими, измученными, со ввалившимися усталыми глазами.

В сутолоке маневренных боев, среди белого порохового дыма, треска выстрелов, свиста бумажных пуль, грохота орудий, после переходов по глинистым, размокшим лесным

дорогам, по тридцать, сорок верст в день, с поздними обедами то в ротных котлах, то в котелках, изготовленными темными ночами под косыми струями дождя, обалдевшие юнкера уже потеряли сознание, какой день, какое число, и знали одно: все это кончится и будет производство!

Батальон подняли с бивака в четыре часа утра, когда еще солнце не встало и все кругом было покрыто густым слоем белого тумана. В нем едва намечался ближайший козел составленных ружей и прозябший дневальный в мокрой, колом топорщащейся шинели. Он проходил вдоль козел и пронзительно и противно кричал:

— Вставать... вставать. Государева рота! Последний раз вставать!

С глухим ворчанием поднимался батальон.

Балили и расшнуровывали палатки, разбирали серые, почерневшие от непогоды полотнища, веревки, полустойки, приколыши. На сжатом ржаном поле, на колющей руки соломе, помогая друг другу, катали шинели и прикрепляли к ним палаточное полотно, стойки и котелки.

— Кусков, помогите мне,— говорил видный Купонский. Он, только что вымывшийся в ручье, в ярко начищенных сапогах, шароварах и нижней рубахе, скатывал шинель.

— Сегодня, Кусков, надо поаккуратней одеться. Сейчас каптенармус будет выдавать чистые рубахи. Сегодня производство. Подтвердите взводу, чтобы котелки начистили как следует. Ваш князь Акацатов все никак не научится скатку катать... Вы сегодня же домой?

— Да, мои здесь, в городе.

— Нет, я завтра... Помоюсь в бане сегодня и завтра прямо в парадной форме. Батальонный приказал в парадной форме. Батальонный приказал училищную баню протопить.

На полускате, у речки, где еще гуще лежал туман, горели желтыми огнями, дымя и чадя, костры. Над пламенем висели черные, закоптелые котлы. Кипятили чай. На земле были длинными рядами расставлены глиняные кружки. Дежурный по кухне раздавал белые булки, только что выпеченные в соседней немецкой колонии. Сизыми силуэтами рисовались в тумане юнкера, стоящие, сидящие, лежащие с кружками чая. В стороне от них, блестя инструментами, собирались старые солдаты, училищные музыканты, по прозвищу «пески». Их трубы и барабаны были начищены. Стройный, высокий солдат, штаб-горнист, седлал лошадь начальника училища.

Туман осел к земле, и чистое, ясное, без единого облака светло-бирюзовое небо куполом раскинулось над полями.

Стали видны кусты ивняка с длинными тонкими листьями, сверкающие алмазами росы, паутина на них казалась в косых лучах восходящего солнца куском перламутра.

Все стало радостным и веселым. Составленные винтовки с новыми, только что натянутыми желтыми ремнями сверкали серебром штыков. Ярko горели золотые бляхи с пылающей гранатой на поясах. Котелки на скатанных шинелях, разложенных рядами на примятой соломе, казались языками красного пламени.

Соседний батальон Константиновского училища, «констаперы», выгнал какого-то зачумелого от массы людей зайца и с криком и гиканьем гнал его на «павлонов».

— Ату! Держи... держи его!

Под лучами солнца вскипала молодая кровь, распрямлялись мускулы и исхудалые, вымытые лица блестели красотою молодости.

— Строиться! Господа юнкера — строиться!..

Юнкера разбегались по местам, надевали тяжелые мешки и скатанные шинели и, сверкая котелками, выравнивались на истоптанном поле за ружейными козлами.

Кто-то поджег солому, кто-то бросил в огонь холостой патрон, треснул взрыв, сизый дым стлался, сливаясь с остатками тумана, быстро разгоняемого солнцем...

В свежем кителе при орденах, в фуражке «корабликом», с большим старомодным козырьком, на гнедой лошади подъехал батальонный, полковник Щегловитов, и поздоровался с юнкерами.

— Батальон — в ружье! — басисто скомандовал он.

Звякнули расцепляемые штыки тяжелых берданок, исчезли козлы, последние следы бивака.

— Батальон! Равняйся!..

Портупей-юнкер Комаровский принимал от высокого рыжебородого батальонного адъютанта знамя, длинное белое древко с металлическим копьём, без признака полотнища, с одними тяжелыми кистями.

— Батальон! На пле-е-чо!

С видом заправского гвардейца-волынца, сурово хмурясь и отбивая по земле носком, Комаровский приближался за адъютантом к фронту.

— Под знамя — шай! На краул!

Затрещали барабаны и заиграл армейский поход оркестр «песков». Салютовали, опуская шашки, офицеры, и юнкера смотрели и думали: «вот так же скоро и мы будем салютовать».

Знамя стало на фронте третьей роты.

— Батальон, на пле-чо!... К но-о-ге!..

И сейчас же:

— Ружья во-о-ль-но! Справа по отделениям!

Батальон выходил на шоссе, примыкая к длинной колонне войск северного отряда, наступавшего на Петербург...

XXXIV

Со стороны Кавелахтских высот, от Дудергофа, Горской и из главного лагеря длинными белыми змеями тянулись бесконечные колонны и разворачивались на военном поле. Южный отряд наступал на Арапакози, Лабораторную рощу и правым флангом захватывал Кирпуны и Телези. Батареи занимали позицию по вершинам Кавелахтского хребта.

У Царского валика, с большой белой палаткой, охраняемой часовыми, чернели линейки Гофмаршальской части. Там готовили Высочайший завтрак.

Пахло осенью. В воздухе плыла паутинка. Отдохнувшее от войск военное поле зеленело свежее травой и цветами осенней ромашки. Пустые бараки авангардного лагеря с заколоченными окнами и грязными дорогами, где валялась соломка и обрывки бумаги, тянулись серой линией по краю поля. Нежилою скукой веяло от них.

Ровно в половине девятого где-то от Высоцкого раздался густой звук пушечного выстрела, большой клуб белого дыма вылетел над желтыми полями, покатился в воздухе и медленно растаял. Авангарды северного отряда обнаружили позицию противника. По Ропщинскому шоссе показались густые массы кавалерии. По обеим обочинам шли рысью кирасирские эскадроны и пыль не поднималась с сырой, набухшей от дождя дороги.

Из-за батареи на Кавелахтских высотах заалели гусары и алыми маками посыпались на военное поле.

Из Красного Села показалось несколько троек. Звон бубенцов радостно трепетал в осеннем воздухе.

Государь император ехал со свитой к Царскому валику, где для него были приготовлены верховые лошади.

В длинном пехотном сюртуке, туго подпоясанный серебряным шарфом, в тяжелых сапогах, государь сел на лошадь. Конюшенный офицер легко подсадил на прекрасную карачковскую английскую кобылу маленькую ловкую императрицу Марию Федоровну. Сопровождаемая Великой княгиней Марией Павловной и детьми на маленьких пони императрица поскакала широким галопом к гусарскому полку, выстраивавшему фронт для атаки.

Кирасирские полки белыми линейками эскадронов и квадратами резервных колонн покрыли желтое жнивье красносельских полей от Михайловской до Красного Села... Часто фыркали громадные гнедые, вороные, караковые и рыжие кони, и от топота двух тысяч конских ног гудела земля. Из Красного Села веером рассыпались по зеленому полю казаки в красных и голубых шапках и неслись карьером навстречу строгим линиям гусарских эскадронов... Щелкали выстрелы винтовок. Белый дымок таял в воздухе... Протяжный гик звучал над полем...

Дразнила казачья лава гусар.

Конные батареи, звеня орудиями, опережали казаков. В струну вытянулись рослые, легкие лошади уносов... Прислуга на скаку срывалась с седел и бежала отцеплять пушки, и — бомм! бомм! — мягкими белыми клубами окутались пушки на флангах казаков.

Кавелахтские высоты ответили громом десятков орудий. Из Гаргинского и Новопурского лесов выходили бесконечными цепями гвардейские стрелки. Белые рубахи спускались на поле... Кавелахтские холмы покрылись тройною гирляндой белых дымков. Резко звенели в воздухе кавалерийские сигналы. Маневренный бой начался столкновением кавалерии.

Несколько минут все военное поле было покрыто скачущими всадниками... Белые линии кирасир столкнулись с алыми и черными линиями 2-й дивизии и остановились. Посредники разводили полки... Поле освобождалось от конницы... На него выходила пехота. Часто и грозно гремели с обеих сторон пушки...

Полк военных училищ свернул на полевую дорогу и бегом спешил к военному полю.

У Федей ныли растертые мешками в кровь плечи. Скатанная шинель горячо грела грудь и спину.

Перед Федей открывалось мутное от дыма и кисло пахнущее порохом поле. Училищный батальон перестроился поротно сзади каких-то пехотных масс. Первая и вторая роты рассыпались цепями и побежали по артиллерийскому полигону, изрытому воронками гранат и поросшему мелким кустарником.

На несколько мгновений залегли в балочке, вскочили и побежали туда, где часто, точно торопясь израсходовать патроны, стреляли солдаты. Ясными стали мундиры противника, малиновые погоны, ранцы и барашковые шапки стрелков. Сейчас атака... Странно колотилось сердце, точно чуяло за шумною игрою призрак крови и смерти.

Вдруг слева, разрезая грохот пушек и трескотню ружей, над вспыхнувшим где-то далеко, на середине поля, «ура», раздался резкий, певучий сигнал... Его повторили вправо... Впереди протяжно завывали пехотные горны. Ближе... Дальше... Все поле, на много верст, огласилось звуками труб и горнов. Играли: отбой!

Пушечные громы оборвались. Не сразу смолкла ружейная перестрелка. Так, разогнавшись, бешеная тройка не может сразу остановиться... Наконец все стихло. Низко неслись пороховые туманы. В их сизом отсвете голубыми теньями двигались люди. И несколько мгновений казалось, что на поле была полная тишина. После пушечного грохота и ружейной трескотни, после звуков сигналов голоса людей не были слышны. Солнечные лучи робко проникали в пороховую гарь и сеяли бледно-желтый свет на поле, покрытое войсками. Вот где-то раздалась команда, грянул оркестр, и сейчас же, нарушая тишину, понесся по полю ликующий выклик: «Здравия желаем, Ваше Императорское Величество-о-о-о... рады стараться, Ваше Императорское Величество-о-о!».

Государь объезжал полки.

Федя и фельдфебель Купонский обчищали друг друга сапоги и шаровары. Крутом чистились и переговаривались юнкера.

— Как жаль, что вы, Кусков, не взяли гвардейской вакансии. Смотрите, какая красота! Мой полк во-он стоит... Видите? — говорил Купонский, показывая рукою на край поля. Лицо его светилось счастьем.

Федя молчал. Сердце его сжималось и не знал он, чего было в нем больше: радости предстоящего производства или тоски перед неизвестным будущим.

— Вы могли в стрелковый императорской фамилии батальон выйти. Вы посмотрите, что там за люди! — говорил Купонский, обдергивая на Феде рубашку. — А форма!.. Конфедератки с ополченским крестом!.. Очарование!..

— Что сделано, то сделано, — со вздохом сказал Федя.

Разговор тяготил Федею, и он обрадовался, когда раздалась команда:

— Господа юнкера старшего курса, построиться поротно, без винтовок.

XXXV

Юнкеров подвели к Царскому валику. Пороховой дым рассеялся. Крестообразный валик с палаткой резко рисовался на синем небе. За валиком, на зеленой траве, были разо-

стланы длинные скатерти. По ним были разложены тарелки, ножи, вилки, стаканы и рюмки. Поодаль темной массой стояли экипажи, запряженные прекрасными лошадьми. Пажи и юнкера Николаевского кавалерийского училища уже вытянулись длинной линией, к ним примкнул Купонский. Белая линия юнкеров протянулась от Царского валика до Лаботорной рощи.

Федя чувствовал боль в ногах. Саднило плечо... Мысли, как облака по небу, разбежались по всей его жизни. Вспомнил Бродовичей, их дачу, Соню, игрушки Абрама... Страшно стало за Ипполита. «Что замышляли они и его брат против императора, чье одно присутствие наполняет все сердца волнением и умиленным счастьем?.. Почему хотели они какой-то перемены, когда все, что было и есть, так прекрасно? Если бы все, что было — было сном... Проснуться и знать, что Ипполит у него не был... Что его ожидает Новочеркасский полк... Но Лиза повесилась или повешена кем-то в деревне... Ипполит арестован, Миша пошел в босяки... Его ожидает разлука с матерью... Кто сделал все это?.. Кто?.. Для чего?.. Для чего разрушили их маленькое счастье?!».

Юнкер Романченко, худощавый, бледный, беловолосый, стоявший подле Феди, упал в обморок.

— Фельдшера!.. Фельдшера!.. — раздались голоса.

Романченко отнесли в сторону. С него сняли скатку... Какая-то изящная дама, может быть это была великая княгиня, наклонилась над ним. Романченко пришел в себя, застенчиво улыбнулся, оправился и пошел в строй.

От Царского валика шел к юнкерам государь.

Уже много раз, и близко, видал государя Федя. Но никогда он не замечал на нем того оттенка грусти, что лежал теперь на его лице. Оно было бледно, и большие глаза смотрели печально.

«Почему грустен государь? — мелькнуло в голове Феди.— Он, верно, сознает, что за радостью производства ждет трудовая жизнь офицера... За золотом эполет — тяжелый долг службы...».

Государь поздоровался с юнкерами. Он остановился против них и секунду помолчал. Эту секунду молчания уловили только юнкера. Им каждый миг казался вечностью.

— Поздравляю вас, господа, офицерами, — отчетливо и громко сказал государь.

— Покорнейше благодарим, Ваше Императорское Величество... Ура!..

Государь подождал, когда стихнет взрыв первого востор-

га. Потом сказал просто и ясно, и Федя навсегда запомнил его слова:

— Служите Родине, господа, честно! Берегите для нее своего младшего брата — солдата! Любите и жалеете его!..

Он приложил руку к фуражке и пошел к правому флангу, где стояли пажи. Императрица и великие княгини шли за ним и передавали приказы своим камер-пажам. Дежурный генерал-адъютант и флигель-адъютант раздавали приказы юнкерам. Государь шел по фронту, останавливался, задавал простые вопросы и смотрел ясными глазами в глаза каждому юнкеру.

— Фельдфебель Купонский, Ваше Императорское Величество!

— Лейб-гвардии в Московский полк.

— А-а! Будем, значит, видаться. У вас родные есть в Петербурге?

— Никак нет, Ваше Императорское Величество. У меня только мать в Пензе.

— Поедете к матушке, поблагодарите ее от меня, что такого молодца вырастила.

— Старший портупей-юнкер Кусков, Ваше Императорское Величество,— проговорил Федя. Он смотрел в глаза государю и так тянулся, что, казалось, вот переломится.

— Куда вышли?

— В 7-й линейный Туркестанский батальон, Ваше Императорское Величество.

— У вас там кто-нибудь есть?

— Никак нет, никого нет.

Как будто тень удивления прошла по ясному лицу государя.

— Служите честно!.. Мне нужны на окраине особенно хорошие офицеры... Не скучайте... Не пьянствуйте... Станет очень трудно: напишите мне. Да хранит вас Господь!..

В глазах у Феди потемнело, и он не упал только потому, что привык стоять навытяжку. Словно во сне он слышал, как назвал себя мягким басом правофланговый:

— Юнкер Башилов, Ваше Императорское Величество,— и государь сказал ему: «Выше меня будете».

Феде солнце казалось мутным. Как в облаках какого-то пара двигались люди, проехал конвойный казак. Красные искры металась перед глазами, и в ушах непрерывно звенело. Налетел легкий прохладный ветерок, ледяные капли пота выступали из-под бескозырки.

— Что с вами? Вам дурно, Кусков,— прошептал Купонский.

— Нет... ничего... пройдет...— пробормотал Федя и

почувствовал, как медленно возвращаются силы и яснее поле.

Государь обошел фронт и ушел в палатку на валике.

Шумною толпою возвращались произведенные офицеры к батальону, где за составленными ружьями лежали юнкера. Кавалеристы разбирали лошадей и взапуски скакали к баракам лагеря.

Батальон Феде разбирал ружья.

По полю гремела музыка, и полки за полками расходились по лагерям. Со звоном неслись тройки к Красному Селу, и быстро пустело военное поле. Лакеи собирали посуду и скатерти и укладывали в ивовые корзины.

Лагерь, маневры, производство — все было кончено... Военный год совершил свой круг и начинал новый.

Скукой веяло от истоптанного голого поля.

XXXVI

— Прощайте, князь Акацатов, кто-то будет муштровать вас теперь по вечерам!

— Прощайте, Ценин. Не кушайте так много хлеба... А, Старцев, как мило, что вы пришли проводить меня!

Федя стоял у своей юнкерской койки, окруженный товарищами, и пожимал им руки. Он уже был одет в длинные брюки с кантом и двубортный офицерский сюртук. Шашка на черной лакированной портупее висела сбоку. Ротный зал горел в солнечных лучах.

Из коридора, отдаваясь эхом о молчавшие все лето пустые стены, неслась училищная «Звериада»:

Прощайте все учителя
Предметов общей нашей скуки,
Уж не заставите меня
Приняться снова за науки!
И наливай, брат, наливай-ай
Все до капли выпивай!

В тон песне раздавались веселые голоса:

- Господа, вся третья дивизия в Кан-Груст.
- Гренадер просим в Демидов сад к девяти часам.
- Гвардия в Аркадию!

Прощайте иксы, плюсы, зеты,
Научных формул легио-он,
Банкеты, траверсы, барбеты,
Ходьба в манеже под ружьем...

У училищного подъезда длинной вереницей стояли извозчики. Юнкера и офицеры разъезжались по городу.

Федя окинул последним взглядом роту, посмотрел на образ Михаила Архангела, еще и еще раз пожал руки и вышел в коридор.

Два прожитых года показались мгновением. Вся прожитая жизнь была так коротка, и память упиралась в туманы детства и небытия.

Вся жизнь разворачивалась впереди, как длинная дорога.

Накинув легкое светло-серое пальто, Федя вышел из подъезда и сел на извозчика. Он почти никогда не ездил на извозчике и неумело уселся на дрожки. Стесняли маленькие сапоги, шашка мешала и путалась под ногами. Юнкера, расходившиеся из училища, городовые и солдаты отдавали ему честь. Трудно было привыкнуть отдавать ее обратно, и хотелось быть вежливым. Два раза он и сам отдал честь офицерам и потом уже соображал, что он офицер. Какой-то внутренний смехок смеялся внутри, и странно было думать, что еще рано утром было сжатое поле у Кипени, ходили по нему молочные волны тумана, стояли среди соломенной щетки глиняные кружки и он, прозябший после ночи в палатке, пил чай.

Как давно все это было. Точно несколько лет назад он шел в цепи по неровному полю, шмыгали ноги по кустам голубики и терпко пахло от низкого можжевельника!

Извозчик ехал медленно, и хотелось ехать скорее и так сладки были эти минуты, что хотелось их протянуть. Ехал по Дворцовому мосту, смотрел на Неву и мысленно прощался с нею.

В Летнем саду густо разрослись столетние липы и местами желтели... Милый, родной Летний сад!.. Феде казалось странным, что никто не обращал на него внимания. Девочка катила по Летнему саду большой желтый обруч и, докатив до ворот, повернула назад, не взглянув на Федю... «Разве они не знают, что я — офицер?!» — подумал Федя.

На Фонтанке от наваленных горами вдоль набережной дров пахло смолой и грибами. Извозчик свернул на Невский... Булочная Филиппова... «Купить разве маме калачей!..» Но показалось почему-то неловким. Он — офицер!.. Воспоминания плыли мимо него. «Продажа дров» на Троицкой, длинный забор, открытые ворота и грязная, черная, усыпанная стружками дорога с блестящими колеями.

По-родному у пяти углов зазвенела конка...

Вот и последний поворот... Ивановская. Хмуро косит на Федю коричневая гимназия.

Федя слез с извозчика. Вошел во двор.

Пусто на дворе. Желтая с белым кошка греется на солнце. Увидала Федю, вскочила и побежала на второй двор, где когда-то стояли экипажи Савиной.

Привычным движением Федя вскинул голову к окнам пятого этажа и сейчас же увидал прижавшееся к стеклу милое лицо мамы.

XXXVII

Варвара Сергеевна знала, что в этот день — производство. Она знала, как оно будет, и по часам рассчитала, когда Федя должен приехать.

«В час дня кончатся маневры, и, значит, около двух Федя станет офицером... Сейчас домой... Около трех, в начале четвертого, он должен войти во двор...» Она первая его увидит. Работа с утра валилась из рук. Утром Варвара Сергеевна ходила во Владимирский собор, к обедне, потом накупила булок, пирожных, конфет, бутылку вина и красной смородины, так любимой Федей. В час села с тетей Катей за завтрак, но ни к чему не притронулась. После завтрака накрыла стол для себя и Федей и в три часа стала у окна ждать. Мысли Варвары Сергеевны следили за Федей. Вот он пришел на станцию, взял билет, уже не в третьем классе, как нижний чин, а во втором, и едет домой. «Вот он вышел, взял без торга извозчика, где уже там торговаться, поди торопится — и вот... вот... он уже давно должен быть у ворот. Господи! Уже не случилось ли чего!».

Варвара Сергеевна вздрагивала при каждом треске дрожек. Ехали и ехали... И кто ехал?.. Зачем ехали?.. Его — не было. Дом был еще пуст, жильцы не съехались с дач. Никто не входил в ворота. Било четыре, и Михаил Павлович вышел на прогулку для моциона. Пора накрывать к обеду. Варвара Сергеевна попросила тетю Катю посмотреть в окно, сама стала накрывать. Торопилась, кое-как ставила тарелки. Ревновала к тете Кате, что она первая увидит Федю и ей первой поклонится Федя офицером. И как только накрыла, снова подошла к окну.

Липочка качающейся усталой походкой прошла через двор.

— Ну как Федя? — еще из передней спросила она.

— Нет еще.

— Что же это, мама? Не ошиблись ли? Сегодня ли?

— Сегодня. Сама читала. Разве перемена какая? Да нет,

дядя Володя написал бы или зашел сказать. Уж я и ума не приложу, что могло задержать.

Говорила, а от окна не отрывалась. Следила, как медленно ползла тень от главного флигеля. Когда начала смотреть, весь двор, залитый свежим асфальтом, блестел на солнце. Теперь тень от дома закрывала больше половины двора и Федя пойдет уже не озаренный солнцем.

«И когда надвинулась эта тень? — думала Варвара Сергеевна... — Как я ее не заметила?»

Михаил Павлович, сгорбившийся, жалкий в своем черном, узком, коротком пальто, прошел обратно.

— Приехал Федя? — спросил он.

Варвара Сергеевна махнула рукой.

— Ну, давай, мать, обедать.

Варвара Сергеевна сидела как на иголках. Рассеянно разливала суп, резала жаркое — она приготовила утку для Феди, а сама прислушивалась, не стучат ли по лестнице знакомые торопливые шаги, через две-три ступеньки... Вот-вот задребезжит колокольчик.

Михаил Павлович, как нарочно, долго сидел за столом. Он медленно курил дешевую сигару, которую называл «Regalia Capustissima», и ворчал:

— Дождешься, матушка! Поди с товарищами закатился куда-нибудь по значным местам опрыскивать эполеты. Что ему, что мать волнуется.

— Нет, не такой Федя, — робко защищала Варвара Сергеевна.

— Все они одинаковые... Хороши! Современное поколение... А мы, дурни, радовались детям. Вот будут утешать, ублажать на старости.

— Грех так говорить, Михаил Павлович. Мало ли что могло случиться.

Было тяжело. Ревнивая обида против воли закрадывалась в душу.

Накопец в шесть часов Михаил Павлович ушел в свой кабинет отдохнуть перед клубом, и Варвара Сергеевна, поручив Липочке прибрать стол, а кухарке держать обед на плите и поставить самовар, поспешила опять к окну.

Солнце освещало лишь узкую полоску у самой их двери, и там шурилась и грелась полосатая желтая с белым кошка старшего дворника.

Тетя Катя подошла и сквозь ветви филодендрона заглянула в окно.

— Ишь, кошка умывается, — сказала она. — К гостям, значит. Сейчас и приедет.

Постояла и отошла.

Кошка умывалась, и хотелось верить, что это неспроста. Но против воли вставали в голове ужасы. Мало ли что могло случиться! Говорят, ни одни маневры не проходят без несчастных случаев. То задавят кого-нибудь, то пушкой убьет... Мог и заболеть, солнечный удар мог случиться... Мало ли что!

Медленно и звонко, каждым ударом отдаваясь в сердце Варвары Сергеевны, часы с рыцарем пробили семь. Кошка улеглась в крошечном четырехугольнике света. Весь боковой флигель был под косыми солнечными лучами, стекла в верхних этажах блестели так, что было больно глазам.

В своих думах Варвара Сергеевна прослушала, как подъехал извозчик... Но шаги в воротах сейчас же узнала. Шибко забилося ее сердце. Федя шел быстрыми шагами стройный и тонкий в светло-сером пальто с золотыми погонами и пуговицами. Он сейчас же увидел ее и замахал ей рукою.

Она хотела броситься в прихожую, чтобы самой открыть дверь, как много раз открывала, когда он был гимназистом, кадетом и юнкером, но вдруг отяжелели и стали мягкими ее ноги, в глазах потемнело и она, шатаясь, едва дотащилась до дивана.

— Липа! Липочка! — слабым голосом позвала она. — Открой! Федя...

Все завертелось у нее перед глазами.

Липочка побежала в прихожую.

— Мама! Что с тобою! Какая ты бледная!

— Ничего, Липа... Это так. От радости... Пройдет... Сейчас пройдет... Открой же!

— А мама? — услышала она, как сквозь сон, тревожный вопрос Феи.

— Я здесь... Так, сомлела немного, — проговорила слабым голосом Варвара Сергеевна и сейчас же почувствовала горячие поцелуи на руках и как во сне увидала, как склонилась перед нею на колени стройная фигура в темном сюртуке со светлыми погонами. Круглая голова с мягкими, шелковистыми, отросшими волосами просунулась ей под руку... и сознание вернулось к ней.

XXXVIII

Через час она сидела за столом. Липочка подкладывала брату куски разогретой утки, и он ел не глядя и торопясь рассказывать. Михаил Павлович ходил по комнате, в пальто

и в шляпе, и слушал сына. Он притворялся недовольным, но счастье семьи захватывало и его.

— Что же так долго не шел? — спросила наконец Варвара Сергеевна.

— Знамя, мамочка, относили. Да как! Мы сложились и дали «пескам» сто рублей, и они всю дорогу, по Вознесенскому, то польку, то беглый марш играли, и мы лупили таким шагом, что извозчики рысью не могли нас догнать. Знамя принял Старцев. Он очень красивый, — сказал Федя, — и к Рождеству будет старшим портупей-юнкером.

Потом рассказывал Федя, как государь говорил с ним и сказал ему «храни вас Господь».

— Ты знаешь, мама, он такой добрый, он такой хороший!.. А императрица! Вот уже точно Ангел Небесный!.. Подумай, мамочка, теперь можно тридцать шесть дней отдыхать.

— Да разве отпуск такой большой? — спросила Варвара Сергеевна.

— А поверстный срок! Я, мама, рассчитал. По железной дороге считают триста верст в сутки и на лошадях семьдесят пять, а мне более пяти тысяч по железной дороге и тысяча шестьдесят четыре на лошадях. Вот и набежало целых семь дней.

— Не опоздай только, Федя. Я знаю, ты рад для меня. А ты обо мне не думай. Служба прежде всего.

Долго сидели они этим вечером в гостиной. Федя с матерью на диване, Липочка в кресле у стола и тетя Катя в углу под часами.

— Ты, Федя, к няне Клуше съезди, — сказала Липочка.

— Как же, непременно. Завтра утром, мама, мы с тобою к «Спасителю» поедem, а оттуда к няне... Я думаю, и к mademoiselle Suzanne надо съездить.

— Да, — сказала Варвара Сергеевна, — заезжай. Ведь она тебя выходила, когда ты был болен тифом. Она такая одинокая.

— А обедать у дяди Володи будем, — сказала Липочка. — Тетя Лени тебе сюрприз приготовила. А какой не скажу.

— Тетя Лени такая душка!

— По-прежнему влюблен? — сказала Липочка.

— В тетю Лени! — восторженно воскликнул Федя, — как всегда... А что, мама, Ипполита нельзя навестить?

Покрылись пятнами щеки Варвары Сергеевны.

— Тебе, я думаю, нельзя. Меня-то пускают, но при свидетеле.

— Что же Ипполит?

— Ничего,— со вздохом сказала Варвара Сергеевна.— Читает очень много.

— Позволяют?

— Грех жаловаться. Обращение хорошее. Со стороны ему помогают. Бродовичи как-то умеют и книги, какие он хочет, доставить ему. Ведь вот, Федя, жиды, прости Господи, всюду сумеют и найдутся. Жандармский полковник у них бывает, вышли они сухими из воды, ничего их и не тронули, а бедный Ипполит пострадал. А, прости меня Господи, всему коновод Соня.

— В чем же обвиняют Ипполита?

— В пособничестве Сторе. Уже доказано, что Сторе была у него накануне покушения, и что они были вместе в городском саду. Шефкели, у которых Ипполит репетировал, арестованы. Говорят, вся их организация раскрыта.

— Ну, а Ипполит?

— Боюсь, Федя, и думать о нем.

Замолчала Варвара Сергеевна. Словно серые тени метнулись по углам гостиной. Тетя Катя, хромая, пошла к себе. Липочка принесла в гостиную бутылку с остатками вина, налила бокалы матери, Феде и себе и сказала: «Сегодня можно!».

— Знаешь, мама,— сказал Федя,— у меня остается от прогонных сто рублей, и вот что я придумал. Возьмем на месяц дачу... Осенью дачи дешевы... Поедем вдвоем: ты, Липочка и я и отдохнем. А то вы обе такие бледные.

— Нет уж, что уж, где уж, нам уж,— заговорила, махая худенькой ручкой, Липочка.— Ты, Федя не знаешь... Папу бросить нельзя. Он вечером — клуб, клуб... А днем, как ребенок, ходить за ним надо.

— И, Федя,— сказала Варвара Сергеевна,— что задумал. Осень на дворе. Это сегодня такая погода, а польют дожди, станут холода и какая уж дача! С одной перевозкой сколько хлопот! Стара я стала. Мне укладываться не вмоготно... Проживем и так. Только посиди со мною... Хоть часочек в день мне отдай. Я и тем буду рада.

— Ну, мама... Тогда будем ездить по утрам на острова. Ты же любишь острова, они тебе твое детство напоминают. Будем сидеть у моря и смотреть на него, и греться на солнце.

— Вот это ты молодец, Федя, что так придумал,— сказала Липочка и под села к брату на ручку кресла.

Далеко за полночь Федя сидел в комнате Ипполита на постели, а по комнате быстро ходила Липочка и торопливым шепотом говорила:

— Мама у себя Богу молится... Федя... я боюсь, страшно боюсь за Ипполита. Сторе, я слышала... вешать будут... А его... самое меньшее, — в Сибирь на поселение. Его то спасло, что у него ничего не нашли. Юлия молодец, сказала, что у нее было с ним только любовное свидание... Ничего политического... Кто-то донес, что у Ипполита, если он участник, должны быть какие-то вещи. И вот — искали... везде искали... и не нашли. И потому сомнение. Ипполит ли сообщник или был кто-то третий, а Ипполит попался случайно и оговорен мужиком из Выползова из ревности... Ты знаешь, уже выяснено, что мужики надругались над Лизой и повесили ее. Господи, какой ужас на Земле творится. Какие, Федя, люди звери...

— А что Бродович?

— Я уверена, Федя, их дело. Да... они умеют. Где деньгами, где красотой Сони, они все улаживают.

Липочка остановилась против Феде.

— Ты устал, Федя, смертельно устал, а я тебе мешаю своею болтовней. Ты бы лучше спать лег.

— Нет, говори, говори... Завтра я могу встать когда хочу. Я не юнкер...

— Да... ваше благородие, — улыбаясь, сказала Липочка. — «Ваше благородье — свиньи в огороде»...

И снова металась Липочка по комнате и гонялась за нею ее длинная черная тень.

— Федя... А мама! Мама!.. Сегодня чуть не упала в обморок... Это не первый раз... У папы стал совсем скверный характер. Из клуба приходит пьяный. Страшно ему на глаза попасться. Ругается... Миша прислал открытку из Крыма. Бродит с кем-то, и Бог его знает с кем!.. Ты уедешь — ведь мама истоскуется по тебе. Господи! И зачем ты этакую даль вышел!

Как сера и буднично уныла была их жизнь!

— Ну, ложись, Федя. Надоела... Вот, мы смеялись над тобой... А ты самым хорошим вышел... Потому что... Бог тебя принял... Он защита тебе... А мы все... как-то свихнулись.

И Липочка, махнув рукою, тихо вышла и на цыпочках пошла в комнату матери.

Там горела лампадка и Варвара Сергеевна лежала на постели с открытыми глазами.

— Ты, Липа? — сказала она.

— Что не спишь, мамочка?

— Так, Липочка. Какой у нас хороший Федя. Ты заметила, какие у него усики. А голос ломаться стал... Федя —

офицер... Даже смешно. Я счастлива за него, Липочка... Он не только офицер, но он уже и герой... Я тебе расскажу когда-нибудь, что он сделал... Ты можешь гордиться им.

— Спи, мама. Тебе надо отдохнуть.

— Знаю, Липочка. Да вот не засну никак. Уже очень мне хорошо. Смилоствовался Господь надо мною.

Федя, как только прикоснулся головою к подушке, точно провалился в бездну. Мелькнуло поле, покрытое сжатой рожью, и батальонный в фуражке «корабликом» командует: — Батальон! Под знамя!.. И все исчезло.

Когда проснулся, двор был залит лучами солнца, солнце рисовало желтые квадраты на шторе, на дворе кричал разносчик.

Посмотрел на часы. Было без четверти двенадцать...

XXXIX

Эти тридцать шесть дней, что провел Федя дома, казались Варваре Сергеевне самыми счастливыми днями ее жизни.

Утром, в девятом часу, Федя выходил в столовую в белом кителе блестящей чертовой кожи.

Варвара Сергеевна его ожидала, и они пили чай вдвоем. В доме все еще спали. Они смотрели в окно: какова-то погода, и совещались, как заговорщики, куда ехать. И если светило солнце и день казался теплым и надежным, они отправлялись на острова, в Петергоф, в Стрельну, в Царское или Павловск. Если было пасмурно или моросил дождь, они ехали в Эрмитаж, в Академию художеств, в Казанский или в Исаакиевский собор. Когда выходили к столу тетя Катя и Липочка — у них уже все было решено. Липочка была в разговоре с Федей и взяла на себя все домашние заботы.

Варваре Сергеевне было забавно, что у Феде были свои деньги, что ей не нужно думать, сколько запросит извозчик и как она ему заплатит.

Они приезжали на Елагин остров. Шли вдоль Невки под сенью желтеющих лип, под дубами, украшенными желудями, смотрели на играющую солнечными блестками реку, на застывший у яхт-клуба ярко-белый на темной листве парус, на порыжевшие камыши. Они слушали, как шумела листва и плескалась вода, растекаясь по песку. Они садились на скамейке на берегу залива. Никого — в эти ранние часы. Проедет всадник с амазонкой, пройдет сторож в коричневой шинели... И опять одни... Смотрят на залитый золотом залив. На горизонте показался черный дым. Он протянулся по

небу, обрисовался темный силуэт парохода, и скрылся за зеленою косою Крестовского острова. Ялик, сверкая веслами, точно птица машет крыльями, перекосил от Лихты и идет, борясь против течения. У тони, уродливой каракатицей, влезшей в море, подняла паруса двухмачтовая лайба и, один серый, другой розовый, безжизненно повисли они в солнечном пригреве. Донеслись голоса рыбаков, у Чернореченской брандвахты звонко пробили склянки... и снова тишина... Набегают волны, шуршат камышами и плямкают о пристань, будто смеются ясному августовскому дню.

Барвара Сергеевна рассказывала сыну про старый Петербург, про дворцы, про соборы, про наводнения. Она так рассказывала, как застраивался Петербург, как жил Петр, как курил он крепкий кнастер, сидя в Подзорном дворце в устье Фонтанки, принимал голландских шкиперов, как будто сама была свидетельницей всего этого.

— Мама, откуда ты все это знаешь?

— Читала.

В эти часы узнал Федя, что его мама перечитала Щербальского и Брикнера, что она в подлиннике знала Расина и Корнеля и многое помнила наизусть.

Федя совсем не знал французской литературы. Федя слышал что-то о Викторе Гюго. Мама читала его всего.

— Как же это, мама? Ты училась дома и в пансионе?

— Да... дома и в пансионе.

— Откуда же ты все это знаешь?

— Наш век, Федя, был веком красоты. Барышню дворянку готовили для того, чтобы она понимала настоящую красоту. Мы читали и заучивали французских классиков, мы учились музыке, танцам и рисованию...

— Ну, а потом, мама?.. Я никогда не видал тебя танцующей?

Засмеялась Варвара Сергеевна.

— Ну, еще бы! Когда родился Ипполит, я перестала выезжать.

— Почему?

— Не хватало средств и некогда было. Когда вас стало пятеро, всегда кто-нибудь был болен, да надо уложить всех спать, накормить, тут уже не до танцев. И отяжелела я.

— Мама, ты отдала нам все...

— Это долг, долг женщины... Но как теперь горжусь я, Федя! Ты сторицею отдаешь мне, что я тебе дала.

Федя слушал ее. И говорит она по-русски не так, как он. Вот сказала «давеча»... «намеренно», вспомнила поговорку — «за Богом молитва, а царем служба не пропадают».

— Так-то, Федя, не пропадет и моя служба государю — родить и воспитать ему верных слуг.

И вздохнула. Должно быть, вспомнила об Ипполите.

— Мама, а вот... слышал я... говорили... Равноправие женщины... При тебе этого не было?

— Было и при мне... И тогда говорили. Я, Федя, Жорж Санд читала. Жизнь-то, Федя, по-иному учит.

— Ты никогда не хотела быть свободной?

— Свободы, Федя, нет. Жизнь, люди не дают возможности быть свободным. Свободен только тот, кто живет для себя, а он тяжел и неприемлем в обществе людей.

— Но, мама, теперь все прямо помешаны на этом.

— Жизни не знают. Жизнь требует непрерывного труда, а труд исключает свободу...

После полудня Федя вел Варвару Сергеевну на поплавок. Они завтракали, и странно было Варваре Сергеевне, что Федя спрашивал счет, доставал бумажник и платил за нее.

Дома Варвара Сергеевна отдыхала после прогулки. Федя разбирал свои вещи и укладывал их в большой темно-зеленого цвета сундук, с белыми буквами «Ф.К.» — этот сундук должен был вместить все его имущество.

Федя выдвинул ящик своего старого письменного стола. В этом ящике его ключом были заперты все его «драгоценности».

Яйцо «принц»... Желтое с облезлым лаком и синими линиями цветочками. Внутри, когда раскроешь, зеленый мех и маленький белый лебедь с крутой шеею. Он казался когда-то прекрасным, зачарованным, как в сказке.

Федя раскрыл яйцо. Пожелтел и искрошился мох. Осталась только грязная дощечка со следами клея. Лебедь был безобразен. Время смыло краски, пыль уничтожила его светлую белизну. Когда-то от него пахло духами тети Лени. Теперь пахло пылью и деревом. Сказка детства не вернется больше и не стоит облезлым лебедем будить воспоминания.

Федя отложил яйцо. Пусть мама кому-нибудь подарит.

Старый, совсем почерневший серебряный рубль со сплеченной решеткой и буквами «М.С.» — «Мария Савина». Это тот рубль, который заплатила Мария Гавриловна за свечку, когда шла к исповеди. Он сохранит его, как память о чистой, безотчетной любви к прекрасному. Тогда он сказал, что будет хранить этот рубль всю жизнь... Воспоминание об этом миге восторга не стыдно. Да, он будет хранить его всю жизнь. Он не изменит первой далекой даме своего сердца...

Портрет Игната и Федосьи. Игнат в длинном черном сюр-

туке и Федосья в подвенечном платье стоят навтыжку рядом. Фотография Везенберга на Разъезжей. И он когда-то снимался в ней гимназистом. Где-то Игнат? Запивает ли по-прежнему или остепенился? Быть может, стал машинистом, получает большие деньги. Что случилось с Феней? Как сейчас почувствовал прикосновение крепких зубов к своим губам, когда поцеловала его, христосуясь, Феня. Ходит ли по праздникам на Охту удить рыбу Игнат? Они прошли через его жизнь и как будто не оставили следа. Но не они ли зародили в нем любовь к народу, к простому человеку? Федя повертел карточку в руках и отложил в сторону.

Задорное лицо девушки, в офицерской фуражке поверх кудрявой головки. Танечка... Смешно... и стыдно... Как он был глуп, когда сидел в подвале на Николаевской, ел орехи, а дворник играл на гармонике... Ну, кто увидит эту карточку? Эти подведенные большие глаза и стыдливо наглую усмешку, блуждающую в ямочках на щеках. Федя порвал карточку на мелкие куски. «Бедная Танечка! Не стала актрисой!»

Белый металлический герб с его фуражки — С.П.И.Г.— «сенной площади первый гуляка!»... Гимназия... Ipse... Митька... Тетрадки *extemporalia* и толстые книги в зеленом переплете — Юлий Цезарь с комментариями... маленькая книжечка «*Vade mecum*», шпаргалки... и толстый Теплоухов, и шалун Леонов...

Федя вздохнул. Воспоминание о гимназии было связано с воспоминанием об Andre, Ипполите и Бродовичах... А за ними стоял таинственный сверток и то, что разлучило его с матерью и Петербургом...

Старый герб полетел за окно.

Федя бережно спрятал на дно сундука кадетские и училищные погоны и стал укладывать книги, маленькие тетрадки уставов, белье, шаровары...

Вечером он сидел в гостиной на диване и мама, по его просьбе, медленно разбирала вальс Годфрея. Не слушались отекавшие пальцы. Ошибалась мама, начинала снова, вытягивала шею и щурилась близорукими глазами, чтобы видеть ноты.

XL

Приехал Миша. Он вырос, огрубел, загорел, оброс молодой кудрявой бородкой и в свои 18 лет казался старше двадцатилетнего брата.

Он осмотрел Федю, шумно захохотал и сказал:

— А знаешь, Федя, мы таких, как ты, офицеров — ба-
рабанными шкурами зовем! Пра слово... Ух и не любим мы
вас!.. Так бы всем вам зубами горла перегрызли бы...

Он снова захохотал.

«Мы» — были Гришка, Ванька стрекулист, Петр Федо-
рович и «географ» — Алексей.

Миша рассказывал, как раз они, голодные, подошли к
даче и увидали открытое на кухню окно, и там в печи «на
духу» пирог румянится. В кухне никого.

— Ванька мигом сообразил, в чем дело. Живо в окно,
пирог нам и был таков.

— Боже мой! Миша! — воскликнула Варвара Сергеев-
на. — Это воровство!

— Устарелое, мама, понятие. Мы, новые люди, не при-
знаем воровства. Правильное распределение достатков.
Им — это лишнее чревоугодие, а мы с голодухи зубами ляз-
гали. Пирог, мама, оказался расчудеснейший, со свежими
грибами. Мы по-товарищески разделили его и уписнули в
кустах в два счета. Прекрасно было...

Миша описывал путешествие по Волге на плотках кара-
ульщиками. Когда им надоело, они отвязали у чьей-то дачи
хорошую косовую, бросили плоты на произвол судьбы, а
сами — «вниз по матушке по Волге»...

— Как Ванька, мама, поет! Что за бас! Удивление, во-
сторг. Ему в оперу надо. Дошли до Царицына, лодку тем же
манером пустили по Волге, а сами зайцами на Грязи... Ко-
сарями пошли на Дон... Черт знает что мы, мама, там дела-
ли! Что за народ казаки! Какие песни поют! Как духовита
ночью степь, как голосисты ее жаворонки! Эх, мама! Вот
что значит — воля! Надоело! И пошли мы странниками в
Ростов. Там — три дня арбузы грузили, потом нанялись про-
водить посуду на Керчь. Три дня морем парусами шли, пес-
ни пели. Бывало, к ночи вечер стихнет, мы парус собьем,
парусом укроемся и спим, а море колышет тихое, темное, и
звезды блестят. Мама... Гимназия, наука, университет... —
это все ерунда!

— Миша... Неужели ты и в университет не пойдешь?

— Пойду, мама. Мы с «географом» говорили. Он уни-
верситет кончил. Он советовал. Иди, говорит, на зиму, а с
весною кликнем клич и куда-нибудь так махнем, что чертям
будет тошно.

— Миша! Но это общество... эти люди... они тебя до добра
не доведут... То, что ты делал, преступления. Вас могли пой-
мать, судить.

— Э, мама! Не пойман — не вор, а была бы своя совесть чиста.

— Не может, Миша, совесть быть чиста, если вы украли пирог, погубили чужие плоты, украли и загнали чужую лодку.

— Что, мама, ты думаешь, мы худые люди! Нет, мама, Гришка да Ванька, а особенно Петр Федорович и географ — честнейшие и благороднейшие люди. Чтобы человека обидеть, мама, ни-ни... Петр Федорович — последнюю рубаху снимет, нищего оденет. У него, мама, жалость ко всему живому. По нему клоп ползет, так он его не убьет, а снимет и пустит. «Не признаю,— говорит,— смертной казни даже и над клопом». Это, мама, идеалисты!

— Миша, все в вас перевернулось. Без Бога вы, без креста.

— Это, мама, точно. В Бога никто из нас не верует. Знаем, что его нет, так зачем же и паморки-то забивать. Мы в Царицыне повидали-таки чудес. Как донской казак, монахом обрядившись, народ тысячами морочил и к святой жизни звал. Что же, мама, и там Бог?.. У нас не Бог, а воля и земля, что кормит и греет нас. И, пойми, мама, какая сладость на душе, точно крылья выросли, когда чувствуешь, что весь мир для тебя и что хочешь, то и делаешь.

Миша до поздней ночи рассказывал свои приключения, как удирали от полиции, как прятались от кондукторов, как по ночам воровали кур, резали их, ошипывали и варили в поле похлебку, как продавали чужие яблоки, как раз угнали лошадей, и все покрывалось шутками Гришки, песнями Ваньки стрекулиста, хохотом Петра Федорыча, который громыхал так, что желуди с дубов сыпались, и ядовитыми сарказмами географа.

— Мы, мама, новые люди. Мы — будущая Россия, без полицейского права, без закона, с новой совестью, с новыми понятиями о собственности и, как таковые, мы, мама,— сила!

Варвара Сергеевна терялась от смелого наскока младшего сына. Она не понимала, как в одно лето застенчивый, замкнутый в себе, угрюмый Миша мог обратиться в бродягу.

Новое горе надвигалось на Варвару Сергеевну. Черными тучами заслоняло оно радость общения с Федей и грозило несчастьями.

Дни Фединого отпуска прошли. Варвара Сергеевна и Липочка проводили его на Николаевский вокзал. Долго махали платками, пока не скрылся поезд.

Когда Варвара Сергеевна наконец отвернулась от поезда,

она пошатнулась и обеими руками ухватила за тоненькую бледную Липочку.

— Нет, Липочка,— сказала она.— Не жилец я больше на этом свете. Нет Феди... Для чего мне и жить.

Дома взялась за работу. Но валилась работа из рук...

Чаще заставляла Липочка Варвару Сергеевну за книгой, еще чаще видела, что сидела она в углу без дела и тихо тряслась ее голова, постаревшая, с седыми прядями в волосах. Так догорает одинокая забытая лампада и слабо мигает ее трепетный огонек, прежде чем погаснет навсегда.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Ф

едя высадился на станции Кабул-Сай. Он был единственный пассажир, вылезший на ней из большого поезда с белыми ваго-

нами. Багажный кондуктор выбросил на платформу его темно-зеленый сундук. Поезд, точно из приличия, постоял минуты две. Сторож пробил три удара на колоколе, свистнул обер-кондуктор, поезд дрогнул, заскрипел цепями, звякнул на стыках и умчался.

Был полдень. Конец сентября. Легкий жаркий ветерок завел песок на низкой каменной платформе. Небольшое здание станции под палящим небом было как мертвое. Сторож и начальник станции ушли.

Две чахлые, обожженные солнцем акации прижались к станционному зданию. За ним был песчаный бугор. Пыльная там шла дорога. Рельсы лежали в выемке.

Спереди — пологие желтые песчаные холмы. Редкая синеватая травка. Вправо, под синим небом, в легкой дымке дали — прозрачные, золотистые горы. На бугре — низкое деревянное строение под железной крышей. Большой двор обнесен высокой стеной из темной глины. Торчит журавель колодца. Длинные шести скирдов сена и соломы. Подле крылечка тоскливо жмутся два старых, запыленных таран-

таса. На белой доске над крылечком черно нарисован двуглавый орел. Под ним надпись. У ворот кривой столб с белыми, черными и оранжевыми полосами. На столбе — фонарь.

Невыразимой тоскою веяло от всех этих предметов. Кругом, до самого жаркого синего неба, желтые пески, бугрившиеся во всех направлениях. Кое-где, точно серые змеи, не то корни, не то стволы какого-то странного сухого растения. Железнодорожный путь, прямой вправо, прямой влево, исчезает в золотистом море песков.

Федя вышел на станцию. Никого. Толкнулся в багажное отделение: сторож в углу на лавке.

— Скажите, пожалуйста,— сказал Федя, не расстававшийся с ручным портфелем,— мне надо ехать на Верный. Где это лошадей нанимают?

Сторож глядит мутными, сонными глазами, нехотя, тяжело встает и говорит удивленно-вопросительно:

— На станции?

— А где же станция?

Удивление еще сильнее на лице сторожа.

Казалось — «вот чудак,— думал он,— не увидеть станции в этой пустыне. Не иголка!».

— Там!..

— А как быть с вещами?

— Оставьте здесь. Никто не тронет. Опося ямщики заберут.

Сторож садится и дремлет. Кругом царство сна. Черные мухи мириадами реют в пустой комнате. Черны от них пыльные окна. Они везде, особенно на лице сторожа, потном, сальном.

Федя топчется на месте, идет на платформу. То же безлюдие и напряженное молчание пустыни. Скучно светит солнце. Время стоит. Федя шагает по пыльной дороге через переезд к одинокому строению.

Нога тонет в мягкой розовой пыли. Пыль золотым столбом остается сзади.

На доске надпись: «Почтовая станция Кабул-Сай. Лошадей тридцать шесть... До Ташкента 86, до Чимкента 79, до Верного 825 верст».

По покривившимся серым, некрашеным ступеням Федя идет на крыльцо. Дальше сени. Направо на двери надпись: «Комната для проезжающих». Открыл дверь. Мухи с густым жужжанием бросаются с пола, со стен, с больших черных диванов. На столе, крашенном черною краскою,— графин с темно-желтою ржавою водою и опрокинутый стакан. Нико-

го... За окном двор. Навесы. Под навесами телега, коляска с поднятым верхом. Федя идет в другую дверь. Комната... Мухи... Жужжание... Стол с чернильницей... Кипа ведомостей на серой бумаге. На диване кто-то сочно и густо по-дневному храпит. От спущенных занавесей — полумрак. Храпит старик в длинном сюртуке из коломянки с золотыми пуговицами. По лицу ползают мухи, густятся у открытого рта, точно слушают...

Федя стучит ногами. Храп тише...

— Послушайте... А! Послушайте,— говорит Федя.

Храпит... Федя трогает старика за рукав. Старик открывает глаза, садится, со скукою смотрит на Федю.

— Послушайте... Вы... смотритель?

— Смотритель,— мрачно мычит старик, потягивается и собирается снова ложиться.

— Вот... Послушайте... У меня предписание... Мне надо ехать... Лошадей.

— На Джаркент что ль? — вглядываясь в погоны, говорит старик.

— На Джаркент.

— Лошадей нет.

— Как нет?.. Мне надо... Я не по своей воле еду.

— Очень просто, не по своей. Понимаю. А только, сказано — лошадей нет.

— Когда же будут?

— Не знаю.

— Нет... Послушайте, в самом деле...

— Вот почта придет... Поглядим.

— А когда почта придет?

— А кто ее знает. Еще на скольких тройках придет. Ежели большая почта будет, так и совсем лошадей нет.

— Что же я делать буду?

— Обождать придется.

— Обождать?.. А сколько времени?

— Кто его знает... И неделями ждут... И меньше. Это как кому какая планида выйдет. Может, вам попутчик подвернется. Вдвоем поедете. Дешевле.

— У меня вещи на станции. Сундук.

— Пусть лежит. Лошадей дадим, тогда заберем.

Ложится старик. Поворачивается лицом к стене. Отчаяние находит на Федю.

Он идет в комнату для проезжающих, снимает пальто, шапку...

Невесело начинается его служба. Ждать лошадей, почту... В этом краю не торопятся.

В углу жалобная книга. Жалоб много и в прозе и в стихах. Коротких и длинных. Похоже, что их никто не читает и что их пишут больше для успокоения самих себя. На подоконнике пожелтевшая книга. Какой-то роман из приложений к «Свету», без начала и конца. На дворе — пусто. В задней пристройке возится толстая женщина, пахнет печным хлебом.

— Проезжающий? — говорит женщина ласково певучим голосом. — Чать, голодны?

— Голоден. Что тут можно пообедать?

— Могу сготовить, коли не побрезгаете.

— А что можно?

— Щи с баранины. Ладно будет?

— Отлично, щи... А еще что?

— Курицу... или яичницу...

— Ладно, дайте курицу... А что стоять будет?

— Да не обидите.

— Ну, все-таки?

— По такции: щи — восемь копеек, курица — двадцать... Ну, прибавите что, за беспокойство.

— Скоро будет готово?

— Да так через час. Я вам пока самовар поставлю. Чайком побалуется.

— А лошадей не дадут за это время?

— И, родный! Раньше ночи и не ждите.

Опять та же комната для проезжающих. Федя открывает окна, гонит мух платком. Они крутятся темной тучей подле окна и возвращаются в комнату. Ничего не поделаешь.

Федя садится на диван... Ему кажется, что время застыло.

II

В полночь Федя, прилегший на диване, услышал далекий шум. Бились и заливались колокольчики. Он вышел на крыльцо. Пустыня спала в лунном блеске. Высоко над нею, зеленовато-синее и прозрачное, с полупотухшими от лунного света звездами, простерлось небо. Густые тянулись от построек тени. Из серебристой дали четко доносился топот конский, побряхтывание телег и звон бубенцов. Но почти еще не было видно. Звуки рождались в пустыне, замирали и потом снова слышались громче и ближе. Ожила пустыня...

Вдруг, совсем близко, показались тройки. Они неслись

в облаках пыли. И на пыли трепетали тени лошадей, ямщиков и телег, и казалось, что призрачные тройки гнались за ними.

Смотритель, теперь живой и бодрый, вышел на крыльцо и еще когда далеко была почта, крикнул в серебряную мглу:

— На скольких?

— На пяти,— ответили из пустыни.

— Ну, подавай Бог.

Мелкие запотевшие лошади остановились и устало фыркали, опустив головы и поводя боками. С грузных телег, заваленных длинными, плоскими, черными, кожаными баулами на проволочных кольцах с замками и печатями, соскакивали почтальоны в черных сюртуках, с револьверами и пашками на боку.

Повылезли откуда-то люди, русские и киргизы. Они с грохотом выкатывали со двора телеги, вели лошадей в хомутах, несли звенящие колокольцами дуги. Они возились в лунном свете, как черные призраки. Почтальоны с треском бросали тяжелые баулы с подводы на подводу, киргизы вводили усталых лошадей, в конторе ярко горела лампа, и высокий почтовый чиновник со смотрителем писали на серых листах. В соседней комнате пыхтел самовар. Стряпуха устанавливала стаканы и тарелки с большими ломтями ситного хлеба. Жарко и светло горела большая висячая керосиновая лампа.

Почтальоны шли туда, снимали шапки, крестились на образ и садились за стол. Дули на стаканы с бледно-желтым чаем, чавкали губами и, обжигаясь, торопливо пили.

У подъезда ямщики-киргизы еле сдерживали лошадей. По двору и подле станции бегали какие-то люди. Киргизка в алом халате принесла ямщику тулуп и долго и нежно что-то ворковала ему по-киргизски.

— Готовы что ль? — крикнул кто-то с крыльца.

— Есть готовы,— отвечали от головной тройки.

— Ну, с Богом! Отправляйте!.. Счастливо!..

Из станции бегом бросились почтальоны и вскакивали на ходу на тронувшиеся телеги. Колокольцы и бубенцы залились, звонко гикнул киргиз-ямщик, взметнулась густая пыль и лунный сумрак поглотил телеги, ямщиков и лошадей. И только вдаль, все замирая, раздавалось погромыхивание колокольцев.

Федя остался на крыльце. Ночь была теплая. Кругом затихала разбуженная пустыня. Месяц стоял, окруженный сиянием.

— Господин офицер,— окликнул его смотритель.—

Ваше счастье. Давайте подорожную. Сейчас вас пропишем, и айдайте с Богом...

Через полчаса Федя трясся на телеге, сидя на своем сундуке. Перед ним моталась киргизская голова в черном островерхом малахое, взмахивалась рука с кнутом, но не была лошадей.

— Ко-реча, Кореча, о-о-о-х,— завывал киргиз, смолкал, махал кнутом и опять начинал: — кореча, кореча-а, о-о-ох...

Пустыня неслась навстречу, необычайная в лунном блеске. Спускались в какие-то балки, казалось, зазвенит в низине ручей, покажутся рощи деревьев, но в низине было пусто и гуще лежала пыль и мягко шумели по ней колеса. Снова тащились вверх по освещенному луною скату. Телеграфные столбы то уходили от дороги и прямою линией карабкались на холм, то подходили к самой дороге и гулко пели какую-то песню, точно рассказывали о дальних странах, откуда они шли. И ничего кроме них, ни куста, ни травы, ни построек.

Проехали два часа. Луна склонялась к горизонту и краснела, точно румянилась от прикосновения к раскаленной пустыне. Ярче стали звезды... Федя смотрел на них и думал:

«Если бы Ипполит, Бродовичи, Сторе знали все это, они бы на совсем иное направили свои способности. Равенство... свобода... Столица с театрами, музыкой, с квартирами, крепко запертыми на запоры, с днем, размеренным по часам и минутам, с ее освященными улицами, полными шумной толпой, и эта пустыня, где звенит колокольчик и, будто устав, вдруг приникнет и задохнется, где киргиз машет рукою с кнутом, где бешено несется почта и едет скромный подпоручик служить на далекой границе. Ну-ка, Абрам и Соня, как приложите вы свой петербургский аршин к старику смотрителю, толстой стряпухе и почтальонам? Как проведете вы знаки равенства между этой толстухой, Виргинией Цукки, Леоновой и Семенюк? Похожа жизнь Абрама и Сони на жизнь смотрителя, спавшего днем, а ночью отправляющего почту? Знак равенства! Но «а» никогда не равно «б», и «а» плюс «б», плюс «в» плюс еще много каких-то букв в мирном сцеплении дают тот великий икс, который называется Россией. И сложить ее из равных величин нельзя, потому что масса Бродовичей, или масса киргизов, машущих кнутами, не дадут России...»

И казался Феде Петербург с его «умными» разговорами до странности глупым.

Только мама знала жизнь и правду. Мама, а теперь — Липочка.

В тумане ночи мелькнуло желтое пятно. Исчезло... Выявились снова и стало настойчиво перед глазами, говоря о человеческом жилье. Фонарь маячил в темноте. Маленькая глинобитная постройка, столб, доска с двуглавым орлом. Надписи: «до Кабул-Сая, до Чимкента, до Верного»...

Сонный смотритель вышел с пузатым фонарем на проволоче. Посмотрел тупо на Федю и мрачно проговорил:

— Лошадей нет... Заходите, однако.

Шел третий час ночи и морило сном.

Жесткий черный диван принял Федю, и он не слышал, как ямщик устанавливал его сундук в сенях станции.

III

Две недели прожил Федя какою-то необычайною жизнью в почтовой телеге и комнатах для проезжающих. То целыми сутками томился на глухой станции, в пустыне, в комнате, переполненной другими ожидающими, пил по пяти раз в день чай, ел варенные яйца, спал днем на диване, облепленный мухами, слушал жалобы и брань на почту, то ясными лунными ночами мчался в пыли, глядя на месяц и звезды. Каким-то косым зигзагом, черным силуэтом маячил перед ним ямщик в халате, взмахивал кнут, заливались бубенцы и мысли летели быстрее тройки.

Серым утром он проехал «крепость Чимкент», искал следы крепости, но видел глинобитные стены, что руками мог завалить. Маленькими улочками мимо крошечных домиков с широким проспектом, с аллеями пыльных пирамидальных тополей выбрался за город. За городом пошли поля высокой джугары и хлопка, серые болота, поросшие рисом. По дощатому мосточку перебрались через головной арык, наполненный пахучей джигдой, карагачами и зарослями колючих кустов и камыша, и снова — пустыня, желтый песок, колючая травка и камни.

Спустя пять дней справа от дороги показался, как стена, горный хребет. Розовые вершины без растительности, без ледника и снега, не большие и не маленькие, таяли в синей дымке. В полдень они были прозрачными и далекими, вечером краснели, пламенели на закате и четко рисовались глубокими ущельями, пиками и пропастями. И снова под лучами месяца уходили и казались загадочным серебряным поясом, стягивающим пустыню.

Федя спросил у смотрителя, что это за горы.

— Александровский хребет.

Он проехал день, другой... пятый — Александровский хребет был его неизменным спутником, всегда одинаковый, не высокий и не низкий.

Ни дымка, ни признака жилья, ни зеленого ската, ни стада не видать. Желтые осыпи, розовые скалы, круглые, острые, ровные вершины — точно вылепил его кто грубыми пальцами из песка пустыни, как лепит кухарка борт на пироге из ягод.

Всему пришел конец. Он исчез как-то сразу, вдали показались новые, громадные, горы. По пустыне зазвенели в зеленых берегах арыки. Пустыня ожила, поля клевера, джугары, хлопок, рис стали чередоваться квадратами и пестрым ковром тянулись до горизонта.

Навстречу стали попадаться сарты в ярких халатах, в белых и зеленых чалмах на маленьких крепких лошадях. Тройка вдруг влетела в селение; видны кубические белые домики с плоскими крышами, зелень садов, ковер расстелен под кустами винограда. На нем степенно расселись люди и курят трубки.

Федя дремал в телеге, и, когда просыпался, ему казалось, что картинки из «Тысячи и одной ночи» проносятся перед ним. Сладко сжималось сердце от сознания, что и эта красота — Россия.

Очнулся... Ночь... Сильно трянуло на мосту... Поднялся удивленный. Луна светила ярко. Телега ехала шагом по тесной улице среди толпы. Смуглые лица, белые чалмы, пестрые халаты текли потоком между домов. Под парусиновыми навесами горели свечи. Их пламя не колебалось. Терпкий запах ладана и курений стоял на улице. На косых прилавках лежали длинные сливочного цвета дыни, громадные зеленые арбузы, с черным прихотливым узором, горы винограда, бледно-желтые палочки халвы, орехи, сладости. В темноте лавки едва намечалась круглая голова сарта-торговца. Точно пестрый сон плыл перед глазами Феде. Он остановил телегу, зашел в лавку. Огни свечей уходили вдаль, и в их свете пестрыми пятнами вспыхивали товары. Там висели розовые в белом сале бараньи туши, там легкий пар струился от большого, красной меди, чайника и отсветы пламени горели бронзой на смуглых лицах, на руках с чашками, там пестро светились лоскутки материи.

Федя купил длинных белых персиков, что тают во рту, как мороженое, громадных груш, темневших от прикосновения пальцев, и крупного черного, как глаз быка, винограда.

Чем ближе были темные горы, заслонявшие полнеба, чем

ярче сверкала белая полоска снегов на вершинах, тем местность становилась населеннее. Стали попадаться русские поселки. Широкие улицы с молодыми тополями в четыре ряда тянулись на несколько верст. Русские избы из глины, с деревянными и соломенными крышами, приветливо смотрели из зелени садов. На дороге играли ребятишки. Бабы смотрели на Федю, мужики кланялись ему. Ямщика-киргиза сменил русский бойкий ямщик, лошади стали сытее. Другая пошла езда. Ямщик-то болтал с Федей, то пел песни, и захватывало дух от широкого напева. Вместо почтовой телеги подавали тарантас на дрожинах, на станциях давали то утку, то жареное мясо и душистый ржаной хлеб. Какая-то сильная, могучая культура врывается в тишину застывшей Азии и где приспособлялась, где ломила по-своему. Русский мужик норовил запречь в работу киргиза и сарта, а самому стать хозяином. Федя заметил, что лошадей выводили и запрягали киргизы, они же смазывали колеса и таскали Федин сундук, а когда все было готово, выходил русский ямщик в красной рубашке и шапке с павлиньими перьями, садился на козлы, разбирал веревочные вожжи и бойко вскрикивал, сразу пуская тройку вскачь. И Федя вспомнил церемониал запряжки савинских рысаков: Егора и Андрея. На лошадях был медный набор, и колокольцы под дугою и на хомутах по-иному пели.

— Поглядывайте, барин, ночью за вещами сзади,— заботился ямщик,— а то народ здесь такой. Ночью лошадьми нагонят, срежут, и не заметите как.

На одном перегоне киргиз, бойко говоривший по-русски, спросил: — А револьвер у тебя есть?

— Есть,— отвечал Федя.

— Держи под рукой. Тут третьего дня на двоих напали. И проезжающих, и ямщика убили. Тут грабят...

С гиканьем и звоном, никому не давая дороги, неслась встречная почта. На черных баулах сидели почтальоны, и у заднего, кроме револьвера, было ружье со штыком.

Вместе с культурой русские несли и еще что-то, чего раньше не знали ни сарты, ни киргизы.

Как-то под вечер проехали город Пишпек. От сонных улиц с деревянными домами, от тряской мостовой, дощатых тротуаров и тенистых садов за высокими деревянными заборами пахло русским провинциальным захолустьем. И только близкие черные горы, покрытые угрюмым лесом, говорили о чем-то чужом. Ярko блестели на них ледники вечных снегов.

Точно живые наступали горы.

Пустыня кончилась. Второй день Федя ехал по отличной дороге среди полей и деревень. Воздух ядрено пах яблоками. Они лежали повсюду в садах громадными пирамидами. Часто попадались навстречу семиреченские казаки. Они ехали верхом в белых и розовых рубахах, в фуражках с малиновым околышем, с косами и граблями на плече, снимать третий укос.

Кругом все дышало сытостью, привольем и ленью. В городе, раскинувшемся у подножия гор, улицы шли широкими проспектами, редко стояли деревянные и каменные одноэтажные дома. Посередине высился бледно-розовый новый собор, хитро построенный из дерева.

Федя зашел на почту. Он ждал писем от мамы. Письмо было только одно, от Липочки.

Федя сел у забора, под большою яблоней, протягивавшей ему ветви, и вскрыл письмо.

Нерадостно было оно. Отец чем-то обидел тетю Катю, была семейная сцена. Тетя Катя ушла в богадельню, где *mademoiselle Suzanne* служила кастеляншей. Миша уехал в Новгород к Петру Федоровичу и сделался маляром, чтобы ближе стать к народу. «Все это так подействовало на маму,— писала Липочка,— что она слегла и вот уже пятый день лежит. Мы вызывали доктора. Он сказал, что у нее нервный удар, и очень плохо сердце. Если что случится, я буду телеграфировать в Верный, а ты дай указание, куда дослать телеграмму»...

Кругом стояла тишина сентябрьского полудня. Три недели только прошло с того дня, как Федя покинул дом, а сколько бед!

«Мы обедаем с папой вдвоем,— писала Липочка.— Он ворчит, куражится, но он, как ребенок. Последние дни и в клуб не ходит. Но пьет много и мне трудно от него отнимать водку...»

Душистые яблоки, величиною с голову ребенка, висели над Федей. В просвете прямого, как стрела, переулка, в зеленой раме садов видно было синее небо, серебристо-белые вершины, и в лиловый горный хребет, тонущий в сизой дымке, погружались зеленые поля и рощи. Было тепло. Аромат каши и яблок стоял в переулке и, казалось, так было тихо в домах и так прекрасна и счастлива жизнь.

«А мама лежит теперь в постели за старыми, зелеными, ободранными ширмами. Тяжело утонула ее голова в подушках. Она совсем одна. Липочка на службе. Аннушка ушла

на рынок. Папа к Фалицкому, и мама одна... Хмурый сентябрьский день на дворе, воет ветер, и капли дождя стучат в окна. В гостиной, за две комнаты, бьют часы с рыцарем. Как томительно тянется ее время!».

С ним его милая мама... Он послал ей телеграммы: из Самары, из Оренбурга, из Кабул-Сая, из Аулие-Ата, сейчас послал из Верного. Он написал ей письма из Кабул-Сая, Чимкента и Пишпека. И первое уж дошло до нее. Мама следит за ним, как он едет, смотрит по старой карте и не находит тех мест, где он проезжал.

Давно ли сидели на берегу залива, плямкали волны серебряным звоном о доски пристани, и у тоней розовели на солнце серые паруса? Мама рассказывала про Петра Великого и про Елизавету... Давно ли толстые короткие пальцы милых маминых рук перебирали клавиши старого рояля и старый вальс Годфрея дребезжал по сумрачной гостиной?

Вся душа Феи рвалась к матери и, казалось ему, не вынесет он, если случится с нею что-нибудь.

«Да и молода еще мама!.. Что ей?.. всего пятьдесят три года!»

И когда ехал из Верного по широкой, камнями мощеной дороге, в аллее тополей, карагачей и буков, мимо громадного запущенного парка, не видел тенистой красоты разросшихся кустов, не вдыхал аромата земли, дарящей осенние плоды, не наслаждался тишиною дня и прозрачностью далей. Маленькая комната с мерцающей в малиновом стекле лампадкой стояла перед глазами. Видел Федя милое морщинистое лицо, с большими серыми глазами, видел образ в серебряном чеканном окладе и тени, бродящие по нему.

В Илийском уже под вечер зашел на телеграф.

Телеграфист, старик в белом кителе с черными с желтым петлицами, зорко посмотрел на Федю, спросившего, нет ли телеграммы Кускову.

— А вы сами и будете Кусков?

— Да.

— Телеграмма-то есть... мужайтесь, молодой человек. Все под Богом ходим. Всем нелегко.

Он подал маленький пакет.

«Мама скончалась сегодня, в пять утра. Липочка»...

Федя вышел из конторы и тихо пошел по улице. Лошади ждали его. Сундук был увязан на задке. Ни о чем не думая, он сел в телегу. Он не видел моста на сваях через широкую, быструю, желто-серую реку, не видел песчаного обрыва, кустарника и подъема по каменной мостовой вдоль берега с высокими столбами.

Весь мир куда-то ушел. Когда Федя очнулся, кругом была пустыня... Ночь... На бархате неба серебряные звезды. Сколько их! Если бы знать, что одна из них — душа его мамы...

«Мама! Хотя бы помолиться за тебя! Хотя панихиду отслужить, как служили мы по Andre!».

Казалось, отслужить панихиду и станет легче. «Мама почувствует, что не забыл ее Федя... Ее любимчик».

Он хотел повернуть назад и гнать на Верный. Но что-то удержало его.

«Ах! Панихиду бы... Помолиться как следует, пропеть «вечную память...»

Меняли лошадей в пустыне, и снова черная ночь, осеребренная звездами. Ущербный красный месяц поднимался из-за гор огромный и зловещий. Поднялся в небо, застыл, и потянулись тени впереди лошадей. Мутная призрачная тройка, стелющаяся по земле, точно обгоняла путников.

Федя не спал. Думал о маме.

«Панихиду бы!..»

Журчали колеса, звонко, надоедливо стenal тоскливую песню колокольчик на дуге.

V

Что это было?.. Сон?.. Явь?..

Мечты, претворившиеся в сновидениях, или было открыто Феде нечто большее, чем дано человеческому сознанию? Ни в эту ночь, ни потом Федя не мог этого определить.

Слишком ясно, ярко, отчетливо рисовалось все его уму, чтобы быть сном. Слишком необычайно было, чтобы быть явью.

Федя верил, что было ему видение. Федя не сомневался, что его удостоил Господь высшего откровения, и всю жизнь хранил об этом благоговейную память. И было в воспоминании об этом много веры, благодарности, но был и ужас. Потому ужас, что Федя-то понимал, что видел он Ангела Господня.

В лунном тающем сумраке, неопределенном, призрачном, мелькнул красноватый огонек внизу, у земли. Мелькнул, качнулся, описал дугу и исчез... Вспыхнул снова, опять качнулся, стал ближе, яснее... Звякают вдали цепочки, доносится сладкий запах ладанного смолистого курения.

— Стой!.. Ямщик!..

Стала тройка. Опустили головы лошади, вздохнули, поводя боками, и затихли. Спит вся тройка.

Федя соскочил с телеги. Идет навстречу огоньку. Звякают цепочки. Слышнее благоухание.

Видит: в лунной призрачности идет священник и кадит кадилом. Вспыхивают угольки, стелется клубами кадильный дым и тает в сумраке.

Русые волосы расчесаны назад, чуть колышутся на ходу, маленькая раздвоенная бородка курчавится, лицо благостное, доброе, поразительной красоты.

Идет по пустыне и кадит.

Такой и панихиду отслужит.

— Батюшка! — говорит Федя. Бестрепетен его голос смело смотрит он в глаза священнику. Сине-серые добрые глаза ясно открыты, и глядится в лицо Феде священник. Ласково, доброжелательно смотрит...

— Отслужите, батюшка, панихиду.

— По новопреставленной рабе Божией Варваре? — спрашивает священник. Голос его тих и ясно звучит в пустыне.

Федя не удивлен, что священник знает имя его матери. Он такой уж необычайный священник...

— Станьте здесь, — говорит священник и показывает Феде стать лицом на восток, где поднялся однобокий ущербный месяц.

Поднял Федя голову к небу. Тих и ясен небесный свод. Кротко блещут далекие звезды. Причудливым узором раскинулись они по небу, и широкою рекою течет Млечный путь.

Кадит священник и шепчет молитвы. Вот ниже опустил небесный свод, круглым куполом лег над пустыней, звезды все такие же маленькие стали близко, — и вдруг в пустыне стало, как в храме... Не видно песчаных холмов и осыпей — блестящий пол под ногами у Феде.

Кадит священник. Реет белый дымок от кадила, вылетают блестящие искры. За дымком встают иконы, от искр загораются свечи. Прекрасный храм кругом Феде.

В золоте и камнях, несказанно дивных, проявились лики Богоматери и Спасителя, ангелы стали на страже у малых врат и стоят, как живые. Тихо колеблется темная завеса. В алтаре священник. Звякает кольцами кадило, и слышен запах ладана. И запах церкви обступает Федею.

Молится.

Чуть доносится благословляющий возглас священника и его первое моление.

Поднимает голову Федя и смотрит на иконы, и слушает, и чувствует, как вся душа его рвется из тела, могуче колы-

шет сердце, и слезы искрами отражают огни свечей и мерцание звезд на куполе храма.

Неслыханной красоты хор поет русское панихидное «Господи помилуй». Невидимый хор колеблет воздух прекрасными звуками стройного пения... И уже не молитва, а стон облегчающий, вопль, опрастывающий душу, выпивающий скорбь до капли, дарующий веру в спасение, слышится откуда-то сверху, порхает голосами подле ушей и захватывает Федю.

Вот когда верил он не сомневаясь в бессмертие души, в Бога, в его благость!

Вот когда понял, что не умерла его мама, но уснуло лишь ее тело и дух ее покинул его.

— Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа,— несется с неба и трепещет в воздухе. И в нем великое торжество над смертью. Победа духа над телом.

— Молитву пролию ко Господу,— сладостным стоном звенит незримый хор,— и Тому возведу печали моя. Яко зол душа моя исполнися...

О! Боже! Как хорошо! Как облегчали его эти дивные песнопения, как близко чуял к себе душу своей матери, скончавшейся в далеком Петербурге, как понимал ничтожество смерти, величие Бога!

Звякало перед иконами кольцами цепочек кадило, тихо восходил кадильный дым и ярче в его волнах стояли иконы...

Горячо молился Федя.

И когда услышал «вечную память», уткнулся лбом в пол и залился слезами.

Все тише и тише голоса. Точно удаляется хор и поет, удаляясь: «Вечная память! вечная память...»

Звякает еле слышно кадило в отдалении, и волны ладана тают в свежем воздухе ночи.

Федя поднял голову.

В голубых туманах пустыня. Синие горы, дикие, утесистые, надвинулись близко, и меркнут за ними звезды, и невидимые далекие лучи движутся, ширятся, раздвигают темноту. Желтеет там небо и кажется бесконечно далеким.

Звякают цепочки кадила...

Звенит колоколец на дуге. Звякнет, когда переступит с ноги на ногу лошадь, и затихнет. Стоит телега на пыльной дороге. Ямщик крепко спит на облучке. Пристяжная отставила ногу и скребет зубами колено. Коренник сладко зевает и выворачивает глаз до самого белка. Звякает колокольчик.

Пряными ароматами дышит пустыня.

Светло в ней.

Дорога круто спускается вниз, и внизу растут кусты и видны чахлые карагачи, раскинувшие серые ветви. Несколько пестрых голубей реют над ними. Взовьются вверх, покружат и упадут. Точно купаются в воздухе.

И уже золотит их крылья в небесной синеве невидимое солнце.

— Ну!.. Трогай!..

Раздвигаются дали. Горят в небе два остроконечных пика горы, точно луки казачьего седла.

Утренняя неодолимая дремота охватывает Федю — и только сквозь сон трепещут в подсознании волшебные звуки панихидного «Аллилуиа».

...И... станция. Тусклым желтым огнем, неясным при солнечном свете, горит лампа в закоптелом фонаре. Пахнет курами и навозом. Хмурый смотритель... Комната, полная спящих людей. Чад керосиновой лампы, потухший самовар, скрип половицы, стук вносимого сундука и утренний храп проезжающих.

Надо ждать лошадей...

VI

Федя спал на диване, как спят днем после бессонной ночи, найдя успокоение после тяжелого горя. Когда проснулся, не сразу вернулось сознание. В полусне слышал голоса, сначала не разбирал слов, потом стал прислушиваться и, приоткрыв глаза, стал слушать.

Разговор шел «о божественном».

За черным столом сидел хмурый смотритель, купец и какой-то человек с бледным лицом и лохматыми волосами. На диване полулежала рыхлая женщина, прихлебывая с блюдечка чай. Самовар весело струил клубы пара.

— Слушайте, господин смотритель,— говорил лохматый,— ну и чего вы обманываете и обманываете? Ну, скажите прямо: лошадей нет, не могу отпустить. А то ишь какую околесину несете. Нечистое место... Да разве есть теперь где нечистая сила?

— Ежели была, то и есть! — мрачно сказал смотритель.

— Да и не было вовсе. Я, слава Богу, в Казани семинарию окончил, предмет этот до точности мне знаком. Просто не хотите отпустить — и все...

— Да, говорю вам, тут никогда не проедете ночью. И ни один ямщик не повезет.

— Почему?

— Господи! Твоя воля! Сказано, нечистая сила не пропустит.

— О Боже мой! Опять о своем.

— Да как же. Вы скажите: в Бога вы веруете? Бог-от есть, по-вашему, или нет?

— Это понимать надо.

— Нет. Вы постойте. Ежели Бог есть, может он являться людям, вот как Аврааму явился в виде трех странников, или в писании сказано — придет нищий, а то и не нищий, а сам Христос испытующий и ему надо помочь, ибо что во имя мое сделаете, мне сделаете?

— Эх, как вы Евангелие толкуете!

— Погодите... А был куст — горит и не сгорает. А в воскресенье Христово веруете? Или в вознесение...

— Не знаю. Откровенно скажу: умом постигнуть не могу.

— Умом не постигнете. Это веру надо иметь. Вы в этих местах бывали?

— Первый раз.

— Понятие-то имеете, где находитесь?

— В Семиреченской области.

— В Семиреченской области, — передразнил смотритель. — На что Ионов губернатор храбрый человек, а и он ночью через Алтын-Емель не поедет... Потому знает.

— Что знает?

— Что Алтын-Емель это...

— Затвердили одно: Алтын-Емель да Алтын-Емель, а что Алтын-Емель?

— Золотое седло по-киргизски.

— Ну и дальше?

— А дальше, неспроста это так названо.

— Названо потому, что на седло казачье похоже.

— Подымитесь на него на рассвете — посмотрите на восток... Божий трон видать. А вы знаете, что на Божьем троне ковчег праотца Ноя стоит в полной неприкосновенности. В слюдяные окошки всю утварь как есть видать.

— А вы видали? — спросил купец.

— Да никто не видал. Ни одна нога человеческая и близко не была. Разве можно? Экспедиции сооружали, а подняться не могли: заповедное место.

— Сочинили вам про ковчег — вы и верите, — заметил мохнатый.

— О Господи! Вот Фома неверный! Николай Михайлович Пржевальский тут не раз проезжал. Кажется, ученый человек и доверием государя пользуется. Рассказывал: все это место под водою было, когда потоп был, что твой океан,

и первую освободилась вершина Божьего трона. Туда и пристал ковчег.

— Так... Это вам тоже Пржевальский говорил.

— Вы слушайте дальше. Пржевальский говорил, что тут всякий зверь водится. Понимаете: дикая лошадь, дикий верблюд, баран, бык, тигр, барс, козел — все оттуда пошло.

— Ну? При чем тут ковчег?

— Господи! Вот простота-то... Ну, пристал ковчег и выпустили всех зверей, они и разбрелись.

— Ну, а Алтын-Емель? — сказал купец.

— Тут понимать надо. Было, значит, у Ноя золотое седло, и дьявол украл его и закопал на этой горе.

— Искали его? — спросил купец.

— Искали?.. Как же, когда нечистая сила стережет его. Искали и не нашли. А вот ночью ни одна тройка не проедет. И если бы не ангелы Господни охраняли людей, и житья бы не было.

— Ангелы? Это еще что? — спросил лохматый.

— И говорить вам неохота. Ну, ходят тут. Однажды нищие пришли... Надо тройки отправлять с почтой. А они сидят и поют. Складно так. Почтальоны заслушались. А тут вьюга поднялась. Света Божьего не видно. Кабы поехали — пропали бы без остатка. Вот оно, какое это место!

— Так!..

— Пошли лошадей заводить, пока управились, телеги под навесы поставили, вернулись — и нищих никого нет. Вот вам и нищие. Другой раз... Рассказывать ли?

— Ну, говорите...

— Под весну дело было. Намело снегу по пояс. А тут овраг. Вода шумит весною. Мост. Ехала почта, Семипалатинская, на осьми тройках. И вечер. Видят: священник стоит, в облачении, кадило в руках помахивает. Остановились. Слезли... Подошли... Глянь: нет священника, а торчит из снега черная свая. Мост снесло, значит, а снегу над рекою бугром намело. Значит, еще шаг один и все прямо в поток. Вот вам и... ангелы.

В глубоком волнении поднимается с дивана Федя. «Вот оно что, — думает он. — Не я один! Значит, так было. Так должно было быть».

Сидит молча. Дышит тяжело. «Чудо было. Благодать Божия здесь... Кругом благодать...»

— Э-э! — махнул лохматый. — Недаром на Алтын-Емеле. Мели, Емеля — твоя неделя!

Смотритель плюнул, встал из-за стола и уже в дверях сказал:

— На ночь глядя троек не дам. Под утро поедете.
И вышел.
Длинный, без дела, потянулся день.

VII

Выехали еще до света.

Крутая в гору дорога. Направо пропасть. Черная, каменистая, глянешь ночью — дна не видеть. Частые столбы стерегут путника.

Медленно тащились лошади, поднимаясь по крутой, в извилинах, дороге.

Когда поднялись на вершину, пламенело на востоке небо. Пустыня уходила далеко, и, казалось, нет ей ни конца, ни края.

Ямщик-киргиз остановил лошадей. Молча протянул руку с кнутом на восток.

Золотым туманом клубилось там чуть голубое небо. Протягивались алые тучи, курились облака. Хаос мироздания кипел в пламени нарождающегося света. И выше туч и облаков на голубеющем небе дрожала опрокинутая стеблем вверх рдеющая роза. Как лепестки, были нежны прозрачные краски. Дух захватывала непостижимая тайна красоты этой далекой горной вершины.

Федя приподнялся, схватился пальцами за края телеги и смотрел в бесконечную даль, где дрожала в голубой вышине громадная пламенеющая роза. Видение исчезало. Темнели внизу облака, угасал огонь солнечного восхода, белые тучи застилали дымной завесой полную тайны гору. Круглое поднималось над горизонтом солнце и слепило ярким блеском пылающего диска.

— Хан-тен-гри! — торжественно проговорил ямщик и, обернувшись, указал назад: «алтын емел»...

За Федею горело «Золотое седло». Песчаные пики сверкали, облитые солнечными лучами, как червонцы.

Ямщик ударил кнутом по лошадям. Телега покатилась по пологому скату, быстро спускаясь в млеющую под солнцем пустыню.

Еще три дня ехал по пустыне Федя. Иногда показывался поселок. Росла трава, несколько садов зеленело за глинобитными стенами. В отдалении, как большие грибы, стояли круглые кибитки киргизов. Верблюды как изваяния дремали у дороги. Жирные лохматые горбы свешивались с их спин. И верблюды казались бронзовыми под ярким солнцем. Ста-

да баранов сгрудились тесною массою, стояли красные коровы, с тощим выменем, киргиз застыл на лошади... Полверсты — жили поля, а потом пустыня, песок и камни.

На четвертый день темное пятно замаячило на горизонте. В призрачном мареве дрожали пирамидальные тополя и густые рощи яблоневых садов, отчеркнутые белыми линиями оград. Тонкий минарет мечети сторожил селение, блестели окна домов, золотая пыль стыла наверху облаком. Это было большое русско-таранчинское селение Борохудзир, по-русски Голубевское.

До конца путешествия оставалось пятнадцать верст.

Пришлось опять ждать на большой и благоустроенной почтовой станции полсуток.

Федя сгорал от нетерпения. Был близок конец бесконечного пути, и его ждало начало новой жизни и службы государю и Родине.

Он выехал в шесть часов утра. Проехал по широкой улице мимо виноградных садов, где по-азиатски «кустами» заплетены были лозы и висели громадные кисти темно-синего и зеленого винограда, выехал в поля и большую рощею пыльных раскидистых карагачей, часа через полтора, спустился к длинному мосту, через русло, закиданное камнями. Посередине бежал ручей. За мостом был песчаный обрыв и сады, сады...

— Вот и Джаркент,— сказал русский ямщик, везший его от Борохудзира,— на въезжую везти прикажете?

— Да вези, куда хочешь. Где бы я мог пристать пока, помыться и переодеться.

VIII

На другой день Федя, чисто вымытый, с припوماженными волосами, в мундире с эполетами котлетками, в шароварах и высоких лакированных сапогах с блестящими голенищами «дудками», входил, осторожно ступая на носки, чтоб не запылить сапоги, на просторный двор. Натоптанная в пыли тропинка вела к маленькой глинобитной хате с плоской крышею и большими пыльными безрадостными окнами с давно лежащими на них синими папками. Над дощатою дверью висел картон с надписью: «батальонная канцелярия».

Федя толкнул дверь. Два писаря, сидевшие за кривыми столами, нехотя поднялись.

— Где адъютант? — спросил Федя, смущенный видом писарей. Черные, загорелые, в грязно-белых рубахах и ма-

линовых шароварах-чембарах, они казались ему соскочившими с картины Верещагина.

— Пожалуйте налево, ваше благородие.

На маленькой двери налево был наклеен кусок бумаги с разрисованными синим и красным карандашом словами: «батальонный адъютант».

Федя постучал.

— Войдите! — раздался хриплый голос.

Комнатка, в которую вошел Федя, была полна табачным дымом. За простым дощатым столом сидел смуглый, почти лысый, офицер с черными бакенбардами. Он был в кителе и широких чембарах.

— Честь имею представиться, подпоручик Кусков, — вытягиваясь, сказал Федя. Адъютант, сидевший развалившись на соломенном кресле, не шелохнулся. Он пустил облако дыма, протянул Феде большую волосатую руку и указал ему на трехногий стул у окна.

— Садитесь, — сказал он. — Знаю. Павлон?

— Так точно, 1-го Военного Павловского училища.

— Старший портупей-юнкер?

— Так точно.

— Так какой же леший, дорогой мой, понес вас в наши па-лестины? Жениться, что ли, захотели? Так сюда, дорогой мой, ни одна барышня ехать не согласится... У нас, положим, рай земной, так ведь и удаление-то какое от всего цивилизованного мира. Тоска и пьянство... Походы кончены. Кульджа покорена, и делать здесь абсолютно нечего. Я сюда попал, во-первых, из Иркутского училища, а во-вторых, выбор мне был — или Якутск, или сюда. А вас-то какая нелегкая понесла?

— Так, — сказал Федя.

— «Так» ничего не делается, дорогой мой... Ну, да снявши голову — по волосам не плачут. Сами законы знаете. Прогонны получили — значит, крышка на пять лет, как в тюрьме, ни от-пуска, ни перевода. Знаю... начнете зубрить в академию, год позубрите, а там бросите, тут обстановка не такая... Картишки, интрижки, маевки, выпивошки и... игра в мяу... живо, дорогой мой, вас отуркестанят. Тут, если не поход, тоска... Только не стреляйтесь, ради Бога, и чужих жен не умышляйте. Это тоже местная эпидемия... У Максимыча были?

— Так точно, был.

— Так точно... эх, из вас Павлоном-то так и прет. В чет-вертую назначил вас... Рост-то у вас богатырский. Вам бы в первой на правом фланге щеголять. Ну, у нас и в четвертой народ бравый. Визиты господам делали?

— Нет... Я вот хотел адреса спросить.

— Гм... адреса? Трудненько, дорогой мой, адреса вам указать. У нас улицы-то без названия и дома без номеров. По-простому живем. Слава те, Господи, все друг друга знаем, не ошибемся. Весь и гарнизон: две сотни казаков, мы да батарея. Да мы ж вот что... Гороховодатсков! — хрипло крикнул адъютант.

В дверях появился маленький черный, как жук, солдат, с круглой головою.

— Вот что, Гороховодатсков, возьми-ка ты его благородие и обведи его по всему городу, по всем господам офицерам. Понял?

— Понимаю, ваше благородие. Казачьим прикажете.

— Да, конечно... И докладывай, подводя к дому: такой-то, женатый или холостой. Понимаешь?

— Понимаю.

— Еще своди к старику Потанину — это, дорогой мой, у нас, так сказать, местная реликвия, ссыльный один сибиряк живет, почтеннейшая личность. Пострадал за ничто. Так ему принято уважение делать. Ну, конечно, к уездному начальнику, к батюшке, да непременно и к баю Юлдашеву, это как бы таранчинский князь, что ли. Очень обязательный человек. К русским льнет, ну и, между прочим, если проигрался, деньжонок можно перехватить, по-божески проценты берет. Уездному врачу визит нанесите, человек культурный и ах! как божественно играет в тетку! Он ее к нам и привез из России, а то мы все больше в стучолку жарили. К учительнице зайдите, она таких амуров, как вы, до смерти любит и не испугайтесь, если Людмила Андреевна вас запишет в любовники. Это ее привилегия всех молодых офицеров пробовать. Это надо, как корь или scarlatinu, перенести. Дама в соку, дебелая, красивая и обаятельности большой. Мужа не бойтесь, он это знает и давно перестал обижаться. И вам удобно: семейный угол готов... Ну вот, в двух словах, и вся программа. До свидания, прелестное создание. Гороховодатсков, действуй!..

— Пожалуйте, ваше благородие.

Под знойными лучами солнца Федя с солдатом обошел полгорода. Солдат то подводил к дому, стоявшему на улице и окруженному густым садом и говорил:

— Подпрапорщики Лединг и Астахов, коли не пьяны, славные господа.

То вел его по саду к скромному низкому домику, уютнущему в виноградных гроздьях, и докладывал:

— Капитан Василевский, командир батареи, сам на скрипке играет, жена музыкантша, на фортульянах могут. Дочь шести лет. Вряд ли только дома. Они не у командира ли казачьего полка? Больше там время проводят.

Или вел через пыльную площадь, какими-то дворами, к крошечной каморке, похожей на чуланчик, и говорил:

— Штабс-капитан Зайцев, женатый, теща с им и четверо детей. Совсем — Ноев ковчег.

И Федя попадал в семейную обстановку Зайцева. Не знали, куда его посадить. Жена Зайцева кормила грудью ребенка, денщик на кухне чадил и гремел посудой, маленькие дети обступили Федю, ползли на колени, теребили темляк. Сам Зайцев мрачно курил, сидя на подоконнике, и смотрел на все равнодушными красными глазами. Зайцева жаловалась на судьбу, на дороговизну и заклинала Федю всеми святыми не жениться и не пить...

У Людмилы Андреевны Федю посадили на мягкий диван рядом с хозяйкой. Она была в китайском расстегнутом капоте. Пахло душистым мылом и пудрой. Полная шея и плечи сверкали томною белизною. Людмила Андреевна после пятиминутного разговора перешла в столь решительную атаку, что Федя «спек рака» и поспешил ретироваться. Прапорщики Лединг и Астахов лежали на койках друг против друга в расстегнутых кителях, курили и сплевывали по очереди. Они вскочили было перед Федею, но, увидав, что он прост, опять легли, стараясь показать, что они себе цену знают и им в высокой степени наплевать на то, что подпоручик, да еще с годом старшинства сел им на шею и отсрочил опять на долгое время их производство. Они смотрели жадными глазами на его лакированные сапоги с крепкими «дудками».

— Где сапоги заказывали? — спросил Лединг. — Видать питерская работа.

— У Мещанинова, — сказал Федя.

— Я все мечтаю от Гоце выписать, — сказал Астахов, — да все никак не соберусь.

— С колодками купили или без? — спросил Лединг.

— С колодками.

— Да, это так полагается. Фасон не потеряют. И мой вам совет, денщику не доверяйте. Сейчас каналья ваксой лак намажет. Сами за ними и ходите... Очень хороши сапоги.

Наступило молчание. Федя встал, откланялся и вышел.

IX

Было за полдень. Солнце стояло над городом, и были коротки тени от густых пирамидальных тополей. Гороховодатсков долго вел по тенистой улице с глядящими в ее зеленую раму желтыми полями и сверкающей пустыней. Они шли

вдоль высокого глинобитного забора. Деревья протягивали из-за него ветви, вместе с листвою тополей улицы образуя тенистый зеленый коридор. Арык мелодично журчал вдоль него, а рядом застыла в полуденной дремоте широкая улица, поросшая крапивой, лебедой и желтыми и розовыми мальвами. Ежевика и барбарис, с кистями красных ягод, тянулись на середину улицы и придавали ей запущенный вид. Серый осел с ошейником и колокольчиком бродил по ней. Нежный запах яблоков и персиков вливался в легкие, прохлада садов умеряла жар.

Гороховодатсков толкнул калитку подле старых осыпавшихся ворот и повел Федю по аллее между розовых кустов. Громадные белые «Frau Karl Druchke», нежно-желтые чайные «Marechal Niel», большие розовые «La France», огненно-красные «Etoile de France», оранжевые с каймою «Sunset» цвели пышно и неудержимо. Сладкий запах цветов застыл в воздухе. На больших деревьях висели темные сливы, желтые ренклоды, груши Дюшес и Берре-Александр, прозрачные персики и громадные красные «Верненские» яблоки... Дорожка упиралась в небольшую серую постройку из земли, окруженную верандой на столбиках.

— Помощник командира полка, войсковой старшина Самсонов, — сказал Гороховодатсков, показывая на дверку, и пошел в сад собирать опавшие яблоки и груши.

Федя остановился у двери. Ни звонка, ни ручки. За дверью что-то шипит, должно быть на плите, и слышно, как ерзает тряпка по полу. Федя постучал. Никакого впечатления. Он толкнул дверь, вошел на кухню и замер... Просторная, светлая кухня вся сияла в зеленых блесках отраженного сада. Спиною к Феде девушка, низко нагнувшись, вытирала большой тряпкой пол. Федя увидел маленькие, стройные ноги, обнаженные до колена, белые икры, розовые пальчики, светлую в синих полосках юбку, подобранную тесемкой передника у талии, и покрасневшие от усилия руки, водившие тряпкой по полу.

Федя кашлянул. Девушка быстро выпрямилась. Русые косы метнулись по спине. Розовое лицо, розовые щеки, маленький рот появились перед Федей. Большие серые глаза с испугом и негодованием глядели на Федю.

— Ах! — воскликнула девушка, бросила на пол мокрую тряпку и опрометью бросилась из кухни.... За дверью она приостановилась, заглянула в щелку на Федю и исчезла.

Федя стоял посреди кухни. Прошло минуты две. На плите шипели кастрюли, вкусно пахло щами и чем-то жареным, на полу высыхала недотертая лужа и валялась тряпка, на

стене тикал медный маятник больших деревянных часов с белым с розовыми цветами циферблатом.

Наконец дверь на кухню распахнулась и появился маленький, худощавый, крепкий человек. Он был одет в синюю суконную австрийскую куртку без погон и длинные темно-зеленые штаны с широким алым лампасом. Он был смуглый, загорелый, носил усы. Короткие густые черные волосы низко сбежали на лоб. Он улыбнулся, обнажив крепкие, ровные, желтоватые зубы, и сказал:

— Пожалуйста, поручик. Отличное дело, будем знакомиться.

Федя перешагнул через тряпку и прошел за хозяином в низкую просторную комнату. Хозяин не здороваясь подошел к окну и бодро крикнул в сад: «Стогниев!.. обедать!»... потом повернулся, обеими руками схватил за руку Федю, приготовившегося рапортовать, кто он, и, сжимая ее мягкими ладонями и снизу вверх глядя на Федю ласковыми добрыми глазами, сказал:

— Не нужно никакой официальнойности... Вижу по глазам... Хороший, добрый парень. Охотник? А?.. Природу любите... а? Николай Федорович Самсонов... Как звать?

— Федор Михайлович Кусков, подпоручик...— начал Федя.

— И Федор хорошо, как моего батюшку, царство ему небесное, а Михайлыч и того лучше, архистратиг Михаил напоминает. Какого училища?.. По выправке гляжу: уже не Павловского ли?

— Павловского...

— Отличное дело... Значит, оба мы «земляки». Я тоже Павловского, только лет на двадцать, должно, постарше... Стогниев,— обратился он к вошедшему высокому казаку, с хмурым плоским лицом: — Живо прибор для его благородия и кличь барышню. Обедать время...

Посреди комнаты стоял четырехугольный стол, накрытый скатертью на два прибора. На столе графинчик водки, кувшин с квасом, одна рюмка и два стакана.

— Помилуйте, господин подполковник,— начал было Федя, но Николай Федорович перебил его.

— И полноте,— сказал он,— отличное дело пообедаете с нами. Обед простой. Наташа с денщиком стряпает и все тут.

— Николай Федорович, да как же это? Мне, право, известно.

— Постойте, родной... Что за разговоры. Вы где обедать думали? На въезде?.. Это четыре версты киселя хлебать... И парадный мундир поберечь надо, так мы его того,

отличное дело, снимем у меня в комнате, а я вам какую-нибудь куртку состряпаю. Отличное дело будет...

Николай Федорович потащил Федю к себе в кабинет. Звериные шкуры покрывали пол, на стене, на громадной тигровой шкуре, висели рога, кабаньи и оленьи головы и ружья.

— Своей, батенька, все охоты,— сказал Николай Федорович,— сам и чучела набивал. Я с Козловым ходил, на Пржевальского работал... Вот, посмотрите,— он показал на перья, стоявшие в стакане на столе,— подвенечный наряд здешней цапли. Сказывают, в России за это сотни рублей платят!.. Ну, скидывайте мундир, вот вам, отличное дело, куртка. Коротковата немного... ну ничего... Никого у нас нет... Наташа,— крикнул он,— готова, что ль, детка?

— Сейчас, папчик...— послышалось из-за стены.

— Нас,— сказал Николай Федорович,— двое. Я да дочка... Мамаша не живет со мною...— он вздохнул и повторил: — я да дочка... отличное дело. Да зато — дочка-то золотая. В прошлом году институт кончила в Петербурге, а какая работница. Она и в саду, и в доме, и везде, и все она, отличное дело!..

Х

В столовой, держась за спинку стула, уже стояла барышня в белой кисейной блузке и светлой, с бледно-голубыми полосками, юбке. Лицо ее горело смущением, глаза были опущены, губы поджаты, брови нахмурены.

Она, не поднимая глаз, сделала церемонный книксен и протянула Феде руку.

— Наташа, это новый офицер в наш батальон. Тоже Павловского училища, петербургский.

Наташа промолчала.

— Читай, Наталочка, молитву,— сказал Николай Федорович.

Наташа повернулась к иконе и мягким, красивым голосом прочитала «Очи всех на тя, Господи, уповают». Читала она с чувством и широко и медленно крестилась.

Сели за стол. Денщик внес миску с дымящимися щами. Наташа разливала, денщик в нитяных перчатках разносил тарелки.

— Ваше благородие,— наклоняясь к уху Николая Федоровича, сказал Стогниев.— Там с ними солдатик батальона, как им прикажете быть?

— Накормить и отпустить. Отличное дело — поручик у нас до вечера останется, а вечером отвезем его на своей лошади.

— Понимаю.

Федя заволновался.

— Нет, пожалуйста,— краснея, начал он,— мне еще надо визиты делать. Я только начал.

— Ничего, поспеете, отличное дело. Времени много. Давно я павлонов не видал. Вы у кого стоите?

— На въезжей.

— Вот так-так!.. и квартиры не имеете... Видала, Наташа... Я после обеда узнаю у вдовы капитанши Тузовой, кажется, комнатка со столом сдается, и недорого, и в батальон вам недалеко. Там и устроитесь, отличное дело. Стоит на въезжей и уже визиты делает, да в парадной форме! Хорошо, Наташа, столичный гусь.

Наташа молчала. Ее большие серые глаза, когда Федя не смотрел на нее, внимательно разглядывали его. Но только замечала, что он глядит в ее сторону, черная занавесь длинных ресниц упала на глаза, Наташа рассеянно поворачивалась к окну или вставала и шла на кухню. Она была красива тою спокойной, сильной красотой, какою бывают красивые только русские девушки. Ее лицо живет. Какие-то светлые краски играют на нем. Вдруг на щеки беспричинно набегит румянец, станет приметен белый пушок у шеи, и лицо от него еще нежнее. И если посмотрит кто на нее в это время, загорится полымем все лицо, зальет краскою чистый лоб, маленькие губы недовольно надуются, Наташа встанет, подойдет к буфету, достанет ножики для фруктов, или тихо, спокойно уйдет вздохнет о чем-то. Слушает отца, улыбнется ему, и все лицо осветится чистою радостью. Из-под пухлых губ покажется жемчуг ровных и блестящих зубов, и вдруг засмеется звонко, весело, по-детски... И сейчас же станет серьезна, нахмурится, и снова бежит на лицо краска. Наташа высока. Она выше своего отца, тонкая, с широкими плечами, сильною грудью и маленькими русскими руками и ногами. Веет от нее спокойствием и ширью сибирской степи и холодным светом петербургской белой ночи.

За обедом говорил один Николай Федорович. Он рассказывал про охоты, про службу на границе, про китайцев и их крепости, про то, как он молодым офицером золото искал.

— Искал я золото, Федор Михайлыч, а золото-то росло для меня, Господом Богом данное,— вот оно, мое золото.

— Полно, папа! — сказала Наташа и встала из-за стола.

— Постой, Наталочка, надоть солдату корзинку собрать фруктов хороших. Пусть снесет петербургскому офицеру, он, поди, таких и не видал. Почем, Наташа, ты говорила, в Питере такие персики, как наши?

— По два рубля штука,— сказала Наташа и взялась за дверь.

— А у нас ни почем, отличное дело... Наташа, ты посередке дыньку положи, знаешь, черную с желтым узором.

— Знаю, папа, как надо сделать,— нетерпеливо сказала Наташа и открыла дверь.

— Постой, коза... Слив положи французских и ренклодов от Куропаткинского дерева... Да груши не забудь дюшес и бергамотовых...

— Куда это мне!..— сказал Федя,— мне так совестно... право, не надо. И Наталью Николаевну беспокоить напрасно.

— Какое же беспокойство! — вспыхнув сказала Наташа и ушла за дверь.

— Помилуйте, Федор Михайлыч! — говорил Николай Федорович.— Как мне гостя своими фруктами не порадовать. У меня первый сад по здешним местам. Я арендовал этот кусок у Нурмаметова, отличное дело, глушь и дичь была... Одни яблоки, груши да виноград. Я выписывал и фрукты тончайшие, и розы, все для нее. Знал: растет в институте. Верите — десять лет ей было, отвез ее в Смольный и вот только в прошлом году приехала. Осмотрелась... Я, признаться, боялся, отличное дело, затоскует, не останется. Нет... Сначала немного поскучала... даже поплакала по подругам, а потом, отличное дело, точно лошадь в хомут влегла. Она и в саду, и дома полы вымоет, и платье сама сошьет, и обед состряпает, и меня на охоту снарядит, и поет, и танцует, отличное дело... Кур завела в прошлом году, на подбор как одна — Фавероли. Инкубатор выписала — и опять — Наташа... Дай Господи здоровья начальнице и воспитательницам, воспитали рабочую, богобоязненную девку.

Николай Федорович повел Федю на веранду, где уже проворные руки Наташи успели накрыть красной с кремовыми цветами скатертью стол. Стогниев принес кипящий самовар. От выпитой за обедом водки у Феди шумело в голове. Он слушал Николая Федоровича, и в то же время одним ухом прислушивался к звонкому смеху и голосу, раздававшемуся по саду.

— Как хорошо вы сделали,— говорил Николай Федорович,— что не погнушались нашей окраиной. Отличное дело, право... Читаю я намерении в «Инвалиде» приказ о производ-

стве, думаю, кто да кто в наши палестины. Гляжу: из старших портупей-юнкеров. А!.. вот это, думаю, молодчик! Это настоящий офицер! Не побоялся... Тут, Федор Михайлович, настоящая служба... Тут не как либо что! Кругом киргиз, тарачинец, дунганин, отличное дело, Китай рядом... Он замирен-то замирен, а как стали сюда поселенца гнать, нет-нет и заволнуется. Тут распускаться а ни-ни! Не можно... Ну а солдат тут особенный, слухи ходят — в стрелковые батальоны вас будут переименовывать... А я бы... Того... не делал этого. Что плохого, что линейные. Линия-то это не фунт изюма, не бык начихал... Это гроза. У нас, вы знаете, как поется-то? Наташа! Принеси-тка, голубка, гитару.

Наташа птичкой выпорхнула из гуцизны кустов, пронеслась по саду, где-то хлопнула дверью и принесла отцу старую, выдавшую виды гитару.

Николай Федорович перебрал струны и запел:

Утром рано весной
На редут крепостной
Раз поднялся пушкарь поседель!
Я на пушке сажу,
Сам на крепость гляжу
Сквозь прозрачные волны тумана...

— Это, Федор Михайлыч, вам не Тигренок и не Стрелочек, отличное дело. Извольте видеть — степь, пустыня бескрайняя, и в ней маленький городок, валы и стены, потому что киргиз-то не замирен, сарты волнуются, туркмен не покорился белому царю. В городке, вот как мы: батальон, полубатарей и две сотни казаков... До соседей, до помощи-то, — сотни верст, и телеграф только солнечный — гелиограф...

Николай Федорович взял несколько аккордов и, повысив голос, продолжал:

Дым пронесся волной,
Звук раздался стрелой,
А по крепости гул прокатился.

— Чувствуете, Федор Михайлыч, тревога... Киргизская, несметная орда подступает. А в городке-то женщины, дети, жены, дочери, вот такие же, как моя Наталочка-дочурка... Надо оборонить и их, и линию государеву удержать, не податься. А то позор, суд, за сдачу-то городка: полевой суд, отличное дело, и расстрел!..

Бурный грянул аккорд, трелью рассыпался по струнам, а пальцы по деке пробили барабанную тревогу.

Как сибирский буран
Прилетел атаман;
А за ним есаулы лихие.
Сам на сером коне,
Грудь горит в серебре,
По бокам пистолеты двойные!

— Песня-то, Федор Михайлыч, не поэтом каким придумана, а там и сложена, теми самими, кто:

Живо шашки на ремень,
И папахи набекрень,
И в поход нам идти собираться.

— А дома-то плачут. Наспех хлеба заворачивают, отличное дело, корпию щиплют, медицина-то была простая. Ранен, на три четверти по здешним местам, отличное дело, не выжил.

Я бы рад на войну,
Жаль покинуть жену,
С голубыми, как небо, очами!

— Петербург, Россия этого не знают. А мы знали... Да и теперь, аллах ведает, что творится на душе у косоглазых. Их здесь в уезде шестьдесят тысяч, отличное дело, и все конные, а нас — кот наплакал... Батальон, четыре пушки да две сотни казаков... И подумайте, Федор Михайлович, вот этими же силами пол-Азии завоевали.

— Вы были участником этих походов?

— Сам-то мало. Завоевание Кульджи с Куропаткиным немного захватил. С ним и город наш планировали, оттого и ренклюд мой Куропаткинским назван. Сам Алексей Николаевич, капитаном, посадил его. Недавно наезжал сюда: я его уже плодами угащивал... Отец мой — он вахмистром был, все четыре креста имел, отличное дело, полный бант. Любимец Скобелева.

Хлопнула калитка. По дорожке между роз, направляясь к дому, прошел трубочист-таранчинец, с черной непокрытой головой, с веревкой, метлой и гирей за спиной и лестницею на плече.

Наташа, разливавшая чай, подняла маленькие руки, по-детски всплеснула ими и шаловливо пропела:

Трубочист, трубочист!
Милый, добрый трубочист!

— Примета, папа, хорошая. Трубочист — это счастье... В институте мы ужасно в это верили...

Было темно. Звезды многооки́м узором высыпали на небо, в городе было тихо. Где-то на окраине лаяли таранчинские собаки. Стогниев на паре маленьких киргизских лошадей в тачанке на дрожинах по мягким улицам Джаркента вез Федю домой. На коленях у Феди был сверток: булки с мясом и маслом, сдобные булки и сухари — изготовление Наташи, всунутые ею ему: к завтрашнему чаю.

Прозрачная темень под сводами густых тополей, акаций и карагачей хранила ароматы садов. Арыки, пополненные ночью водою дневного жара, пригревшего ледники, звонко пели какие-то необыкновенные азиатские песни. Томительно сладок был запах фруктов, соломенной гари и восточных курений.

Федя смотрел на небо. Ни одно облачко не заслоняло звезд.

«Мама! Милая мама! — думал Федя, — ты глядишь на меня с неба. Мама, благослови мои дни и помолись за меня. Ты у Господа и тебе все открыто»...

Трубочист, трубочист!

Милый, добрый трубочист!

«Трубочист, это счастье...» — слышалось Феде. «Счастье пришло в дом... К кому? К чудному Николаю Федоровичу? К Наташе? Ко мне?..»

XI

17-го октября, по случаю высокото́ржественного дня «избрания их величеств от угрожавшей им опасности», приказом по гарнизону было назначено «торжественное молебствие после божественной литургии, а после онаго парад всем частям гарнизона. Форма одежды: парадная, в рубашках и чембарах при караульной амуниции».

Командир 4-й роты, еще накануне заболел своею обыкновенною болезнью, пил мертвую, фельдфебель передал Феде его приказание: быть за него.

Со всею пунктуальностью портупей-юнкера Павловского училища Федя за час до времени построения роты явился в глинобитные бараки, зорким взглядом осмотрел каждого солдата, тому приказал еще раз помыться, троих тут же остриг, навел порядок и красоту на каждого и, когда рота в лихо надетых набекрень белых кепи, с назатыльниками, которые донашивали и все не могли доносить, так как каждый год заказывали новые, в белых рубахах, со скатанными

шинелями, в малиновых шароварах построилась в пустыне, на фоне далеких синих гор,— Федя не без внутреннего горделивого волнения осмотрел ее.

Хороша была рота! Бравые загорелые солдаты были подтянуты походами через пустыню и смотрели бойко. Унтер-офицеры стали на взводы, барабанщики и горнисты на правом фланге. Федя проверил расчет, сделал вздваивание рядов, прорепетировал ружейные приемы.

Положительно хороша была рота! Невелика, правда, всего восемьдесят два человека, но хорошо слажена. Совсем, как на картине Верещагина. Белые кепи, белые рубахи, малиновые чембары мягко рисовались на розовато-желтом фоне трепещущей миражами пустыни.

Гордый повел ее Федя на плац перед церковью.

— Отбей ногу! Ать-два! — крикнул он, входя на площадь, так же молодцевато, как покрикивал Семен Иванович на него самого, когда он шел в рядах государевой роты.

В церкви был цветник дамских платьев, краснела лента на белом кителе генерала, начальника гарнизона, а сзади тихо покашливали и вздыхали солдаты и казаки, белыми рядами занявшие всю просторную новую, еще пахнущую масляною краскою и клеем позолоты церковь.

Посредине храма неподвижно стояли два знаменщика со знаменами казачьего полка и батальона и подле них два адъютанта.

Пожилой священник с темной, пробитой сединою, бородою и молодой, сладкоголосый русокудрый дьякон вдумчиво и неторопливо служили. Хорошо слаженный хор из офицеров, дам и барышень пел на клиросе.

Федя ушел в молитву. Церковная служба больше всего напоминала ему мать. Он думал о том, что было в пустыне у таинственного Алтын-Емеля. И знал, что было чудо.

Чудо было кругом. Чудо была пустыня и горы, с прижавшимися к ним ледниками и горными озерами, питающими своими арыками оазисы. Чудо был сад Николая Федоровича и сам Николай Федорович, с его гитарой и песнями был чудо. И его четвертая рота в малиновых чембарах, и казаки на маленьких лошадках. Все эти русские, завоевавшие и устроившие этот край, были Божьим чудом.

Да, чудо была и сама Россия!

Как был бы он счастлив, если бы все это увидела мама!

«А, может быть, она и видит все и самые мысли его видит!..»

Хор певчих передвинулся, перестроился. Готовились петь передпричастный концерт. Зашелестели нотами, густо откашливались басы.

Меццо-сопрано, звонкое и ясное, взвилось в высоту:

«Дивны дела твои, Господи!»

Мягко, сдержанными аккордами аккомпанировал женскому голосу хор. И то сливался голос с хором, то покрывал его, и страстными возгласами хвалы рвался к куполу.

«На горах стоят воды...

Напоеешь горы с высот твоих, плода дел твоих
насыщается земля.

Дивны дела твои, Господи!»

Федя поднял голову.

На первом месте, впереди хора, стояла Наташа. Она была в светлом платье с алыми и темно-зелеными, полковых цветов, лентами, с голубым институтским шифром на плече и, вся розовая от смущения, устремив куда-то вдаль глаза, пела сольную партию...

Федя вспомнил кухню, босые тонкие ножки, согнутый стан, грязную тряпку, милое смущение за обедом, корзину фруктов и подумал: «вот она какая!..»

Когда выносили знамена — по туркестанскому обычаю, заведенному Скоблевым, их приветствовали громовым «ура».

На площади стояла толпа таранчинцев и киргизов. Стражники отесняли их, очищая площадь парада. Генерал на белом арабском жеребце объезжал фронт. Он провозгласил: — Ура «Державному вождю Российской армии». Федя думал: «По всей России теперь служат молебны и идут церковные парады. И также молится теперь Купонский в Московском полку, и бывший училищный знаменщик Комаровский в Варшаве в Волынском полку, и Ценин в Иркутской казачьей сотне, и Агте в Камень-Рыболове на границе Маньчжурии.»

Сознание единомыслия, одинаковости жизни и стремлений показалось Феде знаменательным, сильным и важным.

Он стоял на фланге роты, опустив шашку, и чувствовал себя маленькой-маленькой, одной из миллиона, волной океана — и в то же время сильным, могучим и несокрушимым, как весь океан...

Когда проходили церемониальным маршем и третья рота плавно отделилась от него, топтавшейся под музыку, четвертой, он увидел в образовавшийся просвет генерала на белом коне, маленькую группу офицеров и дам и сразу распознал под зонтиком высокую светлую Наташу, с бантом полковых цветов в русых волосах.

Федя выпрямился...

— Четвертая про-т-та...

И по-училищному, с шиком, коротко бросил, уловив правую ногу:

— Прямо!

XII

Джаркент спал тем особенным крепким сном, каким спят только глухие среднеазиатские города, затерявшиеся в пустыне. Ни одна собака не лаяла в таранчинском квартале, ни одна тень не отделялась от домов и не кралась вдоль серых заборов мимо по-зимнему тихо журчащих арыков. Серебряные горы, снегом до самой подошвы покрытые, сторожили покой пустыни. В иней закованные, белыми привидениями, стояли деревья садов и аллей. Ни один звук не прорезал пустыню, и, как изваяния, лежал, подогнув колени, у таможи караван двугорбых верблюдов. Закутавшись в меха и одеяла, дремали между ними погонщики. Костер тлел посередине улицы. Красное сияние потухших дров тоже, казалось, дремало.

Ни одно окно не светилось в туземном квартале, нигде не мерцала лампадка, не видно было жарко растопленной печи и пламенеющего свода, готового принять хлеба. Под ворохами разноцветного тряпья, кутаясь от холода зимы, лежали таранчи и дунгане, и поставленные с вечера уголья в бронзовых хибачах покрылись серым пеплом.

Там, где стояли русские войска, желтыми огнями светились ряды окон низких глинобитных казарм. Подле ворот топтались парные дневальные с винтовками под мышкой и руками, засунутыми в карманы. В казачьих сотнях в сумраке возились люди на коновязях. В тихом сиянии звездной ночи шла уборка. В одной из сотен седлали... На охоту...

У маленького домика вдовы капитанши Тузовой, где «стоял» Федя, на улице дожидался сибирский казак с двумя поседланными лошадьми. За занавешенным окном тускло светилось пламя свечи. Федя собирался с казаками на охоту.

Он вышел в серо-синем пальто с блестящими пуговицами и погонами, в ремне с двумя охотничьими патронташами, с ружьем, подарком матери.

Он вдохнул свежесть морозного утра, тонкий аромат заиндевелых сучьев, неуловимый запах утреннего мороза и земли, еще не покрытой снегом и пахнущей прелым листом, и сон сбежал с его румяного лица. Негромко, точно боясь разбудить уснувшие сады, Федя спросил казака:

— Я не опаздываю, Солдатов?
— Никак нет. Я поехал — еще седлать не начинали,—
ответил казак.

— Как думаешь, кабаны будут?

— Кто же их знает. Не иначе, как должны быть.

— Я в левом пулю положил, разрывную.

— Хорошее дело.

— А тигр не выйдет?

— Тигра в облаву не пойдет.

— На прошлой неделе, таранчи говорили, подле Зайцев-ского корову задрал ночью.

— Он теперь иде!.. Его следить надо. Он, поди, к самому Балхашу подался. Зимою там держится, на плавнях.

— Ах! Вот тигра бы хорошо.

— Потерпите, ваше благородие. Уже его высокоблагородие, наверно, не устоит, осенью поедет куда-нибудь. Не то на Иссык-Куле завоюете, а то к Памирам подадитесь; там зверем джуга богато.

Просторным торопливым шагом поехали по спящей улице. Лошади мягко ступали по пыльной дороге, просту-чали копыта на мосту через арык. Федя свернул на глав-ную улицу, где у пивоваренного завода был назначен сбор-ный пункт.

Охота имела еще особый интерес для Феди. Она сближа-ла его с Николаем Федоровичем, давая предлоги забегать к нему за каким-нибудь пустяком: за пыжами, за дробью, спросить совета, сказать: на одну минуту — и остаться до ночи. Слушать рассказы Николая Федоровича об охотах, о Пржевальском, Роборовском и Козлове.

И глядеть в большие, ясные серые глаза Наташи, следить игру красок на ее лице и думать о ней.

Иногда, точно угадает она его мысли, покачает головой, улыбнется, пальцем погрозит.

— Что такое?.. Что такое? — спросит он.

— Уж я знаю!.. Этакий вы противный!..

Ласкают глаза...

Стала Наташа необходимой для Феди. Без нее и жить не стоит, и свет не мил.

И сейчас... Едет на охоту, а мечтает о том, как, вернув-шись с охоты, зайдет на минутку к Николаю Федоровичу и останется до поздней ночи.

Так всегда бывало. После охоты Николай Федорович приглашал охотников пообедать. Уставшие на морозе охот-ники после обеда расходились по домам. Николай Федоро-вич дремал на диване, а Федя оставался с Наташей.

Он совсем не уставал. Когда Наташа глядела на него, он и о сне забывал...

Федя унесся в мечты и вздрогнул, когда казак сказал ему:

— Ваше благородие, вот и наши.

XIII

Лошадь Феде шарахнулась от лежащих верблюдов и, храпя, забочила к краю улицы. В темной алее вспыхивали и угасали красные точки, слышался говор и гул топота сотни конских ног.

Федя догнал сотню загонщиков. Казаки ехали, закутавшись башлыками, и курили. Они были в полушубках, без оружия. Рядом с вахмистром ехал трубач. Длинная сигнальная труба на спине трубача чуть поблескивала, отражая звезды.

Впереди сотни молчаливо ехали офицеры-охотники: семеро казачьего полка, капитан Тюмкин, поручик Георц и Федя линейного батальона. Толкаясь коленями между всадников, Федя объехал всех и поздоровался.

Рассвет поднимался как-то сразу, и предметы точно вырастали из сумрака ночи. Серые, бескрасочные, выдвигались: угол стены, белый в инее куст, темная, точно нежилая, хата.

У тюрьмы ожидали еще трое: делопроизводитель батареи, чиновник Рыло, предмет постоянных насмешек и острот над его фамилией, телеграфный служащий Огурчиков, молодой, румяный, рубаха-парень, льнувший к офицерам, никчемный стрелок, и мрачный бородатый старик Потанин, бывший ссыльный. Все они сидели на крепких киргизских лошадях. У Рыла болталось за спиной старое двуствольное пистонное ружье тульской работы со светлым березовым стволом, у Огурчикова висела на веревке давно нечищенная ржавая централка и у Патанина было отлично пригнанное английское бескурковое ружье — зависть охотников.

— Рисовые не прогаем? — спросил у Николая Федоровича страстный охотник Грибанов.

Последние сады города остались позади. Ограда и за нею стоячие длинные плиты магометанского кладбища были влево, а вправо стлались замершие черные поля с редкой старой соломой.

— Стоит ли? — что-то обдумывая и раскуривая папиросу, сказал Николай Федорович.

— А может, кабанчик набежит. Я третьего дня ездил, след видал.

— Кроме фазанов ничего не будет. Я так разметил: от муллушек начнем. Возьмем сплошные камыши. От них болотами прогаем до ручьев. Потом вдоль ручьев до Илийского камыша, оттуда на Борохудзирскую дорогу и у карагачевой рощи закончим. Дай Бог все засветло успеть.

Грибанов пыхнул папироской, подумал, прикинул в голове и согласился.

Заиндевелившие маленькие травинки вдруг заблестели мелкими брильянтами и заиграли всеми цветами радуги. Из-за снежных гор брызнуло огнями солнце. Мутный свет рассвета исчез. Теснота и сдавленность сумерек сменились бескрайними просторами. Исчезло робкое мерцание звезд. По синему куполу без единого облака, без малейшей дымки плыло солнце и яркими лучами озаряло земные просторы.

По узкой дороге, между песчаных осыпей крутого берега Усека, казаки спустились к руслу, застучали и зазвенели облещенными камнями, забрызгали по быстро несущейся реке и уже обступили кусты и раскидистые красноватые стволы с ветвями, покрытыми неопавшими черными листьями джигды другого берега. За кустами — бледно-желтое море камышей с коричневою рябью метелок.

И конца им не было. Желтые, с сухими листьями, с сухими метелками, они стояли стеною выше роста всадника.

Николай Федорович как-то рассказывал Феде, что два года назад трое охотников пошли в камыши. Через пять дней один вернулся седой от пережитого волнения, а его спутники пропали и тела их и по сейчас не найдены. Камышовая стена не позволяла ориентироваться. Глубокие черные, болотные провалы заставляли менять направление, и можно было без конца кружить по камышам и никогда не выбраться. Камыши широкою полосой росли до песчаных берегов реки Или, на севере подходили к озеру Балхаш.

Грибанов расставлял стрелков по камышовой опушке, по вытянутым из шапки номерам. Феде досталось стоять рядом с ним на десятом номере.

— Хороший номер, поручик,— сказал Грибанов.— На самом их лазу станете. Смотрите: не прозевайте. Он почует, сейчас повернет.

Николай Федорович вызвал вахмистра. Смуглый, черноусый красавец карьером, с вахмистерским шиком, подлетел к войсковому старшине и осадил заскользившую по мерзлой траве лошадь.

— Вот что, Калмыков,— сказал Николай Федорович,—

продвинулся до «муллушек». Оттуда налево, на восток, понимаешь,— и до черного протока тяти лавой, шагов на десять один от другого. Дотянул и, отличное дело, сигнал дай «вперед».

— Понимаю, ваше высокоблагородие.

— Ну, айдате с Богом!

Сотня зашуршала по камышам, сбивая с них ледяные футлярчики, и скрылась.

Федя стоял в двадцати шагах от камышовой стены. Вправо, на кочке, сидел Огурчиков и, как заяц, поводил губами. Влево, за пучкой сухой, зеленовато-серой травки, устроился Грибанов. Положив ружье на колени, он задумчиво смотрел вперед. Тишина была мертвая. Шорох раздвигаемых казаками камышей затих, и казалось зловещим камышовое море. Странно было думать, что там есть жизнь, что вот-вот выскочат оттуда дикие козы, джейраны, кабаны, вылетят фазаны.

Солнце сверкало на инее. Таяли серебряные сосульки и алмазною капелью упали на окристаленную инеем траву. Теплело. Застывшие в стремени ноги у Феде отогревались. Федя слышал, как тикали серебряные часы в карманчике шаровар. Прошло около полчаса.

Вдруг влево, далеко, совсем не там, где ожидал Федя, прозвучал хриплый сигнал, повторился и сейчас же ожили людским гомоном камыши.

— О-гэ! О-оо! А-ай... О-гэ! О-го-го-го! — раздавались далекие голоса загонщиков.

Камыши точно насторожились. Дрогнули, выпрямились... и стали тихие... ждущие... Казалось, что не приближались крики, но раздавались все на одном месте. Смолкнул, затихнут и опять начнут, сперва несмело, потом громче: О-гэ!.. А-а-а!.. А-яй!.. О-гэ!..

Федя вытянулся, держа ружье наизготовку. Старался заглянуть в самую гущу. Грибанов по-прежнему беспечно сидел с ружьем на коленях. Во рту у него шевелилась соломинка.

Солнце ярко светило. Две краски были в природе: синяя — неба и желтая — земли. И бесконечно глубоки и прозрачны были обе...

— «Что?.. Что выйдет на меня?..— думал Федя.— Господи! хотя бы кабанчик... Кабана пошли мне, Господь!».

Он поднял курки и твердо помнил: в левом пуля.

«Как он пойдет? Будет ли красться между камышей или мелькнет черной тушей? Вот бы такого свалить, как у командира полка чучело. Одна голова — два пуда, а клыки

кверху загнуты, как у слона, плоские, как ножи, с коричневым налетом... Я бы клыки подарил Наталье Николаевне... И все казаки увидали бы тогда, какой я стрелок...»

И вдруг... Ф-ррр... совершенно неожиданно, так, что Федя вздрогнул, недалеко от него взвился в небесную синеву красавец красно-желтый фазан-петух и блеснул золотом своих перьев в солнечном блеске.

Федя быстро выстрелил... «Попал?.. Нет? Почему не падает?» — и в ту же минуту раздался выстрел Грибанова, и фазан, описав золотистым телом дугу, сначала медленно, потом все скорее и скорее полетел на землю и грузно ударился о кочку. Казак-вестовой, бросив лошадей, подошел, поднял его за лапы и осмотрел восхищенным взором красивую птицу. Потом не спеша стал увязывать его в торока.

В его медленных уверенных движениях было что-то, что задевало Федю. Точно какое-то превосходство над ним «своего» офицера показывал казак. И, совершенно забывшись, Федя глядел на казака, увязывавшего фазана.

— Кусков!.. Поручик Кусков,— раздалось слева от него. Грибанов показывал рукой на камыши. В тридцати шагах от Феди в камышах стоял серый козел. В переплете камышин Федя видел его стройное тело, поднятую голову с маленькими рогами, с блестящими, как мокрый чернослив, глазами и с большими ушами, подбитыми белой шерстью. Козел смотрел на опушку, точно решал, опасно или нет броситься на чистое.

В левом стволе у Феди была разрывная пуля, в правом пустой патрон. Он приложился. В ту же секунду козел бесшумно исчез в камышах. Близо слышны были голоса загонщиков.

— О-яй!.. Разбуди! Разбуди его маленькой!.. Смотрит... лева... лева... козел пошел... Левый фланок смотрит: козел...

Трубочка играл на трубе какие-то рулады. Далеко вправо четко грянул одиночный, как показалось Феде, какой-то солидный выстрел, и Грибанов уверенно сказал: — Попал!

Камыши затрещали, валясь и разгибаясь. Показались темные фигуры казаков, продиравшихся сквозь заросли.

Раскрасневшиеся от крика, мороза и солнца казаки выезжали на поляну, обмениваясь впечатлениями.

— Кабан сквозь хронт прошел. Во! Здоровый какой кабан! Как лошадь. Я аж испужался.

— Три козы вправо ушли.

— А козла кто завоевал?

— Самсонов, войсковой старшина. Вот несут.

Охотники сходились к левому флангу. К Феде шел Ни-

колай Федорович. За седлом его лошади мотался притороченный козел. Казаки осматривали его. Федя вмешался в их толпу. Глаза у козла были подернуты синеватою пеленой и смотрели с невыразимо жуткою тоской. Рожки были о трех окрайках, ноздри и нижняя губа в крови. При движении лошади беспомощно и жалко болтались ножки с маленьким черным, раздвоенным, упругим, точно сделанным из гуттаперчи, копытом.

«Эх я раззява какой! — с тоскою думал Федя, — ведь мой был! Мой... Вот как стоял, приложиться и мой... И фазан мой! Экий я какой...»

У Николая Федоровича был довольный вид и он шел, притворно скромный, принимая поздравления.

— С полем!

— С полем! — раздавались голоса сходявшихся охотников.

— Ну, что же, господа, золотого времени терять не приходится, давайте, отличное дело, садиться да и ехать. Славного петуха свалил, Семен... А я слышал, еще один выстрел был у вас. Кто стрелял?

— Это я, — сказал Федя, краснея до слез, — по фазану.

— Он прямо на стык стрелял, — сказал Грибанов, — невозможно попасть.

Федя благодарными глазами посмотрел на Грибанова.

XIV

Казаки, огибая камыши, пошли колонною к «муллушкам». Охотники по-одному врезались в камыши и длинною вереницею поехали за Николаем Федоровичем.

Мокрые камыши осыпали Федю тысячью капель, падавших ему на уши, на щеки, за воротник. Было совсем тепло. И страшно было, что под ногами лошадей гудела чугуном замерзшая земля и все внизу было покрыто инеем.

— Николай Федорович, а Николай Федорович, левее надо бы, — сказал Грибанов, догоняя Николая Федоровича.

— Куда же левее? В аккурат на черную промоину выйдем, — ответил Николай Федорович.

Камыши над головами мотали метелками. Ничего кроме блестящих бледно-желтых стволов и сухих серых листьев. Но Николай Федорович и Грибанов определяли направление по каким-то им одним известным приметам. Маленькая серая лошадь Николая Федоровича с завившеюся, как у барана, мокрую шерстью деловито ступала тонкими ногами,

продираясь сквозь камыши, и недовольно фыркала, когда острые листья ей лезли в нос и в глаза.

— Ну, конечно,— верно,— сказал Николай Федорович.

Камыши расступились. Образовалась прогалина. На ней — замерзшее болото, перерезанное узким ручьем, сочившимся в глубокой щели. Лошади ловко, как кошки, перепрыгивали через него и карабкались по скользким кочкам.

Огурчиков упал вместе с конем.

— Кто там,— оглянулся Николай Федорович.— Ну, конечно, Огурчиков!

— Не ушиблись? — спросил Грибанов.

— Нет, ничего,— сказал, вставая, вымазавшийся в иле Огурчиков.

— Он повод затянул,— мрачно сказал толстый есаул,— ну, конечно, и громыхнулся о землю.

— А вы, Огурчиков,— сказал делопроизводитель,— как я, бросайте повод и держитесь за спасительницу.

— Будет вам! — сказал строго Грибанов,— на номерах ведь!

— Разве приехали?

— А то нет!..

Едва расставили стрелков, как зазвенел над камышами сигнал и поплыли по ним тревожные крики загонщиков.

Сейчас же вправо грянул выстрел, за ним другой, третий... Федя напряг внимание, крепко сжимая руками ружье.

«Мамино ружье! — думал он.— Мамино ружье, выручай! Мама! Помогите мне... Ну же!.. На меня!..»

Огонь шел по всей линии. Какой-то зверь, зажатый между кричащих загонщиков и стреляющих охотников, решился мчаться туда, где была тишина. Загонщики не видели его, но, поощренные частой стрельбой, они кричали громче, и трубач непрерывно трубил «наступление».

Черная масса громадного зверя мелькнула в камышах. Федя выстрелил картечью, потом пулей.

— Кабана подбили! — крикнул Грибанов, и сам, как вепрь, кинулся в камыши наперерез уходившему к загонщикам зверю. Федя увидал, как Грибанов остановился и выстрелил. За ним верхом, с обнаженной шашкой в руках влетел в камыши его вестовой и тоже остановился; радостно взмахнув шашкой, соскочил с лошади, бросил ее и с Грибановым побежал в камыши.

Федя не в силах был оставаться на месте. Размахивая ружьем, он побежал к ним. В густой чаще камышей черным бугром поднималась громадная косматая туша. Кабан еще

был жив. Он озирался маленькими злобными глазами, пытался встать и, когда к нему приближались, злобно хрюкал и мотал головою.

— Из револьвера его, ваше благородие,— возбужденно кричал казак,— а то дайте я его полосну шашкой.

Но Грибанов, отбросив ружье, с охотничьим ножом в руке, бросился на кабана, вскочил на него верхом и быстро всадил ему нож под лопатку. Кабан уткнулся клыками в землю, глубоко взрыл ее и затих.

Кабана окружали загонщики.

— Тут и ваша пуля есть,— сказал Грибанов, слезая с кабана.— Вдвоем завоевали. Вот,— он указал на ляжку, где шкура была разворочена пулей.— Это ваша. Моя под переднюю лопатку.

— Эко зверюга какая страшенная,— говорил молодой казак.

— Пудов на восемь будет, ваше благородие,— сказал вахмистр, подъезжая к Грибанову.— Вы завоевали?

— Вдвоем с поручиком,— сказал Грибанов.

— Отличное существо,— сказал вахмистр.— Ну, ребята, человека четыре слезайте-ка да волоките к «муллешкам», там на подводу уложите, да айда, ведите в сотню.

Убитый кабан был центром внимания. Каждый подходил к нему, осматривал, трогал, поднимал голову за клыки.

Федя не отходил от него; он думал, как ему попросить у Грибанова клыки на память. И, будто угадав его желание, Николай Федорович сказал:

— Славного кабанчика свалили, отличное дело, Федор Михайлович. Клыки вам, мясо поделим, казакам тоже дадим, командиру окорочек закоптим. Ладно, Семен? Надо молодого порадовать, на память клычки ему дать, на счастье молодое... Первые?.. А, Семен?

— Конечно, Николай Федорович. Клыки по праву его. Он первый попал...

XV

В полдень обедали у «муллешек».

Казались Феде таинственными эти белые постройки с арками и овальным куполом, подобным куполу Самаркандской мечети, со ступенями, с пустыми залами, с валяющимися на белом полу листьями и песком.

Николай Федорович рассказывал Феде.

Давно-давно, может быть, несколько сот лет назад, в пу-

стыгне умер знатный «Батыр» киргиз. Хоронили его не здесь, но здесь были назначены поминки, и несметные орды киргизов длинными караванами верблюдов съехались сюда и поставили целый город пестрых войлочных и ковровых кибиток.

И была здесь поминальная «байга».

Она продолжалась несколько дней. Были скачки на резвость, держались страстные пари, были конные игры, была борьба силачей; были охоты с соколами и беркутами, было зарезано и съедено множество баранов, запивали их хмельным кобыльим кумысом, а по окончании всего этого явились сарты каменщики, архитекторы из Индии, стали делать кирпичи и сложили эти странные белые кубической формы постройки с арочным входом и с крутыми куполами. И когда все разъехались, пустыня приняла их в себя. Как призраки стояли они серебряными лунными ночами; сверкали белизною на солнечных лучах жарким полуднем под густо-синим небом и были ярким пятном на желтой пустыне.

Забытые... одинокие... белые... Память о давно забытом киргизском великом батыре...

Красочно и поэтично рассказывал Николай Федорович молодежи.

Казаки с глухим гомоном разбирали котелки, наливали из котлов щи и накладывали рисовый плов.

Артельщик с деловитым видом откупоривал бледно-зеленую четверть водки. Вестовой Николая Федоровича с вахмистром и грибановским денщиком вынимали из вьюков бутылки и свертки закусок.

— Все Натальи Николаевны забота,— сказал Грибанов, откупоривая бутылку с влагой темно-янтарного цвета,— и где она здесь рябину ухитряется доставать? Молодец она у тебя, Николай Федорович. Вот и институтка, а как приспособилась. Золотой человек она у тебя.

— Кровь в ей казачья,— сказал толстый есаул.

— Ну поручик,— подмигнул Феде Грибанов,— за здоровье того, кто любит кого!

— С полем!

Денщик поставил на траву вокруг охотников глубокую тарелку с нарезанными холодною курицей и уткой, и охотники руками стали их разбирать.

Федя сидел по-турецки. Мамино ружье лежало подле него. Он был счастлив тем, что он вот так просто сидит с казаками, что у него с ними товарищеские отношения, что Грибанов тянется к нему и предлагает выпить с ним, по слу-

чаю первого их общего кабана, на «ты»... Выпитая водка кружила голову.

Обед был короткий. Николай Федорович хотел успеть сделать еще три загона, а от «муллшек» уже протянулась длинная синяя тень.

Последний загон закончился в темноте. Звезды загорелись в небе. Мороз осторожно, но властно входил в разогретый солнечным днем воздух. Торопливо играл трубач «сбор», и черною стеною стояла перед Федей Борохудзирская карагачевая роща.

Домой ехали молча. Все притомились после длинного охотничьего дня.

Луна, красная и большая, китайским фонарем всходила над темным городом, звонко лаяли в предместье собаки и кричал, икая, осел возле пылающего горна китайской кухни.

Пахнуло пылью, соломенной гарью, растительным маслом, пригорелым бараньим жиром. Сотня свернула через плац к светившимся желтыми огнями окон казармам. Офицеры, получившие приглашение от Николая Федоровича поужинать, поехали по широкой улице, где между высоких и толстых стволов тополей светились желтыми точками редкие окна.

Наташа в лиловой блузке китайского шелка и черной в складках юбке ласково поцеловала отца.

— С полем, Федор Михайлович,— сказала она, протягивая маленькую ручку Феде.— Славного кабана вы взяли с Грибановым. Я ходила в сотню смотреть, когда привезли.

Садились по чинам. И как всегда: водка, скворчащая на черной сковороде толстая малороссийская колбаса, янтарно-желтая, в черных шипящих пятнах, утка, плавающая в жиру, салат из винограда и соленого арбуза, громадные верненские яблоки и в изобилии ароматный чай с вареньем девяти сортов изготовления Наташи...

Захмелевший Федя сидел посередине стола, смотрел на Наташу и был счастлив, как можно быть счастливым только в двадцать один год, когда крепко и чисто любишь первую любовью, когда день провел под солнцем, чувствуешь себя героем и после голода сыт и слегка пьян.

Было стыдно своего счастья.

«Отец в сумасшедшем доме... Ипполит в ссылке... Липочка мечется, верно, по комнате, в отчаянии ломая руки. Мама умерла...»

Но счастье, несмотря ни на что, тонкими нитями опутывало его сердце.

На масленой неделе в гарнизонном собрании казаки устроили бал. Офицеры и дамы пешком, на полковых «драндулетах», в тарантасах и тачанках собирались к ярко освещенному керосиновыми лампами глинобитному большому зданию, стоявшему среди густого сада. Мокрый снег, густо напавший днем, был разметен, и по дорожке между арыками, освещенной из незавешенных потных окон, блестела липкая мокрая земля.

Четыре вестовых: два линейца и два казака принимали пальто, шубки и шинели и раскладывали их ворохами на деревянных скамьях. На длинной вешалке уже висело пальто с красными отворотами начальника гарнизона, шубы его жены и дочерей и несколько шубок и перелин почетных гостей.

В большом зале с белыми некрашеными свежими полами, освещенном рядом керосиновых ламп на стенах и тремя висячими лампами с широкими абажурами на потолке, пахло сыростью, свежим деревом и ламповой копотью.

В простенке между дверями, ведущими в библиотеку и карточную, задрапированные бледно-голубой материей с кистями, растянутой на деревянных посеребренных пиках, висели овальные олеографические портреты Императора и Императрицы. По длинной стене висело несколько аляповато сделанных масляными красками картин полковых художников. Одна изображала взятие Самарканда, толпу солдат в белых рубахах, белые стены и минареты мечетей на фоне фиолетово-синего неба. На другой был нарисован таранчинец, играющий с тигрятами, и на третьей — Скобелев на белом коне, в белом кепи с назатыльником, скачущий по пустыне, а за ним бегущий солдат в белой рубахе с горном на боку.

Масляная краска блестела, и блики, сделанные «под Верещагина», отражали огни. На противоположной стене, между дверей в столовую и бильярдную, висели в черном багете фотографии генералов Черняева, Кауфмана, Скобелева, Гродекова, Ионова, Куропаткина, литографированный портрет Абдуррахмана-Автобачи — большинству из гостей собрания лично знакомых людей.

По стенам чинно стояли деревянные, плетенные соломой стулья и длинный диван-скамья с точеной спинкой и ручками.

Зал гремел и бухал звуками музыки оркестра линейного батальона. Музыканты поместились в маленькой бильярдной и, надувая щеки, играли польку. Танцевало несколько пар.

Начальник гарнизона, полный генерал в казачьем чекмене Семиреченского войска, с седыми бакенбардами на бледных одутловатых щеках, в высоких сапогах бутылками, стоял, окруженный начальством: командиром казачьего полка, командирами батальона и батареи и уездным начальником Васильевым, высоким полковником с мертвенно бледным лицом, на котором резко выделялись черные нафабранные усы и черные волосы парика.

Федя опоздал и когда, отдав пальто солдату батальона и очистив сапоги от приставшего снега и грязи, вошел в зал, там полька была в полном разгаре. Первое, что он увидел: лохматый казачий адъютант в коротком мундире с юбкой с подшитыми складками, обтягивавшей выпяченный толстый зад, танцевал с Наташей.

Наташа грациозно, легко, чуть касаясь белыми шелковыми туфельками пола, порхала за адъютантом, яростно отбивавшим носками такт и пристукивавшим каблуками.

Феде от этого зрелища стало грустно, он бочком, стараясь быть незамеченным, проскользнул вдоль стены в музыкантскую. Сердитый бас, оглушая его, рывкнул ему в ухо, и мрачно застонал кларнет.

Эти звуки показались Феде пророческими и злыми. Мрачная тоска налегла на Федю.

«Тебе-то что? — подумал он. — Ты кто такой? Муж? Жених? Разве не мечтала при тебе Наташа об этом бале, разве не говорила, что любит танцевать, что будет много танцевать, разве не шила свое первое бальное платье по каким-то выкройкам, присланным из Верного, от настоящей портнихи, когда ты, нагнувшись над столом, читал ей Мельникова-Печерского, одолженного на три дня уездным начальником? Ну вот и танцует! Пришел бы вовремя, она танцевала бы с тобой».

Федя приостановился за солдатом, игравшим на кларнете, и прячась за ним, смотрел на Наташу.

Лицо ее раскраснелось, прядка волос выбилась и легла ей на глаза, она мешала ей, и Наташа, опираясь на плечо кавалера, концами пальцев поправляла ее, нагибаясь лбом к виску казачьего адъютанта.

Это было выше сил Феде. В ухо ему настойчиво ныл кларнет и верещал какую-то ревнивую, полную злобы, песню, совсем не похожую на польку.

Федя толкнул кларнетиста и, минуя турецкий барабан и тарелки, насмешливо зазвеневшие ему вслед, пробрался к двери, в буфетную.

В буфетной музыка за закрытой дверью была не так слышна. Бил такт барабан и густо ревели трубы: бу-бу-бу... бу-бу-бу и, казалось, синими, густыми струями поливали маленькую буфетную.

Она была полна табачным дымом. Лампа одиноко горела в ней и после ярко освещенного зала и музыкантской буфетная казалась темной. Ее сумрачность отвечала настроению Феди.

У стойки с рюмками и простою закускою стоял есаул Бирюков. Он уже выпил и мутными, маленькими, кабаньими глазами смотрел на Федю, затворявшего дверь в музыкантскую.

— Добре! — сказал он, горячей ладонью охватывая руку Феди, — а я загадал. Кто ломится в сию трепещущую дверь и решил: ежели свой брат казак — единую, ежели линейец — две, а ежели артиллерия грядет во всем блеске своем и звоне малиновом шпор — дернуть залпом три... Не послал Господь батареи, но и за линейца спасибо. Дернем, брат... Наливай, друже: четыре двуспальных.

«А что ж, — подумал Федя. — И напьюсь. Ей назло напьюсь. Что я теперь, не могу? Я теперь офицер и мне все можно!»

Федя до сих пор пил мало, и влажная, холодная жидкость обожгла ему горло. Он поперхнулся, глаза его покрылись слезами.

— Кто-нибудь торопится, — сказал Бирюков, колотя кулаком в спину Феди. — Закусите, поручик, шамайкой — и за вторую.

Вторая прошла глаже. Бодрые говорливые струи побежали по жилам Феди, лицо стало красным, пот мелкою капелью проступил у корней волос. На Федю нашла какая-то отчаянность, желание что-то «доказать» Наташе и всему свету.

Он прошел по буфетной. Ноги были легки, движения гибки, мысли бежали шумливым потоком.

Музыканты перестали играть, но из залы кто-то, должно быть, адъютант батальона, крикнул: «Вальс», — и солдаты сейчас же разобрали инструменты. Трубачи продули трубы, и капельмейстер, маленький еврейчик с обиженным лицом, постучал палочкой по пюпитру и поднял ее.

— Раз, два, три, — капельмейстер выдержал секунду и решительно взмахнул палочкой, выговаривая коротко: — четыре...

Меланхолические звуки вальса «Невозвратное время» поплыли по залу.

В буфетную вошел штабс-капитан Герих, высокий лысый человек в длинном сюртуке, и, шаркая носками и раскачиваясь, напевал под музыку:

Целова-ал... Обнима-ал,
Целовал горячо.
Но лишь то-олько в плечо...

— Юноша, что не танцуешь? Артиллерия и сибирцы позорокрали всех дам. Надо поддержать честь седьмого турецкого.

И, обняв за шею Федю, он почти вытолкнул его в зал.

Наташа, танцевавшая с артиллеристом скорый вальс в два такта, — другого никто в гарнизоне не умел, — закрутилась у стула так, что юбки воланом раздулись около ее ног и были видны тоненькие щиколотки в белых чулочках, села на стул и стала обмахиваться веером.

Подле Феди, у самых дверей, поручик Стрельбицкий, обнимая туго затянутую, скрипящую корсетом толстую Любовь Андреевну, выжидал такта, чтобы начать, и раскачивал своей вытянутой левой рукою правую голую руку дамы, покрытую родинками и темным пухом.

Наконец они пустились, быстро переставляя ноги. Федя перебежал через зал и успел опередить маленького прапорщика Фокса, шедшего к Наташе.

Наташа, как только увидела Федю, радостно улыбнулась ему и встала, кладя ему руку на плечо.

— *A trois temps?* * — сказала она.

— Как прикажете.

Федя танцевал мастерски. Водка придавала ему смелости. На несколько минут все внимание зала, полного офицерами и дамами, сосредоточилось на юной паре.

— Хотите *au rebour*? ** — шепнул Федя.

— Вы пили водку!.. Какой ужас! — прошептала, ловко меняя направление, Наташа.

— Разойдемся и сойдемся, хорошо? — говорил Федя, предлагая ей танцевать с фигурами.

— Бросьте это!.. Не станьте таким, как все... Дайте мне видеть в вас рыцаря, — тихо шептала Наташа, расходясь и сходясь со своим кавалером.

— Пройдем ползала прямо.

— Дайте слово не пить больше...

— Новые питерские танцы, — снисходительно сказала

* В три такта.

** В обратную сторону.

толстая жена казачьего командира, обращаясь к подошедшему к ней уездному начальнику.

— Вам нравится, Сергей Сергеевич?

— Манерно очень... Как-то балетом отзывается. Нет настоящей лихости вальса.

— Ничего красивого,— фыркнула, поджимая губы, старая дева, свояченица командира батальона.— Фигуряют, словно парни с девками в хороводе.

— Но Наташа прелестна! — сказала казачья дама.— Украшение полка.

— И всего гарнизона,— сказал Сергей Сергеевич,— скажу больше — всего моего уезда.

— Вы находите? — ядовито сказала свояченица.— Конечно, она институтка. Но от института я ожидала видеть больше скромности и достоинства. Она шепчется с кавалером во время танца и улыбается. Она совсем не глядит вниз. Молодое поколение ужасно. Оно вносит разврат в крепкие стены семьи.

— Нет, очаровательная пара,— сказал Сергей Сергеевич,— их надо повенчать.

— Стыдитесь, Сергей Сергеевич. Ваше ли это дело. Сами жениться не сумели, а других сватаете.

— Мое время не уйдет,— вздыхая, сказал Сергей Сергеевич,— закрутил накрашенный ус и поправил накладку на черепе.

Федя подвел, вальсируя, Наташу к стулу и посадил ее.

— Наталья Николаевна, могу вас ангажировать на первую кадрили?

— Нет, Федор Михайлович. Кадрили я обещать вам не могу.

— Почему? — спросил Федя.

— Я обещала первую нашему адъютанту.

— А вторую?

— Вторую я буду танцевать с артиллеристом Сакулиным.

— Котильон?

— Котильон меня просил сотник Грибанов. Я не могла ему отказать. Он правая рука папы.

— Это жестоко!

— О чем же вы, милый человек, раньше думали?

— Нет, Наталья Николаевна, вы не сделаете этого.

— Чего?

— Вы не будете с ними танцевать!

— Как же я могу, когда я обещала!

— Наталья Николаевна,— начал Федя, но в эту минуту

маленький изящный Сакулин, звеня шпорами ярко начищенных ботинок, подбежал к Наташе, приглашая ее на вальс.

Наташа встала, ласково улыбнулась Феде и положила руку на плечо Сакулину.

XVII

Мрачен стал Федя. «Вот возьму и набодаюсь, как зверь,— подумал он.— Буду пьян, как дым, пускай видит!»

Он исподлобья посмотрел на скользившего мимо со своей дамой Сакулина и пошел не глядя по залу.

Любовь Андреевна окликнула его. Он не оглянулся.

В маленькой, скромно меблированной гостиной дамы постарше играли в лото. Николай Федорович сидел с ними и, вынимая из мешка бочоночки с цифрами, неторопливо возглашал:

— Пять... семь... шесть...

Дамы подвигали билеты по картам и вздыхали.

В карточной начальник гарнизона, сердито раздувая большие усы, распекал командира батальона.

— Так нельзя, сударь, играть,— говорил он начальническим голосом.— Игра объявлена в пиках, а вы... Это черт знает что.

Черный бородатый артиллерийский полковник молча тасовал карты.

— Ваше превосходительство, разрешите сдавать? — сказал он.

— Да,— меняя голос, ласково сказал начальник гарнизона.— Сдавайте, пожалуйста, голубчик. Почем заключили контракт на овес на вторую половину года с Нурмаметовым?

— По сорок пять копеек. Как вам нравится наше новое собрание? Вот и нам есть куда приткнуться.

— Собрание хорошее, да только в случае землетрясения ног не унесешь,— генерал покосился на тяжелые балки потолка.

«Вот-то славно,— подумал Федя,— сейчас землетрясение. Рушатся потолки, стены ходят. Все бегут в паническом страхе, а я бросаюсь и спасаю ее. Я!.. а не адъютант, не Грибанов, не Сакулин»...

Их всех он ненавидел в эту минуту.

В столовой солдаты накрывали на ужин и «кустиками» расставляли по столу бутылки с вином и сидром.

В буфетной Бирюков, прапорщик Лединг, лекарь Вассон

и капитан Фармазонов пели нестройными голосами, сидя за круглым столом:

Полно, брат, молодец,
Ты ведь не девица,
Пей, тоска пройдет.
Пей! Пей! —

пьяными голосами орали они.

Тоска — про-ой-дет! —

закончил один Бирюков и громко икнул.

— Кусков,— крикнул он.— Не гордитесь и не фордыбачьтесь. Садитесь и составьте нам компанию, гордость багальона... Фармазон, правда, что сей юноша л-лучший фронтовик и... п-пять пуль безотказно в мишень?

— Верно! Тэн пан може!..

— Тогда пусть хлещет с нами по-казацки!

Бирюков подвинул граненый стаканчик и дрожащей рукою налил водки.

— Пей, молодчи-чинадзе!

Феде в эту минуту они казались отличными, добрыми людьми. Ему льстило, что Бирюков, командир сотни, и Фармазонов, ротный командир, ухаживают за ним. Он хлебнул водки.

— Залпом, залпом! Он, братие, и пить не умеет,— захотел Фармазонов.

— Нет, я умею,— упрямо встряхивая волосами, сказал Федя.

— А ну, докажи! — сказал Бирюков и налил большой чайный стакан водки.— Хвати-ка, брат, кубок Петра Великого.

Налей, налей, товарищ,
Заздравную чашу,
Бог знает, что будет,
Что будет с нами впереди! —

нескладно затанули Вассон и Лединг.

Федя молча взял стакан, медленно выпил до дна, опрокинул, чтобы показать, что в нем ничего не осталось, и с треском поставил его на стол.

Малиновые кругиплыли у него перед глазами. Ему казалось, что он уже давно так сидит в полутемной буфетной с этими четырьмя милыми офицерами и ему с ними было хорошо. С ними все было просто.

Через запертую дверь доносились звуки музыки и кто-то, верно адъютант, звонко кричал:

— Et balancez vos dames... Chaine chinoise... Et tournez... Et balancez vos dames vis a vis *.

Дирижер плохо выговаривал по-французски и путал команды. Федя криво, ядовито улыбался и смотрел в стакан.

«Туда же,— думал он,— дирижировать собрался. По-французски говорит, как сапожник».

Чья-то волосатая рука налила ему чайный стакан водки.

— Нет, больше не буду,— сказал Федя.

— За батальон! — сказал прапорщик.

— Разве что за батальон,— тихо сказал Федя и сам не слышал своих слов. Глухо звучали они. Он стал медленно пить, расплескивая водку по подбородку.

Допив до дна, он медленно поставил стакан на стол. Тяжелым казался он ему. Боялся поставить его мимо стола. Красные круги расплывались перед глазами, комната казалась огромной, низкой и мрачной. В черном тумане тонули белые лица сидевших за столом и от них шли блестящие лучи по всем направлениям. Все было криво и косо. Стол плавно качался под рукою.

— Эгэ! — услышал он, как сквозь сон, возглас Бирюкова.— Малый молодчина! Спасибо, Кускино-Кускинины, так, кажется, называют испанских грандов?

Чьи-то пьяные толстые уста, мокрые и пахучие, прижались к его губам и сочно его поцеловали.

— Еще стакашок. Бог любит троицу,— сказал прапорщик Лединг.

— Довольно ему, он и так готов,— сказал заботливо Фармазонов.

И Феде показалось, что они уплыли куда-то далеко и он был один за столом. В голове шумело, и маленькие молоточки назойливо стучали в виски. Душная тошнота подступала к горлу.

Федя встал, икнул и пошатнулся. Ноги были как чужие. Солдат подбежал к нему.

— Пожалуйте, ваше благородие,— сказал он, почтительно обхватывая за талию.

— Это н-ни-че-го,— забормотал Федя и почувствовал, что язык не повинуется ему.— Н-но-ги за-текли. П-пройдет... Я х-хочу... в сад!..

* Кружите ваших дам. Китайская цепь... Кругом... Кружите дам противоположной стороны...

Первую кадрили Наташа танцевала с адъютантом казачьего полка Волковым, стройным вихрастым офицером с томным лицом и глубокими темными глазами. Всего танцевало шестнадцать пар.

Наташа оглядела залу, ища Федю. Среди танцующих его не было. Не было его и в толпе, стоявшей у дверей и смотревшей на танцы. Это ее обеспокоило.

«Неужели засадили в карты,— подумала она.— Так нет. Он, кажется, совсем и не умеет».

Когда ее кавалер крикнул:

— *Et remerciez vos dames* *.

Она взяла его под руку и сказала:

— Пройдемтесь по собранию. Я еще не рассмотрела его как следует.

Они прошли в маленькую гостиную, где продолжалась игра в лото и сидело несколько офицеров со скучающими лицами, побывали в карточной. Начальник гарнизона оторвал глаза от карт, ласково улыбнулся Наташе и сказал:

— Наташа... Ну как? Много танцуете?

— Ах, очень! — вспыхнув, сказала Наташа.

— Хорошее дело танцы. Очень хорошее... Танцуйте, Наташа... Однако... Вы что объявили,— строго обратился он к артиллерийскому подполковнику.

— Шесть червей.

— Я пас,— сказал генерал и уткнулся в карты.

Из буфетной неслось нестройное пьяное пение. Двери были заперты. Наташа брезгливо поморщилась.

«Конечно, его там нет. Неужели рассердился, что я не оставила ему ни одной кадрили, и ушел домой... Да и я-то хороша. Свободно могла Грибанову отказать. Он свой человек и ничуть бы не обиделся. Он и танцует-то только, чтобы внимание папчику оказать... Ах, какая я глупая!»..

Наташа вернулась в залу и села рядом с женою командира полка. Зала показалась ей теперь совсем другой.

Какая она маленькая! Как странно выглядят широкие белые, чисто оструганные доски пола, глинобитные беленые стены и окна без занавесей со схоронившейся за ними темной жуткой ночью.

Стало так одиноко. Трубачи играли что-то «для слуха». Музыкальное ухо Наташи страдало. Капельмейстер затягивал темп, кларнет немилосердно врал. Было тяжело их слу-

* Благодарите ваших дам.

шать. Лампы тускло чадили. Офицеры подпирали стены, курили и бросали окурки на пол.

«Жалкая, жалкая она в этом заброшенном на край света городе. Совсем одинокая!»

И как могла она раньше находить хорошим собрание и интересными всех этих людей!..

Наташа еще раз оглядела всех бывших в зале. Топорными и смешными показались они ей, точно персонажи из «Ревизора» со сцены Александринского театра. Начальник гарнизона, ну, совсем городничий с бачками котлетами, а Сергей Сергеевич, уездный начальник, бледный, с черными усами и накладкой на черепе, точь-в-точь смотритель богоугодных заведений.

Стало смешно. Вот так бы и захохотала на весь зал! Увидала поблизости Сакулина.

— Иван Матвейч,— окликнула Наташа.

Сакулин подлетел к ней.

— Иван Матвейч,— смеясь до слез, сказала Наташа,— посмотрите, какой халат на Бае Юлдашеве... Зеленый с малиновыми хризантемами... Ужасно... сме-ешной.

Сакулин захохотал. Он не заметил, что на смеющемся лице Наташи совсем не смеялись ее глаза.

— Чапликов-то подле него мелким басом рассыпается,— сказал он,— поди, рис выторговывает на полкопейки дешевле, чем в батальоне.

— Уморили! Грех так смеяться,— сказала Наташа.

Музыканты заиграли вальс, Сакулин предложил Наташе руку.

Танцевала она теперь деревянно, натянуто, опустив глаза.

«Противный! — думала она про Федю.— Прикинулся таким простым. Характер показывает!.. Проучу я вас, милостивый государь».

Астахов пригласил ее попробовать вальс *a trois temps*, но ничего не вышло. Ей пришлось вертеть его самой. Было совсем некрасиво.

Медленно тянулось время. Она все оглядывалась, поджидая Федю. «Образумится и придет. Ну и распушит же она его и отдаст котильон. Зачем прятались, милостивый государь!.. Какой вы смешной! Вы и Юлдашев — два дикаря. Вам тоже надо зеленый халат... с малиновыми хризантемами»...

Адъютант угощал ее лимонадом с коньяком. Ей было жарко. Она обмахивалась маленьким веером. Во время второй кадрили Сакулин пытался смешить ее и злословил над

ближними. Назвал уездного начальника черною цаплею, загорелого прапорщика Астахова папуасом.

— Грех говорить так про людей, Иван Матвеевич. Вы и меня как-нибудь прозвали? Ну, скажите?

— Помилуйте, Наталья Николаевна... Вы... Царица бала.

— Оставьте, пожалуйста. Ничего подобного. Нет, в самом деле...

— Роза Джаркента.

— Вы смеетесь!..

Она надула губы.

За котильоном, при общем смехе, Шура и Вася, два мальчика десяти и двенадцати лет, дети есаула Белова, одетые в казачью форму, в мундирах, папахах, шароварах с лампасами и высоких сапогах, ввели в зал живого осла. На осле были навьючены две алые подушки с котильонными орденами и букетиками цветов. Сюрприз гостям от казачьего полка.

Появление в зале среди танцующих живого осла и детей произвели фурор. Все столпились в зале, игроки бросили карты и сам начальник гарнизона подозвал к себе мальчиков с ослом.

С ними подошла их мать, Дарья Ивановна Белова, видная казачка, с бледным лицом, волосами спелой ржи и синими, васильковыми, глазами.

— Здорово, молодчики,— приветствовал генерал детей.

— Здравия желаем, ваше превосходительство.

— А ваш конь-то не кусается?

Дети исподлобья смотрели на генерала.

— Это не конь,— тихо сказал меньшей, Вася,— а осел.

Уездный начальник принес две маленькие рюмки сладкой наливки. Генерал подал их мальчикам. Они отрицательно покачали головами.

— Не хочу,— сказал Шура.

Вася смотрел на мать.

— Мама,— сказал он.— Скверно?

— Скверно,— серьезно сказала Дарья Ивановна и вздохнула.

— Очень?

— Очень.

— Мама... Нужно?

— Нужно!

— Ну...— решительно сказал Вася.— За полк!

И Шура и Вася выпили рюмочки.

Генерал потрепал осла по шее, погладил по ушам, потро-

гал детей за подбородки, и осла стали проводить вдоль танцующих.

Наташа еще и еще раз осмотрела зал. Все были. Не хватало записных пьяниц Бирюкова, Фармазонова, Лединга и Вассона. Не было Феде.

Котильон с Грибановым шел вяло и скучно. Грибанов танцевал плохо. В мазурке и фигурах он уступал Наташу адъютанту и Сакулину, а сам безучастно сидел на стуле. Он пригласил Наташу только потому, что был старым охотничьим и полковым товарищем Николая Федоровича и своим человеком в его доме.

— Семен Сергеевич,— спросила Наташа.— Вы не видели, где Кусков?

— Нет...

— Меня беспокоит, куда он ушел.

— Хотите, я поищу его?

— Ах, будьте, голубчик, так добры.

Грибанов направился прямо в буфетную. Там в облаках табачного дыма было человек восемь офицеров. Они слушали пьяного Бирюкова.

— Я говорю,— мычал расстегнутый Бирюков,— нужна конституция и автономия, децентрализация областей — вот оно что! Потому, господа, ежели Ташкент должен из Петербурга слушаться, это выходит не модель. Ежели, скажем — фонтари в Верном поставить и областное правление должно запрашивать главное управление казачьих войск в Петербурге, так это, простите, это все ерунда выходит, и потому я уважаю таких людей, как Потанин, которые смело стоят за истину!

— Заткни фонтан,— сказал, подходя к нему, Грибанов,— еще Козьма Прутков сказал: и фонтану надо отдохнуть.

— Брысь... Не мешай!!

— Ты не видал Кускова?

— Нет... То есть он был здесь... Намазался... а куда задевался — не знаю.

— Он, кажется, в сад пошел,— сказал Лединг.— Два стакана водки тяпнул. Ну, с непривычки и свалило. Молодой!..

Грибанов вышел в сад.

Светила ущербная красная луна. Ноздреватый талый снег был рыхл и звонко капала в него с деревьев весенняя капель. Какая-то темная фигура в офицерском расстегнутом сюртуке сидела под деревом. При приближении Грибанова она поднялась и, шатаясь, пошла по дорожке.

Грибанов догнал ее.

— Федор Михайлович,— окликнул Федю Грибанов, охватывая его за талию.

- Оставь!.. Не надо...
- Да, стой! Чудак человек...
- Н-ну?..
- Оденься, и айда домой. Спать.
- Спать?
- Да, спать...

— Мне стыдно...— всхлипывая, сказал Федя.— Боже! Как стыдно! Какой позор!

- Э, милый друг, с кем не бывало!

Грибанов заботливо застегнул и привел в порядок Федю, провел его кружным ходом в прихожую, надел на него пальто и фуражку и на лошадях Николая Федоровича отправил домой.

Дома Федю принял его денщик. Он раздел и уложил Федю в постель. И едва голова Феи коснулась холодной подушки, постель стремительно завертелась под ним, стало тошно и сладко на сердце и небытие охватило его.

Грибанов, вернувшись в собрание, нашел всех уже в столовой. Наташа оберегала ему место рядом с собою.

- Нашли?..— спросила она с тревогою.— Что с ним?

— Ничего. Все благополучно. Кусков дома, в постели. Ему нездоровится...

— Боже мой! Что такое?.. Только что был совершенно здоров.

- Ничего серьезного...

- Отчего же он, уходя, мне ничего не сказал?..

Наташа вдруг покраснела до слез. Она догадалась.

— Неужели,— прошептала она.— Это, наверное, Бирюков. У него страсть напаивать молодежь...

Грибанов промолчал, положил себе фазанье крылышко, налил красного вина и сказал:

— Понапрасну волнуетесь, Наталья Николаевна. Все через это должны пройти и чем скорее — тем лучше...

Наташа ехала с отцом, молчала и все пожималась в теплой беличьей шубке.

— Тебе не холодно, Наталочка? — спросил Николай Федорович.

- Нет, так, папчик. Устала, верно.

XIX

Юлия Сторе была приговорена к смертной казни через повешение. Она спокойно выслушала приговор и отказалась подать просьбу о помиловании.

После суда ее перевезли в Трубецкой бастион Петропавловской крепости и посадили в просторную комнату, где был черный кожаный диван, тяжелый стол и тяжелый табурет. В комнате было светло. Мертвая тишина днем и ночью нарушалась только шагами часового по коридору.

Юлия знала, что не могут найти палача и потому задерживают казнь.

С нею хорошо обращались, стол был хороший. Ей давали читать все, что она захочет. Смотритель, угрюмый старик с окаменелым, чисто бритым лицом, никогда ничего не говорил, но был внимателен и предупредителен.

В тот день, когда в Джаркенте было открытие собрания и бал, часов около трех, дверь ее комнаты открылась и к ней прошел пожилой сухощавый священник. Он наклонил голову и остановился у двери. Юлия сидела на табурете, спиной к окну, положив локти на стол и опустив подбородок на ладони.

Она догадалась. Сегодня ночью — казнь. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Длинные загадочные глаза ее сурово устремились на священника.

Священник поправил на груди крест и достал из-за пазухи небольшое евангелие в черном бархатном переплете.

— Я пришел к вам,— тихо сказал он тем кротким голосом, которым так умеют говорить русские священники,— чтобы побеседовать с вами, чтобы успокоить вас и дать вам уверенность и надежду на милосердие Божие. Быть может, вы пожелали бы... может быть, у вас есть потребность...

Молчание и неподвижность Юлии, пристальный взгляд ее немигающих глаз смутили его.

— Вы крещены... Исповедовали святую православную веру и у вас должна быть потребность... должно быть желание... покаяния.

— Я не звала вас,— металлическим голосом ответила Юлия, не двигаясь с места.

— Я бы мог помочь вам,— смиренно сказал священник.

— Вы!.. Мне! — с гордым вызовом воскликнула Юлия и вдруг встала, отодвигая ногою тяжелый табурет. Точно стальная пружина развернулась в ней и выпрямила ее.

— Душа бессмертна...— сказал священник...— И Христос в бесконечном милосердии своем не отринет искреннего покаяния.

— Бросьте этот вздор,— презрительно кинула Юлия.— Души нет. По ту сторону — ничего: небытие и не вам меня учить. Вы и я!.. Вы для меня, как маленький ребенок для взрослого, как дикарь для образованного человека. Что вы говорите и собираетесь сказать, звучит смешно и дико.

— Вы заблуждаетесь,— начал было священник, но резко перебила его Юлия:

— Спасибо, что пришли. По крайней мере, я знаю теперь, что... сегодня... Да?

— Священник опустил голову.

— Эх вы! — воскликнула Юлия.— Пилаты! Ну что же?.. Крови боитесь! Все вы такие! Фарисеи... Чиновники! Идите прочь и оставьте меня одну...

Священник сделал движение, чтобы выйти. Юлия жестом остановила его.

— Пойдите... Скажите... Можете вы мне оказать одну услугу перед смертью?.. Не предадите.

— Вы можете быть уверены, что все, что вы доверите мне, умрет во мне.

— Клянись!

— Христос заповедал нам не клясться понапрасну.

— А я говорю вам, клянись, что не предадите... О!.. Все вы... Люди! — со страшным презрением прошептала Юлия.— Клянись.

— Христос свидетель тому, что я всею душою своею буду стремиться исполнить ваше желание,— произнес священник.

— Тут,— быстрым шепотом заговорила Юлия,— вместе со мною обвиняли одного... студента... Ипполита Кускова... Он не виноват... Разыщите его... Узнайте, где он. Сходите... напишите... Передайте ему, что я... я прошу его простить меня...

Ее голос сорвался. Священник едва слышал последние слова. Но Юлия сейчас же справилась с собою, повелительно вытянула руки от плеч и, сгибая тонкие длинные кисти, крикнула:

— Ну!.. будет!.. Ах, не могу я больше!.. Не могу! Идите... Идите! Оставьте меня одну... Одну!

Священник от движения ее руки невольно попятился и вышел.

Щеколда щелкнула, и сухо закрылся ключ. Часовой заглянул в окошечко.

Юлия уже сидела спиной к двери, опираясь локтями о стол, а подбородком о сложенные пальцы.

XX

Юлия ходила по камере. Сделает три шага вперед, остановится, повернется, подойдет к окну, постоит и снова идет назад. Часовой, заглянувший в окошечко, испугался, увидав ее лицо. Белое как бумага оно, и громадные горели глаза.

Тянулись часы, Юлия все ходила. У нее подкашивались ноги. Она заставила себя ходить. Ходьба хотя немного сбивала четкость ее мыслей. Сторож зажег лампу, принес ужин — она не притронулась.

«Неужели все — ошибка!» — чуть не вслух воскликнула она и остановилась у каменной стены. По стене, точно слезы, текли капли воды. Юлия провела пальцем, слила одну каплю с другою, резко повернулась и кинулась к двери. В окошко смотрело усталое лицо часового. Ей хотелось плюнуть в бравую солдатскую рожу, но она сдержалась.

«Да, ошибка! — думала она. — Всю жизнь ошибаться и принять смерть во имя ошибки. Мы убивали лучших. Убивали наиболее подготовленных лишь потому, что они нам не нравились. Нам не нравились их шитые золотом мундиры, их ордена, их холеные лица и уверенность в поступках. На их места сейчас же садились другие, только сортом пониже, нравственностью подешевле и становилось не лучше, а хуже... Ну, а кого посадить?.. Ляпкина, Бродовича, Ипполита... Ничего они не умеют! Только болтать и способны!.. Абрам в губернаторском дворце? Абрам в деревне, на смотре войск, на молебствии, среди хоругвей, попов и крестьян!.. Ничего этого не надо... Что же остается? Разглагольствования Абрама и ничегонеделание под видом какого-то дела»...

«А что же делать?.. Что нужно народу... Когда меня арестовали, меня ругали. Толпа хотела расправиться со мною, растерзать меня... Губернатора, которого я убила... Я убила... и не знаю даже его имени. Не знаю, кто он... Как ужасно стало его лицо, когда я произнесла наш приговор... Приговор?.. А за что?.. Меня приговорили за убийство... Мы его... За что?.. Вот оно... Это лицо... Оно глядит на меня из темноты ночи... Взор, это мой платок на спинке дивана... Губернатора любили, а меня ненавидели... У нас в боевую дружину считают за честь идти... Чтобы убивать... Они... палача для меня найти не могут!.. Что же это такое? Абрам кричал: все долой... Собственность... Земля крестьянам... в собственность?.. А их дача в Павловске? А дом на канале?.. Отдадут что ли? Какой обман!.. Отец Абрама свои капиталы держит в английском банке... Вожди... У тех Христос, в рубище рыбака... Бедный, ничего не имеющий, весь для других... У нас: Абрам в платье от лучшего портного и с перстнями на пальцах... Обеды, ужины у Кюба и Донона и связи с балетом... Или Бледный, мотающийся из Швейцарии в Россию с туго набитым золотом кошельком. И меня готовили к этому же... К собственности... Богатству... сытому желудку и хмельной голове... Угару страсти и нравственному излому...

Бледный, когда лишал меня невинности, тоже прикрывался какими-то высокими целями. „Вы лучше станете, Юлия, свободнее, больше станете понимать”. Тьфу! Гадость! пошлость... мерзость и все они пошляки... И вся жизнь такая. Скорее конец... Скорее бы!..»

«Там — ничего», — говорила себе. И уже не верила, что «ничего», но ожидала чего-то. И боялась, что в последнюю минуту сорвется совсем неожиданно: «Господи! Прости!»

«Нет! Этого не будет. Признать это — признать все. Бог не создал людей свободными, и Христос подтвердил рабство на земле и личным примером доказал повиновение тиранам... Зачем я о Нем думаю?.. Равенства Он не признал на земле, а о братстве говорил с тоскою, как о чем-то невыполнимом и невозможном на земле... Зачем я думаю о Нем?.. Мы выше Его... Я уйду... сменятся, быть может, многие поколения революционеров, но мы своего достигнем... Достигнем счастья людей... Любви...»

Остановилась в темном углу, смотрела как безумная.

«Счастья, любви!.. Бомбами, револьверными выстрелами... убийством... насилием... Через трупы людей... Ульянов сказал: нет другого пути... А что такое Ульянов?.. Почему Шевырев?.. Ульянов?.. Я? Кто мы такие? Почему — мы?.. Бледный говорил: вам и им потом памятники будут ставить! Человечество не забудет ваши имена...» Ах!.. Так!.. Опять то же самое... Монументы и преклонение толпы... И возвышение, и неравенство, и подчинение, а не свобода. То же самое, только наизнанку. Был Александр III — станет Ульянов, а останется то же самое. И жандармы, и сыск, и смертная казнь, и палачи... Только хуже будет потому, что за ними вековая культура и брезгливость к крови, за нами грубость каменного века и отсутствие брезгливости».

«Мать?.. Странно?.. У меня была мать?.. Как давно это было... С той поры я привыкла холодно произносить хулу на мать и смеяться над семьей... Семья?.. — мне говорили: семьи не должно быть. Это не человечно. Семья — все... Значит: и часовой, и губернатор — семья... А я убила губернатора... Я не помню матери... Не хочу помнить ни ее, ни отца... Я ушла от них, когда мне было пятнадцать лет и я увлеклась речами Ляпкина... Ляпкин проклял семью и научил меня гнусным мужским ругательствам. Он мне сказал: „В них народная мудрость и отрицание семьи”. И когда я пятнадцатилетней девочкой узнала все, я возненавидела мать и отца...»

Юлия стояла у стены... Струи водяного пота на стене блестя от лампы.

Юлия сдержала стон. Хотелось крикнуть: — «Мама!.. мама!.. спаси меня»...

Откуда-то из темноты тянулись невидимые нити связей, казалось, давно уже порванных.

«Нет, только не это! Только не слабость!.. Я человек, а не животное!.. Я ничего не боюсь...И даже лучше умереть... Если не умру?.. Что будет!? Совсем другими глазами стану я смотреть на жизнь... Отыщу маму... Стану молиться Богу!»...

«Слабость... Надо быть крепкой!... О, если бы знали они, как слабы мы накануне смерти — они никогда не казнили бы!»

XXI

Юлия спала и в то же время чутко ощущала сквозь сон все, что происходило вне камеры и касалось ее. В камере было так тихо, что было слышно, как сипела лампа, а за толстою дверью вздыхал часовой. Ни один звук внешнего мира обычно не доносился в камеру. Но сквозь сон Юлия услышала разговор на узком дворе равелина, скрип железных ворот, шаги по лестнице и голоса в коридоре. Она вскочила... «Уже!» — подумала она.

Она была спокойна. Умылась, тщательно причесалась, надела шляпу. В ней была она в день преступления, когда ее арестовали. За дверью шел взволнованный разговор. Странно нарушал он тишину ночи.

— Номер восемьдесят седьмой? — спросил кто-то.

И поняла, что про нее. С тоскою подумала, что как «смертник» она не имеет имени.

— Не могу я отпустить, когда бумага без скрепы адъютанта,— ворчливо говорил смотритель.

— А Боже мой! Печати и подпись коменданта в порядке.

— Это точно... Но скрепы нет.

«Еще отсрочка,— подумала Юлия.— Нет, не надо... Я готова.— Хотела крикнуть: — Скорее. Ради Бога, скорее!»...

— Слушайте, вы понимаете, медлить нельзя. Рассвет не за горами. Ехать очень далеко.

— Очень даже понимаю. Но и вы должны понять, что раз предписание не в порядке, я не имею права отпустить восемьдесят седьмого номера.

— Позвоните по телефону... Вам сказано верно.

— Извольте... по телефону...

Опять все стихло. Эти минуты были самыми мучитель-

ными минутами в жизни Юлии. Она уже простилась с жизнью. И вот опять что-то тянется, удерживает. Так тяжелы бывают минуты, когда уезжающий уже простился с друзьями и вдруг остается, ждет. Молчат провожающие. Все сказано, вянет разговор. Все было сказано в ее душе. Все мысли передуманы. Новая мысль вела к надежде. Юлия не хотела надеяться. Надежда ослабила ее.

Наконец дверь отворилась и смотритель резким, крикливым голосом сказал:

— Восемьдесят седьмой номер!

Звеня шпорами, вошел в камеру Мечислав Иосифович. Он был в шинели и синей с алыми кантами фуражке. Усталое лицо было бледно. Длинный нос в рыжих веснушках висел над рыжими усами, борода, расчесанная на две косматые бакенбарды, блестела. Никогда он не казался раньше Юлии таким безобразным. Юлия заметила, что у него тряслись руки.

«Урод,— подумала Юлия...— Вешателями и палачами могут быть только уроды... А я?»

За ним протиснулся в камеру штатский в черном пальто и в котелке. На очень бледном, холеном, бритом лице его сверкали очки. Он посмотрел на Юлию, вздохнул и стал старательно избегать ее взгляда.

— Одеться потеплее у вас есть во что? — ласково спросил Мечислав Иосифович.

— Нет,— коротко ответила Юлия.

— Гм. Как же так? Очень холодно. Снег,— в какой-то нерешительности проговорил Мечислав Иосифович.

— Я дам женин салопчик,— сказал смотритель.— Он ей ночью без надобности. А вы потом с жандармом вернете.

— Давайте, ради Бога, но только скорее.

— Сейчас, сейчас...

На Юлию надели ватный салоп, доходивший ей до колен.

— Пожалуйста...— сказал Мечислав Иосифович.

Два жандарма ожидали в коридоре, два стояли внизу, у лестницы. Юлия вышла на двор. В пяти шагах от дома возвышалась высокая, темная, гранитная, обледенелая стена. Газовый фонарь освещал сугробы снега. Пошли вдоль дома по узкой, каменной, скользкой панели.

Юлии было холодно в ее тоненьких туфельках. Морозный воздух опьянял ее. Сейчас за домом — железная решетка и ворота. Два часовых в тяжелых бараньих тулупах топтались у ворот. Черная карета, запряженная парюю лошадей, и конные жандармы показались темными силуэтами.

Проверили бумаги. Пропустили за ворота. Мечислав

Иосифович раскрыл дверцу кареты и посадил Юлию под локоть. Она легко, привычным движением вскочила в карету. Мечислав Иосифович сел рядом.

«Рад он,— думала Юлия,— что выследил меня и я попала... Или ему стыдно. Будет он по-прежнему бывать у Сони, играть в карты в клубе с Бледным? Когда-нибудь „наши“ прикончат его, как сегодня он прикончит меня... Игра... Какая глупая, однако, игра...»

Против Юлии сели штатский и жандармский унтер-офицер.

У окна кареты, в свете фонаря, моталась лошадиная голова. Белая пена прилипла к железу мундштука, цепка звякала кольцами.

— Трогай! — сказал Мечислав Иосифович и поднял стекло. Он хотел опустить шторку, но пружина не действовала и окно осталось не затянутым.

Колеса заскрипели по снегу, стукнули о камни, чуть покачнулась карета, круто поворачиваясь на узком дворе, и покатилась мягко и быстро.

Юлия смотрела в окно. «Последние звуки, последние картины,— думала она.— А там»,— но тут ее мысли обрывались. Хотела вообразить виселицу и сцену казни и не могла.

Высокая красная, кирпичная стена, тускло освещенная фонарями, тянулась долго. На нее местами налип прихотливым узором иней. Какой-то бульварчик с чахлыми голыми деревьями, темные большие, в решетках, окна белого собора, тускло мерцающие огнями лампадок, опять деревья бульварчика, ворота и мост через канал — все плыло перед Юлией не то наяву, не то во сне. Ехали парком. Был он безлюден, тих и молчалив. Редкие городовые равнодушно смотрели на карету.

У окна надвигалась лошадиная морда, то отставала, то опережала, и тогда вид на улицу заслоняла солдатская шинель. Она распахивалась, и видно было колено, синие с кантом штаны и голенище высокого сапога.

Странны, нелепы, неестественны казались лошадиная морда, шинель, сапоги. Точно снились Юлии.

Живое колено какого-то человека ерзало по бурой коже седла, живая лошадь мотала головой, открывала и закрывала нижнюю серую губу и брызгала белой пеною. Они, живые, ехали для того, чтобы сделать мертвой ее: «восемьдесят седьмой номер».

По улице мерцали фонари, попадались прохожие, вдруг пронеслась мимо, звеня бубенцами, тройка, слышались

пьяные крики. Никому никакого дела до восемьдесят седьмого номера.

Юлия ехала в каком-то оцепенении и не сознавала времени. Проезжали длинные мосты. Мутным простором открывалась в сумраке ночи оснеженная река. Пустые дачи, поле, лес... Все казалось Юлии новым. Точно никогда не видела она леса зимою, темных дач с забитыми деревянными щитами окнами и балконами.

«Ах, если бы так ехать и никогда никуда не приехать»...

Но карета остановилась.

Мечислав Иосифович медленно вылез и расправил затекшие ноги.

— Пожалуйте, — сказал он. — Может, хотите покурить?

— Благодарю вас. — Юлия закурила папиросу из портсигара, предложенного Мечиславом Иосифовичем. Папироса была кстати. Юлия ослабела. Папироса вернула ей силы, и она вышла из кареты.

Должно быть, светало. В сером сумраке низко упавших тяжелых туч виден был снежный простор моря. Сзади чуть шумел густой сосновый бор. Воздух был свеж, чист и упоительно легко вливался в грудь Юлии. Маленькие ножки тонули в снегу и мерзли.

Что-то длинно и скучно читал человек в черном. Юлия не слушала его. В каком-то блаженном восторге она пила волшебный простор замерзшего моря и тихого бора и не могла напиться.

Ни о чем не думала... Ничего не понимала.

Священник в шубе с непокрытой головой придвинулся к ней с крестом. Она сделала жест руками, отстраняя его. Ей не надо было его. Ненужным казалось прикоснуться губами к холодному металлу креста. Все равно — ничего!..

«Если простит, простит и так», — мелькнула неясная мысль... Испугалась самой мысли о возможности, что еще что-то будет... И будет прощение.

Но уже не сомневалась в эту минуту, что сейчас не конец, а начало... И не знала, как готовиться к этому началу... Жадно захотела креста. Но было поздно.

— Что же? — сказал кто-то дрожащим голосом. — Приступим.

Никто ничего не ответил. Жандарм снял с нее салоп. Холодный воздух крепко обнял ее и прижал к себе. Захватило грудь...

Человек в длинном драповом пальто с барашковым воротником подошел к ней, взял за руку и повел за собою.

Она покорно пошла за ним. Он поднялся с нею на дощатый помост.

Стал виднее белый простор моря. Светлая полоса тянулась под тучами.

«Какая-то погода будет завтра?» — подумала Юлия.

— Снимите шляпу! — нетерпеливо крикнул человек в пальто. — Нельзя же так.

Юлия вздрогнула и поторопилась снять шляпу. Она держала ее в руке, ища, куда положить. Шляпа была с широкими полями и дорогими страусовыми перьями. Положить было некуда. Был узкий помост. Снег кругом... Человек в пальто резким движением вырвал шляпу у нее из рук и бросил далеко на снег.

Юлия с удивленным вниманием следила, как ее шляпа вертась полетела и врезалась полем в сугроб.

В ту же минуту человек в пальто проворно надвинул на голову Юлии пахнущий холстом мешок.

Стало темно. Ей казалось, что это мешок сдавил ее шею так, что стало душно. Она хотела руками поправить его, но руки дернулись и бессильно упали.

XXII

Липочка долго и жалостливо смотрела на затихшего на больничной койке отца. Он лежал страшный и худой, утонув головою в подушки. Косматая седая борода топорщилась вперед, над провалившимися глазами кустились брови. Большие тяжелые руки в узлах вен бессильно брошены вдоль тела.

Грешные мысли колотились в голове у Липочки. «Хотя бы развязал скорее! Доктор говорил, что все равно долго не протянет. Только замучил своими капризами»...

Вошла сиделка.

— Спит? — спросила она.

— Спит.

— Пожалуйте, я вас подменю на часок.

— Благодарю вас.

Липочка сняла с вешалки в углу комнаты старенькую, бывшую Варвары Сергеевны, шубку на потертом белищем меху, укуталась серым шерстяным платком и вышла.

Апрельский вечер тихо догорал. Липочка прошла по дорожке между молодых деревьев мимо часовни с иконой св. Николая Чудотворца за ворота, свернула налево, дошла до конца ограды и села на скамейке. Узкая глинистая грязная

дорога на Коломьяги отделяла от нее глубокую канаву. В канаве внизу еще лежал серый, рыхлый снег и под ним шумела вода. За канавой были темные поля со ржавой прошлогодней травой, стояли лиловые кустарники и вдали, в синеве бледного вечернего неба, чернел густой Шуваловский лес.

Отец умирал... Может быть, неделю — не больше, могло протянуть еще это длинное худое тело, мог ворочаться этот тяжелый мозг, уже не разбирающийся в самых простых явлениях. Когда отец умрет, Липочка останется одна. Тетя Лени и дядя Володя уехали далеко на юг, где дядя Володя получил место. Фалицкий забыл о своем старом приятеле. Он был верен себе. Он ценил людей по той пользе, какую он мог иметь от них. Михаил Павлович, клубный игрок, спорщик, собеседник и слушатель, ему был нужен, но беспомощный и жалкий Михаил Павлович, все позабывший, говоривший странные, пустые слова, был не нужен Фалицкому, и он ни разу его не навестил.

Одной приходилось справляться со всеми делами. И если бы не помогли Лисенко и Теплоухов — Липочка не знала, как бы она все сделала. Но как-то вышло так, что дворник сказал матери Теплоухова, просвирне, что у Кусковых несчастье:— «Сам с ума спятил», и надо везти его на Удельную, барышне одной никак не справиться. И просвирня послала сына на помощь.

У Теплоухова с Липочкой знакомство было «шалочное». Теплоухов, бывший в одном классе сначала с Andre, потом с Ипполитом, видал Липочку в церкви и знал, кто она. Так же и Липочка знала, что фамилия высокого, толстого, краснощекого гимназиста, продававшего свечи и принимавшего поминания,— Теплоухов.

Теплоухов сказал Лисенко, и они решили, что надо помочь Липочке. Когда Липочка не знала, что делать с больным отцом, они явились к ней, съездили куда надо, достали разрешения. Теплоухов сел на извозчика и, обняв крепко притихшего при виде военной формы Михаила Павловича, повез его на Удельную, Липочка поехала сзади с Лисенко. Они устроили ей возможность поместиться при отце, они же помогли ей передать квартиру, распродать и сдать на хранение в склад мебель и вещи и стали навещать ее, помогая чем могли.

Липочка знала, что они бедны, как «интендантские крысы», как говорил Теплоухов, и что существенно они помочь ей не могли. Но они давали ей больше, чем деньги, они давали ей нравственную опору, и эти совсем чужие, чуждого ей мира люди стали ей близкими и дорогими.

Деньги уходили. Больница стоила дорого. Михаил Павлович капризничал, хотел то того, то другого, и Липочка, зная, что дни его сочтены, не могла ему отказать. Оставалось в кошельке всего три рубля и уже нечего было продать или заложить.

Липочка сидела, вдаль устремив прекрасные, большие, серые глаза, такие же добрые и глубокие, как у Варвары Сергеевны, и неприятно пожималась под мягким мехом салопчика. Она переживала сегодняшнее утро. Надо было думать о будущем. Надо было искать работу. Службу в комитете она оставила ради отца. Ее место было занято. Надо было достать хотя несколько рублей, чтобы заплатить за отца, и, как ни жутко было думать об этом, нужны были деньги на предстоящие похороны.

Липочка ездila утром в город. С Финляндского вокзала она пошла пешком на канал к Бродовичам. Ни Сони, ни Абрама не было дома. Нарядный лакей в ливрейной куртке с плоскими золотыми пуговицами и лиловыми бархатными обшлагами и воротником нагло посмотрел на Липочку и сказал:

— Дома их не застанете. Пожалуйте в редакцию. От трех до четырех прием.

Было двенадцать. До двух Липочка съездила на конке на Смоленское, помолилась на могиле Варвары Сергеевны.

«Есть же Бог, наконец,— шептала Липочка белыми сухими губами.— Есть Бог и он мне поможет твоими молитвами, мама!»

Ровно в три, усталая, шатающаяся от голода, Липочка поднималась по мраморной лестнице, устланной ковром, в третий этаж собственного дома Бродовича, где помещалась редакция. По лестнице вверх и вниз сновали с озабоченными лицами молодые люди и красивые, с завитыми волосами, поднятыми по моде вверх, нарядно одетые барышни.

Липочка прошла в большую полутемную приемную. В ней стоял стол под темною суконною скатертью. На столе были навалены ворохами газеты на всех языках. Толстый рыжий господин в очках, в коротком пиджаке, упиравшись коленями в кресло, а локтями на стол, дымя папиросой, просматривал газеты. В углу юноша еврей с черными длинными волосами быстро писал карандашом.

Два штатских разговаривали вполголоса у окна.

Служитель, в такой же ливрейной куртке, как и на квартире Бродовича, подошел к Липочке, остановившейся робко в дверях, и спросил, что ей угодно.

— Мне надо видеть Абрама Германовича по личному делу,— сказала Липочка.

— Обождать придется. Присядьте, пожалуйста.

Липочка села в углу. В глазах у ней темнело, мутило от голода.

Стоявшие у окна курили сигары и говорили вполголоса.

— Об этом кричать надо, Виктор Петрович,— сказал один.

— Теперь не покричишь,— ответил другой.

— Да... Сильная власть... Глупый, но сильный человек и у него не вырвешь из рук кормило. Но, может быть, вы иносказательно напишете?

— Переносится действие в Пизу и спасен многотомный роман,— смеясь, сказал его собеседник.

Через приемную проходили люди и исчезали за тяжелыми темными дверями... У одних были листы бумаги, у других вороха газет. Два раза выходил и Абрам. Он позвал одного из говоривших, потом вышел и кинул молодому еврею:

— Написали?

Тот вскочил, собрал разбросанные листки и подобострастно сказал:

— Написал.

— Давайте.

Абрам исчез в дверях кабинета.

Было четыре, половина пятого. Липочку никто не звал.

Наконец дверь кабинета открылась. Из нее вышел Абрам с толстым портфелем под мышкой.

Служитель подбежал к нему и, показывая глазами на Липочку, начал что-то говорить.

— В типографию,— сказал важно Абрам служителю, передавая портфель, и, кивнув головой Липочке, процедил: — пожалуйста.

Липочка пошла за ним.

В просторном кабинете пахло дорогою сигарою. Сизый дым струйкой протянулся над столом и стоял, не улетая. Громадный стол был заставлен бронзою и завален бумагами. Липочке особенно запомнилась большая темной бронзы статуэтка, стоявшая на углу стола. Она изображала худую, стройную, обнаженную женщину в бесстыдной позе.

Абрам сел в глубокое кресло за стол и круглыми глазами сквозь пенсне смотрел на Липочку.

— Я — Липочка Кускова,— тихо сказала Липочка.

Абрам не шевельнулся.

— Сестра Андре и Ипполита... Ваших товарищей по гимназии. Они бывали у вас... Я тоже два раза была.

— А! — промычал Абрам.— Чем могу быть полезен?

— Мой отец... профессор... умирает в больнице для ума-

лишенных... У нас совсем нет денег... Платить нечем... Я должна была оставить место... Я ищу работу...

— М-м...— сказал Абрам и засунул руку в карман.

У Липочки темнело в глазах. Толстая золотая цепь с брелоками и печатками на большом круглом животе Абрама парализовала ее.

— Я бы могла переводить... Я знаю французский...

— Мало знать,— сонно, в нос, проговорил Абрам.— Надо быть литературным человеком, уметь литературно писать...

Он вытащил из кармана белую двадцатипятирублевую бумажку и протянул ее через стол Липочке.

— К сожалению, мест нет... У меня все полно... Но... я рад помочь вам... Я любил ваших братьев... Мне жаль, что Ипполит не послушался меня и пошел по революционной дороге... Он подавал надежды... Возьмите!... Я вам даю...

— Простите,— чуть слышно, чувствуя, как кровь приливает к ее щекам, сказала Липочка.— Я прошу труда!..

— Я вам сказал, у меня нет места. Берите!

Липочка нагнула голову и быстро пошла к дверям. Абрам кисло скривился, пожал плечами и спрятал ассигнацию в карман.

— Идиотская дворянская гордость,— пробормотал он.

Липочка не помнила, как вышла из кабинета, как, сутулясь и пряча глаза с неудержимо бежавшими слезами, прошла через приемную, спустилась по лестнице и вышла на улицу.

«Мама! Что же это!?!.. Мама, что же ты?» — билась тоскливая мысль.

XXIII

«Мама, что же ты?» — думала Липочка и смотрела красными глазами на бледнеющее над лиловым лесом небо.

Было свежо, но пахло весной, и в говоре воды в канаве было что-то успокаивающее.

— Весна идет!.. Весна идет!..— говорили воды, и в запахе земли, полей была сила, возбуждавшая Липочку.

За углом по просохшей каменной панели бодро постукивали каблучки. Липочка узнала шаги. Улыбка скрасила ее бледное лицо.

Лисенко в черной шинели с желтыми кантами почтового ведомства показался из-за угла.

— Здравствуйте, Венедикт Венедиктович,— сказала Липочка.— Как мило, что вы не забываете меня.

— Добрый вечер, Олимпиада Михайловна... Как я могу вас забыть!.. Вы знаете... Я говорил уже вам...

— Оставьте,— перебила Липочка.— Оставьте, оставьте... Не надо этого, Венедикт Венедиктович. Не надо милостыни... Я уже сегодня и так оскорблена...

Липочка рассказала Лисенко свое утреннее приключение. Лисенко слушал внимательно, прерывая иногда ее рассказ словами: — Очаровательно!.. Грациозно!.. Вот нелепица!..

Он мало переменялся после гимназии. Белые волосы были коротко острижены, плоское рыбье лицо было покрыто веснушками. Ни усов, ни бороды у него не было, и трудно было сказать, сколько ему лет.

— Вот в том-то и дело,— начал Лисенко.— В том-то и дело, что вы все никак не желаете понять. Если говорить о милостыне, так это уже я вас прошу мне ее дать.

— Да, что вы, Венедикт Венедиктович... Да нет!.. Вы с ума сошли!.. Какая уже я невеста... Вы посмотрите на меня... притом нищая...

— Олимпиада Михайловна, я люблю вас такую, как вы есть. Мне богатство не нужно. Это очаровательно — богатство! Что мне оно. Вот нелепица-то. Я не настаивал раньше только потому, что прав за собою не чувствовал. А сегодня... Прямо грациозно вышло!..

— Будет... будет!.. Заткнитесь, Венедикт Венедиктович... Будем друзьями... Ну, что говорить о том, что все равно никак невозможно!

— Я понимаю, Олимпиада Михайловна, что, конечно, как вы дворянка, а я мещанин, ваш отец профессор, а дедушка генерал и вы в книгах каких-то записаны, и герб имеете, а мой папаша полотерных дел мастер был — но жизнь уравнила нас, а любовь...

— Будет, Венедикт Венедиктович... — отмахиваясь, сказала Липочка, и краска побежала по ее зеленовато-бледному усталому лицу.

— Вы прекрасны, Олимпиада Михайловна. И вам надо только счастье и спокойствие души. И сегодня молитвами вашей матушки...

— Ну, ладно... О любви и о прочем бросьте, что же было сегодня?

— Понимаете, сегодня... Да нет, это просто чудо! Вот и не верь тут в промысел Божий... Сегодня в конторе начальник, Афанасий Гаврилович, подзывает меня и говорит: — «Лисенко, вы не согласились бы поехать помощником начальника Джаркентской конторы? Там вакансия...» Очаро-

вательно, понимаете... Ведь в Джаркенте-то ваш братец, Федор Михайлович, служит в линейном батальоне... Понимаете, перст судьбы. Ну, думаю, теперь королева сердца уже никак не откажет... Грациозно все это как выходит... Сама судьба за меня.— «Конечно,— говорю я,— и с превеликим даже удовольствием», а ведь это, Олимпиада Михайловна... Это подъемные... это прогоны... Насчитали мы с Афанасием Гавриловичем двести сорок шесть рублей девяносто четыре с половиной копейки... Очаровательно... Целое состояние, как вы полагаете? Капиталист я — вот нелепица-то!..

— Но постойте... Доехать же надо.

— Афанасий Гаврилович и это предусмотреть изволили. «У нас, говорит, уже принято так, что, когда почтовый чиновник на службу едет, то почтодержатели с него прогонные не берут... Ну и вы им когда-нибудь услугу окажете. Если почта очень большая будет, в два приема отправите»... Очаровательно... прямо грациозно. Так как же, Олимпиада Михайловна?.. Тут и на свадьбу и на похороны хватит и устроиться можно... А... Неужели и теперь — гордость дворянскую показывать будете?..

Долго, долго молчание Липочки. Не видная ей, неосязаемая, но трудная идет в ней борьба. Молчит. «Синяя кровь» бунтует в ней. Она дворянка, внучка генерала, дочь профессора, в шестой книге записанная, имеющая герб и корону!.. Нет, не дворянка она. Оца — бедный, замученный жизнью человек, каким была ее мать, каким умирает ее отец. Не о дворцах же и помещичьих гнездах ей мечтать? Не Раздольный же Лог восстанавливать?!..

Ах, нет! Разорены помещичьи гнезда. По бревнам растащен их старый дом. И не видала она его никогда!

Говорит Липочка. Тихим шелестом идут ее слова и сливаются с тихим журчанием воды под снегом.

— Маленькие люди мы, Венедикт Венедиктович. Маленькие... Вы — почтовые чиновники. Федя — армейский офицер... Все... все. Их много, много маленьких, незаметных людей. Тяжела наша жизнь, жизнь маленьких людей с маленькими радостями и большим горем. Но будем гордыми!..

— Будем гордыми,— повторяет Лисенко.

Вспомнила Липочка кабинет Абрама, запах дорогой сигары, бронзовую женщину в бесстыдной позе и Абрама с золотой цепочкой на брюхе, развалившегося в кресле. Не было у нее теперь ни злобы, ни обиды на сердце.

— Будем гордыми,— говорит Липочка,— потому что мы, маленькие люди, составляем силу государства, силу всего мира. И не будет нас, остановится весь мир, погибнет Рос-

сия. Мы, Венедикт Венедиктович, мы, маленькие люди, крестьяне, извозчики, почтовые чиновники, офицеры, каменщики, полотерных дел мастера, учителя — мы, а не они составляют силу России... Мы маленькие кирпичики, но какое прекрасное здание — все мы вместе.

— Будет день, Олимпиада Михайловна, когда мы, маленькие люди, станем большими. Мы сила, потому что много нас.

Липочка рукою останавливает Лисенко. Предостерегает его жест. Борется с ним.

— Нет... Нет... Сила не в борьбе... Не в насилии... Предоставим кровь и насилие им. У нас сила в другом. В маленькой книге евангелие все это сказано. Наша сила в любви. В любви Бог, потому что Бог — любовь. И мы, маленькие люди, мы не мстить будем, но работать, трудиться и любить... Любить... В труде — счастье. В любви — счастье!.. В молитве успокоение... Вы думаете, — тихо улыбаясь и робко беря за руку Лисенко, говорит Липочка, — я хочу, чтобы вы были таким, как Абрам. А я, как Соня... Сигара, бронза, бархат, кожа, громадные высокие покои... Нет... Нет... Как мама... Я хочу быть такою, как мама. Истыканные иглой пальцы... Милые, милые мамины пальцы... Под ногами Дамка... Маркиз де Карабас трется у ног. Маленькое счастье маленьких людей в исполнении долга. И мы найдем его?.. Да?..

Нагнулось к Липочке плоское рыбе лицо Лисенко. Он целует ее застывшие маленькие руки.

Кажется Липочке прекрасным беловолосый Лисенко.

— Но только, Венедикт Венедиктович, — долг прежде всего. Раньше мы схороним его, — тихо говорит Липочка.

— Честь честью, Олимпиада Михайловна. Рядом с вашей матушкой!..

Погасли лиловые сумерки. Черный лес надвинулся, и не видно, где кончается поле и начинаются сосны. Журчит в глубокой канаве вода, точно торопится рассказать что-то. Прижалась длинная фигура в старом салопе к черному Лисенко, тонкие ручки обвили его шею.

Благоговейно и свято их молчание.

XXIV

Туркестанская весна наступает вдруг. Незаметно подкрадется, подойдет тихо и вдруг захватит бурным цветением фруктовых садов, пряным духом сухой джигды и запахом белых акаций. Все цветет сразу под немолчный шум бушу-

ющих арыков и рев несущегося водопадами сребропенного Усека.

Еще в марте деревья улиц и садов стояли сухие и голые. Высокие, пирамидальные, серебряные тополя роняли последние желтые листья на дорожки, покрытые гниющим сухим листопадом. В пустыне у гор лежал неглубокий снег. Арыки по ночам замерзали черным с белыми пузырями льдом. Перед Благовещением солнце точно вздохнуло, вспомнило о чем-то и сразу настала двадцатиградусная жара. Она простояла весь день и, когда румяное солнце опустилось за горы, тепло осталось, разомлевшая земля испускала его. Снег в горах съело, и арыки запели веселую песню весны. Жара стояла несколько недель. Но деревья все еще были голы. Сады стояли в зимнем уборе. Не набухали ветви животворящим соком, не лиловели садовые дали.

Потом вдруг набежал с горы ветер, обдул, обчистил сухие листья с ветвей, оголил сады, принес мимолетный дождик, весело прошумевший по пыльным улицам и упавший большими черными глазками на широкие проспекты, и, когда на другое утро жители Джаркента проснулись, они не узнали его.

Все было зелено. Молодые почки на тополях выпирали отовсюду, и, казалось, на глазах лопались и разворачивались клейкими бледно-зелеными листочками. Яблони и груши розовели плотными бутонами. Великий архитектор и художник мира быстрою кистью проводил тут и там, и в весенний невесты убор одевались коричнево-черные сады.

А еще через день — улицы шумели зелеными тополями, густая тень закрыла дорожки между арыками, мелкими, тонкими иголками перла трава, покрывала края улиц, зеленела подле межей полей и нив. Появились бронзовые голые таранчинцы с плугами, запряженными рослыми быками, и по всем полям закипела работа весны.

Сады стояли в бело-розовом уборе цветущих яблонь, груш и слив, в белой дымке раскидистых вишен и, как нежный узор на светлой кисее, прямыми штрихами метнулись розовые ветви персиков и абрикосов... Белые пышные бульде-нежи висели плотными шарами. По аллеям трепетали в сладостной истоме сережки белых акаций и желтая джигда точно банку духов опрокинула в пустыню.

Все цвело точно наперегонки. Все украшалось под говор, писк и пение сотен птиц, вдруг откуда-то появившихся, все шумело и ликовало. С громким мычанием и блеянием тянулись бесчисленные стада коров и баранов на горные пастбища.

На плацах забелели рубахи солдат и казаков... Трещал барабан и в вихрях пыли и звуках трубы носились, сверкая пиками, казачьи сотни. Со звоном отъезжали и становились на позицию медные длинные пушки.

Федя с Наташей уже третий раз выезжали верхом на Бо-рохундирскую станцию, чтобы встретить молодых Лисенко.

После бала в собрании было бурное объяснение. Наташа со всем пылом молодости напала на Федю, упрекала его, говорила, что он опустился, стал «как все», что он вел себя позорно.

Федя, пунцовый, застигнутый врасплох, молчал, сзади молча шагал Николай Федорович.

— Почему же, Наталья Николаевна,— наконец сказал Федя, не поднимавший глаз от земли,— вы полагали, что я не такой, как все? Именно я самый заурядный, самый обыкновенный офицер Линеинного батальона, такой же, как Лединг и Фармазонов.

— Вы! — воскликнула Наташа и даже остановилась, разводя руками.— Полноте, Федор Михайлович, вы должны быть совсем другим, вы должны быть необыкновенным офицером, вы должны стать, как мой папчик.

— Почему?..— спросил Федя.

— Почему?.. Почему?.. Вы, как ребенок, затвердили одно: почему... да почему... А просто — потому... Вот вам мой ответ. Потому что я так хочу... Я... я... я... И вы, сударь, должны исполнять мои желания.

— Ну уж, Наташа,— сказал Николай Федорович,— ты, кажется, через край хватила... Федор Михайлович может делать, отличное дело, все, что ему угодно...

— Нет, папчик... Ну, ты-то как этого не понимаешь!? У него нет матери и кто же побранит его, если не я?.. И вот что, сударь,— обращаясь к Феде, сказала Наташа,— теперь первая неделя Великого поста. Потрудитесь-ка отговорить вместе со мною. И потрудитесь дать мне слово, что больше никогда, никогда вы не изволите пить водку и водить компанию с господами Бирюковыми, Фармазоновыми, Ледингами и Вассонами. Не для вас они! Предоставьте им без вас спиваться с круга...

Федя говел. Он искренно, со слезами и верою каялся и, когда на другой день сзади белой, в кисее с белыми бантами, светлой, сияющей Наташи подходил к чаше со Святыми Дарами, он был счастлив.

Ни слова не было сказано между ними о любви. Федя читал по вечерам вслух, Наташа шила или работала по хозяйству. Николай Федорович курил или набивал патроны,

мечтал о пролете уток, гусей и лебедей, о поездке на реку Или, на охоту. Наташа и Федя часто ездили верхом. Наташа в длинной серой черкеске, в черной папахе отца с алым верхом на казачьем седле казалась меньше ростом и более хрупкой. Они говорили о езде, о посадке, об удали, об институте, о Тамерлане, который был в этих местах, о лошадях, о китайцах, о Таранчах и никогда не сказали ни слова о том, что они переживали.

Весь Джаркент знал, что они — жених и невеста. Николай Федорович покручивал свой черный ус и приговаривал: «отличное дело», а сам присматривался к Феде, слушал его, сближался с ним на охоте. На пасху он выпил с Федей на «ты». Наташа смеялась и радовалась этому, но ни Федя, ни Наташа в чистом и нежном цветении своей любви не думали сказать последнего слова. Они искренно возмущались доходящими до них сплетнями Джаркента, не могущего никого оставить в покое.

XXV

Борохудзирская роща была еще черна. Только на концах старых карагачей кое-где желтым налетом показались почки. Вправо от дороги была каменистая пустыня, влево стоял темный лес.

Сквозь переплет ветвей показались «муллушки» с крутыми белыми куполами.

Федя с Наташей подъезжали к опушке.

— Как нынче запоздала почта,— сказала Наташа.— Неужели и сегодня не встретим... А мне так хочется познакомиться с вашей сестрой Липочкой. Она красивая?

— Нет... Но она... Она страшно милая... Она, как моя мама. Вся для других. У ней «себя» нет.

— Она не такой сорванец, как я,— сказала Наташа.

— Что вы, Наталья Николаевна.

— Ну, конечно, конечно... У меня страсть поработить всех. Я как Тамерлан!.. О, как бы я хотела быть Тамерланом.

— И все-то вы на себя клеветеете, Наталья Николаевна.

— Идти походом, а сзади тысячи повозок, вьюки, обозы, пустыня, горы и города турецкого Востока... А что такое Лисенко? Вы его знаете?

— Я помню его гимназистом. Тогда я преклонялся перед ним.

— Почему?

— Стыдно сказать. Он ходил гимназистом в трактир «Амстердам», куда было запрещено ходить.

— Он, должно быть, такой же пьяница, сударь, как и вы.

— Нет, я думаю, он теперь не пьет. Жизнь его сильно скрутила. Из гимназии его выгнали и он почтовый чиновник.

— Что же, это хорошо,— думая о чем-то другом, сказала Наташа и взгляделась в пустыню.

— Почта!.. Правда!.. Почта... Как я рада! Сейчас увижу вашу милую сестру. Ужасно странно, Федор Михайлович, что у вас есть сестра и уже замужняя.

Почта неслась в облаках пыли на трех тройках. Мимо промчались, звеня колокольчиками, тяжелые телеги с большими черными баулами. На баулах сидели покрытые пылью почтальоны. За этими телегами, далеко оттянув, чтобы не попадать под пыль, ехал тарантас, запряженный парюю. И уже издали Наташа увидела широкую соломенную шляпу канотье и длинную серую газовую вуаль рядом с высокой фигурой в белом кителе.

Федя и Наташа слезли с лошадей и привязали их у дерева. Тарантас остановился. Липочка выскочила из него и бросилась к брату.

Она откинула вуаль. Загоревшее и зарумянившееся на солнце пустыни лицо Липочки светилось счастьем. Большие, лучистые, добрые глаза скрадывали неправильность ее черт. Высокая и стройная, в простом дорожном платье она казалась красивой.

— Федя! — воскликнула она.— Вот ты какой! Как я рада, что мы вместе... Все легче будет.

Наташа стояла в стороне. Липочка всмотрелась в нее, чуть щуря свои близорукие глаза, и кинулась к ней, протягивая обе руки. Наташа сделала робко шаг навстречу.

— А это?.. Я не ошибаюсь... Вы... Наташа? Самсонова?.. Твоя невеста, Федя!

Точно этим словом сестры была снята какая-то пелена с глаз Феде и Наташи. Они поняли, что «да», и без слов и объяснений, само собою вышло, что они жених и невеста.

Оба смутились. Наташа горячо обняла Липочку и поцеловала ее.

— А вот,— сказала Липочка,— позвольте представить... мой муж — Венедикт Венедиктович.

Лисенко снял с пыльной головы фуражку и почтительно пожал руку Наташи, потом расцеловался с Федей.

— Видишь, Федя,— сказала Липочка,— я не была права. Права была мама.

Она сломила темную веточку карагача, усеянную мелкими клейкими листочками.

— Опавшие листья тихо гниют у подножья деревьев... Их смела жестокая буря... Они умерли, потому что должны были умереть... А на месте их уже показались новые побеги и молодая жизнь идет на смену старой. Мы с тобою уцелели... Мы не опавшие листья... Мы будем строить новую жизнь, искать красоту и правду, пока не пробьет наш час. Только тогда мы опадём... по воле Божьей?.. Куда же мы, Федя?

— Папа очень просит вас к нам. Пообедаете, а потом он отвезет вас на вашу квартиру подле почты,— сказала Наташа.

Тарантас покатился, Федя с Наташей поскакали, показывая дорогу.

Николай Федорович ждал их у калитки.

— С вашей дочкой, невестой моего брата, я уже познакомилась,— сказала Липочка, подавая ему руку.

Какое-то облачко как будто нашло на загорелое лицо Николая Федоровича. Точно тысячью мелких морщинок покрылось оно и как-то постарело сразу. Но оно сейчас же и прояснилось.

— А Наташа заневестилась уже, отличное дело...— сказал он.

Наташа, покраснев до самого края кокетливо сбитой набок папахи, ответила в тон отцу:

— Я не знаю, папчик, отличное дело, как это вышло.

— Эге, коза, да ты уже отца передразнивать стала. Что же будет, как поженитесь! Ну, жених! Позволь мне обнять тебя, раз уже так вышло.

— Да разве это...— спросила Липочка,— вы только сейчас узнали? Кажется, я и правда села в калашу.

— Знали-то мы это давно, отличное дело,— сказал Николай Федорович,— да только никому этого не сказывали.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая	5
Часть вторая	141
Часть третья	223
Часть четвертая	369

Краснов П. Н.
К 78 Опавающие листья. Исторический роман.— Екатеринбург, УТД Посылторг, 1995. 448 с.

ISBN 5-85464-023-6

Роман «Опавающие листья» — это гимн великой Любви — любви к Родине, Матери, Женщине.

В центре повествования — драматические события истории России на рубеже XIX—XX веков.

В России роман публикуется впервые.

К 4702010200 — 70
97 В (03)— 95

ББК 84 Р7

Петр Николаевич
КРАСНОВ
ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ
роман

Ответственный за выпуск
С. Семухина
Технический редактор
Н. Овчинникова

ЛР № 063365 от 19.05.94

Сдано в набор 13.01.95. Подписано в печать 09.02.95.

Бумага для копир.-мн. тех. Формат 84×108 ¹/₃₂. Печать высокая.

Гарнитура Обыкн. новая. Усл. п. л. 23,52. Уч.-изд. л. 27,86.

Тираж 20 000 экз. Зак. № 952.

АО «Уральский торговый дом Посылторг»
620068, г. Екатеринбург, ул. Учителей, 38.

ИПП «Уральский рабочий»
620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.







Waldemar

Waldemar & Knappe